Цена 90 коп. Индекс 73293

## «ОКТЯБРЬ» — 89

**Редакция предполагает опубликовать следующие произведения:**

Анатолий АНАНЬЕВ. **Скрижали и колокола.** Роман.

Анатолий АЛЕКСИН. **Игрушка.** Повесть

Игорь ВОЛГИН. **Родиться в России.** (Достоевский и современники: жизнь в документах). Книга первая. **Политический процесс.** Книга вторая.

Д. А. ВОЛКОГОНОВ. **Триумф и трагедия** (Политический портрет И. В. Сталина). Книга вторая.

Александр ГАЛИЧ. **Генеральная репетиция.**

Майя ГАНИНА. **Зимородок — синяя птица.** Роман.

Василий ГРОССМАН. **Все течет.** Повесть.

Руслан КИРЕЕВ. **Пир в одиночку.** Роман.

Федор КОЛУНЦЕВ. **Свет зимы.** Роман.

Анатолий КУРЧАТКИН. **Веснянка.** Повесть.

Нонна МОРДЮКОВА. **Вот так и живем.** Записки актрисы. Часть вторая.

Владимир НАБОКОВ. **Подвиг.** Роман.

Александр ЧАКОВСКИЙ. **Нюрнбергские призраки.** Роман. Книга вторая.

**Подборки новых стихов**

Беллы АХМАДУЛИНОЙ, Константина ВАНШЕНКИНА, Евгения ВИНОКУРОВА, Инны КАШЕЖЕВОЙ, Александра КУШНЕРА, Юнны МОРИЦ, Ивана САВЕЛЬЕВА, Давида САМОЙЛОВА.

«Октябрь», 1988, № 9, 1—208.

ОКТЯБРЬ 9 1988

ISSN 0132-0637

# ОКТЯБРЬ

9

1988

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

9

1988

СЕНТЯБРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

## В НОМЕРЕ:

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

## ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ



## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА



## ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ



## ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ





И. ГРЕКОВА

# Хозяева жизни

РАССКАЗ

Было это в конце пятидесятых годов. Я ехала в поезде в одну из дальних моих командировок. На душе у меня была одна большая забота, какая именно — говорить не стоит, потому что к моему рассказу это не имеет отношения. Из-за этой заботы мне больше хотелось быть одной, и я почти не разговаривала со своими соседями по купе. Их было двое. Один — военный, бесформенно толстый полковник с прядью волос, переброшенной поперек лысины от одного уха до другого. В дороге он сразу распустился и надевал китель, только выходя на станциях, а так ехал в подтяжках поверх сиреневой трикотажной рубашки (обычное, стандартное мужское белье). Он раздражал меня своей манерой хлюпая пить чай, обручальным кольцом, вросшим в пухлый волосатый палец и тем общим разлитым тоном превосходства, который обычно идет от высокого оклада в сочетании с низкой культурой.

Другой был, наоборот, аскетически худой, сутулый, с коричнево-смуглым лицом, изрубленным морщинами. Когда он говорил, огромный кадык нырял, как поплавок, на длинной шее. Несмотря на морщины, седые виски и поредевшие, отступившие ото лба волосы, в нем было что-то неприятно-юношеское.

С этим было сложнее, чем с тем. Иногда он почти начинал мне нравиться — и вдруг становился неприятен. Хорош был голос — глубокий, музыкальный, с неуловимо изящными интонациями воспитанного человека. Такой голос сам по себе было интересно слушать. И вдруг, как ножом по стеклу, в нем царапала противная, лебезящая нота. Глаза — большие, голубые, блестящие, но взгляд непрямой, уклончивый, а белки — в мелких кровавых жилках. Особенно раздражала его подчеркнутая, ненатуральная вежливость. Стоило мне войти в купе, как он вскакивал, расшаркивался и всеми средствами выражал предупредительность. Но вот когда он молчал и задумчиво смотрел в окно, я не могла оторвать глаз от его резкого профиля. Кого-то он мне напоминал. Кого-то очень хорошо знакомого, с детства. Только на вторые сутки я догадалась — кого. Это был Иоанн Креститель с «Явления Христа народу». Тот же горячий, вдохновенный глаз. Та же впалая, скорбная щека. Это был Иоанн Креститель — постаревший, полысевший, изрубленный жизнью.

Четвертое место в купе было не занято. И вообще в нашем мягком вагоне было много свободных мест. В проходе обычно бывало пусто, и я подолгу стояла у окна наедине со своей большой заботой. И в тот вечер, о котором идет речь, я тоже долго стояла и смотрела. Мимо летели суровые, изможденные, отработавшие свое степи. Была поздняя осень — начало зимы, по-здешнему. На всех неровностях голой земли, как седина в черных волосах, лежали белые полосы инея. Местами ветер трепал сухие, мертвые стебли бурьяна, почерневшие то ли от жестокого летнего солнца, то ли от мороза ранней зимы. А над степью, снизу до половины неба, светилась нежная, пронзительно розовая заря. У одной станции, рядом с водокачкой, стоял чеканный, черный на розовом верблюд. Такое одиночество шло от этого верблюда! А дальше — снова одни пустые степи. Редко-редко мелькали затерянные в степях людские поселки: два-три вросших в землю глинобитных домика. У одного такого домика на целую голову выше его стояла с платком до самых

глаз женщина в ватнике. Высокие резиновые сапоги были облеплены грязью, ветер дергал тонкую ситцевую юбку. Женщина стояла неподвижно, только голова медленно поворачивалась за идущим поездом. На самом краю дороги растопыренный чертополох протягивал черные, обугленные, тонкие руки и словно взывал: «Остановитесь! Выслушайте нас! Не проходите мимо!» Все это почему-то трогало меня, становилось в мысли рядом с моей большой заботой. Как здесь должно быть жутко осенней ночью, когда поезд уже прошел, и заря погасла, и так далеко отовсюду: от городов, от людей!

А заря и вправду постепенно погасла, и за окном не стало ничего видно. Одна темнота: серее — сверху, чернее — внизу,— а сквозь нее редко бежал спереди назад дрожащий желтый огонек.

Я вернулась в купе. Оба соседа были там. Мне показалось, что мой приход оборвал какой-то разговор, важный для обоих. Худой даже не вскочил и не засуетился. Им, видно, было одинаково неловко и продолжать разговор, и прервать его внезапно.

— Да,— протянул военный,— сколько воды утекло! Я ведь вас сперва не узнал. Смотрю — знакомое лицо. А где видел — ума не приложу. Спасибо, вы напомнили.

— Я-то вас узнал сразу,— сказал худой своим глубоким голосом.— Вы, в сущности, мало изменились.

— Да,— повторил военный и помолчал.— Умерла, значит, Нина Анатольевна. Жаль, жаль. Такая интересная была женщина.

Худой ничего не ответил, только потрогал себя за шею и издал неопределенный, мычащий звук. Я тревожно на него покосилась. Мне показалось — человек сейчас заплачет. Нет, я ошиблась — он заговорил совсем спокойно, даже со своей лебезящей нотой:

— Очень приятно было снова с вами встретиться. Очень рад. Очень рад.

Мне стало как-то противно, к тому же я не хотела им мешать. Я пошла в вагон-ресторан. Идти было далеко: почти через весь поезд. Я все шла и шла через тускло освещенные, жарко натопленные общие вагоны. Здесь было тесно и душно, пахло людьми. С верхних полок поперек прохода протягивались мужские ноги в носках; нужно было нагнуться, чтобы пройти. Внизу спали и бредили женщины, маленькие дети. В одном вагоне, на откидном деревянном столике, с треском «забивали козла» и ругались. В другом — надрывно, с сипотой, плакал-убивался грудной ребеночек и женский голос терпеливо, заунывно тянул: аа-а! аа-а! А между вагонами шатались и гремели темные, холодные площадки-переходы, лязгало железо, приплясывали буфера. Здесь сразу холодом и грозной чернотой вступала в свои права окаянная, безлюдная, кричащая от одиночества степь. Так и чередовались: вагон и площадка, людское и степное бездолье.

Вот наконец и вагон-ресторан. Я села у окна за столик с залитой скатертью и мокрыми окурками на грязных тарелках. Другие столики были не лучше. Кроме меня, в вагоне посетителей не было. Только в дальнем углу унылый, серый пьяный, видно, давно уже все съевший и выпивший, тихо объяснял что-то сам себе на матерном языке и никак не мог понять, переспрашивал. За стойкой дремала пожилая толстая буфетчица с красными руками, в белом халате поверх ватника, в кружевном, жестко накрахмаленном кокошнике. Ко мне никто не подходил. Я подошла к стойке и разбудила буфетчицу. Она проснулась неохотно, явно меня ненавидя, но пошла и привела (вероятно, тоже разбудила) официантку. Эта была великолепна: молодая статная раскрашенная блондинка с ярко-лиловыми ногтями. Брезгливо, медленно она убрала со стола и приняла заказ — тоже холодно и враждебно. Ох, эта ресторанная ненависть! Как мы ее хорошо знаем — мы, одинокие женщины, не пьющие водки... Народу в ресторане не было, и все-таки пришлось ждать больше получаса, пока она принесла скользкие биточки с холодными макаронами и синеватое какао. Оставленная сверх счета мелочь на скатерти выглядела ужасно сиротливо. Блондинка казалась смертельно оскорбленной, но деньги взяла.

Я сидела и без охоты ковыряла вилкой свои биточки, когда вдруг услышала голос:

— Разрешите к вам присоединиться?

Это был худой из моего купе. Он стоял и кланялся, как петрушка.

Я медлила с ответом. Кругом же было много свободных столиков. А мне не хотелось нарушать наше одиночество — наше с большой заботой. Но он об этом знать не мог.



— Я понимаю, что вы думаете,— сказал он.— Зачем ему понадобилось садиться как раз за мой столик? Вы правы, конечно. Но у меня сегодня... одним словом, мне сегодня трудно быть одному. А наш с вами сосед, полковник, уже лег спать.

— Да нет, ничего,— поспешила сказать я,— садитесь тут, пожалуйста.— Он вдруг напомнил мне чертополох у дороги.

Официантка подошла, играя бедрами, и довольно оживленно приняла заказ: четыреста граммов и бутерброды. Удивительно, как скоро она их принесла.

— Может быть, сделаете мне честь? — спросил худой.— Нет? Ну, не надо.

Он налил рюмку и профессионально, даже изящно опрокинул ее в рот. Закусил бутербродом.

— Тысячу раз прошу извинения,— вдруг спохватился он.— Я забыл вам представиться. Игорь Порфирьевич Галаган.

Он снова встал и по-петрушечьи поклонился. Снова пришлось его усадить. Я довольно неохотно назвала себя: имя, отчество, фамилию, профессию. В наше время, рекомендуясь, надо назвать профессию. Чтобы сразу видно было — кто ты. Я сказала ему об этом. Он задумчиво выслушал и не сразу улыбнулся.

— Кто я? А этого я и сам не знаю. Знаете что? Давайте, я вам расскажу свою историю. Тогда вы сами увидите, кто я. Может быть, даже мне объясните.

Это он славно как-то сказал и понравился мне. Я совершенно искренне ответила:

— С большим удовольствием вас послушаю.

Он снова выпил водки и начал рассказывать.

— Ну, с чего же начать? Прежде всего я коренной ленинградец. Петербуржец даже. Все мои предки жили в Петербурге. Я из старинной путейской семьи. Отец мой был инженер путей сообщения, и оба дяди, и дед. И по материнской линии тоже все путейцы. Целый клан. А из меня путейца не вышло. Я захотел быть художником. Отец был против, но я стоял на своем. Любил я живопись, знаете, до страсти. Просто трясся, когда о ней думал.

Родители мои были очень хорошие люди, особенно мать. Я ее страшно любил. Хотите, покажу карточку?

Он порылся дрожащими пальцами в бумажнике и вынул старинную, на твердом картоне, фотографию. С краю карточка была грубо срезана, наверно, ножницами — видно, не помещалась в бумажнике. На снимке была удивительной прелести молодая белокурая дама в белой блузке с высоким воротом, с тревожными и трогательными глазами. Прижавшись к ней щекой, такими же глазами смотрел хорошенький, кудрявый мальчик в белой матроске.

— Это вы? — спросила я.

— Я, а что? Трудно узнать? Естественно. Много лет прошло, да и жизнь...

Да, жизнь. Кому не случалось горестно вздыхать, глядя на ее жестокие труды. Но здесь было другое. Как бы это объяснить? Здесь поражало не различие, а тождество. Словно в эту минуту кто-то сказал: «А и слаба же ты, жизнь! Била, била, а так и не смогла убить в этом лице красоту». И точно, она была здесь: неизменная, тождественная самой себе, тревожная красота тех двоих — дамы и мальчика.

— Но я не об этом хотел рассказывать, не о детстве. Детство мое было довольно заурядным детством мальчика из интеллигентной, обеспеченной семьи. С боннами, гувернантками, белыми чулочками. С тремя языками. С музыкой. Совсем обыкновенное в том кругу детство, если бы не мама. Я у нее был один. Любила она меня бесконечно. И я ее. Мы всё друг другу говорили и вместе мечтали, как самые близкие друзья. Это я как-то не так рассказываю, выходит обыкновенно, а было... Ну, вот. Когда я захотел стать художником, отец был против, а она всегда была за меня, больше, чем я сам.

Отец умер вскоре после революции, в восемнадцатом году, и остались мы с ней вдвоем. Время было трудное, голод. Я уже был лет семнадцати. Посещал студию изобразительных искусств—были тогда такие, и каждая с по-

рывом к новому. Всю жизнь заново строили — и искусство тоже. Наша студия помещалась в разоренном барском особняке. Ободранные диваны, позолота. Отопление не действовало, трубы полопались. В зале, где мы работали, зимой лед стоял на полу. Чтобы согреться, мы жгли бумагу прямо на паркете. Такие дикарские костры! А какие ребята были! Голодные, оборванные, веселые и все — пророки. Работали как одержимые. Писали красками, только красок не было. Мы делали их сами из чего придется — из сажи, из толченого кирпича, из известки... Это даже было интересно — писать такими красками. Каждая картина была как задача. Вроде как в геометрии задачи на построение: только циркулем и линейкой.

Зимой руки у нас мерзли и краски тоже. Пока разотрешь, разогреешь... Мне все это было нипочем. Я был счастлив, знаете. Молодой, способный. Возможно, даже талантливый.

Маме было труднее. Она хозяйничала, неумелая, варила в кафельной печке на лучинках кашу — ржаную, овсяную, из отрубей. Я эту кашу съедал и даже не замечал, чтó ем. А ведь крупу надо было достать. Мама зарабатывала: давала уроки музыки спекулянтским дочкам. А еще вещицы разные носила на базар — менять на продукты. Вещиц этих у нас очень мало осталось, потому что в самом начале у нас какой-то отряд почти все реквизировал. Вернее всего незаконно. Помню, принесла она мне как-то раз два кусочка сахару — все в хлебных крошках. Я их съел и даже не очень заметил. А она на меня, когда я ел, тáк смотрела — словно молилась. Исхудала, стала такая голубая, прозрачная. Я не очень беспокоился. Я ведь и сам был худой, как уличная собака, но все у меня внутри горело.

Света, конечно, не было, по вечерам темно. Мы с мамой рано ложились спать, в валенках, в шубах, наложив на себя сверху все тряпье, какое было в доме, и тут начинались разговоры. Мы говорили в темноте без конца. О чем? Об искусстве, о его перспективах, о моих замыслах. О моем будущем. Никогда не говорили о быте, о еде, о трудностях. У нас это не было принято. В нашем доме и раньше не говорили о деньгах, например. Как-то считалось, что приличные люди об этом не говорят.

Так мы жили с ней, и я был счастлив. И вот однажды в феврале девятнадцатого года, двадцать пятого февраля, такой сиреневый был вечер, я пришел домой из студии и нашел ее мертвой.

Он остановился и снова издал тот внутренний, мычащий звук, и снова я покосилась: не плачет ли? Нет, не плачет.

— Как я тогда выжил, выдержал — объяснить не могу. Я был в отчаянии. Виноват: увлекся искусством (черт бы его взял, это искусство!), а ее, знаете, убил. Но, так или иначе, я выжил и даже в люди выбился. Но это уже потом. Сначала был на фронте, в каком-то дорожном отряде. Потом заведовал конюшней. Вернулся в Петроград, когда уже жизнь стала полегче. И опять — искусство. В новой студии писал уже настоящими красками. А потом стукнулся в Академию художеств. Вообразите, приняли — с моим-то происхождением. Впрочем, мне везло. Работал как бешеный. Еще студентом выставлялся. Имел успех. Академию окончил с отличием. Но это все, конечно, пустяки. Вы же вот, например, не знаете, что был такой художник Галаган?

— Видите ли, я не из той среды и вообще плохо знаю живопись. Только почему вы говорите был?

— Потому что был. Посмотрите.

Он протянул над столом свои тонкие коричневые руки. В них было что-то неестественное, не совсем человеческое. Может быть, так казалось потому, что средний палец был много длинней остальных, как на орлиной лапе. И эти орлиные руки дрожали. Они буквально плясали над грязной скатертью. Чтобы их остановить, ему пришлось уцепиться за край стола. «Так вот почему,— подумала я,— он все время за что-то держится».

— Был,— повторил он.— Был такой художник Галаган. Знаете, мне иногда кажется, что это не я был. Уж очень я был счастлив. Я ужасно горевал после смерти матери, но все-таки, вы понимаете, был счастлив, несмотря ни на что. Словно был приговорен к этому счастью. Все видел свои картины, которые напишу, чувствовал их — до обморока, до галлюцинации. А главное, знал, что могу их написать и напишу и что жизнь велика. Трудно поверить, но, знаете, я даже теперь по ночам иногда не сплю и вижу картины. Но теперь это очень тяжело, из-за рук.

Так вот, о чем я сейчас рассказывал? Да. Был я художником и жил один и был счастлив. И тут я влюбился. В первый раз в жизни. Да как влюбился! Она была жена одного моего приятеля, инженера. Звали ее Нина Анатольевна. Прекрасная женщина. Вот именно прекрасная. Большая, статная, сильная. Волосы светлые-светлые, почти белые. Обычно светлые волосы бывают мягкие, а у нее они были жесткие, густые и вьющиеся. Стояли на голове, как шлем Афины Паллады. И такого невероятного цвета! Все думали, что она красится. Она уже привыкла. Бывало, спросит кто-нибудь: «Правда ведь, вы красите волосы?» А она: «Нет, но брови и ресницы крашу». Ресницы были длинные, черные и от краски слипались лучиками.



Веселая была женщина. Голос — силы необыкновенной. Я в нее влюбился, когда она пела. Смотрю ей в рот и вижу: зубы, все до одного, белые и крепкие, как у собаки, без единой пломбы. А из-за зубов — голос. Иерихонская труба. Я просто пропал. Грудь у нее была мощная, широкая, выпуклая. Знаете, сколько кубиков она выдувала? Шесть тысяч. А мускулы какие! Представьте себе, потом, когда мы с ней уже были женаты, иной раз она меня даже била. Вам смешно: баба бьет мужика, но, честное слово, я очень это любил. Думал: бьет — значит, любит.

— А за что она вас била? Простите за нескромный вопрос.

— Ну что вы! Какая же нескромность, когда я сам вызвался вам все рассказать. Била за женщин. Знаете, мне всегда очень женщины нравились. Может быть, потому, что я с мамой вырос. Мне с ними было как-то больше по себе, чем с мужчинами. Мне почти все женщины нравились. Каждая по-своему. И я им нравился, вероятно, за то, что умел их различать. Случалось и согрешить. И всегда после этого я приходил к Нине и каялся. Она никогда не устраивала трагедий, как другие женщины: слезы там и прочее. Сердилась она, это верно. Ругалась. Иногда даже собиралась совсем уйти. А уж когда побьет, я знаю, что в душе она меня простила. Какая была женщина! Этого не расскажешь.

— Вы, кажется, говорили, что она была женой вашего приятеля? А потом — вашей? Как же это произошло?

— Знаете, я в нее сразу же влюбился и, видимо, тем ее и взял, что очень уж сильно любил. А она любила мужа. Ну, и меня тоже полюбила. Вы не подумайте, она вовсе не была легкомысленной женщиной. Только мы с ней четыре раза женились и разводились. Выйдет она за меня замуж, и начинает ей казаться, что она того, Леню, больше любит. Уходит от меня и выходит замуж за Леню. Тогда с браками и разводами просто было. Чтобы жениться, надо было вдвоем прийти, а чтобы развестись, достаточно было заявления одного из супругов. Теперь трудно даже поверить, что была такая свобода. Доверяли людям. Так вот, моя Нина записывалась вдвоем — то со мной, то с ним,— а разводилась одна. Не мог я с ней ходить разводиться. На третий раз (кажется, на третий) я уж не захотел даже идти регистрироваться, сказал: может, просто так попробуем? А она сверкнула на меня глазами (голубые были глаза, а сверкали, как черные) да как закричит: «За кого ты меня принимаешь? Я ведь к тебе по-серьезному пришла, на всю жизнь!» И пошли, записались. Мне уж было неловко перед барышнями в загсе: все нас знали и смеялись. Мелкий человек. А Нине — хоть бы что. Идет каждый раз в загс веселая, гордая, счастливая, а волосы так и сияют. А потом — пройдет недели две-три и начинает она задумываться. Думает о Лене. Даже плачет, жалеет его. Видите ли, она так трогательно о нем говорила, что иногда я сам с ней плакал — ну не плакал буквально, а таял от жалости. Один раз даже сам сказал ей: иди,— и пальто подал.

— А как же это все кончилось?

— Знаете, кончилось это самым неожиданным образом. Я почувствовал, что больше не могу, и перевез к себе тещу. Тещу свою, Аделаиду Филипповну, я терпеть не мог. Должно быть, за то, что она очень была похожа на Нину, но в карикатуре. Нина — большая, полная, сильная, а теща — грузная, грубая. Голос у Нины—громкий и яркий, как фанфара. А у тещи был голос вышибалы. Меня она терпеть не могла, а Леню любила. Жила она отдельно, и я даже редко ее видел. Когда Нина ушла в третий раз, я поехал к Аделаиде Филипповне и предложил ей у меня поселиться. Старуха меня просто ненавидела. Но тут почему-то согласилась и ко мне переехала. Ну, и ругались мы с ней! Бранилась она куда крепче меня, как грузчик. Прожили мы с ней месяца полтора-два, и тут вернулась Нина. И, представьте себе, навсегда вернулась. Зарегистрировались мы в последний раз и больше уже не разводи-

лись. Удачно получилось у меня с тещей, как говорят — осенило. Потом я ее даже полюбил, и она меня, хотя ругались по-прежнему. Умерла она года через два — я о ней очень жалел, вот ведь как бывает.

С Ниной мы жили хорошо. Она, я вам уже говорил, была певица, и отличная певица. Успех огромный. Всегда были у нас букеты, цветы в горшках, даже венки. Другие певицы поют только в концертах, на эстраде: боятся голос надорвать. Нина была не такая. Она везде пела: в ванной так в ванной, в кухне так в кухне. Иной раз даже на улице запоет, милиционера дразнит. А дома она всегда пела, а я рисовал или писал красками, и мне казалось, что я рисую то, что она поет. А портретов с нее я не писал, боялся.

Дома у нас порядка большого не было. Хозяйка она была никакая. Вот тут, поскольку я заговорил о хозяйстве, можно вам рассказать про Татьяну. Она потом много для нас сделала.

Татьяна эта была большая, толстая, сильная бабища, вроде каменной бабы с кургана. Лицо, впрочем, красивое — в русском духе. Гладкое, широкое, румяное, глаза с поволокой и коса до колен. Ее раскулачили, и пришлось ей с семьей бежать из деревни. Муж у нее — этакий незаметный мужичонка с насморком. Двое детей, еще маленькие: Нюра и Коля. Приехали они всей семьей в Ленинград. Конечно, без прописки — об этом и заикнуться нельзя было. Стали жить без прописки. Приткнулись в уголке за занавеской у брата Татьяниного — тоже пьяница, род занятий неопределенный. Татьяна семью кормила и брата тоже. Энергии в ней было через край. На работу, конечно, поступить не могла — ни одной справки. Стала она, что называется, спекулировать: выстоит в магазине очередь, купит, несет на рынок, продает — конечно, с наценкой, с божеской, а то и без наценки, если покупатель по душе придется.

По этим делам она и к нам попала, по спекулятивным. Нине ее рекомендовали: все, мол, может достать. И правда. Нина любила хорошо одеться, хоть и не умела носить вещи — то запачкает, то прожжет. На мой вкус, чем проще она была одета, тем лучше. Нину не надо было украшать, она ведь очень была красивая. Кажется, я это уже говорил. Татьяна стала к нам ходить сначала как спекулянтка. А потом прижилась. Стала Нине помогать по хозяйству, приходила каждый день. Привыкли мы к ней, а она к нам.

Меня в этой Татьяне всегда поражало невозмутимое спокойствие, даже, я бы сказал, веселость. Казалось бы, какая ее жизнь? Бьется одна с детьми — муж не в счет,— в чужом городе, без прописки. Ютятся в каком-то мерзком подвале, за занавеской. В любую минуту могут дознаться, что она живет незаконно, выслать из города, а то еще хуже — арестовать за спекуляцию. Я все удивлялся: как она может быть такой безмятежной? Очень уж мне это было непонятно. Знаете, наш брат, проклятый интеллигент, родится с любовью к законности. Ему непременно надо быть прописанным, зарегистрированным, куда-то причисленным, иначе ему не жизнь. А Татьяна жила как птица небесная. Наш брат на ее месте загрыз бы себя страхами, сам бы пошел в милицию — девайте меня, мол, куда хотите, только определите мое положение. А Татьяне ее жизнь казалась естественной, как всякая другая. Улыбалась она очень хорошо. Я ее портрет написал с косой и с улыбкой, ничего. Он потом пропал, как и всё. Нина к ней почти не ревновала, один раз только или два попало мне за Татьяну.

— Как, вы разве с Татьяной тоже?..

— Да.— Он сказал это просто, с доброй улыбкой.— Я ведь вам сказал, что мне женщины очень нравились. А Татьяна была даже очень красивая, в своем роде, в своих габаритах. Главное — спокойная. Ничего лишнего не было у нее в душе.

Ну, так вот, жили мы с Ниной хорошо, только детей у нас не было. В тот первый год, когда Нина уходила от меня к Лене и обратно, она сделала два аборта, а потом как-то не получалось. Жили мы так лет пять или шесть. А в тридцать четвертом году Нина забеременела, и мы были рады. Я детей очень люблю. Ждали мы девочку, Леночку. Только ничего из этого не вышло, потому что скоро началось всё.

Что всё? Вы понимаете, я кировского набора. Не понимаете? Да, вы же не ленинградка. Кировским набором у нас называли тех, кого из Ленинграда выслали в тридцать пятом году, после убийства Кирова. Сколько тогда выслали народу — никто в точности не знает. Только наверняка очень много. Многие тысячи. А нам казалось — всех. Ведь каждый из нас живет в довольно замкнутом мире, и ему кажется, что этот мир — все. Высылали, конечно, не всех, а главным образом интеллигенцию. А пуще всего — старую, потомственную интеллигенцию, с крепкими ленинградскими корнями. Рвали с корнем. Всех наших друзей выслали. И нас с Ниной — тоже. Пришли однажды ночью, отобрали паспорта, приказали через два дня выехать в Казахстан. Даже село, куда ехать, в точности обозначили. Там тогда не целина была, а сплошная дикость. Нина была беременна на восьмом месяце, и я пошел к одному — черт его знает, кто он был по должности,— от которого мы зависели, и очень просил, чтобы нам разрешили остаться до родов. Очень хорошо помню, как он меня принял. Я ему: «Ведь мы же ни в чем не виноваты». А он: «Вас никто ни в чем и не обвиняет. Вы высылаетесь в порядке массового оздоровительного мероприятия. Ничего для вас не могу сделать». А сам смеется, особым таким смехом, беззвучно,— знаете, как собаки смеются: открыл рот и дрожит языком. Тут я понял, что говорить ему что-нибудь бесполезно. Пошел домой, и стали мы собираться.



Татьяна нам помогала укладываться. Грустно ей было с нами расставаться, привязалась все-таки. Вот она и говорит: «А вы не поезжайте». «Как так?» «А очень просто, не поезжайте, и всё тут». «Так ведь у нас же паспорта взяли». «А вы живите без паспортов. Я же вот живу».

Нет, куда там! Разве это нам было по силам? Легальность нас заедала. Собрались и поехали.

Село это в Казахстане, куда нас выслали, было даже не маленькое, но очень уж далеко отовсюду, глубоко в степях, от железной дороги — километров сорок. Знаете, как может быть одиноко в степях? Я всю жизнь прожил в Ленинграде и привык чувствовать рядом море. А тут — страшно даже подумать — на тысячи километров кругом одна сухая земля. Вначале я от этого очень тосковал с непривычки.

Нас, ссыльных, в этом селе много было, человек пятьсот, и все из Ленинграда. Нашли там знакомых: Головиных, Голицыных, Геллеров. Потом оказалось, что в это село высылали только букву Г. Жить было негде, работать — тоже. Кое-как устроились мы с Ниной в избе, вернее, землянке глинобитной, вместе с хозяевами, спасибо — пустили нас. Жили мы в углу, за ситцевой занавеской, как Татьяна у брата. На другой день после приезда начались у Нины роды, раньше срока. Больница—за тридевять земель, да и везти не на чем. Верблюды там, но как-то не решился я на верблюде. Принимала у Нины одна докторша, тоже на букву Г. Нина рожала там же, за занавеской, а я выходил на двор и сжимал кулаки так, что ногти впивались в ладони. Роды были трудные, двое суток. А ребенок — девочка — родился мертвым. Да.

Нина долго болела. А когда встала, начали мы с ней пытаться жить. Трудно было. Главное, ведь мы из-за легальности ехать согласились, а легальности — никакой. Никому до нас дела не было. Живи, как хочешь и чем хочешь, только ходи каждую неделю отмечаться в районный центр. Полное село учителей, инженеров, библиотекарей — а работы нет даже для десятка. Кое-как мы все-таки перебивались. Нина на картах гадала за хлеб. А я пробовал рисовать. Даже один раз сделал маслом портрет местного вельможи и получил за него баранью ногу.

Но все это не так страшно. Самое страшное было то, что среди нашего населения на букву Г начались уже настоящие аресты. Ночью залают собаки, так и зальются. А утром выйдешь, и говорят: того взяли, другого взяли. Очень это было страшно. Человек трус, пока уязвим, а у меня была своя уязвимость: Нина. Помню, выйдешь ночью во двор, луна светит, огромная, белая. Тень от плетня черная-черная. И слышно, как по всему селу перекликаются, лают собаки. Идут, значит. И чувствую, что на этот раз к нам идут. За нами. И так становится страшно, что думаешь: хоть бы уж скорей приходили. А собаки лают уже дальше — значит, не к нам. Утром смотришь: одного нет, другого. Шепоты. Страшнее всего эта неизвестность: за что, почему, кого? Немцы, нацисты, это очень хорошо понимали. У них такая система называлась Nacht und Nebel. Ночь и туман.

И вот однажды, в одну такую ночь с собаками, я почувствовал, что больше не могу. Сойду с ума. На другой день я заявил Нине: «Мы с тобой едем в Ленинград». «Как в Ленинград?» «А так, очень просто. Возьмем и поедем». Она сразу согласилась, даже повеселела. Я сам-то больше колебался, во мне крепче была легальность, но я переломил легальность, и мы уехали. Добра-

лись до станции, продали мой костюм (хорошо, Нина его сберегла) и купили билеты. Нина настояла, чтобы в мягком. Кутить так кутить!

Едем мы, значит, в мягком вагоне. Едем совсем как люди, и никто нас не знает. Все оторвано — сзади и спереди. Словно летишь куда-то. Помню, в молодости был у меня друг, тоже художник. Он говорил, что ему хотелось бы существовать, но не числиться ни в одном списке. Так вот — мы ехали и существовали, но нас не было ни в одном списке. То есть там, позади, оставался список на букву Г, но от этого списка мы оторвались, и теперь у пас списка не было. Любопытное ощущение.

Ехал с нами в купе один военный. Высокий такой, молодой, красивый. Я его сегодня с трудом узнал. Это тот самый — наш с вами сосед. Изменился он, конечно, ведь двадцать лет прошло с хвостиком, да и поседел, но все-таки узнать можно. Вспомнили мы с ним сегодня про Нину. Она тогда ему очень понравилась. Моя Нина ведь была очень красивая, все в нее влюблялись. А тут, когда мы вырвались из списка и ехали, особенно она была хороша — веселая, как в лучшие времена, и немного пьяная от свободы. Достали они у проводницы гитару и целыми днями пели. У него голос был неплохой, а Нина — чего вы хотите — профессиональная певица. К нашему купе со всего вагона сходились — слушать.

Один раз вышел он в коридор покурить, а мы с Ниной остались в купе, и я ей говорю: «Завидно на него смотреть. Есть же такие счастливые люди! Едет он и знает, куда едет, есть у него свое место. Хозяин жизни. А мы с тобой?» Нина ничего не ответила, только по щеке потрепала. А тут он вошел, и снова начались песни.

Вечером я лег на верхней полке, а они остались внизу. Четвертое место было не занято, вот как у нас с вами. Лежу я на верхней полке и все думаю: что будем делать в Ленинграде? А они разговаривают, и слышу я этот разговор. Сначала смеялись, шутили, а потом замолчали. И вдруг, слышу, говорит он — совсем другим голосом: «А знаете, Нина Анатольевна, как мне приятно на вас с мужем смотреть? Смотрю и думаю: едут двое, молодые, красивые — хозяева жизни. А я? Не могу даже понять, кто я такой. Хочется мне все вам рассказать. Был я в отпуску и получил письмо от приятеля по работе, что на меня поступил донос, и, как только я вернусь, меня сразу же арестуют. Разумеется, не всеми словами написано, но понятно. И я решил — не возвращаться. Взял билет и поехал просто так, куда глаза глядят. И сейчас я рядом с вами еду, и вид у меня как у человека, а на самом деле меня вовсе нет. Вы этого не поймете». И тут, понимаете, он заплакал. Я тоже лежу на верхней полке, прикрывшись пальто, и, верите ли, плачу. А Нина была твердая, она не заплакала. Она только сказала ему, совсем тихо: «Мы такие же, как вы».

Пока шел рассказ, мой собеседник несколько раз наливал рюмку. Он совсем не пьянел, только становился спокойнее, и из голоса совсем пропали неприятные, заискивающие ноты. Он сидел за стóлом красиво и просто, как хозяин, и нравился мне все больше. Все-таки, когда он еще раз налил, я на всякий случай спросила:

— Может быть, хватит?

— А, это вы о водке,— не сразу понял он.— А я думал, о моей истории. Насчет водки вы не беспокойтесь. Я никогда не бываю пьян. Мне, если хотите, чтобы стать нормальным, нужно двести граммов, без этого я не человек. Так сказать, отрицательное опьянение.

В вагоне-ресторане было совсем тихо. Статная официантка с кружевной короной на голове несколько раз подходила узнать, не нужно ли чего еще, но нам ничего не было нужно. Наконец поняла, что ждать больше нечего, и ушла, окинув меня через плечо презрительным взглядом. Так умеют смотреть молодые женщины на тех, кто постарше. Серый пьяный за дальним столом наконец успокоился, уронив голову на руки. Мой собеседник через стол на мгновение положил свою прыгающую руку на мою — теплым, дружеским жестом.

— Вам в самом деле не надоело еще слушать?

— Нет, что вы, напротив, очень интересно.



— Какая вы милая! Так я буду продолжать. Собственно, не так много уж осталось. Приехали мы в Ленинград. Под ногами — родные камни. Хочется целовать эти камни. Денег нет, жилья — тоже. Идти — некуда. Друзья все, как и мы, высланы. А кто и остался, того страшно подвести. И тут сразу, не сговариваясь, решили: к Татьяне. Пошли к Татьяне.

Брат ее, пьяница, жил все в том же подвальчике, только спился уже окончательно. Еле мы его растолкали. Рассказал, что сестра больше тут не живет, муж ее умер, сына взяли в армию, а дочь вышла замуж за рабочего, и теперь Татьяна, как путная, живет у дочери и даже прописана. Дал нам ее адрес.

Представьте себе, встретила нас Татьяна как родных. Накормила, напоила, вымыла. Стали мы с ней советоваться — как быть? Она говорит: дальше будет видно, а пока что живите у меня. Я даже удивился, что она так смело говорит: «У меня»,— дом-то ведь был Нюриного мужа. Но потом стало ясно, что она здесь полная хозяйка. Мальчик этот, Нюрин муж, просто в рот ей смотрел. Да и в материальном смысле она по-прежнему была глава семьи. Откуда уж она деньги добывала, чтобы кормить всех, и нас в том числе,— не знаю. Боюсь, что по-старому спекулировала.

Я, вероятно, плохо рассказываю. Вам может показаться, что Татьяна эта дурной женщиной была. Ведь спекулянтка — это, по-вашему, плохо. Значит, это я виноват перед ней, что плохо рассказываю. Татьяна была чудесный, настоящий человек. Это про нее сказал Некрасов: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Ничего она не боялась, все делала просто и весело. Верите ли, пока мы с Ниной у нее жили, мы ни разу не почувствовали, что живем из милости, на ее счет.

У них в квартирке — плохонькая такая квартирка, в старом деревянном домике,— был темный чулан, и она отдала его нам с Ниной. И стали мы жить у Татьяны. Мы с Ниной тоже немного зарабатывали. Она вышивала салфетки, я рисовал коврики — русалок и лебедей,— а Татьяна наши изделия продавала на рынке. Немного, но что-то выручала.

Скоро я научился так рисовать, чтобы было красиво. Ведь у нас, в сущности, вкус испорчен, а по-настоящему красиво это то, что всякому нравится: огромные глаза, губы сердечком, лебедь на фоне зари. Татьяна этих ковриков больше бы продавала, спрос был, но боялась, как бы не дознались, где она их берет.

И так мы жили, от всех спрятавшись, два года. На улицу не выходили: заметят. Увидим, что идет к Татьяне кто-нибудь, и сразу с Ниной к себе, в чулан, сидим тихо-тихо. Уйдут — мы обратно. Один раз даже милиционер приходил. Только не за нами, а по Татьяниным рыночным делам. Она быстро с ним справилась, очаровала, даже водкой угостила, ушел ручной.

В общем, жить можно было, только очень скучно без книг (книг-то у Татьяны не было, я уж календари читал по многу раз) и без воздуха. Я иной раз даже задумывался: а хорошо ли сделали, что уехали? Там хоть иногда подышать удавалось.

А Нине труднее всего было — не петь. Нельзя ей было петь: соседи услышат. Иногда забудется, запоет, а я ей: Нина, не пой. Раз она на меня так посмотрела, даже страшно. Я сразу понял, чтó она подумала: тебе хорошо, ты рисуешь, этого никто не слышит. А я уже совсем ничего не мог рисовать, кроме лебедей и русалок. Они даже по ночам мне снились.

Прожили мы так года два, и стал я замечать, что с Ниной что-то неладно. Прежде всего у нее изменился взгляд. Раньше был голубой такой, открытый, а стал серый, подозрительный. Раз как-то я вошел в чулан, а она от меня что-то прячет. Я все-таки увидел: это была маленькая-маленькая рубашечка, как ее называют... распашонка. Только совсем маленькая, меньше, чем на грудного ребенка. Я было обрадовался, хоть и испугался, но потом оказалось, что нет у нее никакой беременности, а это начиналась душевная болезнь. И все из-за ребенка.

Когда Леночка умерла, Нина не очень сильно горевала. Нет, вы не поймите меня плохо, она плакала, как всякая мать, но горе ее не сломило. Остались и блеск в глазах, и голос, и осанка. А два года в чулане — сломили. Скоро я понял, в чем дело. Достаточно было раз увидеть, как она сидела в углу и баюкала тряпичный сверток, называла Леночкой... Я все понял. А еще иногда она принималась хохотать. «Тише, Нина»,— я говорил. Она умолкала и начинала рвать на себе волосы. Я их каждый день находил на нашей койке

в чулане — красивые такие, блестящие локоны,— она их рвала целыми прядями. Я...

Он снова немного помычал с закрытым ртом. Я уже знала, что это ничего, нужно только переждать, и он заговорит спокойно. Он все не говорил, а я торопила его мысленно: ну же, ну... Он заговорил:

— Пришлось нам с Татьяной отдать Нину в больницу. Она уже мало что понимала. Договорились, что Татьяна отведет ее и скажет, что нашла больную на улице. А я не пойду с ними, чтобы себя не выдать. Мне-то было все равно, выдам или нет, но Татьяна заботилась о ней, чтобы ей было куда вернуться, когда поправится. Я согласился. Довел Нину только до перекрестка. Первый раз я был на улице за два года. Небо такое голубое — больно глазам. На углу я поцеловал Нину. Она на меня посмотрела — и, честное слово, это был совсем осмысленный взгляд. Я смотрел, как они уходили под солнцем, она с Татьяной, и волосы у нее стояли на голове и светились. Я это на всю жизнь запомнил. Больше я Нину не видел. То есть видел один раз—в гробу.

Мы посидели и помолчали. Он не говорил, я не спрашивала. Прошло минуты две или три. Кстати, где была моя большая забота? Кажется, ее не было.

— Умерла моя Нина в больнице. Об этом я рассказывать не буду. Тогда я совершенно отупел. Мне было все равно. Я сидел в чулане и молчал. А когда кончил молчать, оказалось, что руки у меня трясутся и я даже не мог рисовать лебедей.

Татьяна меня буквально вы́ходила. И знаете, что она сделала? Она мне купила паспорт и новое имя, устроила меня на работу. Стал я бухгалтером в одной артели. Звали меня Иван Матвеевич Сидоркин. Никто в мою жизнь не лез. А перед самой войной я даже получил работу получше: стал референтом в научно-исследовательском институте. Устроил меня туда один знакомый, еще по старой жизни. Знал, кто я, но не испугался. Не все же трусы. В науке я ни черта не смыслил, но знал три языка и в общем справлялся. Жил по-прежнему у Татьяны, только был уже прописан и почти легален.

Так я жил до самого начала войны. А зимой сорок первого меня арестовали. И вот что интересно: арестовали уже под новым именем, за преступления Ивана Матвеевича Сидоркина. И, представьте себе, когда арестовали, я в каком-то смысле даже обрадовался. Это давало мне какую-то почву под ногами. Я сразу же объявил следователю свое настоящее имя. Он не поверил, решил, что я заметаю следы. Говорю ему: «Я Галаган». А он: «Не морочьте мне голову, вы Сидоркин». Сказал, разинул рот и засмеялся беззвучно, как собака. И тут я его узнал. Это был тот самый, с песьим смехом, который тогда высылал нас с Ниной. Я его узнал, а он меня — нет. Ведь таких, как мы, были тысячи. И тут я потерял над собой контроль и сказал ему: «Ах ты сволочь, сволочь! Ты думаешь — ты хозяин жизни. А ты — пес жизни». И дал ему в морду. После этого меня сильно били в тюрьме.

Приговорили меня на двадцать пять лет — значит, пожизненно. Обвинение было какое-то опереточное. Будто бы была в Ленинграде тайная организация, которая ждала прихода немцев и заранее формировала правительство. И будто бы мне предназначили портфель министра торговли. Именно «портфель». Мне было все равно, и я все подписал, только в одном пункте заупрямился. Признавал, что министр, а что торговли — нет. Требовал портфель министра по делам искусств. Они говорят: нет такого министерства. А я им: а у нас было. Ведь я же участвовал в заговоре, а не вы. Держу пари, что некоторые из них даже поверили, что выдуманный ими заговор действительно существовал! Люди вообще часто верят в заведомые фантомы. А я уже ничего не боялся, смеялся над ними. Думаю — бейте, а все равно на министра торговли я не согласен. Только они больше меня не били. Спать не давали, это верно, будили среди ночи и подсовывали на подпись показания, а я не подписывал. И, вообразите, уговорил их. Дали они мне портфель министра по делам искусств. Очень это мне было приятно. Часто потом, уже в заключении, в лагере, я вспоминал, что переломил-таки их, и чувствовал себя человеком.

В заключении было не так уж плохо. Или мне лагерь такой попался, благополучный сравнительно. Другие — те страхи рассказывают. Лагерь был в Сибири, далеко от войны, и мы ее почти не чувствовали. Разве что кормить стали похуже, но все-таки сносно, просуществовать можно. Холод, конечно... Зимой было тяжело. Но вообще все это не так страшно. Страшен по-настоящему только страх. Те собачьи ночи, когда я еще был уязвим. Жили мы, заключенные, все по пятьдесят восьмой, дружно, и начальство не очень притесняло. Когда выводили нас на работу, конвойные удивлялись: все мужики, а мата нет.



Тяжело только было с «верующими». Мы так называли тех, кто верил в виновных. Они-то как рассуждали: не может быть, чтобы все это было совсем бессмысленно. Чтобы вся страна сошла с ума. Поэтому должны быть виновные. Не все, далеко не все, есть и невинные (я же вот невинен!), лес рубят — щепки летят (слышали, наверно, такую пошлую фразу), да, щепки летят, но где-то должен быть и лес. А на самом деле все мы были щепки, а лесу вовсе не было. Я по крайней мере ни одного случая не видал. Были такие, которые брюзжали, критиковали, но ни один не был по существу против власти. Наоборот, все были «за». И даже озлобленных, таких, чтобы через меру, не видел. Все-таки святая она, наша российская интеллигенция.

Ну, что же вам дальше рассказать? В сущности, я уже кончил. В пятьдесят четвертом меня освободили, в пятьдесят шестом — реабилитировали. Прописку дали в Ленинграде и даже компенсацию денежную за сколько-то времени.

А того, с песьим смехом, я еще раз видел. Меня вызывали давать против него показания. Я ведь из всего нашего совета министров один-единственный жив остался. Видел я его. Облинял он сильно и не смеялся. Не стал я его гробить, не сказал про то, что меня били. И то, сказать по совести, я же его первый ударил.

Вот, кажется, я вам все и рассказал. Вы меня давеча спросили: кто я? А я и сам не знаю. Поселился я в Ленинграде у Нюры — Татьянина дочка, помните? Татьяна сама умерла в блокаду, Нюрин муж на войне погиб, она сошлась с другим, а он ее бросил. Осталась она с маленьким мальчиком, Сашенькой зовут. Очень я этого мальчика полюбил. Нюра на работу ходит, а я Сашеньку нянчу. Хорошенький такой мальчуган, голубоглазый. Когда гуляю с ним, все его за моего принимают — кто за сына, кто за внука. Так и живу — у Нюры в няньках. И нисколько мне не стыдно, что я нянька. А вы спрашиваете: кто я? Сказал бы вам тогда: нянька,— вы бы не поверили.

А куда я сейчас еду? Это так, глупость одна. Деньги у меня пока есть — от компенсации остались, и захотелось мне съездить на Леночкину могилку. Посмотреть, как она там, не срыли ли. Холмик-то был совсем маленький.

Он кончил рассказывать и добавил:

— Да, хозяева жизни. Не видал я, в сущности, хозяев жизни. Разве что Татьяна. Но она не в счет. Что это за хозяйка — спекулянтка. А как вы думаете, есть ли они где-нибудь — настоящие хозяева жизни?

— Должны быть,— ответила я.

*1960 г.*

Лина КОСТЕНКО

# Новые стихи

*С украинского*

* * *

А в Карпатах солнце — жарким шаром,
тучи проплывают, тяжелы...
Здесь на скалах пишут мемуары
молнии, столетья и орлы.

В золотых поземках зверобоя,
на громов грохочущей арбе —
что имею? Небо над собою.
Что имею? Душу при себе.

* * *

Я ранний голос горлицы люблю.
Скрипучий грохот первого трамвая
я забываю, сразу забываю...

Я ранний голос горлицы люблю.

Но, может, только чудится он мне —
тот несказанный камертон природы,
где зори тихие и где прозрачны воды?

Я ранний голос горлицы люблю.

Чего хотела? Слову дать свободу.
Я — веточка терновая народа.
Горячий лоб к окошку притулю...

Я ранний голос горлицы люблю.

* * *

О, не взыскуй полыни — меда славы!
То мед недобрый, от недобрых пчел.
Взыскуй сказать бескровными устами
о том, что ты в сердцах людских прочел.
Взыскуй прожить несуетно и смело,
взыскуй терпенья, если ты поэт.
А слава что? — подобранный умело,
она на холм твой принесет букет.



* * *

Набрякли веки... не сдержать слезы́,
не осознать безмерности утраты...
«В искусстве я познал одни азы.
Одни азы! Жаль, умирать уж надо».

Земля вам пухом, странный человек.
И в самом деле вдуматься — не странность ли?
Чтоб так искать, так биться целый век —
и лишь азы! — ни грана досконалъности!

Неколебима совесть мастеров,
с ней — не бояться навигаций Леты.
Был труден век. А наш — не так суров:
все живописцы сплошь, и все поэты!

Все гении.
На вечные весы
кладут шедевры в суетной заботе...
Тот, кто познал в искусстве лишь азы,
был Микеланджело Буонаротти.

### *Цавет танем!*

А их дома сгорели, и угольки остыли,
и сгинули их мулы... И вот — бредут в тоске.
А чтоб язык родимый их дети не забыли,
армянки им выводят — по букве — на песке.

А ветер, ветер, ветер!.. Какой жестокий ветер!
Обугленные лица сечет, сечет, сечет!
Лишь букву нарисуешь, и нет ее на свете,
песок сыпучий Слову дать корни не дает.

Как перекати-поле, съедят его верблюды,
забудут Слово дети, — немыми им расти...
Бредут, бредут скитальцы... И что же с ними будет?
Нет крыши — дай букварь им! О, господи, прости!

Разрушены все храмы, мужчины их убиты.
А где колокола их? Там, в озере Севан.
О, как им жить, скажите? Что крови-то пролито!
Не месяц в небе всходит — турецкий ятаган.

А ветер, ветер, ветер! Какой колючий ветер!
Куда же их, бездомных, недоля заведет?
И чтоб писать те буквы, — им места нет на свете,
и некогда, и нечем, и так за годом год.

И только на привале в немногие минуты,
пока в ярмо армянки свое не запряглись, —
те буковки выводят, как стебли, косо, трудно,
слезами поливают, глядь — буквы принялись!

В песках пустили корень — а ветер, ветер, ветер!
Бредут, бредут изгои, изгнанники в тоске,
и буквы, словно вехи, в пустыне путь отметят,
как травы, прорастают в горячечном песке!

Их кони топчут чьи-то, теряются в тумане,
а буквы станут песней, легендой в тишине,
«Цавет танем!» — как скажут на росстанях армяне.
Мол, боль твою беру я. Печаль твоя — во мне.

* * *

Фанерным журавлям — им не бывать на юге.
Ну, разве оживут... Но как бы вдруг смогли?
Над ними клин летит, и нарастают звуки:
а мы ж вас, мы ж вас, мы —
а мы вас кли-ка-ли!

И дождик моросит. Гнездо прибито криво.
И вздрагивает лес, во мгле не видный нам...
Где небо? Где земля? И как поднять им крылья —
фанерным журавлям, фанерным журавлям?

* * *

Ищите цензора в себе.
Он там живет, небритый и дремучий.
Он там сидит, как чертик на трубе,
и вас исподтишка сомненьем мучит.
Иконки поснимает — не за раз,
а постепенно — где какая строчка.
И неприметно вынет вас — из вас.
Останется одна лишь оболочка.

* * *

Настанет день, увенчанный плодами.
Им не страшны ни слава, ни хула.
Мои соцветья биты холодами,
но завязь добрую душа дала.

И ничего, что опускались руки,
что жизнь проходит и вот-вот пройдет.
Зато из боли из такой, из муки
не сотворить мне бутафорский плод.

*Перевела Светлана* СОЛОЖЕНКИНА

●

Геннадий ГОЦ

# Встречи

### *Машук*

Палящий зной над Машуком
Сменила хмарь предгрозовая.
В ней властно буря вызревает
Перед решительным броском.

Тревожно замирает лес...
Дубы, акации и клены
Тесней свои смыкают кроны
Под серой тяжестью небес.

В лохмотьях сизых облака
Ползут по склонам торопливо,
Цепляются нетерпеливо
За каменистые бока.

С горы заметно, что в реке
Вода теперь не серебрится,
Горячеводская станица
Во мгле парной, как в молоке.

Почти не виден с Машука
Бештау островерхий гребень.
А телебашню в низком небе
Уж пеленают облака.

И шквал обрушен на Машук:
Вонзает ветер с верхотуры
В его лесную шевелюру
Всю мощь своих незримых рук.

Листву уносят вихри с круч.
Как волны моря, лес — в движенье.
Над ним все гуще торошенье
Набухших влагой черных туч.

Под гулкий грохот с высоты
Струи, как шелковые стропы,
Прохладой орошают тропы,
Дороги, скалы и кусты.

И хруст ветвей,
И стон стволов,
И птиц испуганные крики,
И молний огненные блики —
Машук в свой час принять готов!

Он все, что время повелит,
Исполнит,
груз беря на плечи:
Сам щедро шрамами отмечен,
Врачует раны, души лечит
И память гордую хранит.
Гроза над ним,
свой счет сведя,
Смиряет гнев.
И тучи чинно
Проходят вереницей длинной
Над опаленною долиной
И нивой, жаждущей дождя.

### *Играют мальчики в футбол...*

Играют мальчики в футбол.
Вихры мелькают, майки,
гетры.
В рывках не метры —
километры.
Игра и удаль с вольным ветром,
И без судьи засчитан гол!

Всевластен здесь пятнистый мяч:
Добротной кожи,
настоящий,
Упругий,
яростный,
звенящий.
Но непослушный,
хоть ты плачь.

Пока —
не ладится игра,
Не получается пасовка.
И на площадке вратаря
Очередная потасовка.

Вот левый крайний
вновь с мячом.
Он, чувствую, мне чем-то важен:
Настырен,
ходок и отважен,

И крепок худеньким плечом.
Ядром летящий мяч
на грудь
Он принимает,
и вся стая —
За ним, в атаке нарастая.
Удар!
Ах если бы чуть-чуть...

Я сам тот левый край «держал»,
Хоть не в таких кроссовках
модных,
В сороковых,
полуголодных
Ворота эти штурмовал.

Теперь черед других играть,
Мечтою уноситься в выси.
И может милый белобрысик
Кумиром стадионов стать.

Он в поединке так горяч...
Кричу мальчонке поневоле:
«Спокойно!
Обработай мяч!
Вон ждут ребята передач.
И в схватке надо видеть поле».

В своей мальчишеской судьбе
Не разменяй на мелочь
дара.
Бобровского тебе удара,
Отваги яшинской тебе!

Пускай в поту,
пускай в пыли
На стадионе
или в зале
Чтоб не копейки да рубли
Твои удары высекали.

И стаи первой не забудь,
И трепет сердца в миг удачи.
Ведь нам с тобой
нельзя иначе:

Игра и удаль.
В добрый путь!

* * *

Как на ладони —
горная страна
С заоблачных высот доступна взору:
Великая Китайская стена
Гигантской лентой обрамляет горы.

Стремительно взбираясь на хребты,
Она вершины башнями венчает,
Потом сбегает быстро с высоты,
Чтоб восхожденья совершать сначала.

Извилистою каменной рекой,
То исчезая,
то являясь снова,
Она несет как будто непокой
И тайны неразгаданного слова.

С тем непокоем
в первый выходной,
Чтоб оглядеть с земли —
не с самолета, —
С рассветом
нас на встречу со Стеной
Доставит быстроходная «тойета».

Разноязычный многоцветный люд
Сошелся здесь,
подтянут и расхристан...
Для кино- фотопамяти
верблюд
Несет свой крест —
джинсового туриста.

Как много нас,
и схожи мы одним:



Всем надобен огонь прикосновений.
И мы к вершинам крепости спешим,
Шагая по заснеженным ступеням.

Живет творенье древних мастеров!
Зубчатый,
тысячекилометровый
Могучий бастион былых миров, —
Над ним лишь небо
шелковым покровом.

А с башни
дальний видится массив,
Где высятся, как волны океана,
Гряда с грядой,
хребет с хребтом, застыв
Как будто бы по воле великана.

Какой ценой оплачен,
окрылен
Был дерзкий вызов всем ветрам и грозам:
Мечтами зодчих?
Каторжным трудом
И кровью безымянных камнетесов?

Я и сегодня вижу с вышины
Их с каменными глыбами на склонах,
Сквозь блоки многотонные слышны
Мне душу раздирающие стоны.

Здесь страшной силы буйствовала власть
И скалы содрогались от проклятий,
Чтоб та Стена на гребни вознеслась,
Сжимая горы в каменных объятьях.

За каждым камнем —
тень.
Из тех камней
Истории немыслимые кручи,
Тревог былого и грядущих дней
Здесь в тишине мне слышатся созвучья.

Судеб народных трудные пути
Тут сквозь века сходились и мгновенья.
Стена! Ты помогала им прийти
К объединенью?
Иль отъединенью?

Быть может, звездный час приходит твой,
И день,
и век высокого призванья,
Когда планета, обретя покой,
О чудесах расскажет мирозданью.

И, чтоб узнать о подвигах Невы,
Загадках Пасхи,
красоте Гаваны, —
Поток людей пойдет.
Из синевы
Через моря и реки,
башни, рвы
Доставят их аэрокараваны.

Пусть тропы мирных путников ведут

К твоим, Стена, ступеням каменистым.
Еще хочу, чтоб здравствовал верблюд
На радость очарованным туристам.

### *На улицах осенних*

На улицах осенних
Без грозных потрясений
В час пик —
Многоголосный
И миллионколесный
Пекин.
Отнюдь не бедный
Пекин велосипедный,
Тойетный,
Мерседесный, —
В одном потоке тесном!

В движении
Согласном,
Неспешном,
Неопасном,
Где молодой и старый
Жмут на педали
С жаром.
И нет конца
И края
Велосипедной стае.

Загрузят магазины
Ее велокорзины,
Расцветят
Щедро, густо
Бананами,
Капустой,
Чудной,
Зеленохвостой
Да, как метелка,
Рослой.

Я здесь,
Вдали от дома,
Ищу своих знакомых.
Тех, стройных,
Юных,
Прежних,
Сокурсников прилежных.
В былых пятидесятых
Одной мечтой объятых,
Что с нами
Пели хором
Про Ленинские горы.

В течении широком
Авто-
Велопотоком
Хозяева столицы
Плывут.
Светлы их лица.
Мне по душе их разность,
Серьезность
И не праздность.
Несуетность прохожих
В осенний
День погожий.
Уверенность
И живость,
Достойная учтивость...

Мне так близки
Заботы
Спешащих их
С работы
К невестам,
Детям,
Женам,
Театрам,
Стадионам.
К земле,
Садам,
Теплицам...
Я узнаю их лица!

●

Александр ПРОХАНОВ

# Шестьсот лет после битвы

РОМАН

## *Глава тринадцатая*

Они нашли свой «рафик» на сельской улице. Мотор фыркал. Водитель с фонарем рылся в раскрытом двигателе. Попросил повременить немного, довершал какой-то малый ремонт.

— Зачем нам ждать? — сказал Фотиев. — Пойдем по дороге, а машина нагонит.

Большой, сильный, быстрый Фотиев шагнул вперед. Оглянулся на нее чуть светлевшим лицом, увлекая за собой. И она сделала шаг за ним следом, отмечая этот шаг как стремление за ним.

Прошли село с редкими огнями в окнах. Миновали храм, едва белевший в ночи. Осталась сзади гора с невидимыми могилами и крестами. Дорога, гладкая, белая, заскользила, зазвенела. Небо, окаймленное елками, длинное над дорогой, заблестело звездами.

Антонина едва ступила на этот твердый, накаленный морозом, убеленный звездным блеском путь, ощутила легкость, веселье. Не случайно она появилась здесь, на этой дороге, вместе с ним. Так было задумано, было уготовано прежде, еще с утра, когда встретились, и он осторожно коснулся ее платка, и раньше, накануне, когда вспомнила о нем мимолетно и вдруг захотела увидеть, и раньше, когда познакомились впервые в автобусе среди сумрачных полян, перелесков, и он говорил ей о чуде, и раньше, гораздо раньше, уже не помнит когда, — все было уже уготовано: этот путь среди черных елок, эти белые острые звезды, звон морозной дороги.

— Очень важный был для меня разговор, очень дорогое знакомство! Эти идеи, эти мысли о сотворении добра и блага, они, вы видите, не в одной моей голове. Оказывается, здесь, в глухомани, живет замечательный старик, и у него те же идеи. Сосед мой по общежитию, солдат, совсем молодой, вернулся из Афганистана, прошел бойню, кровь, а принес все те же идеи. И стар, и млад — все к одному приходят! Инженер, военный, священник, рабочий — а идеи одни. Значит, так начинает думать народ! Значит, я выбрал правильный путь! Вы согласны?

Она соглашалась, кивала. Верила в его успех, в его путь, но сама-то знала: есть один-единственный путь — этот, по которому вместе идут. Только одна дорога — эта, белая, снежная, среди елок и звезд, на которую ступили сейчас. А он и не догадывается, не замечает, думает о каком-то другом, известном ему пути, о другой, ему известной дороге. Но она-то знает, есть только эта. Знает, но молчит, улыбается, слушает его.

— Замечательно, что вы меня пригласили сегодня! С утра вы принесли мне удачу, победу «Вектора», а вечером подарили это новое знакомство. Согласились провести со мной вечер. Отчего мне с вами так легко и свободно? Хочется вам говорить, рассказывать. Отчего?

Она улыбалась, старалась поспеть за ним, за его сильным, широким шагом. Не отвечала, но знала ответ: это дорога такая. В ней, в дороге, все отгадки. А он-то и не знает об этом. А она хоть и знает, но молчит.

---

Окончание. Начало см. «Октябрь» № 8 с. г.

— Может быть, вы слушали меня и думали: «Он наивный. Он утопист, мечтатель». Но нет, я не наивный. Знаю, будут впереди испытания, беды, тяготы. Будет горе. Но я верю в победу доброго, коренного, народного, в нарастание добра. Ну а если станет невмоготу, если темные воды подымутся до глаз, я пойду к вам и трону ваш платок — и воды отступят. Можно? Вы мне позволите?

Она молчала, улыбалась. Звезды над дорогой разноцветно мерцали. Складывались в узоры, в соцветья, словно в небе дышал огромный черный платок, расшитый цветами и травами. Все летние травы, цветы, что росли и цвели по лугам, оставили в зимнем небе свой разноцветный узор.

Ей казалось, по этой дороге кто-то шел до них много лет назад, молодой, счастливый и любящий. И другие, верящие, ожидающие чуда глаза смотрели на эти звезды.

— Холодно, — тихо сказала она; у нее замерзли руки. Ветер с озера, пролетая над елками, поджигал, раздувал в небесах новые ледяные соцветия. — Замерзла, — повторила она.

Он наклонился, взял ее руки, снял с них рукавички. Грел в своих больших теплых ладонях. Дышал, касался губами, то ли целовал, то ли стремился отогреть. И она отдавала ему свои застывшие пальцы, чувствуя прикосновения его быстро дышащих губ.

— Теплее? Теперь теплее? Пробежим немного, согреетесь!

Подхватил ее под руку, увлек за собой. Побежали, заскользили. Звезды превратились в длинные разноцветные росчерки, приблизились, пронзили вершины, заструились по щекам, по зрачкам до слез, до горячего влажного блеска.

Она задыхалась, не хотела отстать, хотела быть вместе, рядом. И такое напряжение сил, такое предельное из дыхания, из ударов сердца стремление, что вдруг на бегу в остановившемся вздохе, в задохнувшемся переполненном сердце что-то случилось. Свет, прозрение, полет. Будто лес осветился до корней застывших деревьев и глубже, до уснувших трав и цветов. Дорога продлилась вся, далеко в обе стороны, в бесконечность, и она, прозревшая, на этой дороге увидела всю свою жизнь от начала до последней черты, возникшую в одной ослепительной вспышке. В этом белом, сведенном в точку огне — такая боль и такое счастье, знание о своем рождении, о своей смерти, о своей неизбежной, данной на короткое проживание жизни. Все промелькнуло в мгновение. Вспышка погасла. Лес потемнел и померк. В черном небе морозные звезды. От недавнего знания осталась лишь близкая память, изумление, сладость и боль. Что это было? Что пролетело над ней? Что посетило ее сейчас на зимней дороге?

— Согрелись?.. Вам легче? — Он наклонился, заглядывал ей в глаза. — Теперь вам теплее?

— Да, — сказала она. Ей казалось, что его лицо, весь он, в темном пальто и шапке, охвачен легчайшим свечением, тем, что осталось от недавнего пролетевшего чуда.

Сзади на дороге зажглись две фары. Мягко хрустя, подкатил «рафик». Шофер посадил их, замерзших.

— Сейчас все печки пущу! Мигом согреетесь!..

Фотиев сел к окну, посадил ее рядом, заслоняя от близкого ледяного железа, от заиндевелого, со сквознячками окна. Оказавшись в тепле, она вдруг почувствовала, как застыла, как мало в ней осталось тепла. Ее охватил озноб. Фотиев почувствовал, что она дрожит в своей шубке. Обнял ее. Она не отодвинулась, благодарно прижалась. Так и ехали, боясь пошевелиться, боясь посмотреть друг на друга. За холодным непрозрачным стеклом сквозь лед и иней мерцало, искрилось, сыпалось, словно кто-то невидимый в блестящем одеянии летел с ними рядом.

Впереди на дороге зажглись две стремительные встречные фары. Приблизились, ослепили, превратились в белый дымный клубок огня и снега. Канули, пролетев. И снова серебристая тихая белизна дороги, мелькание елей, лучистое сияние за стеклами. И так хорошо ей сидеть недвижно, согревшись, чувствуя на плече его осторожную руку.

Сзади, поджигая обочины, низкие еловые ветви, опять налетали фары. Их догоняла машина, сигналила, обходила близко, мигая желтым хвостовым огнем. Затормозила впереди, у обочины. Водитель «рафика», повинуясь властным сигналам, затормозил и встал.



Дверь отворилась, и Горностаев в пальто нараспашку, в меховой пышной шапке, разгоряченный погоней, с выражением молодечества на улыбающемся красивом лице вглядывался в полутьму салона. Убеждался, что Антонина здесь, что погоня не напрасна.

— Ну вот как удачно! Думаю, не успею, провороню тебя. Ан нет, настиг. Прошу ко мне! Гарантирую скорость, безопасность, комфорт!..

Антонина испугалась — не его появления, а того, что Фотиев вдруг убрал с плеча свою руку. Того, что Горностаев обращается к ней, но еще не видит, не узнает Фотиева. Того, что эта погоня, приказ остановиться, мигающий впереди ядовитый огонь — все это напоминает насилие. Она испугалась за него, Горностаева, за его бестактный поступок, испугалась за Фотиева, за себя. И в испуге ее был протест, раздражение. Кончилось, оборвалось изумительное движение, плавный полет над дорогой.

— Ну что же вы, Антонина Ивановна, я жду! — приглашал Горностаев. — Буду счастлив хоть чем-нибудь, хоть с опозданием послужить вам.

— Нет, Лев Дмитриевич, спасибо. Я уж как ехала, так и доеду, — сказала она. — Тут недалеко. Мы уж тут как сели, так и останемся. Доедем потихоньку.

Горностаев вдруг узнал Фотиева. Изумленно вглядывался еще и еще, не понимая, почему он здесь оказался.

— Это вы, Фотиев? Вы-то откуда? Ездили в Троицу внедрять свой «Вектор»? Ко всемирному потопу проповедовали им «Века торжество»? — Он оставался еще ироничным, легкомысленным, но в лице его, в голосе, в глазах мелькнула враждебность. Он видел: они сидят рядом, на одном кресле, хотя в «рафике» много пустых мест. Он, догоняя ее, задумал маленькое представление, маленький шутливый спектакль, рыцарское действо. Затеял легкомысленную дорожную шутку с похищением, умыканием. Но шутка не удалась. Это представление неожиданно увидел другой. Она отказывала ему на глазах у другого. И этот другой, сидящий с ней рядом, молча улыбался, не пускал ее этой улыбкой. Все это Горностаев моментально увидел, и все это, вместе взятое, вызывало в нем враждебность.

— Ну, мы и Фотиева захватим! — сказал он насмешливо, стараясь не обнаружить враждебность. — Николай Савельевич, я вас могу подбросить прямо к вашему общежитию. А водителя отпускаем, ему еще ставить машину. Он нам только спасибо скажет.

— Да нет, Лев Дмитриевич, это вам спасибо. — Антонина отказывалась, чувствуя нараставшую неловкость, не свою, не Фотиева, а Горностаева, неловкость, в которую он впадал все больше и больше, затягивал и ее, и Фотиева. — Поезжайте, прошу вас, Лев Дмитриевич!

— Да, в самом деле, — добавил Фотиев дружелюбно и благодарно, не понимая происходящего. — Мы доедем потихоньку до города. Я провожу Антонину Ивановну. Мы уж доедем, как ехали.

— Ах вот что! — Даже в полутьме стало видно, как побледнел от страдания, от острой неприязни Горностаев. — Простите, что вторгся!.. Из лучших побуждений, поверьте! Из лучших, из самых лучших!

Он с силой захлопнул дверь, наполнив «рафик» громким железным ударом. Антонина почувствовала этот удар лицом. «Волга» впереди рванулась, продолжая яростно и дико подмигивать. Умчала вперед конус дымного света, красные угли огней.

— Ну и ладно, — сказал водитель. — А мы потихоньку, как люди...

Доехали до города. Сначала Антонина быстро, наспех простилась с Фотиевым, пожала его горячую руку. Потом у общежития сошел и Фотиев.

Поднялся к себе в маленькую комнатку, где отдыхал, готовился к ночной смене Сергей Вагапов. Осторожно включил лампу под картонным абажуром. Хотел было сесть за свои расчеты и графики. Не сел. Лег на железную койку и, улыбаясь, закрыв глаза, стал вспоминать весь огромный миновавший день, победно увенчавший долгий, трудный период его жизни, где было много надежд, много трудов, много сомнений и страхов, но и упорная, с годами растущая вера в свое предназначение, в свое знание, в неизбежное время, когда знание это станет нужным для всех. И вот его день настал, его первый победный день, чудесный, наполненный, в котором утром была могучая чадная стройка, и дневная схватка идей, и ве-

черний крохотный храм, бревенчатый дом с сельским мудрецом, и ночная дорога, женщина, ее маленькие милые руки, которые он целовал, ее женственность, которая коснулась его. И он лежал на железной кровати, чувствуя ее прикосновение.

Антонина поднялась к себе, в маленькую однокомнатную квартирку в шестнадцатиэтажной башне, выходящей окнами на короткий обрывавшийся в поле проспект. Зажгла свет, расстегивала шубку, стягивала с головы платок.

Ее жилище. На столе блестит, свесив шнур, утюг,— гладила утром платье, торопилась, не успела убрать. Зеркало на маленьком столике с флакончиком духов, с маленькой перламутровой пудреницей — материнский подарок. Кровать под полосатым покрывалом с расшитой подушкой. В изголовье, в металлической раме — фотография отца: молодой, серьезный, в пограничной фуражке на фоне близкого моря. Полка с книгами — справочник профсоюзного работника, учебник географии, оставшийся с институтских времен, томик Есенина, большая нарядная книга «Русский костюм», купленная по случаю в Москве. Вот и все жилище, все убранство.

В прихожей обронила рукавичку. Подняла, засунула в карман шубки. Нащупала огарок свечи. Вынула, рассматривала тонкий, оплавленный стебелек, представляя, как пусто и холодно в эту минуту в храме; а недавно горел на полу красный луч, царил под сводами ангел с журавлиными крыльями, и она шла по лучу, посланному ей из далеких пространств. Осторожно положила у зеркала, рядом с перламутровой пудреницей огарок свечи.

Поставила чайник, желая согреться. Ибо все еще чувствовала холод, обжигающий ветер и блеск дороги. И в этом непрошедшем холоде, оставшемся под веками блеске сохранилась тревога.

Слушала, как тихо начинает шуметь на плите чайник. Старалась уяснить себе причину тревоги.

Поначалу решила, что тревогу породила встреча с Горностаевым. Эта встреча была неприятна, досадна. Но, помимо этой очевидной причины, оставалась другая, неясная. Ее тревога была глубже, сложней, не вся из этой ненужной досадной встречи.

Выпила чашку чая, согреваясь, собираясь ложиться спать. Разделась, выключила лампу, легла. Смотрела на зеленоватый водянистый квадрат света в легчайших разводах от прозрачной, затуманившей стекло наледи. Тревога ее не кончалась.

Резко, громко зазвонил телефон. Она сжалась, слушала требовательные, непрекращающиеся звонки. Знала — звонит Горностаев. Опасность врывалась в ее ночное жилище, вторгалась в ее мир, в ее думы. Она встала, пробежала босиком по холодному полу, выдернула телефонную розетку.

Стояла в ночной рубашке перед зеркалом, чувствуя, как бегут, ударяют в босые ноги плотные сквознячки. Смотрела на свое белое, мерцающее отражение.

За окном приближались свет, шум, шорох. Налетало стремительное ртутное пламя. Вонзились сквозь стекло яркие щупальца, ощупали, ошарили комнату, обняли ее, стоящую перед зеркалом. Высветлили белизну рук, голых ног, испуганного лица. Превратили на мгновение в серебристую статую. Ночная «Волга» бешено пронеслась, оставляя за собой струю затихающего воя. В машине был Горностаев, его ярость и страсть.

Она задернула штору, погасила на стене зеленоватый квадрат. Вернулась в постель. Лежала, слушала свое дыхание, биение сердца, свою потаенную, из сердца, тревогу.

То недавнее, случившееся с ней на дороге. Та слепящая чудная вспышка, осветившая снега и вершины, бескрайний, в обе стороны путь. Ее путь, ее линию жизни, прочерченную слепяще и грозно. Хотелось понять и вспомнить, разглядеть по памяти, что мелькнуло и открылось на миг в этом грозном и радостном блеске.

Такое случалось и прежде, один лишь раз, в давнее время, в моменты высшего напряжения души. Ее малая хрупкая жизнь вдруг касалась могучих, витавших в мире энергий, и они, словно молнии, пролетали сквозь нее, прожигали, озаряли все впереди и сзади, вглубь и ввысь. Она на мгновение оказывалась в центре лучезарного, во все стороны летящего света. В этот миг огромно расширялись пространство и время, переставая быть и тем и другим, превращаясь в безмерную неподвижность. И она, теряя свой облик, одновременно и девочка, и старуха, узнавала все о себе, от рождения до последней черты, и дальше, когда за пределами жизни, пролетев сквозь обморок смерти, она становилась всем, чем прежде уже была до рождения. Другими людьми, другими женщинами. Становилась птицей, рыбой, травой, прибрежной отмелью, на которой сохли длинные влажные водоросли и где в маленькой лунке, в пригоршне океанской воды мелькает и мечется бессчетная, готовая исчезнуть жизнь.



Антонина лежала, вспоминала мать, отца, тот год, когда отец получил назначение на материк, на другую заставу, в сухую, горячую степь.

Стальная вышка, домик казармы, сильные, быстрые люди в пятнисто-зеленом. То бегут неутомимо с собакой, пуская ее впереди на длинном тугом поводке. То вскакивают за руль ребристых рычащих транспортеров. То направляют в черную ночь синее пылающее пламя прожектора. И везде среди них — отец, загорелый, бодрый и деятельный. Его внезапные появления дома. Его внезапные исчезновения в ночи.

Степь, сухая и блеклая, без травинки, с круглым сверкающим блюдом солончака, с голубым драгоценным озером, горько-соленым, в белой оправе соли.

Она любила уходить на заставу, бродить вдоль белой кристаллической отмели. Нагибалась, рассматривала мельчайшие разноцветные вспышки, где вдали, за озером, толпились чужие горы, островерхие, в складках, как каменные шатры.

Отец собирался в отпуск, на этот раз в Москву, ради нее, дочери, которой, как он говорил, пора показать столицу. Показать Кремль, Третьяковскую галерею, театры. И как только она об этом услышала, все ее дни стали непрерывным ожиданием Москвы. Москва и отец, не мать, а почему-то отец. Она и отец идут вдоль кремлевских стен. Она и отец смотрят картину, где молятся перед смертью стрельцы. Она и отец поднимаются по белым ступеням к колоннам Большого театра. Москва приближалась к ней с каждым днем, возникала во сне, являлась наяву среди сожженной степи, каменных складчатых гор.

Та горячая, душная ночь. Ее пробуждение в ночи не от звука и голоса, а от больного испуга во сне. Мать в белой рубахе, босая, стоит на полу. Отец быстро, цепко застегивает портупею, уже в дверях, уже в стремлении туда, наружу, где светит фарами, урчит мотором невидимая машина. Так и запомнила два их стремления. Матери в белой рубахе — к отцу и отца в портупее — в ночь, в открытую дверь.

Снова заснула, и второе ее пробуждение, утром, от тонкого крика, зародившегося во сне, прорвавшего сон, превратившегося в долгий нечеловеческий вопль. Кричала мать, в дверях стоял офицер, заместитель отца, в каске, в пятнистой одежде, и лицо его было осыпано пылью и мельчайшей белой солью. В материнском крике, в долгом, из единых гласных вопле звучало бесконечно, много раз повторяемое, тягучее: «У-у-уби-и-и-ит!»

Ночью нарушители, много, с оружием, перешли границу. Их обнаружили, окружили, загнали на сопку. На рассвете был бой. Сверху бил пулемет. Отец повел за собой солдат в атаку и недалеко от вершины был убит, он и несколько других пограничников. Остальные достигли вершины и в короткой жестокой схватке уничтожили нарушителей.

Так говорил офицер, чье лицо было засыпано пылью, в мельчайших порошинках и кристалликах соли.

Отца и убитых солдат сразу, минуя заставу, увезли в городок. Туда же уехала мать. А она, Антонина, оставшись одна, понимая, что случилось огромное горе, непоправимое, на всю остальную жизнь, испытывала не боль, не страдание, а слезное недоумение: неужели отца не будет уже никогда? Он исчез, ушел из этого дня, из этой степи, из этого синего озера, хотя в шкафу висит его рубаха с оторванной пуговицей, на столе лежит тетрадка с неоконченной записью, а в ней, в Антонине, в ее зрачках недавнее ночное видение: отец в портупее в резком, крутом движении устремился к дверям. Неужели теперь ее жизнь навсегда, до старости, без отца?

Это изумление, непонимание было столь сильным, столь глубоким, что для боли и горя в эти первые мгновения не было места. Горе и боль были рядом, но ждали, когда исчезнет в ней это слезное недоумение.

Тот пыльный городок с пожухлой листвой. Похороны убитых в бою пограничников. Вертолеты в реве и свисте садились на голый пустырь, подымая серую пыль. И в эту пыль, в металлический свист из открытых дверей выпрыгивали, выпадали родственники убитых. Ветер от лопастей рвал черные платки и накидки, сдирал и катил шляпы. И все они, сбившись, хватаясь один за другого, бежали, гонимые жестким, секущим ветром, собравшим их из русских селений, кинувшим в эту голую, душную степь.

Брезентовая, туго натянутая палатка. На деревянных козлах красные обитые кумачом гробы. В палатке красно от гробов, словно горит огромный страшный фонарь, освещает убитых. Их твердые, окаменелые лица. Белые, в выступах и складках покрывала. Барабанами, тарелками, трубами ухает военный оркестр.

С криком, стоном, продираясь сквозь полог палатки, вбегали приехавшие, замирали на миг ослепленные, начинали метаться. Не тот, не тот. И вдруг с воплем падала мать на твердое тело сына, лицом на лицо. Жадно шарила руками. Целовала вслепую лоб, закрытые глаза, склеенный рот. Щупала под белой накидкой тело.

— Ой да ты, Петенька, сыночек мой, надежда моя первая и последняя!.. Ой да ты мой милый, ты мой золотой!.. Твои милые глазоньки закрылися!.. Почему ты маменьку свою да и не встречаешь?.. Что они, изверги, с тобой понаделали?.. Да какой же ты стал большой, что даже в гробик не влазишь!.. Ты писал, что у тебя чуб растет, а они тебя всего исстреляли!.. Покраснели твои губоньки от моих слез!.. Тетка Анна наказывала посчитать, сколько у тебя ран!.. Да где же есть на свете мир, покажите мне такой уголочек!.. Увезу я тебя туда, мой сыночек!.. Ой да я думала, что тебя не узнать, а я тебя сразу узнала!.. Дай я посмотрю твои рученьки, как ты ими отбивался!.. Как же ты, должно быть, мучился, губоньки твои покусаны!.. Да какая же у нас случилась беда!.. Ой, да и у меня нету сил!

Падала бездыханно на сына. Солдат с кружкой вливал ей в рот холодную воду. Приводил в чувство.

Антонина стояла у брезентовой стены палатки. Смотрела, как в красном свечении близко, накрытый белой тканью, лежит отец. Знакомое, родное, но уже отнятое, не ее, не для нее существующее лицо. Русая, влажно причесанная прядь. Прямой, строгий нос. Плотные, недовольно поджатые губы. Округлый, с маленькой ямочкой подбородок. Все знакомо, все живо, и можно еще подойти, обнять — и словно бы нет смерти, все только кажется и скоро пройдет, вернется к тому, что было. И это уханье меди, и рыдания, и материнские, как мел, щеки с черной каймой платка, — все минует. И они поедут с отцом в Москву, и будет Третьяковская галерея, и они поднимутся по белым ступеням к колоннам Большого театра. Все будет так, как задумано, как было два дня назад. А это исчезнет — эти кумачи, дощатые козлы, блестящая головка гвоздя, бинт на голове у солдата, мятая фетровая шляпа, упавшая из рук старика, материнское несчастное из-под черной накидки лицо, ее шепчущие губы, повторяющие: «Ванечка!.. Ваня!»

Антонина не плакала, оцепенела, расширив глаза. Слушала медные вздохи. Смотрела на красный разгоревшийся цвет кумача. Ловила запахи распиленных досок, сладковатые, тончайшие запахи смерти. Изумление, непонимание росли. Тоска ее была непомерна. Она не верила в эти запахи смерти, в звуки и цвета погребения, в недвижное, неживое лицо отца.

Гробы выносили на солнце. Ставили на рыхлый сыпучий край огромной пепельной ямы. Солдаты опускали легкие сквозные венки из жести и проволоки. Дул жаркий ветер, гнал тонкие вихри пыли, шевелил накидки в гробах. Сквозь вопли и медь оркестра команда: «Закрыть гробы!». Игрушечный треск салюта. Одинокий, тонкий крик знакомого голоса. И в этом крике, в вихре солнечной пыли что-то случилось с ней. Что-то рванулось и вспыхнуло, пробежал ослепительный свет, толкнул ее в грудь и глаза. И в этой мгновенной вспышке — слезное, похожее на муку прозрение: смерти нет и не будет, и это расставание мнимо, и они встретятся с отцом непременно, не здесь, не сейчас, но в какой-то другой, им обоим уготованной жизни. Промерцало, проблестело и кануло. Солдаты сыплют в яму грохочущие твердые комья. Женщина в линялой юбке стоит на коленях, целует зеленую сыновью фуражку.



Позднее, в другие годы, подобного с ней не случалось. Не было озарений. Она забывала о них. Забывала о том, что виделось. Лишь помнила жгучее, мучительное ощущение света, надеясь на повторение.

Повторений не было. Ни позже у бабушки в маленьком городке, куда они переехали с матерью. Ни в Москве, где она побывала одна, без отца — искала его среди московской толпы, пугалась случайного совпадения. Ни во время первой несчастной любви, в которой было много горького, больного, и хотелось умереть той зимой, кинуться на ночные морозные рельсы с далеким багровым огнем семафора, с приближающимися железными стуками. Не было и здесь, в Бродах, на стройке, куда приехала случайно, почти наугад, чтобы укрыться от своей беды, да так и осталась, не в школе, а в конторе строительства. И стали уже забываться те мгновения, в которых открывалось ей огромное моментальное знание о жизни, о смерти, о грозном, бесконечном, не имеющем окончания мире. Это знание распахивалось на доли секунды и потом закрывалось, оставляя по себе чувство закрывшихся, сомкнувшихся плотно небес, заслоненной тайны, к которой на миг ее допустили.

И вот, после многих лет, оно повторилось. Там, на дороге, среди елок и звезд, когда шла рядом с Фотиевым, задыхаясь, боясь отстать, и он ее согревал, целовал ее руки, — вдруг опять разорвались покровы, и сверкнуло молниеносно и чудно. То ли чье-то лицо, то ли чье-то громогласное слово.

И она лежала теперь, слушала свое дыхание, свое стучащее сердце. Пыталась понять, что оно было. Пыталась вспомнить лицо, расслышать громогласное слово.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### *Глава четырнадцатая*

Ледяное белое озеро. Станция из бетонных кубов и цилиндров. С утра «гидравлили» систему охлаждения, гнали сквозь трубы воду. Зачавкали, завыли мощные береговые насосы. Водяная озерная толща метнулась в огромные жерла. Захлюпала, забурлила, вломилась в стальные водоводы, ветвясь, разделяясь на множество рукавов и потоков. Омыла станцию: корпус недвижной турбины, литые тела агрегатов, взлетела под туманные своды. Рушилась в глухие бетонные недра. Заполняла системы и баки, сияющие зеркальные емкости. Вся станция, ее будущий жар, ее пекло, раскаленные в стремительном беге подшипники, бесчисленные валы и колеса; вся станция, омытая прохладой, отдаст воде свою усталость, спасется от теплового удара, покроется железной испариной.

Инженеры с приборами обходили резервуары и трубы. Осматривали распираемое водяным давлением железо. Устраняли течи. Рабочие огромными ключами стягивали болты на фланцах. Мерно гудели насосы. Дрожал металл, сотрясаемый водяными потоками.

Фотиев, воодушевленный зрелищем станции, простотой и огромностью замысла, уже прозреваемого сквозь сложный хаос строительства, вернулся в свой маленький утлый вагончик, где лежали «экраны», разноцветные графики «Вектора» и где предстоял ему кропотливый счет, сидение до ночи, подведение итогов штаба, анализ огрехов и ошибок, выведение сложных кривых, в которых двигалось время, перемещалась материя, пульсировали стремления людей, их труд, их деньги, их упорное продвижение к цели. К пуску второго блока.

Он продумывал следующий этап внедрения «Вектора». Его продвижение вглубь, вниз, к рабочим. В живое кипение бригад, в яростные взрывы энергии, где усилиями мускулов, вспышками огня, электричества сотворялась сама плоть станции. Взбухала и опадала, рвалась и снова связывалась стожильная людская работа. Туда, в это скопище, в этот поток стремился «Вектор». Там было его настоящее место. Туда затягивали его водовороты, увлекали донные силы. Там надлежало ему совершить свое

главное дело — привести в гармонию неуправляемые, грозящие хаосом людские страсти и действия.

«Вектор» обладал этим свойством — коснуться станции, погрузиться в нее, прорасти сквозь нее, стать ею. Всего лишь месяц назад он, Фотиев, продрогший, негнущимися красными пальцами доставал из портфеля в кабинете Горностаева сложенный листик бумаги, упрощенную схему «Вектора». И стоящий перед ним ироничный, с умным лицом человек готов был надсмеяться, отринуть. Не отринул. «Вектор», как малая спора жизни, заброшенная на неживую планету, зацепился, пророс, стал ветвиться и множиться, и дикая планета, охваченная невидимой сотворящей силой, менялась на глазах. Становилась живой, дышащей, осмысленно управляемой. Подчинялась «Вектору».

Теперь же Фотиев, добившись признания на штабе, в главном звене управления, готовил «Вектор» к внедрению в рабочие массы. Так готовят подводную лодку к плаванию на большой глубине, к действию в сверхплотных слоях, под страшным давлением толщи. Каждый шов, каждый стык, каждую округлость и линию. Чтоб не сплющилась, не взорвалась, не упала на дно океана бесформенным комом железа, а плавно скользила, вписываясь в морские потоки, сама поток и стремление, неотъемлемая часть океана.

Он поджидал к себе братьев Вагаповых. Собирался продолжить беседу с ними. Курс чтения «Вектора», как он называл их встречи. Туда, в их бригаду, он и введет свой метод. «Зарядит» своим методом братьев, а через них и бригаду. Он не жалел усилий и слов, объясняя теорию «Вектора». Он был не только конструктор, не только теоретик, но и проповедник, борец. Сбывалось, свершалось наконец дело всей его жизни. «Вектор», как гарпун, вонзился в громадную тушу стройки, уходил вместе с ней в глубину, но принес не боль, не погибель, а исцеление и спасение. Он, Фотиев, гарпунер и стрелок, был одновременно врач и целитель.

Он поставил на плитку чайник. С удовольствием предвкушал скорое согревающее чаепитие, развернул пачку чая, готовился заварить, поглядывал на целлофановый пакетик с карамельками. В дверь постучали, и тут же, не дожидаясь приглашения, в вагончик вошли братья Вагаповы, в шнурованных подшлемниках, в белых робах, внесли с собой белизну и холод.

— Ну замечательно! — обрадовался Фотиев. — Угадали братья! Сперва почаевничаем, а потом уж лекция. Что-то я тебя, Михаил, ни вчера, ни сегодня не видел. Лена сказала, какие-то у тебя огорчения, хлопоты.

— Да ну, какие там огорчения! Подлецы наседают. На кулак нарываются! — Михаил зло и решительно выставил свой крепкий, покрасневший на морозе кулак. — Я и бить-то не стану. Подставлю — сами наткнутся!

— А что такое? — забеспокоился Фотиев, знавший в Михаиле эту способность мгновенно загораться гневом, переходить от дружелюбия к яростному отрицанию, к желанию во всех усматривать врагов. — Кто на твой кулак нарывается?

— Да мне Петрович, бригадир, намекнул. С ним, дескать, Лазарев разговаривал. Сказал, что Вагапову, мне то есть, могут в квартире отказать. На следующий год отодвинуть. Что, дескать, нескольким ветеранам Отечественной войны нужно дать вне очереди. А я молодой, подожду. Он меня так наказать надумал. За один случай. С ветеранами столкнуть! Чтоб я перед людьми гадом выглядел. Дескать, Вагапов у ветеранов, у инвалидов квартиру выдирает. Чтоб перед бригадой меня осрамить. Вот ведь какое у нас начальство умное! На что высшее образование тратит. Как с рабочим классом управляется, к ногтю его прижимает.

— Да погоди, Михаил, не может этого быть! Это надо проверить. Мало ли что Петрович тебе намекал. У тебя семья, ребенок не сегодня завтра родится. И сам ты ветеран, не Великой, не Отечественной, а афганской войны, — старался его успокоить Фотиев.

— Он, Лазарев, думает, я пойду с ветераном, со стариком считаться! Локтями его отпихивать начну!.. Врет! Вагаповы не такие!.. Я ветерану свою квартиру отдам, а к нему, к Лазареву, приду, вышвырну его, а сам с Еленой вселюсь. Я у него в квартире, в коттедже, новоселье справлю. Все его замки к чертовой матери вырву, а свои врежу, и пусть войдет! Я круговую оборону займу, пусть сунется!



Фотиев чувствовал в Михаиле энергию взрыва. Весь белый, в стерильной робе, он был полон темной, разрушительной силы. И она, эта сила, возникавшая в нем постоянно, в мучительном, сжигавшем его нетерпении, губила и разрушала его прямую, стремящуюся к свету натуру, грозила разрушением ему самому и другим. Фотиев искал, как ее уловить, обезвредить, вновь превратить в энергию света.

— Боже тебя сохрани от насилия! Действуй разумом, коллективной волей. Поведи за собой коллектив!

— Да ну, Николай Савельевич, какой коллектив! Бригаду, что ли? Все поодиночке живут. Против начальства никто не пойдет. Все кто чем повязаны. Одним обещают квартиру. Другим — детсад. У третьих рыльце в пушку за прогулы, за пьянку. Четвертым грамоту сулят, премии. Все куплены. А кто не куплен, тот запуган. За мной, за Серегой никто не пойдет. Я уж и так у начальства как бельмо на глазу. Оно меня знаете как за глаза называет? Недобитком! Я свой орден и свою медаль перед ними никогда не надену. Опять, скажут, нацепил свои цацки. Пошумишь, пошумишь, а потом опускаются руки. Вот так вот они опускаются!

Он опустил руки, весь обмяк, ослабел, ссутулился. Устало присел на лавку, и лицо его, недавно яростное, с бегающими желваками, стало тусклым и старым. И Фотиев испугался в нем этой усталости, преждевременно исчезнувшей юности, напрасно израсходованной жизни, разразившейся сначала пустым и бессильным гневом, а потом немотой и унынием.

— Нет уж, позволь мне тебе возразить! — устремился он навстречу Вагапову, своим жаром и страстью не давая ему погаснуть. — Позволь не согласиться с тобой!..

Он любил это мужественное молодое лицо, в котором неуловимо, мгновенно пробегала судорога, сотрясала, искажала черты, туманила глаза. Казалось, по лицу наносили моментальные, невидимые удары. Он любил Михаила нежно, по-отцовски, желая уберечь, заслонить. Отнять его страшный, мучительный опыт, обернуть его во благо и свет. Все, что он, Фотиев, испытал в своей жизни, передумал, перестрадал, сберег на краю катастрофы, на краю отчаяния, что принес в сегодняшний день и облек в свой «Вектор», все это он обращал к сидящему перед ним Михаилу.

— Миша, родной, мы не должны отступать. Руки не должны опускаться. Если они опустятся, мы выроним из них не чашу расписную, не хрустальную рюмку, не узорный поднос, а выроним страну, государство. И оно разобьется. Все, что собирали до нас по камушку, по кустику, по цветку, по горке, за что проливали то слезы, то кровь, лепили, строили, возводили до неба, до трех океанов, стремление к мощи и правде, к добру и познанию — все это упадет и рассыплется. Если мы сегодня с тобой руки опустим. Нет, Миша, милый, мы их не должны опускать!

Михаил, казалось, услышал еще не смысл, а само звучание слов. Обращенное к нему упование из нежности, веры, почти мольбы. Поднял глаза на Фотиева, и лицо его постепенно возвращало выражение внимания и силы.

— Беда отчуждения! Нас всех посетила страшная беда отчуждения! Все отнято. Станок не мой. Завод не мой. Город не мой. Власть не моя. Все чужое. До всего не дотянуться душе. Река не моя. Земля не моя. Трава не моя. Все без души. Душа не имеет приюта, изгнана отовсюду и погибает. А мир, лишенный души человеческой, — город, завод, государство, — сиротеет, скудеет, рушится, перестает плодоносить, отдан на поругание и осквернение. Страшный грех отчуждния!.. Мой «Вектор», я вам уже говорил, продуман так, чтобы снять отчуждение. Чтобы чувство «мой», возникнув на малом верстачке, на малой земельной грядке, проникало во все огромное, наработанное народом богатство. В атомные ледоколы, в космические корабли, в хлебный урожай, в государственные уложения и акты. Чтобы мое суверенное «я» не исчезало, а вливалось во всеобщее «мы». Вот на что нацелен мой «Вектор». Я объясню его вам, предложу, принесу в рабочие бригады. Там его главная жизнь и основная работа!

Он убеждал, проповедовал, открывал свой метод, передавал его в руки другим. Его радения были о «Векторе», которому отдал всю жизнь, в который заключил свою жизнь, и не было у него иной жизни за пределами «Вектора». Казалось, он пекся о себе самом, но в своем попечении доро-

жил сидящим перед ним человеком. Вручал ему свою жизнь и в ответ бережно принимал его. Менялся с ним жизнями.

— Живой организм народовластия — вот что мы стремимся создать. Возьмите власть в свои руки! Отнимите ее у грубых и равнодушных властителей, у больших и малых диктаторов. Возьмите власть! Для этого вам не придется штурмовать дворцы, рубиться в конной атаке. Вам нужно снять отчуждение «Вектором» и взять в свои руки власть. Уже сегодня, сейчас!.. Бюрократ не владеет страной. Диктатор ею не владеет. Сейчас она безвластна. Так берите власть над страной! Народовластие возможно. Народное вече возможно!.. Готовы ли вы — вот вопрос.

— Лично я готов! — сказал Михаил, увлеченный этим движением мыслей, принимая их, соглашаясь. — Не хочу скотской жизни! И себе, и другим не хочу! Должны же мы очнуться, друг на дружку взглянуть! Если подумать, мы ведь народ-то великий, страна-то у нас великая! Возьмем власть, не бойтесь. Страну разорить не позволим. Страну сбережем.

— А ты что, Сережа, молчишь? Ты-то что думаешь? — Фотиев наклонился к другому Вагапову, не проронившему за все время ни слова. — Будем «Вектор» внедрять?

— Да вы его пока не спрашивайте, Николай Савельевич, — отвечал за брата Михаил. — Он пока в стороне. Он все метит, как бы уехать. Хочет цыганом стать. Говорит, надо Россию сперва узнать, а потом и решать, что делать. Цыганом стать собирается.

— А что? Пусть поездит! Пусть походит по Руси-матушке, это у нас всегда водилось... А когда всю обойдешь, Сережа, к нам опять возвращайся. Мы тебя как родного примем... Ну давайте почаевничаем, а потом за науку!

Фотиев уже был готов наполнить картонные стаканчики заваркой, когда дверь отворилась и вошел Накипелов, внося клубы пара на мохнатой собачьей шапке, в кольцах овчины, в вязаном, облегавшем горло свитере. Словно внес в вагончик чан кипятка. И сразу же стало тесно. Накипелов стянул с головы мохнатый мех, поклонился Фотиеву.

— Шел мимо, думаю, дай загляну. Где это здесь размещается теневое управление стройкой? Хорош у вас теремок, Николай Савельевич. Кто-кто в теремочке живет?

— Как кто, Анатолий Никанорович? Конечно, мы, мышки-норушки.

— Ну а я волчок — серый хвосток.

— Ну так и садись, волчок, на наш шесток! — засмеялся Фотиев, снимая чайник с края деревянной лавки, усаживая гостя. Тот тяжело опустился, хмыкнул, покосившись на Вагаповых. Комкал на коленях свой клочкастый собачий мех.

— Давно я хотел к вам зайти, Николай Савельевич, «Вектор» ваш на зубок пощупать. Не буду скрывать, мне вначале он чепухой показался. Мало ли чепухи на свете! А сейчас кое-что путное в нем разглядел. Надо, думаю, поглубже его копнуть, ваше «Торжество в решете». Значит, что-то есть в этом решете, коли стройка начинает под его дудку плясать. Хочу получше понять ваш метод, Николай Савельевич.

— Давно вас ждал, Анатолий Никанорович. Думал — непременно придет. Кто-кто, а Накипелов придет. Потому что в нем накипело. Вот и пришли! На сегодняшнем штабе ваш трест получил опять свое твердое первое место. «Вектор» все время вас выбирает. На вас его стрелка показывает.

Фотиев был рад посещению. Не скрывал своей радости. Хотел удружить Накипелову, хотел с ним сойтись поближе. Развернуть перед ним свои схемы и графики, рассказать, как добыл свой «Вектор», из каких идей и материй, из каких любовей и болей. Из тех же, что и он, Накипелов, из тех же любовей и болей.

— Я собираюсь перейти к глубокому внедрению «Вектора». В управления, в участки, в бригады. «Вектор» должен сомкнуться с рабочими. И ваша поддержка, Анатолий Никанорович, мне, как воздух, нужна! Вы же видите, чувствуете: при самом первом, поверхностном, на уровне штаба внедрении он обеспечил прирост, выправил сроки. Не бог весть как, но выправил. Давайте его двигать к рабочим! Там его место! Там решается главный вопрос!



— А вы знаете, в чем главный вопрос? Вы, Николай Савельевич, знаете, в чем сейчас главный вопрос? Может, мы по-разному его понимаем. Надо выяснить сперва, в чем для нас с вами главный вопрос. Сейчас время такое, что люди, прежде чем вместе чай сядут пить, обязательно должны выяснить, что для кого есть главный вопрос. А то, может, и чай-то пить вместе не надо. За один стол не надо садиться. У каждого свой главный вопрос. И один вопрос другой бьет наотмашь! Вот ведь какое время, Николай Савельевич!

— Понимаю вас, Анатолий Никанорович, понимаю. Тогда скажите, в чем для вас этот самый вопрос всех вопросов? Уж вы, если первый ко мне пришли, так и первый вопрос задавайте. Слушаю вас, Анатолий Никанорович.

— Вот вы о штабе толкуете. О выработке, о процентах и премиях. О сроках пуска и сдачи. А не это ведь главное, не наряд, не подряд, а то, что за этим скрывается! Или, вернее, что за этим никак не скрыть, никак не замазать, не заштукатурить. О чем орут все штабы и планерки, все экраны и все микрофоны? Быть социализму или больше не быть? Кончилось социалистическое строительство в мире и началось какое-то другое? Или все еще продолжается? И ветер, который дует, он дует все еще при социализме? Вот какой коренной вопрос хочу вам задать, Николай Савельевич! Он один — коренной, а другие все — пристяжные!

— Что ж, принимаю его, Анатолий Никанорович. — Фотиев был готов отвечать. Собирал для ответа все свои мысли и чувства. Но Накипелов еще не готов был слушать, продолжал говорить непрерывно, жарко, желчно. Продолжал бесконечный, снедавший его разговор, бесконечную с кем-то распрю, в которой неведомый, умный, лукавый противник изводил его, отнимал покой, толкал его ум на край неразрешимых сомнений. В этой распре его дух сотрясался, устремлялся в борьбу, изнемогал. На крупном выпуклом лбу наливалась, трепетала синяя вена, а в глазах загорался угрюмый, беспощадный огонь.

— Я их вижу, слышу повсюду! Их веселые хитрые глазки, их унылые погребальные голосишки. Поют нам всем Лазаря! Лазаревы Лазаря нам поют! — Он хохотнул, захлебнулся смехом, похожим на хрип. — Поют нам отходную. Социализм всем скопом хоронят. Роют ему котлован, валят его туда. Нас с вами валят! Машины наши — дерьмо, сразу с конвейера ломаются. Картошка гниет в полях, пол-урожая под снег. Мяса нет на прилавках, одни тараканы голодные. Одежду шьют — срамотища, ни в портчину, ни в рукав не попасть. Торговля ворует — ни суды, ни прокуроры не сладят. Власть — кто у тебя взятку берет, кто железным крючком по башке. Реакторы наши сами взрываются, никакие «першинги» не нужны. Мужики наши пьют до белой горячки. Бабы наши рожать не хотят, еще лет пятьдесят — и народ сам по себе испарится. Все верно! Все как будто бы так! Дальше некуда!.. Я с обороной не связан, не работал на оборонных заводах. Не знаю, может, наши ракеты тоже никуда не годятся, одни болванки. Лодки тоже плавать не могут, ко дну идут. И самолеты тоже хуже ихних летают, а пушки хуже ихних стреляют. Тогда, конечно, надо сдаваться! Тогда и впрямь сою американскую будем жевать. СОИ над головой нам запустят — и иди, сдавайся, кланяйся им в ножки и кайся. Дескать, виноваты, не ведали, что творили! Зря царя-батюшку расстреляли. Зря белых офицеров рубали. Зря землю у помещиков отобрали. Зря кулаков ссылали и колхозы строили. Зря в партии со Львом Троцким боролись. Зря голодных мужиков на каналы, на Днепрогэс посылали. Зря в сорок первом за каждый бугорок цеплялись, полки и дивизии клали. Зря в сорок пятом Прагу и Берлин брали. Зря при Хрущеве коммунизм через двадцать лет обещали. Зря Анголе и Никарагуа помогаем. Зря в Афганистан вошли, сынков своих сгубили. Все зря! Все ошибка! Одна сплошная ошибка! Отрекаемся! Научите, как жить!.. За любую цену! Уроки ваши брать будем. Прибалтикой заплатим, Южным Сахалином, Курилами! Города переименуем обратно — Екатеринбург, Петербург! Звезды с Кремля поснимаем! Княжеские титулы и гербы вернем! Вот они все чего желают. Одни — чтоб публичные дома и частные рестораны открыли, а другие — княжеские титулы и дворянские звания! Неужели и мне вместе с ними?

К Рокфеллеру, к «Маннесману», к «Мицубиси» на поклон идти?.. Дедку моего японцы штыками искололи в Приморье. А отец на Мамаевом кургане погиб. И чтоб я вот так вот, просто, за пачку «мальборо» от социализма отказался? За видео, за порно от своего святого отрекся? Нет уж, к черту! Без меня!..

Он сипло и жарко выдохнул. Снова набрал в могучие легкие воздух, словно готовился к страшному удару или к падению в подводную глубину и пучину. Жила его на лбу гуляла, пульсировала, прогоняла сквозь мозг огромную жаркую мысль.

— К черту!.. Отбиваться!.. Живым не сдаваться!.. До последней ракеты! До последней пули! До последнего кирпича!.. Босой буду ходить! Лебеду буду жрать! Двадцать часов в сутки буду вкалывать! Хоть в шарашке, хоть в зоне, а не сдамся! До последнего хрипа отбиваться буду! И не я один! Не все среди нас Лазаревы! Народ хоть ворчит, брюзжит, власть ругает — пока петух не клюнул. А клюнет — отбиваться начнет на всю Вселенную!.. Когда Чернобыль грянул, власть не ругали впустую, а пошли отбиваться. Я работал под четвертым блоком, видел, как мужики отбиваются. Слава богу, можем еще отбиваться!..

Он улыбнулся, растянул рот в длинную волчью улыбку. Глядел туда, где дымил развороченный блок, и над кратером, над туманным ядовитым дыханием завис вертолет, и он, Накипелов, руководитель подземных бетонных работ, в респираторе, в белой робе, скакал тяжело вдоль стен машинного зала, мимо мертвого, источавшего радиацию крана, вилял, огибал зараженные участки земли. Бежал, как по минному полю, уклоняясь от стрельбы пулеметов, туда, под блок, под кипящий аварийный реактор, где шахтеры долбили тоннель.

Тесная, уходящая в землю нора. Полутьма. Замызганный, косо висящий фонарь. Рельсы узкоколейки, тонкой струйкой текущие вглубь. Бетонные крепи опалубки. Навстречу летит вагонетка. Шахтеры, горячие, потные, с напряженными взбухшими мускулами, толкают грунт. Респираторы. Белки выпученных, зыркающих яростно глаз. Пятна грязи на белых робах. «Посторонись!» — с рыком, хрястом проталкивают вагонетку к устью, к белому зеркалу света. И он, Накипелов, прижатый к стене, к бетонной ребристой опалубке, чувствует ветер, движение, жаркий шлейф промчавшихся в бешеном напряжении людей.

Глубже, дальше в туннель. Тусклые лампы. Треск отбойных молотков. Масленая потная сталь. Оскаленное в трясении лицо. Взмахи лопат. Бригада монтажников — его, Накипелова, люди лепят, льют, возводят монолит резервных опор, фундамент под аварийным реактором. Шмякают мастерками, вмуровывают металлические трубы. И он, начальник, единым мгновенным взглядом оценивает совершенную за ночь работу. Еще один поставленный под реактором столб. Еще один отвердевший наплыв монолита. Денный и нощный, без перерывов и перебоев труд шахтеров, монтажников под днищем урановой топки.

Вот оно, днище, — серая, шершавая, в зазубринах и надколах плита. Фундамент разрушенного четвертого блока. Там, над головой, — кипящий, разрушающий опоры уран, хлюпанье расплавленной стали, выбросы газа и копоти, бесцветные лучи радиации. Там, над головой, — катастрофа.

Он, Накипелов, знает, — там, наверху, вой сирен, вспышки лиловых мигалок. Боевой вертолет пикирует на разрушенный кратер, кидает в пекло связки свинца и глины. «Бэтээры» в свинцовых попонах ползут по отравленной почве, подбираются к очагам заражения. Скопище машин, механизмов. Тысячи людей кидаются на станцию, обжигаются о ее радиацию. Реактор четвертого блока — чадная, раскаленная добела головня. Вытапливает сталь и бетон, медленно, плавя фундамент, оседает, проедает опоры, погружается вглубь. Ближе, ближе к первородному грунту, к грунтовым водам, к донным ручьям и источникам, бегущим в толщах земли. Коснется их, мгновенно вскипятит, обратит в раскаленный пар, рванет непомерным взрывом, выдернет из земли громадный парной котлован, подымет на дыбы всю станцию, начиненные взрывчаткой реакторы. И все небо вокруг, все села и пшеничные нивы, полноводный весенний Днепр, златоглавый Киев, — все покроется мглой и отравой, станет зоной смерти.

Он поднимает руку, трогает, давит, поддерживает шершавый, в зазубринах свод. Недвижность плиты обманчива. Близко, над ладонью, кипит, пузырится белая плазма. И он, Накипелов, не дает ей прожечь бетон, держит ее в ладони над своей головой.



Инженер, энергетик, погруженный в кромешность строек, в пуски, авралы, в конструкции машин, агрегатов, в непрерывную, не имевшую скончания работу, он в этих вечных трудах утратил грозное, изначальное чувство, связанное с атомной мощью. Атомный век был для него все тем же веком машин, земляных котлованов, сварных и бетонных работ. Был будничной, непрерывной заботой, в которой исчезло уникальное, изменившее мир представление — энергия атома.

Он, офицер запаса, имевший друзей — военных, тех, что после институтской скамьи ушли в оборонное дело: строили реакторы для крейсеров и подводных лодок, создавали взрывчатку для атомных боеголовок, обслуживали ядерный полигон в Казахстане, — он, Накипелов, из газет и телепрограмм слышавший непрерывно о возможной ракетной войне, о всеобщей ядерной смерти, не пускал эту мысль глубоко, оставлял ее на поверхности, где она, обедненная, измельченная постоянным употреблением всуе, утратила свой предельный, гибельный смысл. Стала обиходной и вялой. «Энергия атома» — звучало как банальность в устах комментаторов. Никого не волнующая утомительная формула в многословных речах политиков.

Когда он узнал о Чернобыле, о случившейся аварии, и пришла из министерства заявка, вызывающая его в район катастрофы, и он спешно укладывал вещи, прощался с женой, — он не думал об энергии атома.

Когда из Киева, прямо с вокзальной площади, помчала его машина в Чернобыль, и вокруг зеленели леса, белели нарядные села, летали над нивами аисты, и вдруг на приборе дрогнула и пошла тончайшая легкая стрелка, и он понял — это дохнула и дунула через поля и дали невидимая, источающая радиацию станция, это породило в нем чувство тревоги, любопытства и нетерпения, но он не думал об энергии атома.

И когда в Чернобыле, в здании штаба, перед которым благоухали чайные розы и машина с цистерной медленно катила, распустив водяные усы, орошала пыль, не давая взлететь мельчайшим радиационным частицам, но казалось, она поливает розы, — когда в штабе в присутствии министра, академика, двух генералов ему давали задание — пройти под днище реактора, соорудить резервный фундамент, и он разглядывал снимки станции, развороченный, в чадной дымке реактор, полосатую трубу, проломы на кровле, тогда, продумывая инженерный план операции, он все еще не думал об энергии атома.

И лишь часом позднее, когда военная машина доставила его на станцию и он увидел белоснежный застекленный брусок административного корпуса, памятник Ленину, предпраздничные транспаранты, бегущую строем роту солдат — все в масках, безликие, чавкающие сапогами в белесой разлитой жиже, транспортеры, обитые листами свинца, как бронтозавры, уползавшие в промзону; увидел, как бригады рабочих в респираторах спали вповалку у проходной и автоматчики, взмыленные, потные, кричали сквозь маски на двух полковников, оттесняя их от прохода; лишь когда промчались мимо пожарные машины, воющие, красные, с лиловыми вспышками, и молоденький, гибкий, в белой шапочке лейтенант вел его по коридорам, заставляя прижаться к стене, подальше от прозрачных, пропускавших радиацию окон, и за стеклами безлюдно и дико, освещенная тусклым солнцем, расстилалась промзона с брошенными, остановившимися кранами, бульдозерами, бензонасосами, — тогда, нырнув за лейтенантом в люк, выскочив на открытый воздух, ощутив сквозь одежду содрогнувшимся беззащитным телом поток радиации, пронзающий его, он пережил вдруг глухой, затмевающий солнце удар смятения и ужаса, сместивший пласты пространства и времени, впервые остро, жутко ощутил свое бытие. «Энергия атома», — подумал он, пробегая за лейтенантом. «Энергия атома» — уклонялся от ковша брошенного зараженного экскаватора. «Энергия атома» — нырял в тоннель, где блестела узкоколейка и мчалась из-под земли вагонетка, подгоняемая хрипом и рыком. «Энергия атома»...

В Бродах он строил реакторный зал, видел, как собирают реактор, драгоценные, сияющие, из нержавеющей стали конструкции. Множество рук создавало его, холило, нежило, отдавало свои тончайшие живые энергии. Реактор казался вершиной, к которой стремилось людское сознание. Был совершенством. Походил на лучистое, рукотворное светило.

В Чернобыле обугленный чадный реактор разорвал свой бетонный кокон, выставил раскаленное ребро, дышал ядовитой ноздрей — обернулся злом и несчастьем, обернулся проклятьем. И Накипелов, энергетик и атомщик, впервые испытал мучительный, разрушающий душу обман. Обман профессии. Обман науки и техники. Обман цивилизации, заманившей человечество, закупорившей его в свои оболочки, заминировавшей готовыми взорваться реакторами.

Это чувство обмана, чувство совершенного промаха усложнялось, становилось невыносимым, когда вечерами возвращался со станции. Сбрасывал по пути пропыленную радиацией одежду. Вставал под душ в брезентовой, натянутой у дороги палатке. Пропускал сквозь пену дезактиваторов свой зеленый «уазик». Возвращался в Чернобыль.

В общежитии на койках отдыхали, спали полуголые люди, вялые, недвижные, словно оглушенные. Он ложился у окна, за которым свежо и клейко зеленели тополя. Включал транзистор. «Маяк» молчал об аварии. Но западные радиостанции вели непрерывные передачи о Чернобыле. О числе сгоревших в пожаре. О числе погибших от взрыва. О числе пораженных лучами. О женщинах, взращивающих в чреве уродов. О мутантах, готовых появиться на свет. О юношах, обреченных на бесплодие. О пашнях и нивах, потерянных навеки для плуга. О реках с ядовитой водой. О городах и селениях, покинутых навсегда. О русских атомных станциях, сулящих беду всему миру. О русских ракетах и армии, готовых к войне и удару. Об угрюмой, загнанной и забитой стране. Об угрюмом, обреченном на вырождение народе, чьи храмы осквернены и в руинах, пророки побиты и изгнаны, поля не родят, врачи не лечат, учителя не учат, женщины не рожают, мужчины пьют и бездельничают, торговцы воруют, судьи — мздоимцы, власти глухи и жестоки, и Чернобыль — страшное перед миром свидетельство вырождения системы. Последний тупик пути. Завершение русской истории.

Он слушал умные, точные, непрерывные передачи. И каждая была, как игла, вонзаемая в больное, беззащитное место. Он лежал пронзенный, а иглы продолжали втыкать, словно кто-то беспощадный, ведающий все его болезни и хвори, его недуги и слабости, пытал его страшной пыткой. Требовал отречения. Доводил до безумия. Истреблял волю к жизни.

Он мучился, сопротивлялся, боролся. Не мог отличить правду от лжи. Все звучало, как последний ему приговор. Приговор всему, что любил, из чего состоял. Чему служил, поклонялся. И только ненависть, с которой они говорили, ненависть, с которой мучили его и пытали, отрезвляла его. Спасала от искушения поверить. Рождала встречный отпор.

Ему вдруг начинало казаться, что авария не случайна. Они, ликующие по поводу несчастья, знали о близкой аварии. Ждали ее и готовили. Следили из космоса, брали воздушные пробы. И едва полыхнуло над станцией, дрогнули стрелки на счетчиках, как разом включились все передатчики. Улюлюкали, винили, злорадствовали. Натравливали мир на пожарных, что гасили огонь на кровле третьего блока, падали в удушье и рвоте, погибали на операционных столах.

Враг был не только там, у микрофонов враждебных студий. Он был здесь, где-то рядом. Пробрался в министерства и тресты. Проник в Госплан. Просочился в науку. Путал карты. Подсовывал гибельные, обреченные на провалы проекты. Травил моря. Сводил леса. Заливал угодья. Закладывал в программы ложные идеи. Устранял творцов. Опутал всех неразберихой и волокитой. Связал всем руки. Стиснул всех в беспомощный, недвижный, неспособный к движению узел. И надо искать врага. Надо найти врага. Вырвать с корнем врага. Разрубить ненавистный узел немедленно и жестоко, уповая на прошлый, грозный, никем не забытый опыт.

Так действовали на него передачи.

Но так было только вначале. И мысль о коварных врагах, проникших в систему, толкавших ее к катастрофе, мысль о диверсантах, вредителях постепенно отходила, теряла свою убедительность. Уже не казалась спасительной. Спасение было в другом. Из другого чувства строился в нем отпор.

Рабочие, с которыми ежедневно погружался в тесную штольню, лежавшие рядом с ним на кроватях, — их усталые руки, расслабленные, отдыхавшие мускулы, похудевшие лица, невнятные бормотания во сне. Вот кто поможет выстоять. Кто не даст погибнуть стране. На них натолкнулась беда, останавливается катастрофа. На них вся надежда.



Добродушны, дружелюбны, наивны. Разговоры о деньгах и о женщинах. Не прочь побранить начальство. Матюгнуть руководство. Отмахнуться от надоевшего лозунга. Но, когда случится напасть, откуда берется в них сила духа, умение работать, молчаливая готовность к жертве?

Он, Накипелов, комплектовал из монтажников группу для поездки в Чернобыль. Уже знали о погибших пожарниках. Об оставленной Припяти. О прожигающем сталь котле. Он не зазывал людей, люди сами к нему сходились. Шли в кабинет, ловили на ходу в коридоре, будили ночными звонками: «Возьмите в Чернобыль!» Не спрашивали о заработках, об опасности, а только о грунтах, механизмах, о том, как идти под реактор. Один ушел в отпуск, копался под цветущими яблонями. Другой считал дни перед рождением ребенка. Третий справлял юбилей. И все решили: в Чернобыль.

Шахтеры били туннель вручную, без комбайнов и комплексов, которым просто не было места среди зараженной земли. С отбойными молотками, лопатами, с ручными вагонетками, считая часы и минуты, рвались под реактор.

Работали так, как прежде никогда не работали. То и дело выжимали рубахи. С полуслова, с полувзгляда понимали друг друга. Единым дыханием и стоном пробивались под блок, под взрыв, чувствуя головами накаленный урановый ком, гулы и хрипы аварии, ожидая в любую секунду, как сверху опустится, пройдет сквозь них, испепелит огромный расплавленный столб. Торопились поймать его на лету. И в этой работе, казавшейся почти безнадежной, были своя удаль и лихость, редкое, доселе незнакомое счастье. Они были готовы погибнуть, жертвовали собой за «други своя», спасали других, неведомых, спасали землю и Родину. Они и есть сама земля, сама Родина. Вот что он чувствовал в шахте.

Когда был пробит туннель и монтажники с бетоном и трубами начали строить фундамент, к ним в штольню то и дело являлись академики, генералы, министры — в респираторах, робах, перепачканные жирной землей. Красные от бессонных ночей глаза. Хриплый сквозь маску голос. Стук молотков, мастерков. Лязг лопат, скрип вагонеток. И Накипелов, утомленный, едва держась на ногах, поясняя начальству ход монтажных работ, вдруг испытал на мгновение: все они, генерал, академик, министр и он сам, Накипелов, и толкающий вагонетку шахтер, и те, наверху, солдаты, кидающиеся на уран, и пикирующий на блок вертолетчик, и другие, бессчетные, съехавшиеся на аварию, и все, безвестные, населяющие великую страну, — все они единый, нераздельный народ, готовый на жертвы и муки, одолевающий напасти и беды, стремящийся сквозь все катастрофы к неизбежному добру и цветению...

Об этом на мгновение подумал, глядя на Фотиева, Накипелов — не мыслью, а моментальным страстным и горьким чувством, растягивая рот в длинную волчью улыбку.

— Вот ведь какой вопрос хотел вам задать, Николай Савельевич. Сможем или нет отбиться? Пустим к себе врага на порог? В свой дом, в свою хату. В Смольный, в Кремлевский дворец. Или станем драться за каждый проулок, за каждый подвал и чердак? За звезду на башне. За флаг над дворцом. Об этом пришел вас спросить!

Фотиев смотрел на его сильное, напряженное тело, готовое к непомерным усилиям. На обветренный лоб, на котором пролегли две глубокие, крест-накрест, морщины, как отпечаток противотанкового надолба. И видения Чернобыля: красное зарево над далекой вечерней станцией, собачья морда с кровавой дырой, — эти видения прошли, заслоняя лицо Накипелова. Он раздумчиво ответил:

— Этих пораженцев немало, и они с каждой нашей неудачей плодятся. Чернобыль наплодил не только мутантов, но и пораженцев — социальные уроды Чернобыля! Но есть и другие. Такие, как вы, Анатолий Никанорович! Вручную, с лопатой идут на кипящий реактор. С вилами и цепами — на СОИ. Я вас понимаю, ах как я вас понимаю! Быть может, и сам таков. В глубине души, в минуты отчаяния! Если затравят, затопчут, возьмут в тройное кольцо и сквозь мегафон: «Сдавайся!..» Да никогда! Луч-

ше гранатами обвешаться и на собственную мину упасть! Как наши парни в плену в Пакистане. Помирать, так с музыкой, к чертовой матери и себя, и врагов подорвать. Вы нам СОИ на голову? Вы нас лазером на сто частей? Наши ракеты на активном участке? Наши шахты рентгеновской пушкой? Наши города и заводы с орбит?.. А не хотите где-нибудь на Чукотке, на разломе коры, — ядерный заряд в миллиард мегатонн! И себя взорвем, и ваш континент! Всю цивилизацию, и свою, и вашу, в пар, в белый дым, в огонь небесный! Ни вас, ни нас не останется. Не хотите? Не честно? Не гуманно?.. Честную войну захотели под Москвой в сорок первом?.. Вот как иной раз думаешь, когда затмит! Когда безумие. Когда выхода никакого. Я и сам, Анатолий Никанорович, себя на этой мысли ловлю. И вас хорошо понимаю...

Маленький утлый вагончик. Накаленная печная спираль. Чайник с букетом пара. Пакетик с карамельками. Соотечественники собрались и беседуют. Соотечественники сошлись, чтоб попить в пересменке чаек. Сначала, как всегда, о погоде. Потом — о соседке Марии Ивановне. А уж потом, как положено, — о конце света, о бессмертии души, о судьбе государства Российского.

— Но есть третий путь, единственный, спасительный. Не путь перебежчика. И не путь «истребителя танков». А творца, созидателя — путь возрождения!.. Есть люди, великие, — я называю их великанами. Они создают идеи, готовят теорию, спешно, денно и нощно. Чтоб успеть, не опоздать, не дать сокрушиться системе. Открыть в ней, уникальной, данной нам в историческое пользование, выстраданной и оплаканной, открыть в ней возможность цветения... Экономика. Управление. Социальная сфера. Право. Государственные институты... Все осмысливается с новых воззрений, собирается в единую живую теорию живого, творческого социализма. Она, теория, должна оживить омертвелые двутавры, заложенные в обществе полвека назад. Не вырубить, не выломать, не бросить в металлолом эти изношенные опоры и крепи, а превратить их в живые, стремительно возрастающие, постоянно обновляемые стволы и ветви. Не застывшая башня, а древо. Вот где путь открытий и творчества! Вот в чем патриотизм, служение! Не есть лебеду, не минировать себя и других, не строить на последний грош авианосец и танк, а в сверхусилии ума и творчества создавать идеи. И инженеру, и садоводу, и генералу, и священнику, и писателю, и управленцу, и главе государства, и самому малому клерку. Всем патриотам — работа!

— Так в чем же, в чем же работа? В чем ваша работа, Фотиев? — Накипелов жадно, в напряжении тянулся к нему, требовал, вырывал у него признание. — В чем ваше дело?

— «Вектор»!.. Одно из порождений теории. Пусть самое первое, малое. Их больше! Их бесчисленно много! Но «Вектор» первый. Он пробился, пробуравился, оплодотворил эту стройку. Начал свой рост и развитие. В утробе этой стройки уже существует плод. Он еще эмбрион. Едва заметен. Но он — уже жизнь, биение! Стройка беременна «Вектором»... Мне нужна помощь, поддержка. Чтоб его не убили. Не сделали аборт. Чтоб с ним не случился выкидыш. Мне нужна ваша помощь, Накипелов.

— Какая?

— Возьмите «Вектор» к себе. Его главное место не на штабе, а в цехах и бригадах, в самом пекле работы. Там его среда обитания. Там его соки, температура. Там он мгновенно кинется в рост, сотворит свое чудо... Возьмите «Вектор» к себе!

— В чем его суть? Я должен в нем разобраться.

— Для этого вы и пришли. Я знал, что придете. Менько не придет. И Язвин ко мне не придет. И Лазарев не придет. А вы — я знал, что придете. Я буду читать вам «Вектор».

— Читайте. Буду слушать... Я тоже думал об этом. Вы правы — и инженер, и священник. И генерал, и вахтер... Всем патриотам собраться — такое время настало, — надо спасать государство. Как батьки наши спасали...

— Но не ударом ракет, не слепым отпадением от веры, не ненавистью и лукавством, а великим трудом и творчеством... Продлить свой суверенный путь! Отстоять свой суверенный космос! Наш вклад в общий космос. Наше неповторимое слово!



— Мои мысли!.. Читайте «Вектор», сейчас!..

— Сейчас и буду читать. И вам, и Вагаповым. Вот только давайте чайку попьем. Давайте чайку с карамельками...

И он, возбужденный, радостно на всех озирался. Уже не пророк, не вития, а суетливый гостеприимный хозяин. Расставлял перед всеми бумажные стаканчики, хватал с огня чайник. Готовился угощать и потчевать.

## *Глава пятнадцатая*

Горностаев после штаба возвращался к себе, думал: «От «Вектора» прок несомненный. Ограниченный, но несомненный». Скорректировав обнаруженные в штабе огрехи, он вызвал к себе начальника управления Цыганкова, того, что праздновал сегодня рожденье и чье управление задерживало сдачу объектов, мешало другим, тормозило всю стройку.

Цыганков явился, тучный, темноволосый, с выпуклыми печальными глазами, предчувствуя неприятный для себя разговор. Горностаев оглядел его мятый, несвежий костюм, болезненное, с выражением неуверенности лицо, испытал мгновенное, похожее на брезгливость раздражение.

— Прежде чем о делах, примите мои поздравления. С днем рождения! С днем ангела! Процветание семейству и дому! — Горностаев видел, как ежится, топчется Цыганков, как неуютно ему, как мучительно переживает насмешку. Но было его не жаль, а хотелось еще помучить, наказать — не за плохую работу, а за этот мятый мешковатый костюм, немытые, прилипшие ко лбу волосы, болезненное, растерянное лицо. — Я понимаю, у вас сегодня такой замечательный день. Праздник, гости. Стол накрывают, хрусталь протирают. Тосты, спичи. «Пьем здоровье главы семейства!», «Пьем здоровье любимого папочки!», «Талантливый инженер...», «Мудрый руководитель...», «И вообще замечательный человек...» Прямо слышу эти тосты, будто сам сижу за столом, хотя меня и не приглашали.

Горностаев чувствовал страдание Цыганкова, его беспомощность, зависимость. И эта молчаливая беззащитность раздражала все сильней.

— Но вы, надеюсь, понимаете, что мой вызов лишь отчасти связан с вашим домашним праздником. Ни минуты не сомневаюсь в том, что вы замечательный, не имеющий себе равных муж и отец. Однако ставлю под сомнение ваши достоинства инженера и руководителя.

Цыганков что-то пытался сказать. Не знал, куда девать руки. Его отечное лицо начинало краснеть. Глаза выпукло и страдальчески блуждали по сторонам, искали, за что бы зацепиться, натыкались на улыбающееся, красивое, презирающее лицо Горностаева. Тот внимательно, зорко следил за его страданием. Определял его меру, доводя до необходимого уровня.

— Понимаю, есть чувство самоуважения, заставляющее нас праздновать собственные именины. Есть чувства семьи и рода, которые просыпаются в нас в дни семейных торжеств. Но когда, спрашиваю я вас, проснется в нас чувство ответственности за общее дело? Если это дело к тому же государственной важности, требует всех сил, всего интеллекта, всей личной и профессиональной совестливости. Где они в вас, Цыганков? Где профессиональная и корпоративная совесть?

Горностаев пользовался этим приемом: человек, на которого устремлялась его воля, кого он хотел склонить к своим целям, заставить работать и действовать, этот человек подвергался им «обработке». Следовало породить в человеке смятение, беспомощность, чувство полной зависимости от него, Горностаева. Такой «обработанный», смятенный, униженный человек слепо и преданно выполнял поручение. Обретая былую целостность, былую уверенность по мере выполнения задания, связывал эту желанную целостность с ним, Горностаевым, с выполнением его поручения. И теперь Цыганков проходил «обработку», разрушался, терял свою волю.

— В свое время, если вы помните, я выдвигал вас на эту должность. Предлагал поручить вам управление. Хотя и тогда, признаюсь, меня смущал уровень вашей компетенции. Но я надеялся, что живая работа, живое дело, доверие руководства помогут вам. Вы наберете калорий. Увы, мне начинает казаться, что я ошибся. Вы довели управление почти до развала. Вы самый отстающий. На штабе всех собак вешают на вас. Вы не сумели

расставить людей, организовать двухсменную работу, использовать технику. Вы, простите, неважный инженер и никчемный руководитель. Так, может быть, вам следует добровольно подать в отставку? Пока не поздно, положить на стол заявление?

— Не совсем так,— пробовал лепетать Цыганков.— Не все, как вы говорите... Вы же у меня забрали людей, кинули на реакторный зал... А кран и бетононасос перевели на дизельную станцию... Теперь я виноват!.. Если верить показаниям «Вектора», не я один отстающий!.. И вам, Лев Дмитриевич, выставлена на экране «двойка»!

— Не мелите чушь!— резко оборвал его Горностаев.— «Вектор» — это пузырь, моя выдумка. Надувная японская кукла с лицом руководителя фирмы. Бейте ее и плюйте, если это вас тешит. А потом, освободившись от стресса, извольте работать. Вот что такое «Вектор»!.. Еще раз спрашиваю: вы намерены работать? Или для вас работа — это вечные именины? Вы хотите со мной работать?

— Хочу...— потерянно говорил Цыганков.— Мне нужно людей расставить...

— Берите стул и садитесь! Разработаем график работ.

Меняя тон, подавив в себе раздражение, Горностаев положил на стол лист бумаги и спокойно, терпеливо, дожидаясь, когда Цыганков полностью поймет его мысли, стал разрабатывать ритм работ на неделю. Расставлял механизмы, регулировал смену бригад. Убедившись, что составленный график усвоен Цыганковым, видя, как тот бережно, благодарно складывает и прячет в карман исчеркаиный лист, Горностаев поднялся, пожал ему руку, вдохновляя на трудное дело.

— Я верю в вас. Вы сумеете справиться. Если что, приходите немедленно. Будем вместе думать... А «Вектор», но это между нами, конечно,— это надувной крокодил. Надувная женщина, которую берут моряки в дальнее плавание... И еще, напоследок! Я понимаю — рождение, праздничный стол, все такое! Но я вас прошу, вечером будьте на стройке. Лично проверьте заступление смены. И работу второго крана. А гости вас подождут!

Оставшись один, Горностаев прошелся по кабинету. Дело было сделано с блеском. Нерадивый Цыганков был разрушен, измельчен в кучу праха и вновь воссоздан в действующую целенаправленную личность. И личность эта станет действовать в направлении его, Горностаева.

Он совершал обход строительства. Наблюдал движение работ, вторжение в бетон и железо принятых на штабе решений. Одни из этих решений проникали глубоко, меняли картину стройки, отзывались треском отбойных молотков, рокотом шлифмашинок, синим пламенем сварки. Другие разбивались о незримую стену, умирали и чахли, и рабочие слонялись без дела, курили, их инструменты бездействовали. Словно чья-то невидимая сила пресекала стремление людей к действию. Горностаев вступал в короткие злые контакты с прорабами, начальниками участков, стремясь толкнуть, опрокинуть стену, внедрить свою волю в медленное шевеление металла, в отсветы огня, электричества.

Станция открывалась ему в своих ежедневных, набираемых малыми долями превращениях. Черно-коричневая, сумрачная, склепанная и сваренная, переполненная холодными ржавыми глыбами, в кучах мусора, в какофонии визгов, ударов и скрежетов, станция была уже начерно собрана. Уже была станцией. Была громадным рукотворным изделием, воплотившим свой изначальный замысел, свою идею. Еще несколько месяцев, проведенных в этих ударах и скрежетах, и она преобразится, сложится в окончательное, до последнего шва и стыка единство. Наденет драгоценные бело-серебряные ризы, разноцветные сияющие оболочки, и бессмысленная какофония звуков превратится в стройный могучий хор бессчетных подшипников, невидимых, заключенных в сталь водопадов, жаркого дыхания пара.

Станция была его детищем. Была им любима. В краткие минуты, когда оставался один среди непомерного пространства машинного зала и косые лучи били из железного неба, он ощущал величие совершаемых здесь усилий, красоту людского труда и замысла. И его нескончаемая, черновая, денная и нощная работа получала свое высшее, в величии и красоте воплощение.



Он чувствовал себя неуставшим, свежим, ведающим. Сквозь всю не разбериху, кажущийся хаос предвидел неизбежный, поминутно приближающийся миг, когда реактор в свой легированный нержавеющий корпус примет стержни урана, операторы у огромного пульта, среди бессчетных миганий и вспышек, нажимая осторожно на клавиши, выведут замедлители, и начнется мерное, рассчитанное на годы горение, таинственное, сокрытое от глаз превращение земных веществ и энергий, уловленных людскими руками. Бестелесный поток электричества польется по проложенным в небе руслам, от мачты к мачте, от одной высоты к другой. Непрерывные, струящиеся над землей синусоиды, одевающие опоры в прозрачное сияние корон, в непрерывные стеклянные трески стрекозиных трепещущих крыльев. Он знал и предчувствовал среди предстоящих дней этот долгожданный, единственный — день пуска. Знал, что встретит его полновластным хозяином стройки, ее главой и вершителем. «Моя, моя станция!» — думал он, шагая вдоль машинного зала.

Подымая глаза вверх, вдоль ржавой трубы водовода к высоким туманным пролетам с шатрами дымного солнца, он вдруг увидел птицу, живую, залетевшую в металлический грохот. Она носилась под сводами, натыкалась повсюду на острый металл, обдуваемая жаром и свистом. Ошалело металась, ослепшая, оглохшая, ударялась о стену огня. Врывалась в сварку, озаряясь ртутным свечением. Влетала в облако пара, обожженная, теряла цвет. Падала вниз и снова взмывала, тянулась к туманным лучам. В нее били и стреляли из сотен стволов, окружали разящей картечью. Она дымилась, теряла перья. Искала путь обратно, к чистому небу, к дождям, дубравам и гнездам. Но не было пути обратно. Кругом была колючая сталь. Навстречу ей грозно и мощно катилась балка крана и гудел, рокотал мегафон. Птица была уловлена. Ее поймают, умертвят, напылят на раскрытые крылья тончайшую пудру металла, приварят к арматуре. И она, недвижная, жестяная, украсит собой плафон в диспетчерском зале. Станет сверкать и искриться среди огней индикаторов.

Горностаев смотрел на птицу и вдруг подумал об Антонине, с нежностью, с болью, с желанием тотчас увидеть. Оглянулся и увидел ее.

Она шла по машинному залу рядом с Фотиевым, обращая к нему смеющееся лицо. Что-то ему говорила, что-то веселое, вызывавшее на его лице улыбку. Он наклонялся к ней, отвечал. Два их смеющихся лица были близки, обращены друг к другу, отражали одно другое. И не было среди этих зеркальных отражений, среди улыбок и слов, не было места ему, Горностаеву. И он, почти натолкнувшись на них, остолбенел. Испытал мгновенный удар боли, тоски. Хотел было кинуться прочь. Удержался. Смотрел, как они удаляются, шаг в шаг, близкие, нужные друг другу.

Вспомнил пережитое недавно на лесной морозной дороге, те же ревность, боль, унижение. Свое метание по ночному заледенелому городу, когда напрасно звонил ей по телефону, останавливался перед ее домом, направляя пылающие фары в ее окно. Порывался подняться, останавливаемый страхом застать у нее другого. Все это повторилось теперь, только больней, разрушительней.

Горностаев смотрел, как они удаляются, легко и весело, касаясь друг друга. Голубая сварка помещала их на мгновение в прозрачный куб света, и они замирали в этом хрупком живом свечении.

Он собрал в себе силы, желая повернуться и уйти, отдалиться от невыносимой боли, от источника страдания. Но вместо этого пошел следом. Чувствовал свое расстояние от них, удаление или приближение, как усиление или уменьшение боли.

Они обогнули длинное, уложенное в асбестовом кожухе тело турбины, похожее на сфинкс. Исчезли. И Горностаев быстро, крадучись, почти бегом, обогнул турбину, стремясь их опять увидеть. Увидел. Они переходили через стальную трубу водовода по железной маленькой лесенке. Фотиев подал ей руку. Она оперлась на нее, словно переходила ручей. И этот ее жест, очень женский, готовность, с которой она приняла его помощь, заставили Горностаева задохнуться. И он обморочно подумал: «Да что же это со мной? С какой это стати?»

Они повернули за высокий цилиндрический бак, обшитый зеркальной фольгой. Растворились, словно ушли в озеро. А он торопился сквозь бесцветные вспышки стального света, плыл, загребал руками, хотел их опять увидеть.

Они шли теперь в сплетении труб мимо насосов, похожих на вспученные пузыри. Крохотные на стебельках циферблаты приборов напоминали соцветия — застекленные чашечки, мелкие черные тычинки, красная сердцевина.

Ему было стыдно. Он подглядывал за ними, как мальчишкой в сумерках подглядывал когда-то за любовниками. Боялся, что увидит нечто страшное для себя. И желал это увидеть. Желал усиления своей муки.

Станция, еще минуту назад неживая, склепанная и сшитая наспех, холодная, с пустым реактором, с ненаполненными водоводами, с недвижной, вмороженной в кожух турбиной, вдруг ожила. Действовала, содрогалась, вырабатывала энергию — энергию его боли. Вырабатывала его унижение, его ненависть. Ухала, свистела, гнала по трубам и контурам его раскаленную горечь. Крутила лопатки турбин. И тысячи стеклянных приборов сотрясались, пульсировали стрелками у красных отметок — измеряли его страдание.

Он крался за ними то темными переходами, то освещенными залами. Боялся, что оглянутся, заметят его. Но они не оглядывались. Он был им не нужен, не существовал для них. Обходя вместе с ними станцию, он чувствовал ее как громадную, спроектированную кем-то машину, вырабатывающую его унижение.

Ударился о железную балку. Очнулся от боли. На балке под лампой висел плакатик по технике безопасности. Нарисованный рабочий в каске указывал перстом на стальной, стянутый в петлю трос.

Отпускал их во тьму коридора, глухо застонал им вслед. Сварщик в робе, неся под мышкой пучок электродов, услышал его стон, удивленно на него оглянулся.

Горностаев дождался обеденного перерыва, когда работники управления покидали свои кабинеты, выстраивались у края бетонки, поджидая автобус, чтобы на час, на время обеда, уехать в город. Высмотрел среди густой, колыхающейся на морозе толпы Антонину. Оставил свою «Волгу» и весело, непринужденно, как бы мимоходом, чувствуя, что весь сотрясается от внутреннего страдания и страха, пригласил ее в машину:

— Антонина Ивановна, давайте подброшу!.. Тысячу лет не виделись! Есть секретный разговор. — Это последнее он сказал для других, в толпе, чтобы не брать с собой попутчиков, а только одну Антонину. — Прошу!

Видел, она колеблется, ей не хочется мерзнуть на бетонке, а хочется побыстрее в город, сэкономить считанные минуты перерыва. Он взял ее под руку и, посмеиваясь, тайно страшась, что она выдернет руку, не поедет с ним, повел в машину.

Они мчались по солнечным наледям бетонки, обгоняя самосвалы, краны, чавкающие по обочине бульдозеры. Дорожа соседством с ней на этом коротком, исчезающе малом отрезке дороги, старался выглядеть легкомысленным и веселым, не спугнуть ее, а тонко увлечь.

— Слушай, давай заедем ко мне, пообедаем. Ничего особенного нет в доме, я быстро сделаю сэндвичи. Есть вкусный сок манго. Есть кофе бразильский. Честное слово, поедем!

— Не могу, — односложно отвечала она. — Мне нужно домой.

— Да ну, оставь ты — «домой, домой»! Сейчас приедем, послушаем музыку. Есть чудесные испанские записи, на два голоса. Слушаю и о нас с тобой думаю. Удивительная, легкая, солнечная музыка! Сорок минут музыки — и усталости как не бывало. Зайдем, прошу тебя!

— Не могу, — односложно отвечала она. — Мне нужно домой.

— Ну почему у нас все — работа, работа! Давай отвлечемся. Давай на природу поедем. Завтра суббота, лыжный кросс. Ну давай вместе со всеми встанем на лыжи, пробежимся по полям, по лесам. Ведь такие кругом места чудесные!.. Или, хочешь, я позвоню сегодня в Москву, и мне достанут билеты в театр. Посмотрим какой-нибудь новый спектакль.



В Москве, говорят, началась интересная театральная жизнь. Так давай в нее окунемся. Сейчас заедем, в Москву позвоню.

— В другой раз, — отказывалась она.

— Ну ладно. — Он сделал вид, что сдался. — Не хочешь обедать, не надо. Давай я на секунду заеду к себе, возьму журнал — обещал своей секретарше. А потом заброшу тебя. А сам отправлюсь в ресторан, пообедаю... Сейчас на одну секунду заскочим!

Он свернул с бетонки к коттеджам. Остановился у своего дома.

— На секундочку!.. Не сидеть же тебе в машине! Поможешь мне снять с полки книги!

Он вывел ее из машины. Посмеиваясь, настойчиво торопясь, ввел к себе, в полутемную прихожую с мягким ковром, с мерцанием далекой, сквозь коридор, комнаты. Запер дверь на ключ и тут же, в полутьме, сбросив шапку, стал обнимать ее, целовать, расстегивать ей шубку поспешно, жадно.

— Подожди, подожди! Ничего... Я так ждал тебя! Ты не шла! Почему? Разве нам плохо? Я с ума схожу по тебе!.. Подожди, подожди! Не бойся!

— Перестань! Ты что?.. Ты сказал, на минуту! Отпусти!

— Подожди, подожди! — стягивал, срывал с нее платок, тянулся к ее лицу, крепко сжимал ее. — Я люблю тебя! Ну, конечно, я был невнимателен! Быть может, обидел тебя! Но это неуменье ценить... Я все обдумал. Не могу без тебя. Ведь нам было так хорошо!

— Перестань! Отпусти сейчас же! Я закричу! Слышишь, я закричу!

— Не надо кричать! Все будет у нас хорошо. Ты не бойся. Ты мне нужна. Ну хочешь, давай поженимся! Не могу без тебя! Ты избегаешь меня...

— Пусти! — Она с силой, ударяя его по рукам, стряхивая с себя его руки, вырвалась. Схватила сбитый на пол платок. — Ты с ума сошел! Приди в себя. Ты мне неприятен! Оставь меня и больше не преследуй!

— Не преследовать? — Он отшатнулся от нее, отрезвленный, ошеломленный. Прозрел унизительную для себя истину. — А кому же можно преследовать? Этому, что ли, Фотиеву? Этому недоношенному, недокормленному? Обалдую с трепливым языком? Межеумку, которого я же подобрал на дороге, дал кусок хлеба, пригрел, дал рубль на тарелку супа! Ему, что ли, можно преследовать?

— Не смей о нем так говорить!

— Да что ты нашла в нем? Самоучка! Демагог! Жив, пока я терплю. Дуну — и нет его. Полетел, как куриный пух, пока опять не прицепится к липкому месту. Он из тех, кто прилипает. К женщине прилипает. К чужому делу. К чужой славе. Гнать его взашей!

— Не смей его оскорблять! Я люблю его! — выкрикнула она, изумляясь тому, что вырвалось у нее здесь, в темной прихожей, в чем призналась себе впервые в присутствии обезумевшего, напавшего на нее человека.

— Он морочит тебя, — слабея, прислоняясь к стене, сказал Горностаев. — Он не стоит тебя.

— Он лучше, выше, чище тебя. — Она почувствовала свою свободу, свое превосходство. — Не смей его оскорблять! Не смей его трогать! Не смей меня трогать! Иначе я ударю тебя.

Повернула ключ, ослепив его прямоугольником яркого, белого снега. Вышла, вспыхнула на мгновение ало-золотым, в зеленых листьях платком. А он остался в прихожей, беспомощный и бессильный, наступив ногой на свою меховую шапку.

Он сидел в кресле, не снимая шубы, вытянув по ковру ноги, глядя, как капает с ботинок растаявший снег. Со стен смотрели на него африканские маски, смуглые лики икон, корешки разноцветных книг. В камине светлели сухие, готовые вспыхнуть дрова. Бар сверкал хрусталем, нарядными ярлыками бутылок. Дом его по-прежнему казался уютным и теплым, но посреди тепла и уюта, прямо в ковре открылась рваная, оставленная взрывом дыра. И он сидел на краю этой ямы, ледяной, лохматой дыры, и она разрасталась, вовлекала в себя его дом, его дух, его разум — все, из чего состоял.

«Да что это я? Отчего? Совсем потерялся... Потерял лицо... Неужели

эта женщина? Да кто она мне? Та, которую я люблю? Или та, которую я презираю? Такая боль, такая слабость лишь оттого, что она ушла? Или оттого, что ушла к другому? И гордыня моя страдает. Да нужна ли она, эта женщина, провинциалка, мещаночка, уездная кукла? Ведь было столько других!..»

Он сидел, закрыв глаза, вызывая в памяти женщин, с которыми был близок когда-то. Заслонялся ими от нее, Антонины. Оскорблял, унижал ее зрелищами своей близости с этими женщинами. Мстил ей, стремился вызвать в себе похоть, чтобы похотью, горячим, душным желанием не к ней, а к другой отодвинуть ее, отшвырнуть, спастись от боли и унижения.

Он вспоминал своих прежних женщин одну за другой, не нрав, не характер, которые не успевал узнавать, а лишь выражение лиц, их позы, свое влечение к ним. Старался разбудить в себе, изнуренном, попранном, те прежние страсти, сжигавшие все мысли и переживания.

Эти воспоминания оживили, взбодрили его на минуту, но не вызвали былого желания, а исчезли, породив такую тоску, такую пустоту, что захотелось крикнуть. Слезы близко подступили к глазам.

«Ну заплачь, заплачь!» — говорил он себе, ожидая от слез облегчения. Не мог заплакать. Слезы не доходили до глаз, высыхали на подступах. И он чувствовал, что из глаз вместо слез исходит горячее, сухое свечение.

«Почему? За что? Да как она смеет! Кто она? Дрянь! То с одним, то с другим! Шлюха!» — Он испытал мгновенную ненависть. И она, ненависть, вдруг заполнила собой пустоту, истребила тоску, превратила его бессилие в потребность действия. Если недавние боль и страдание порождали бездействие, то ненависть, желание причинить боль и страдание другому взывали к действию. «А этот межеумок! Я сам же и создал его. Приютил. Купился на его честное, верящее лицо. Ненавижу! Уничтожу! Чтоб следа не осталось! Немедленно!»

Он резко, сильно поднялся, обретая энергию, волю. Эта воля имела теперь свою цель, и целью было истребление врага, и враг этот был Фотиев.

Нахлобучил шапку, сел в машину и поехал на станцию.

Вошел в кабинет секретаря парткома Евлампиева. Тот завершал разговор с агитатором, развернувшим на столе лист ватмана с красной надписью: «Молния».

— Вы заняты, Евгений Борисович? Все громы и молнии мечете? — Горностаев насмешливо, с легчайшей неприязнью взглянул на агитатора, вытесняя, изгоняя его. И тот уловил неприязнь начальника, стал быстро скручивать ватман.

— Да мы уже все с Евгением Борисовичем обговорили подробно. — Агитатор вышел, оставив их вдвоем.

— Женя, слушай! — Горностаев, едва захлопнулась дверь, подсел к Евлампиеву. — Я хотел тебе сообщить как секретарю и как другу. В сущности, пустяк, но решил тебя информировать. Я прикрываю «Вектор». Цирк завершил гастроли, и дрессированного верблюда отправляют в соседний город.

— Как прикрываешь «Вектор»? — не понял Евлампиев. — Напротив, мы хотели дать ему «зеленую улицу»! Распространить на тресты!

— Ерунда. Его не нужно распространять на тресты. Его нужно закопать в землю. И я пришел тебе об этом сказать.

— Но ведь ты сам привел Фотиева! Сам ратовал за «Вектор»! Убеждал и меня, и других! Как прикажешь тебя понимать?

— Я привел этого празднослова, верно. Ратовал за «Торжество века». Ну, поторжествовали — и хватит. Сейчас не в моде торжественные марши, а в моде марши погребальные. «Века погребение» — вот о чем сейчас пишут в статьях и романах... Ну ладно, шутки прочь!.. Он сыграл свою роль, этот «Вектор», помог нам отбиться от нападок Кострова, помог отбиться от прессы. И на этом он кончился. Вред от него стал превышать пользу. И дальнейшая игра в «Вектор» становится не просто скучной, но и вредной.



— Нет. Может, ты все-таки торопишься? — не соглашался Евлампиев. — Шарахаешься из крайности в крайность? Только что я разговаривал с Дроновым. Он был скептически настроен к «Вектору», но сегодня вдруг высказался о Фотиеве с энтузиазмом. Значит, проникся идеей! Не уверен, что Дронов захочет погасить экраны, которые ты зажег.

— Как зажег, так и погашу. С Дроновым поговорю, объясню. Но сейчас, перед разговором с Дроновым, хочу, чтоб мы были с тобой единого мнения.

— Да чем он тебе мешает, Фотиев? Мало ли какие почины у нас значатся! От них проку нет, но мы их терпим. А здесь как будто польза, явная польза. Объясни, в чем дело!

— Я тебе удивляюсь, Женя! Секретарь парткома, профессиональный политик, чья работа — делание политики, понимание политики. А ты словно оглох, ослеп. Да не ты один! Вы все, профессиональные, два десятка лет жили в тепличных условиях. В сущности, били баклуши, утратили вкус к политике. На вас никто не нападал. Вы ни от кого не отбивались. Вы были послушными исполнителями. И, извини, утратили вкус к политической борьбе, которая, как вам казалось, вся в прошлом. А она, голубушка, вся в будущем, и будущее уже началось. Мы вступили в период открытой, яростной, предельной политики!

— Так это или нет, я не знаю, — уязвленный поучением, ответил Евлампиев. — Но я не понимаю, почему именно «Вектор» Фотиева знаменует начало яростной, предельной, как ты говоришь, политики. Не понимаю, прости!

— Прощаю и объясняю. Внедрение в производственную и общественную практику, застоявшуюся, закостенелую, застойную, как мы говорим, внедрение непроверенных быстродействующих стимуляторов ведет к разрушению. Экономика, это мы уже видели, в масштабе стройки или целой отрасли разваливается, превращается в ничто, и ее собирают заново на прежних основаниях ценой огромных экономических трат. В обществе, если его разрушить столь же быстро, неизбежно возникнет реактивный отпор, и оно, разрушенное, опять соберется в целостность, потратив на разрушение и на восстановление свои лучшие силы. «Вектор» дестабилизирует всю систему управления стройкой. Делает стройку неуправляемой. Нам очень скоро придется совершить колоссальное усилие, чтобы вернуть ей хоть какую-то управляемость. Придется, если угодно, совершить «военный переворот» с введением «комендантского часа», чтобы ликвидировать возникающий хаос. А это дорого стоит! Экономически дорого! Политически дорого!.. Пойми, в случае «Вектора» мы имеем дело не только с демагогией, но и с активной политикой! Ее цель — разрушение! Сейчас, я предсказываю, начнут плодиться самые разные «векторы». Их будет множество, под разными именами. Все они выпорхнут в одночасье, как термиты. Станут точить, разъедать, перегрызать сосудики, жилки, дробить, перетирать все в пудру, в труху, чтобы дерево источилось и рухнуло! И поверь мне, чтобы сохранить лес, потребуется «лесная охрана»! Потребуются санитарные рубки! Потребуются лесники с топорами! Зачем нам они, зачем? Чтобы этого не случилось, я призываю тебя закрыть «Вектор». Мы должны прозреть как политики. Вовремя увидеть антиобщественный, антигосударственный, не боюсь сказать, антисоветский характер «Вектора». Увидеть раньше, чем его увидит твое руководство в обкоме. Раньше, чем увидят люди из «лесной охраны».

Горностаев говорил убежденно, жарко. Искренне верил в свои слова. Был озабочен состоянием общества. Желал одоления трудностей. Отрицал, отвергал тех, кто явно и неявно строил козни, мешал мучительному, насущному делу обновления. Только оно, обновление, двигало им. За него он боролся и бился. И вдруг в самый яркий, пылкий момент его речи возникло лицо Фотиева, сегодняшнее, на станции, счастливое, улыбающееся, обращенное к Антонине. И мгновенная ненависть, затмевающая глаза, ввергающая в косноязычие, в хриплый клекот и брань:

— Да я бы их сам! Не стал ждать! К красной, к кирпичной!..

— Но я полагаю, — осторожно возражал Евлампиев, стремясь понять Горностаева, не понимая его. — Полагаю, тебе будет трудно мотивировать запрет «Вектора» именно теперь, когда официально призывают к новшествам, к новым методам управления, к самодеятельности и самоуправлению.

Ведь именно так ты вначале представлял всем «Вектор». И он как будто начал обнаруживать все эти свойства. Запрещая «Вектор», ты борешься с официально принятыми тенденциями!

— Да нет, мой дорогой! Никто не обвинит меня в ретроградстве. Проверенные, предлагаемые наукой методы, рожденные в умах специалистов, ученых,— да, я за них. Жадно за них хватаюсь. Партия может на меня рассчитывать. Ты можешь на меня рассчитывать. Я против авантюр, рожденных в умах сумасбродов и дилетантов. Авантюры с атомными станциями, авантюры с обществом кончаются Чернобылем. Я не хочу, чтобы здесь, в Бродах, повторился Чернобыль! Не хочу, чтобы в совершенный технологический проект был заложен социальный, управленческий дефект, который в один прекрасный день подымет на дыбы наш долгожданный второй блок.

И снова, затмевая свет, помимо всей логики, всех самых убедительных доводов, возникло лицо, счастливое, улыбающееся, на зимней дороге в полутьме автобуса, куда он шагнул, стремясь к Антонине, и вдруг увидел Фотиева, его счастливое лицо.

— Ты хочешь, чтоб нас постиг здесь Чернобыль? Чтоб мы ответили за новый Чернобыль? Я не позволю, чтобы здесь, в Бродах, у меня на глазах закладывалась катастрофа! А ты позволишь? Ты хочешь это позволить?

— Да нет, не хочу, конечно! — соглашался Евлампиев, подавленный его натиском.— Но все-таки объясни, почему такой резкий в тебе поворот? Я это тоже должен почувствовать!

— А ты еще не почувствовал? Не почувствовал, как власть у тебя уплывает? Как у тебя из-под носа при всем честном народе с твоего же благословения власть отбирают? Это удивительная выдумка — «Вектор»! Без выстрелов, без штурмов, без декретов власть отбирается тихой сапой, под шелест бумажек и цветных фломастеров. Красный, синий, зеленый... Красный, синий, зеленый... И вот ты уже без власти. Ты уже лишний. Власть не твоя. Ты дискредитирован. На выборах, которые предстоят в связи с назначением нового начальника стройки, а Дронов, ты знаешь, уйдет, и нового начнут выбирать,— на этих выборах нам не увидеть победы! «Вектор» нас сделает дураками, вредителями, настроит против нас коллектив. Он — орудие предвыборной кампании, и орудие это не в наших руках! Тебя выводят за скобки. У тебя отнимают решающее слово. Потом отнимают кабинет. Потом телефон. Потом отнимают машину. Потом выселяют из коттеджа и лишают брони на московскую квартиру. Тебя открепляют от нашего спецбуфета и переводят в общую столовку. Ты не можешь взять без очереди билет на самолет и на поезд. Не можешь взять путевку в приморский санаторий. Не можешь поехать в Брюссель на симпозиум. Все это у тебя отбирают! И добро бы в общий котел. В общепролетарскую, как говорится, копилку. Нет же! Это все перейдет к другому, к тому, кто захватит власть. Он поедет в твоей машине. Поселится в твоем коттедже. Завладеет твоей женщиной. И ляжет вместе с ней в твою, но уже не твою постель.

И снова ненавистное, знакомое до последней черточки лицо в первый день их знакомства, «верящее», «честное». И по этой «вере» и «честности», по глазам, губам, щекам бритвой крест-накрест, со свистом. Он молниеносно рассек, изрезал фотографию ненавистного лица, снова обретая возможность говорить и дышать.

— Не он власть, а я! Ты, мы — власть! У нас наука, у нас образование, идеи. У нас опыт, не только наш, а отцов, дядьев, дедов. Мы эту власть добывали, пестовали из руин, из дерьма, из безвластия, из хаоса, бойни, резни. Эта власть у нас в генах, она генетическая, сословная. Я государственник, а не он. Я всю жизнь по стройкам, по пустыням и льдам. Создаю энергетику, качаю для страны энергию. Без жены, без детей, без угла. Дни и ночи без сна. Строю станции. Моя власть, мое государство, за которое жизнь отдам. Они нас хотят очернить, взвалить всю вину, облить помоями. Дескать, мы загубили страну, завели государство в тупик. Вранье! На них кровь, не на нас! Их деды расстреливали офицеров, дворян, а отцы — тащили в ГУЛАГ ученых, запирали в шарашки конструкторов. Их деды библиотеки и усадьбы сжигали, а не наши. А теперь все на нашу голову. Не выйдет! Мы, инженеры потомственные, индустрию в лапотной, в сопливой, в лучинной стране создали. Мы армию сколотили, дали ей самолеты и пушки, которые бомбили Берлин, утюжили Восточную Пруссию. Мы в космос вышли. Паритета с Америкой достигли, выдавили их из Мирового океана, поставили их себе вровень. А теперь на нас грязь льют... Нельзя допустить их к власти! Развалят все, что накоплено по крохам. Экономику развалят. Армию развалят. Партию развалят! Государство развалят! «Советы без большевиков!» «Право на забастовку!» «Вся власть учредительному собранию!» Их тьма, поверь. Фотиев — тварь, букашка, москит. За ним — тьма-тьмущая! Журналистики, копатели! Писателишки, киноведы. Статейки, филистерские басенки. По кусочку отгладывают, по крошечке! Глядь, и нет государства. Бойня, бунт, свинство... Я тебя предупреждаю, прошу. Требую! Будь вместе со мной. Или будем вместе бороться, или порознь погибнем. Ты понял, что я говорю?



Он надвинулся на Евлампиева, теснил его лбом, взглядом, жарким дыханием. Требовал немедленного ответа. И тот, ошарашенный, соглашался, сдавался.

— Хорошо, я согласен. Но ты должен знать, что без Дронова тебе не удастся ликвидировать «Вектор». Он пока еще хозяин стройки и, мне кажется, начал симпатизировать Фотиеву. Дронова не обойти!

— Да я и не собираюсь его обходить. Я поговорю с ним, и он меня прекрасно поймет. Замминистра Авдеева проводили наконец на пенсию. С честью, с помпой, с дорогим подарком, но, в сущности, вытолкнули взашей. Это место предназначено Дронову. А я, что тут лукавить, я займу место Дронова. Мне, без пяти минут начальнику стройки, виднее, какие управленческие методы предпочтительней. Мне и тебе, секретарю парткома, моему коллеге и близкому другу, тянуть эту стройку. Тебе, Женя, милый, должны быть близки мои намерения, мой стиль руководства. «Вектор» не может нас с тобой поссорить, не так ли?

— Конечно, нет,— окончательно сдался Евлампиев, но все еще сохранял осторожность.— Однако тебе, чтобы заручиться согласием Дронова, нужно идти к нему с поддержкой Лазарева и Менько. Чтобы и Язвин был за тебя, и Накипелов. Чтобы все они выступили вместе с тобой против «Вектора».

— Ты умница, Женя! Конечно же, и Язвин, и Менько, и другие. Они выступят против. Но на тебя-то могу я рассчитывать?

— Нам вместе работать.

Горностаев вернулся к себе в кабинет, вызвал Цыганкова, с кем грозно и круто разговаривал за срывы графика.

— Я утром был слишком резок, извините меня. Я еще раз обдумал ситуацию на вашем участке. Вы не виноваты в задержках. Вы действовали правильно. Предложенные мною изменения в расстановке бригад и техники ни к чему не приведут. Отменяйте их. Давайте выждем. Пусть подтянутся остальные подразделения... Да, и еще! Ведь у вас сегодня день рождения! Гости, праздничный стол. Конечно же, вам не нужно оставаться в ночную смену. Поезжайте домой. И примите мои поздравления, от души!

Он встал и искренне, крепко пожал Цыганкову руку. Видел, как тот благодарен, сбит с толку, готов принять любые его наставления — весь в его власти.

— Никого ко мне не пускать! — приказал по селектору секретарше.

Положил перед собой лист бумаги. «Фотиев» — начертал он крупно в одном углу. «Дронов» — в другом. Ниже, в ряд, написал имена: «Язвин, Менько. Накипелов, Евлампиев. Лазарев». Под ними, на расстоянии — «Горностаев». Соединил себя с теми, что были выше, а тех линиями подключил к Дронову, а от Дронова в сторону Фотиева провел сильную заостренную стрелу. Смотрел, зло сощурив глаза. Аккуратно, печатными буквами вывел: «Антивектор». Тихо рассмеялся.

Зазвонил телефон. Вызывала Москва. Говорил его дядя, работник Совмина:

— Ты знаешь печальную новость? Замминистра Авдеев умер. Позавчера проводили на пенсию, а сегодня умер. Целая эра в энергетике кончилась. Ты понимаешь, чем это пахнет? Дронов в хорошей форме? Ты готов к переменам?

— Готов, — сказал Горностаев.

Представил: где-то в Москве, в просторной квартире, на диване лежит тяжелое мертвое тело замминистра Авдеева. Его мясистый нос, выпуклый лоб, подбородок. Московский день светит на это большое, неживое лицо.

### Глава шестнадцатая

Они лежали на тесной теплой кровати в длинных лучах морозного желтого солнца. Чашка на столе тихо светилась. Хлеб еще не был убран. Оставалось время перед началом смены, драгоценные минутки, когда она рядом, ее большой дышащий живот, ее белое близкое лицо и его рука под теплым ее затылком. Он чувствует ее дыхание, ее знакомые запахи, и такая нежность, такое бережение, предчувствие близкой, им уготованной радости. Они уже втроем, он, она и их неродившийся сын. Он уже с ними вместе. Бьется его маленькое сердце. Он слышит их. Присутствует среди них. Они живут для него, окружают его своими жизнями.

Так чувствовал Михаил Вагапов эти минуты, лежа с женой в своей тесной, заставленной комнатке. Слышал звуки голосов в коридоре, гулы и окрики общежития. Не хотел, чтобы это время кончалось, эти длинные янтарные лучи за окном, белое сияние чашки, ноздреватая ржаная буханка, близкий слезный блеск темных глаз на большом округлом лице жены.

— Ты ноги себе прикрой, а то, не ровен час, простудишься. Тебе нельзя простужаться. Я на работу уйду, а ты потеплее укутайся, валенки надень, два платка намотай и ступай погуляй. Подыши свежим воздухом. Только не ходи к дороге, там скользко, еще упадешь. А иди в сквер, там хорошо, снежно, тропинки протоптаны! — Он заботился о ней, накрывал ей ноги лоскутным деревенским одеялом. И она благодарно ловила его осторожную, тяжелую, смуглую руку своей белой и мягкой.

— А я все думаю, Миша, голову ломаю, как мы мебель в квартире расставим. Куда стенку, куда диван, куда столик журнальный. Расставлю, успокоюсь, вот-вот засну. Нет, не так! Опять просыпаюсь! Переставляю, передвигаю. Хочу, чтоб уютно было... Неужели, Миша, у нас будет своя квартира? Не верится даже!

— Почему не верится! Мы работаем, мы живем, ребенка рожаем. Кому же давать-то? Погоди немного, я и машину куплю. На юг вас повезу. В море будем купаться.

— Я девчонкой была, в школу еще не ходила, а уже представляла, как матерью буду. Как детей заведу, домом своим заживу. Конечно, подетски это все представляла, по-смешному. А все равно готовилась. Забиралась в палисадник, в кусты. Там у нас сирень росла густо. А под ней земля без травы. И я в земле под сиренью дворцы себе подземные строила. Стеклышками их разноцветными выкладывала, лоскутками, пуговками. Представляла, что это мой дом и я там живу со своими детьми, и никто нас не увидит, не тронет, не обидит. Много там у меня было дворцов понастроено. Наверное, и сейчас сохранились. А ты-то думал, что отцом, мужем станешь? Небось и не думал?

— Если честно сказать, не думал. Я до армии на девчонок совсем не глядел. Как провожали, в первый раз с Валькой, соседкой, потанцевали. Она меня ждать обещалась, писала сначала, а потом перестала. Уехала из деревни на фабрику и замуж вышла. А я, когда пацаном был, другим занимался. В войну играли, по садам лазали, в лесу кротов ловили, на рыбалку ходили. С Сережей, с братом, сделали лодку из алюминия. Красивая, белая. «Манюней» назвали. Почему «Манюня»? Знал бы, «Еленой» назвал.

— Мне твоя деревня понравилась. И мать твоя с первого взгляда понравилась, и брат, и тетка. Хорошо меня встретили. А тебе мои сразу понравились? Ты их вроде сначала стеснялся.

— Вы воронежские, мы тверские. Общий язык не сразу найдешь.

— Мы-то с тобой сразу нашли! Танцевать меня пригласил, чего только не молол! Ну, думаю, языкастый. Пойду за него. Говорливый, не скучно будет!

Она засмеялась бесшумно, заколыхала большим, полным телом. И он счастливо закрыл глаза, вспомнил прошлогоднюю вечеринку, когда с ней познакомился, танцевал, удивляясь своей говорливости. И внезапно, после первого танца, решил, что не нужен ему никто, а только она. Вот кто поджидал его целых два года, пока он ходил по горам, подрывался на минах, выпрыгивал из горящей машины, ловил на мушку голову в мохнатой чалме, вносил в вертолет пробитого пулей товарища, задыхался на растресканной, пыльной земле, кричал беззвучно от страха, когда очередь рыхлила, буравила гору, подбираясь все ближе к его беззащитному телу. Вот кто ждал его эти два года. И он танцевал, говорил в тот вечер без умолку, зная, что все у них свершилось, все, что было задумано, — и этот зимний солнечный день, ее дышащая налитая грудь, близкое их ожидавшее чудо.



— Ты знаешь, Миша, что я думаю. Все время думаю, думаю... Вот мы с тобой жили не вместе, порознь. Родились, не знали друг друга, чужие были. А теперь вот здесь, — она положила на живот свою руку, — здесь мы вместе, навсегда, на веки веков! Жизнь свою проживем, умрем, следа от нас не останется, а все равно будем вместе. Будем с тобой всегда обнявшись... И наши родные, твои и мои деды, твои и мои прабабки, они друг друга не знали, никогда не встречались, а теперь вот встретились. Все они здесь, во мне! Вот какая я, правда?

— Как земля. Все в тебе. Всех в себе носишь, — усмехнулся он.

— Мои-то папа и мама всю жизнь бок о бок. Живут, не расстаются. Любят друг друга. Все друг другу рассказывают. Никогда не ссорятся, обнимаются, целуются, как мы с тобой. Вот бы нам так прожить!

— А мой отец плохо жил с матерью. Пил, кричал на нее. Даже бил. Она с ним счастья не знала. Терпела ради нас с Сережей. Плакала часто. Я отца не любил. Он ушел от нас, бросил. Куда-то на север уехал. Ни слуху, ни духу. Не знаю, жив, нет? Есть ли отец у меня?

— А все равно, и твои, и мои — вот здесь, у меня! Твои деды, они кто были? Ты мне о них не рассказывал.

— Я и сам мало что знаю, никогда не видел. Один дед на войне погиб в штрафном батальоне. Чем-то он там проштрафился, провинился. Их под Сталинградом на пулеметы пускали. Пробьешься сквозь пулеметы, ранение получишь — прощен. А не пробьешься, убьют — все равно прощен. Вот его и простили, только неживого... Другой мой дед после войны на лесоповале работал, деревом его задавило. Помню, на чердаке фуражку его нашел лесную, с двумя дубовыми веточками.

— А мой один дед всю войну прошел и жив остался. И сейчас живет. Он про войну не рассказывает, не любит. Мама мне говорила, он в атаку сам не ходил, а в окопе сидел с пулеметом. Если наших вперед пошлют и они струсят, назад побегут, он по ним, по своим, из пулемета бьет. Не дает отступать... А другой мой дед, инвалид с детства, с сухой ногой. В магазине торговал керосином. При немцах, говорят, лавочку держал. Его после войны судить хотели, но из-за сухой ноги пожалели. Он на переезде под поезд попал. Ну а прадеды твои кто? Прадедов помнишь?

— Чего-то помню. Дядька мне рассказывал. У него альбом есть. Там всей родни фотографии. Мы в школе музей открыли, фотографии пересняли. Один мой прадед был в Конной Армии, трубачом у Буденного. Так и снят на коне с трубой. Говорят, был храбрый. В самую гущу лез, ему саблей трубу разрубили... А еще один прадед колхоз устраивал. Председателем был. Тоже в школе в музее висит. Одни говорят, хороший был председатель, при нем колхоз богато жил. А баба Вера бранила его. Говорит, безбожник, церковь разорил, иконы пожег. И народу много из села повыгнал. Кулаков в Сибирь сослал. Это я о прадедах знаю.

— А мой один прадед, я тебе по секрету скажу, в белой армии был, храбро воевал против красных, а потом с женой, прабабкой моей, за границу уехал. Там и исчез. В Турции, что ли, или в Румынии. От него у нас крестик царский остался. Отец его в шкатулке хранит, бережет. Я в детстве с крестиком этим играла... А другой мой дед купцом был в деревне. Дом имел каменный, амбар, лавку. Его раскулачили, в Сибирь сослали. Может, твой прадед моего деда в Сибирь и сослал.

— Да нет, они в разных местах жили. Твоего другие сослали.

— А я в деревню ездила, дом видала. Дом хороший, кирпичный.

Там теперь сельсовет, красный флаг висит... Ты слышишь, слышишь?— сказала она.— Слышишь, как торкает?.. Вот, вот опять!

— Кто?

— Да сын твой, вот кто!

Она взяла его руку, положила себе на живот. И он, пугаясь тяжести своей темной, привыкшей к железу ладони, держал ее почти на весу, накрывая живот. И вдруг под рукой, сквозь тепло и дыхание, почувствовал короткий живой толчок. Раз, другой. Сын узнал его отцовскую руку, отозвался на его прикосновение. А в Михаиле страх, изумление, сладость и горячая нежность. Держал на весу ладонь, и под ней текли незримые, бесконечные вереницы живших прежде родных. Стреляли, рубились насмерть, умирали, проклинали друг друга. Исчезли с земли, но тайно живут в его нерожденном сыне. Примирились в нем, согласились. Стремятся обратно в жизнь. Выводят сына в этот свет, в этот воздух.

— Боюсь я, Миша!

— Чего боишься?

— Всего боюсь... Войны боюсь. Неужели, Миша, будет война?.. Лежу ночью, слушаю, как в животе у меня он шевелится, пятками бьет. А сама думаю: а вдруг уже ракеты летят? Уже выпустили их, и они на нас в ночи налетают? И такая жуть! Куда кинуться, в какое поле? В какой лес? В какой подпол? Переждать, когда огонь по всей земле пройдет, тогда и выйти, и родить? А где же нам жить, если везде одни угольки?

— Да не будет войны, одни угрозы! Им ведь тоже жить охота. У них там тоже женщины беременные есть, и у генералов дочки, и у президентов внучки. И богатство у них большое накоплено, тоже терять неохота. Ракеты, они ведь в обе стороны полетят. Конечно, страшное дело, но, я считаю, войны не будет. Не думай о ней! Вредно тебе думать о страшном.

— На станции с тобой живем, рядом с атомом. И воду пьем, и воздухом дышим. Тут ведь, на станции, он у нас зародился. Вдруг атомный ребеночек у нас с тобой получится, какой-нибудь больной, ненормальный? Или станция вдруг взорвется? Вон как в Чернобыле! Куда бежать? Успеем ли? Я все прикидываю, как нам до железной дороги добраться, его уберечь! Все бегу, все спасаюсь, от беды его уношу!

— Да нет, не будет такого. Воздух чистый, вода чистая. Я с врачом разговаривал. Пробу берут каждый день. Все нормально. И взрыва не будет. Там, в Чернобыле, дураки сидели, с техникой не умели работать. Такого не повторится. Я реактор сам собираю, знаю. У него защита. Чуть что, весь уран отключают. Реактор новый, надежный. Не думай о страшном. Тебе страшное чудится, и ему тоже чудится. Ты ему нервную систему портишь. Вон мне в детстве сон снился, что с неба на меня огонь льется. А это мама, когда ей рожать, на пожар смотрела, на головешки летящие. Нельзя тебе о страшном!

— А вон что пишут, читал? Что природы уже совсем не осталось. Мы-то еще с тобой на цветы лесные глядели, из ключа воду пили. А ему не достанется! Все леса спилят, все цветы подавят, всю воду замутят. Где ему играть, на что любоваться? На железки да камни? Он и будет железный и каменный! А я хочу, чтоб он добрый был. Я каждое утро хожу на белый снег смотреть. И на звездочки. И пластинку купила с русскими песнями. И сказки с рисунками. Смотрю, слушаю. Пусть он доброты и красоты набирается.

— Вот и умница. Ты на красоту смотри и о плохом не думай. А я тебя от плохого, от злого сам заслоню. Я это умею, ты знаешь. Я двужильный. Работать могу. На хлеб нам всегда заработаю. И в обиду не дам!

Он сжал сильно веки, словно заслонил видения, грозящие бедой. Сжатыми веками держал их на дне своих глаз. Тот короткий огненный взрыв, подбросивший вверх лейтенанта. Размытое чернобородое лицо, надвигавшееся на мушку прицела. Хрупкое тело Еремина, пробитое стальным сердечником. Пикирующий вертолет, вбивающий в гору снаряды. Все это было в нем, на дне его глаз. Стреляло, стонало и выло. Стремилось наружу. И он сжимал плотно веки, не пускал сквозь них видения беды.





— И еще боюсь, что умру. Мне врач говорил, трудные будут роды. Как-то не так он лежит, и будет трудно рожать. У меня подружка была, Тамара, в школе вместе учились. Такая веселая, бойкая. Парни за ней, как пчелы, вились. Сразу четверо замуж ее хотели взять. Она вышла за парня из соседнего дома. И все хорошо — такая ходила здоровая, веселая. Платье себе сшила колоколом, чтобы живота не видать. «Я,— говорит,— на тряпичную бабу похожа, которую на чайник сажают». А рожать стала — и умерла. Ребенок выжил, а она умерла. Может, и со мной такое случится? Боюсь я, Миша, боюсь!

— Да ну перестань! Ты вон какая сильная, большая! Родишь хорошо. Роддом у нас в Бродах хороший. Чего зря себя мучаешь?

— Ты, Миша, почаще будь дома. Уходишь, а я боюсь. Вдруг без тебя случится, ты и узнать не успеешь. Ты, если уходишь, все равно обо мне думай. Где бы ты ни был, а думай. На работе — думай. С друзьями — думай. С девчонкой какой-нибудь — тоже думай. Я теперь толстая, некрасивая, ты меня и разлюбишь. Вон сколько девчонок незамужних, красивых. Возьмешь да уйдешь к другой!

— Да ну, перестань. Охота тебе говорить.

— Нет, ты послушай. Я тебе хотела сказать. Когда я пойду рожать, ты будь рядом со мной. И думай обо мне, думай, думай! Чтоб боль мою взять на себя! Чтоб я не умерла! А если умру, ты сразу не женись, немного один поживи, чтоб ребеночек наш окреп. А тогда и женись. А его в свою семью забери, не отдавай в детдом. Пусть с тобой растет. И жене своей прикажи, чтоб его любила, не обижала!

— Да что ты такое говоришь, миленькая моя? Что ты мучаешь себя понапрасну? Не думай об этом! Все будет у тебя хорошо! Нельзя тебе сейчас волноваться. Давай о другом! О чем-нибудь хорошем и добром!

Он гладил ей волосы, шею, грудь. Склонялся над ней. Касался губами ее живота. Медленно, нежно дышал. Вдыхал в нее свою горячую жизнь. Берег ее, окружал нежностью и любовью. И от этой любви и дыхания ее глаза потемнели, наполнились обильно слезами. И он целовал на щеках ее бегущие соленые слезы.

— Миленькая, любименькая, все будет у нас с тобой хорошо!

Встал, прошел к шкафчику. Порылся в ящике, добираясь до красной картонной коробки, где хранилась память об афганском походе. Медаль «За отвагу», осколок мины, извлеченный из предплечья военным хирургом, и зеленый полупрозрачный камень на цепочке, в серебристой оправе, найденный на горной тропе. Украшение женщины-горянки или амулет наездника. Там, в Афганистане, он носил на себе этот камень вместе с маленькой сплющенной гильзой, где хранились его имя и солдатский номер. Суеверно надевал на себя амулет, считая, что камень сохранит его от вражеской пули.

Теперь он принес амулет жене и бережно, осторожно надел ей, положил на грудь. Камень, коснувшись живого женского тела, потеплел, засветился, наполнился сокровенным сиянием.

— Носи его постоянно. А рожать пойдешь, скажи врачам, чтобы они его с тебя не снимали. С ним и рожай. Он и от боли, и от хвори, и от всякой напасти. Он меня сберег и тебя сбережет. И все у нас, миленькая, будет с тобой хорошо!

Она держала в ладони его руку. Камень тихо светился на ее груди. И слезы текли и текли из ее темных расширенных глаз. И он боялся их тронуть губами. Только шептал:

— Все будет у нас с тобой хорошо!

## *Глава семнадцатая*

В подвальном помещении дома, в дворницкой, было жарко, накурено. Хмуро горела лампа в решетчатом защитном чехле. Труба в асбестовом кожухе пролегала вдоль стены, уходила вверх, в потолок, обогревала дом. В углу стояли лопаты, метла, скребки, тускло светился тяжелый лом. На длинном столе валялись окурки, огрызки. Мокро мерцали стаканы, недопитая бутылка. На табуретках и лавках сидели разгоряченные, распаленные собутыльники, умолкнувшие на мгновение после выпитой сивухи.

Чесноков, завладев бутылкой, придвинул ее к себе. Ярко, остро взглядывал. Улыбался короткими влажными губами, из-под которых виднелись крепкие желтые резцы. Худая немытая шея была обмотана засаленным красным шарфом. Чеснок часто дышал, поднимал плечи, озирал комнату, и казалось, он ищет, во что бы вцепиться, что бы сломать. Такими веселыми, нетерпеливо-зоркими были его глаза, отточенными, готовыми к укусу резцы.

Напротив него сидела деваха, хозяйка дворницкой. Она была пьяна. Волосы в мелких кудряшках растрепаны. Большие, распухшие от работы руки отдыхали на столе, играя корочкой хлеба. На открытой шее голубели стекляшки бус. На плечи, прикрывая мятую кофту, был наброшен платок. Лицо ее, милое, усталое, в веснушках, в легких тенях у глаз и у губ, было деревенским девичьим лицом. Она радовалась своему опьянению, обилию людей, тесноте теплой комнаты, за которой был ледяной, застывший город, лед на тротуарах, закованные водостоки, запорошенные улицы, где ожидала ее тяжелая, до самой ночи работа с ломом, скребком и метлой.

Тут же, за столом, умостился здоровенный детина, вялый, с тяжелым лошадиным лицом, покрытым угрями, с маленькими сонными глазками. Он мял, растирал в кулаке окурок, качал головой, будто сокрушался по поводу какой-то им совершенной оплошности. И оплошность эта была связана с асбестовой трубой, где что-то текло и булькало. Именно этот звук томил его и тревожил.

Рядом с ним не сидел, а ерзал, дергался, суетился худой, нервный малый. Торчали во все стороны его колючие волосы, оттопыренные уши. В нем горел беспокойный пьяный зуд. Он ухмылялся, шептал, вскидывался на всех иронично, словно подбивал их на остроту, на шутку, на веселое, бесшабашное дело, раздражаясь тем, что все медлят, не видят его удали, молодечества.

Пятый гость дворницкой был крепкий парень с набыченной шеей, белыми выпученными глазами. Улыбался, не закрывая металлические легированные зубы. Поглядывал на всех как бы снизу. Брал пустой стакан, опрокидывал его, ожидая появления капли. Обнюхивал, ставил обратно.

Все они были в том опьянении, когда кончились первое благодушие и согласие, желание друг другу добра и блага и наступали раздражение, беспокойство, стремление к поступку и действию.

— Он меня купить хотел, Горностаев, сука! Пожалел меня, бедненького, облученного! Милость оказал! В машину рядом с собой усадил, рюмку водки налил! Спаситель, начальничек добрый, сволочь! — Чесноков скалился, жарко дышал, качал бутылку. Остатки самогона плескались. Остальные следили за этим плесканием, мучились видом невыпитого зелья. — Он роль играл! Так ведь и я играл! Я ведь артист, режиссер! Психологию знаю! Я ему, сволочи, благодетелю, еще покажу! Я ему в замок-то гаражный воды налью! Пусть ключ потом вставит, с паяльной лампой лед пусть вытапливает! А то меня, как нищего, дальше порога в дом не пустил! Рюмку водки поднес! Ну прямо барин, помещик! Сволочь такая!

— Чеснок, давай наливай! — раздраженно торопил худой, с растрепанными волосами малый. — Чего оставлять на день? Выпьем — и ладно! Тогда и расскажешь. Давай, говорю, разливай!

— Ты, Гвоздь, заткнись! Жди, когда нальют. Если просишь, проси деликатно. Ты опять на мои пьешь, а когда на твои пить будем? Ты когда мне поставишь?

— Ты же знаешь, Чеснок, я пустой. Жрать не на что. На работу не берут, откуда возьму? Будет у меня густо, и я поставлю, — оправдывался малый, и впрямь похожий на кривой заостренный гвоздь.

— Зачем тебе ждать, когда на работу возьмут? Я тебе на стройке фанеру показывал. Почему не взял? Раз, машину подогнал, побросал десяток листов — и айда! Сейчас бы ты угощал, а не я! Почему фанеру не взял? Казенное добро сам бог велел пропивать.

— Да я бы всю станцию пропил, не знаешь меня? — хохотнул виновато Гвоздь. — Меня ведь за что турнули? Два манометра отвернул и вынес. А мастер, сука, заметил. Чуть под суд не отдал. Ну налей, Чеснок, будь человеком!



— Давай, Чеснок, разливай! Ну ее в зад! Додавим и успокоимся. — Малый с лошадиной головой туповато смотрел на бутылку. Глотнул впустую. Поднял и опустил с костяным звуком темный, небритый кадык. — Давай ее просушим, Чеснок!

— А, ты, Всеволод, тоже меня удивляешь! — Чеснок укоризненно смотрел на просившего. — Казалось бы, человек обеспеченный, с достатком, с семейным положением. Женат, образование пять классов, умственные способности чуть ниже среднего. Мог бы при этих данных добыть червонец! Ну у Лидии своей из чулка бы вынул. У тебя замечательная профессия — грузчик. Хорошая трудовая биография — три года в мебельном диваны и шифоньеры таскаешь. Могли бы тебе и премию дать, а ты бы с этой премии нам, товарищам своим, бутылку поставил. А ты, Всеволод, жадный. Все в дом, к Лидии тащишь. За это она тебя в чистоте держит.

— Да какой к Лидке? — удивился, не понимая шутки, парень, рассматривая свои черные, немытые ладони, покрытые костяными мозолями. — Аванс почти весь пропил. Лидка в меня молотком кинула, вот сюда попала! — Он осторожно тронул макушку. — Вот все, что осталось! — Он вытащил из кармана засаленного пиджака два медяка, окисленных от пребывания в сырости.

— Он не врет, — поддержал Всеволода третий, с металлическими зубами, все так же оскаленными, словно парень боялся обжечь о них губы. — Я видел, как Лидка ему в череп молоток метнула. Звук был такой интересный, как по роялю. Плесни, Чеснок!

— Я плесну, — пообещал Чеснок. — Не выливать же! Я своим товарищам всегда последний рубль принесу. Я денег не коплю, правда, Катюха? — Он обернулся к дворничихе, которая все это время тихо, не слыша их, улыбалась, оттягивала на шее синие бусы, что-то невнятно шептала. — Я вон ей принесу, Катюхе! Тысячу рублей принесу, как обещал. И вам принесу! Мне приятно, когда товарищи мои пьют, гуляют. Я и на вторую работу устроюсь, еще больше буду вкалывать, чтоб мои товарищи без денег не сидели, могли б хорошо выпить, закусить. Но и товарищи мои пусть меня уважут, сделают приятное. Повеселят меня хоть немного! А то скучно. Скучно так жить, мужики! Сделаем что-нибудь хорошее, полезное! Чтобы люди на нас посмотрели и сказали: «Вот это парни! Вот таких парней нам не хватает!» Давайте что-нибудь сделаем, а, Кусок? — обратился он к металлическим зубам, и их хозяин ухмыльнулся. Понимал его, принимал его игру. — Съешь стакан, Кусок! Ты это любишь, умеешь!

Кусок взял стакан, повертел, прицелился. Ухватил стальными зубами край стекла. Сжал с хрустом. Откусил кромку и, чавкая, дробя стекло, стал жевать, раскрывая рот, обнажая язык, на котором шевелились зерна стекла, пузыри слюны и крови.

— Что ты делаешь, дурак? — вскрикнула, приходя в себя, Катюха, с ужасом закрывая ладонью рот, глядя на другой рот, окровавленный, чмокающий и хрустящий. — Что ты с собой сотворяешь? Помрешь!

— Он не помрет! Герои не умирают! — восхищался Чеснок. — С такими парнями что может случиться? Такого парня в Америку по телемосту показывать. Они должны нас знать! Должны протянуть нам руку. Кусок, ты уже заел. Теперь выпей! — Он отобрал у Куска стакан. Плеснул в него из бутылки. И тот, дожевывая, сплевывая в ладонь красную, с мелкими осколками, слюну, выпил.

— Дурак ты, дурак! — горевала Катюха, глядя на стеклоеда. — Там тебе все изрежет. Болеть будешь.

— Наши люди боли не боятся, — ликовал Чеснок. — Их стеклом режь, огнем жги, только крепче становятся! Правда, Всеволод? Покажи свой коронный, огнеупорный номер! Покажешь, налью!

Всеволод хмыкнул, заморгал подслеповатыми глазками, вставленными в длинную, костлявую, с отвисшими губами голову. Выложил на стол черную, похожую на кусок асфальта руку.

— Жги! — протянул Чесноку.

Тот одну за другой запалил три спички, вдавливал их горящими пышущими головками в ладонь Всеволода. Спички втыкались, впивались в его мозоли, и запахло горелым копытом.

— Чеснок, какой же ты гад, фашист! — кинулась на него Катюха, норовя ударить кулаком. Но тот с хохотом увернулся, поймал ее руку и больно вывернул. — Пусти, крыса. Крыса зубастая!

— Ты смотри и любуйся! — отпустил ее Чеснок, поглядывая на черную с торчащими спичками ладонь. — Когда Севу будут допрашивать, где, мол, штаб партизан, Сева им ничего не скажет! Выпей, Сева, за подвиг! — налил ему из бутылки, и тот, выпятив губы, выпил, издав кадыком все тот же щелкающий звук — переброшенной на счетах костяшки. — Ну а тебе что придумать, Гвоздь? На что ты горазд? В прошлый раз паутину съел. Оригинально! Да здесь у Катюхи паутины нету. Без штанов тебя на мороз пустить, что ли? Опять же Катюху обидим. Она этого не любит. Ладно уж, так и быть! — Чеснок вынул складной, с пластмассовой ручкой нож. Раскрыл. Приблизился к Гвоздю. Тот послушно подставил голову. Чеснок отрезал ему большой клок волос, причинив боль, потому что Гвоздь вскрикнул, схватился за голову. — На-ка, выпей! Без наркоза стричься не можешь! Выпей, Гвоздик!

Оставшееся в бутылке поделил поровну себе и Катюхе, и та, морщась, закрыв глаза, выпила, ахнула. Чеснок следил с наслаждением, как она часто дышала, остужала ожог самогона.

Выпивка возбудила компанию. Чеснок, хозяин стола, довольный спектаклем, хвастливо витийствовал:

— Он меня, видишь ли, хотел купить, обыграть. Он думал, Чеснок работяга, доходяга чернобыльская! Пожалел, пригрел доходягу. А я режиссер, артист! Я сам пьесы ставил и на сцене играл. Если б захотел, знаменитым стал. Телевидение два раза приезжало снимать, плюнул на все — скучно! Жизнь — вот мой театр! Вы мои артисты! И будем играть, будем пить, будем баб любить!.. Катюха, поцелуй меня!

Он потянулся к дворничихе. Захлестнул ее своим шарфом, потащил к себе. Та отбивалась, сердилась, рвала его шарф.

— Пусти, Чеснок! Не стану тебя целовать! Ты противный! Я бы тебя на порог не пустила, да замерзла с ломом работать. Выпить было охота. А сейчас прогоню! Пусти, а то прогоню!

— Это уж твоя такая доля, Катюха, с ломом работать. Тебе с ним, как с мужем, жить. Лом Иваныч! Всю жизнь проживешь и детей от него народишь. Такие железные детишки, аккуратные! И в гроб с тобой лом положут, не только в постель. Такая твоя доля!

— Гад ты, Чеснок! Ненавижу, — пьянея еще больше, тоскуя, сказала она, с трудом подымая на него бледно-синие, измученные, без ненависти, а с тоской и усталостью глаза. — Плохой ты, Чеснок!

— Найди хорошего! — хохотал он, довольный этим безвольным, беззащитным взглядом. Обнял ее, целуя в открытую шею, в голубые стекляшки. — Или Лом Иваныч, или я, Чеснок Никанорыч!

Компания гудела, говорила бестолково, бессвязно. Наполняла дворницкую смехом, хрипом. Труба в асбестовом кожухе хлюпала, дрожала. Казалось, сквозь нее проносятся звуки всех проходящих в городе пьянок, льются в отстойник.

— Чеснок, еще выпить охота! — Сева с трудом поворачивал костяной короб своей головы, в котором слипались, спекались глазки. Превращались в малые мутные слезки. — Выпить охота, Чеснок!

— Да что я вам, поило-кормило? — возмутился тот. — Нет у меня ничего, вот рублевка осталась! — Он вытащил смятый рубль, кинул на стол, дунул. И рубль полетел прямо Севе в лицо. — До получки три дня!

— Нет, Чеснок, — упрямо требовал Сева. — Надо бы к бабушке Фросе сходить. Пусть нацедит бутылочку. У ней, у бабушки Фроси, завсегда первачок найдется. Я тебя сегодня на такое дело веду, а ты жмешься! Бутылку жаль!

— Да нет у меня, только это! — злился Чеснок. — Вон возьми у Катюхи платок, снеси бабушке Фросе, будет бутылка! А о деле нашем молчи. Меня сцапают, и ты загремишь... Катенька, дай нам платочек! Мы бабке Фросе снесем и бутылку достанем. Еще посидим, погуляем. Дай нам платочек!

Он потянулся к ней, ухватил платок, дернул с плеч. Но она, очнувшись, резко, зло ударила его по рукам.



— Не тронь! Как шарахну по башке! Не тронь платок! Я его берегу. Мне его мама на дорогу купила. «На, говорит, тебе, дочка, на счастье. Чтоб носила и дом помнила. А если будет тебе плохо, возвращайся, всегда тебя, дочка миленькая, с радостью примем».

Она стянула с плеч платок, рассматривала узоры. Приблизила лицо, словно вдыхала чуть слышные, оставшиеся запахи родной деревни. Дыма, травы, молока. Качала головой. Глаза ее слезно блестели. Она положила платок на колени, локти на стол, голову на ладони. Покачиваясь, причитала:

— Зачем из деревни уехала? На что понадеялась? Дом у нас большой, живи на здоровье! Работы сколько угодно! На ферму с мамой ходить или в полеводы к Евдокии Петровне... Жених был Коля Платохин. Любил меня, жениться хотел... А я что хотела? Этого, что ли, хотела? На пьяные ваши рожи смотреть? Сивуху горькую пить? Ломом по льду стучать? Уеду назад в деревню! Денег скоплю и уеду! Платье куплю, дубленку. Подарки всем накуплю и уеду. А то пропаду здесь. Пропаду я здесь, пропаду!

Она причитала, закрыв глаза. Качалась на табуретке. Чеснок подмигнул Гвоздю, указывая на платок, тот понял, кивнул в ответ, нацелился.

— Понимаю тебя, Катенька, понимаю! — сочувствовал Чеснок, вкрадчиво, жалобно подхватывая ее причитания. — Хорошо бы тебе вернуться. А деревня-то ваша красивая? Красивые есть деревни! Ваша-то как стоит?

— Наша? — Она встрепенулась, выпрямилась. Поверила Чесноку. Устремилась туда, куда он ее повел. Прочь от этого заваленного окурками стола, от мокрых битых стаканов. — Наша красиво стоит! На горе. По одну сторону поле, по другую — лес. И речка внизу течет. Если рожь посеют, поле желтое. Если клевер — красное. Один год желтое, другой — красное. И много во ржи васильков!

Она сидела прямо, смотрела далеко, улыбалась. Гвоздь тихонько тянул с ее колен платок.

— Давно я, Катенька, по живой траве не ходил. Все по бетону да по асфальту. Босиком бы по землице мягкой и теплой! По траве-мураве! Как бы хорошо походить!

— Хорошо! — улыбалась она. Улыбалась от мысли одной. Верила ему, была ему благодарна. — Дождик как пройдет, и клевер красный станет. Медом пахнет! Зайдешь в поле, вода на ноги летит, в каждом листочке серебряная капля лежит. Идешь вся мокрая. Хорошо, чисто!

Гвоздь медленно, аккуратно тянул за платок. Откидывался, когда она к нему оборачивалась, притворялся пьяным. Вновь, щуря глаза, тянулся к платку.

— Молочка бы попить парного! — продолжал Чеснок. — Водку пьем, себя травим. Зачем? Молочка бы попить с недельку! Сразу бы здоровье вернулось. Что может быть лучше парного?

Она шла на его манок.

— У нас корова Варька. Сперва ее в стадо гоняли, а потом перед домом пасли. Я ее выведу, где травка погуще, костыль вобью, и она на веревке ходит, щиплет. Днем приду, перенесу костыль, где травка подросла, и снова ходит, щиплет. А вечером мама доит. Я приеду в деревню, молоко пить начну. Сразу щеки красными станут. Чего я здесь ем, пью? Одно порченое. А там домашнее, свежее. Молочко, сметана! Отдохну, поправлюсь, красивой стану! Я красивая была. Коля Платохин говорил: «Ты, говорит, самая красивая!» Он любил меня и теперь любит. Вернусь — сразу замуж возьмет!

Платок тихонько скользил, уплывал с ее колен. Гвоздь, весь настороже, весь в охоте, тянул за цветастый кончик. Чеснок подмигивал ему. Наклонялся к Катюхе, мечтал вместе с ней.

— А что, и возьмет! Свадьбу сыграете. Я свадьбу деревенскую видел. Не то что здесь, в ресторане. Там обычаи — ряженые, молодых зерном посыпают. А у вас посыпают зерном?

— Посыпают, — радостно подтвердила она. — И зерном посыпают, и ряженые, и песни поют. Старухи собираются и песни поют, величальные. Отдельно жениху и невесте. За песни старухам рублевки дают, слад-

ким вином поят. А когда на подарок молодым собирают, поднос достают и тоже деньги бросают, кто сколько желает. Которые в город уехали, все равно в деревню приезжают свадьбу играть. Весело, хорошо! Хочешь — в доме танцуй, хочешь — на улице! Просторно, красиво!

Гвоздь стянул платок. Скомкал его, засунул себе под полу. Боком, косолапо, изображая пьяного, потянулся к дверям. Накинул ватник и выскользнул. Двое других, Сева и Кусок, наблюдавшие за всей операцией, беззвучно смеялись. Потешались над легковерной Катюхой, над Чесноком, что ее морочил.

— Я тебе денег достану, Катенька, — обещал Чеснок. — Купишь подарки. Купишь платье себе. Поедешь в деревню. Нечего тебе здесь пропадать! Ну что здесь хорошего? Ни с кем не поговорить, душу никому не откроешь! Разве можно так? Одна-одинешенька!

— У меня есть кому душу открыть, — тихо улыбнулась она. Смутилась, словно проговорилась о сокровенном. Колебалась, стоит ли раскрывать свою тайну.

— Кому же, Катенька? — выведывал Чеснок. — Кому ты душу свою раскрываешь?

— С вами-то поговорить не о чем. Вы на смех подымете. Я и говорю ей, Веронике. Я ей все говорю. Она и слушает, и отвечает.

— Это какая же такая Вероника?

— А в мебельном Вероника! — хитро усмехалась Катюха, радуясь его недогадливости, тому, что и ей наконец можно над ним посмеяться. — В витрине сидит Вероника. Золотая, красивая! Я ее Вероникой зову.

— Манекен, что ли? — прыснул Чеснок, предчувствуя для себя новую возможность потехи. — Баба золотая. С ней, что ли, разговариваешь, когда лед долбишь?

— Она не баба! Она молодая, как я. И лицом на меня похожа. Только прическа другая. И лицо золотое. Я вечером, когда народу нет, иду к ней. Тротуар чищу, а сама с ней разговариваю. Как день прошел, кого повидала, что где случилось. Жалуюсь ей, если обидят. Прошу ее, чтобы мне повезло. Чтобы мама была здорова. Брат Сеня техникум закончил. Чтоб тетя Надя выздоровела, нога ее не болела. Чтоб мне с женихом повидаться, когда в деревню вернусь. И она обещает. Все делает, как я прошу.

— Ой, не могу! — не выдержал Чеснок, корчась от смеха, охлопывая себя по бокам. — Не могу я больше с тобой! Вероника... Богиня золотая! Нашла себе богиню и молится... Да ее специально поставили, чтоб такие дуры, как ты, немытые, немазаные, некормленые, непоеные, чтоб такие дуры к ней ходили и в поклонах лбы о лед разбивали. Утку подсадную для дур придумали! Сучку золоченую.

— Врешь! — вскрикнула тонко Катюха, еще не веря, что ее обманули. — Она не сучка! Она Вероника... Я ее в журнале видела. Она и в кино снималась. У нее тоже жених есть! Она с ним в Прибалтику ездила... И я на нее похожа!

— Сучка, сучка она! Не живая, а бумажная. Была бы живая, я бы с ней давно переспал, — хохотал Чеснок, дергая Катюху за кофту.

— Гад ты, Чеснок! Бич проклятый. Прогоню! Навсегда прогоню!

— Не прогонишь! Я тебе вино приношу.

— Все вы гады!.. Повешусь!.. Все мужики гады! Изрубить вас! Всем вам смерти желаю!.. Кому я теперь нужна? Кто меня теперь пожалеет?

— Лом Иваныч тебя пожалеет! — надрывался Чеснок. — Ой, не могу!.. Лом Иваныч тебя, Катюха, полюбит!

Вернулся Гвоздь. Вытащил из-под полы мутноватую бутылку самогона.

— Вот! — похвалялся он, гордо ставя на стол бутылку. — Бабушка Фрося прислала!

— Гвоздь, да какой же ты мальчик хороший! — гладил его по голове Чеснок. — Да какой же ты умненький, хороший мальчик!

— Давай, мужики, разливай, — тянулся к бутылке Сева.

— Закусь, закусь возьмите, — ухмылялся Кусок, полыхая своими нержавеющими зубами, протягивая товарищам огрызки хлеба.



— Катюха, давай стакан!

— Гады вы все! — Она плакала, дрожала плечами, Чеснок ее обнимал. Вталкивал ей в руки стакан.

Поздно ночью, оставив душную, прокуренную дворницкую, Чеснок и грузчик мебельного магазина Сева выскользнули на мороз. Бубня, переругиваясь, трезвея с каждым шагом, направились к магазину. Улица была безлюдной. В стеклянной витрине, на диване, под торшером сидела златоликая женщина. Молча, бесстрастно смотрела на пустой, замороженный город, в который ее привезли, выставили под свет ледяных фонарей.

Чеснок задержался перед ней на мгновение. Усмехнулся, скорчил рожу. Но она смотрела на него, не мигая, золотыми глазами, и ему стало вдруг страшно.

— Вероника, чтоб тебя! — выругался он, еще больше трезвея, торопя, понукая товарища. — Ну давай, шевелись! Портки к ногам примерзают.

Они обогнули магазин. Прокрались к кирпичной пристройке, где в окне виднелся вентиляционный короб с розеткой вентилятора.

— Давай доставай! — командовал Чеснок, чувствуя, как хмель исчезает и появляется озорное хищное веселье. — Подставляй!

Сева отрыл из-под снега стремянку. Приставил к окну, придерживая, а Чеснок, цепко хватаясь за липкое железо, поднялся. Осторожно отодвинул пропеллер непривинченного вентилятора, за которым открывалась пустота жестяного короба.

— Жди в стороне. Стремянку убери. Не засни. Слушай, когда свистну. Приставишь.

Он сбросил пальто и шапку. Вытягиваясь, удлиняясь, влез в отверстие. Втиснулся в жестяной желоб и стал углубляться, вдавливаться, двигаясь, как змея, напряженно пульсируя мышцами.

Пролез вентиляционный канал. Выбрался сквозь него в подвальное помещение. Осторожно, слыша шарканье своих башмаков о бетон, поднялся, вошел в магазин.

Здесь было темно, тепло. Пахло лаками, деревом, тканями. В сумерках, привыкая глазами, он различил стоящие вдоль стен диваны, шкафы, кровати. Мерцали подвешенные над прилавком светильники. Витрина мягко светилась, и в ней, спиной к Чесноку, сидела золоченая женщина. Ее присутствие было ощутимо. В магазине были двое — он и она. И это его возбудило.

— Вероника! — произнес он. — А вот я тебя сейчас на кровать!

Он испытал к ней вожделение. Подошел, огладил ее плечи, грудь, ноги. Они показались живыми, теплыми. Желание его усилилось, и он, вытягивая шею, приблизил лицо к ее золотому лицу и поцеловал в губы.

— Вероника! — шептал он. — Иди ко мне, Вероника...

Чувство опасности, хмель, сумрачная пустота помещения, двухспальная кровать усиливали в нем похоть. Усмехаясь, он смотрел на ее золотое лицо, золотые ноги, золотые разведенные руки. Очнулся, тихо рассмеялся.

— Вероника, Вероника, ты меня не урони-ка. — Он отошел от нее, погружаясь в сумрак торгового зала. — Не за бабой пришел, за деньгами...

Грузчик Сева сообщил ему, что кассирша часто оставляет дневную выручку в кассе, не успевает сдать ее в банк. Сегодня, утверждал Сева, именно и был такой день. Инкассатор не успел появиться.

Кассовый аппарат отсвечивал никелем и пластмассой. Денежный ящик был заперт. Чеснок извлек из кармана толстый складной нож. Выставил отвертку. Стал возиться с замком, выламывая древесные щепки, хрустя металлом, нащупывая отверткой стальные элементы замка.

Внезапный, острый, набегающий свет ворвался, ослепил, наполнил магазин бесшумной вспышкой. Сочно, жутко блеснули подвески на люстрах, отвертка в руках, никелированный корпус кассы, золотое лицо обернувшейся женщины. Чеснок обомлел, обессилел. Смотрел, как падают, валятся в угол огромные тени. За окном прошла машина, осветив магазин лучами фар.

Страх миновал. Сердце продолжало стучать. Вместо страха надвинулась тоска. Он, ворюга, отвратительный, пьяный, в промокших, раскисших сапогах, в нечистой затхлой одежде, стоит здесь с отмычкой, ломает замок, всеми отвергнутый, пропащий, живущий из последних сил.

Это длилось мгновение. Женщина с золотым лицом отвернулась презрительно, не смотрела на него.

Он с силой нажал отвертку, замок хрустнул, ящик открылся. В нем было пусто. Лишь валялась скомканная драная трешка. Он держал ее, рассматривал, ошалело глядя в пустой ящик.

Глухая, темная злоба, близкое к истерике бешенство поднимались в нем. Его обманули — и тогда, и теперь, и всегда. Он ублюдок — так всегда его называли. Бич, неудачник, мерзкий лицом и душой, гадкий для всех, и цена ему — эта мятая сальная трешка.

Хмель его кончился, превратился в лютую ненависть. Он ненавидел и желал погибели всем. И этому бездушному городу из силикатного кирпича и бетона, поставленного чьей-то угрюмой волей посреди болот и лесов. И станции, огромной, слепой, глотавшей бессчетные людские жизни, проглотившей и его, Чеснока. Ненавидел страну, пустынную, бессмысленно расползшуюся по земле, населенную нелепо и бестолково живущими людьми, то сцепившимися в клубки, то, как пар, гонимыми по суровым, невозможным для жизни пространствам. Он желал всем погибели. Чтоб взорвалась эта чертова станция, пролила на всех ядовитый огонь, спалила город, окрестность, все живое — начальников и работяг, милиционеров и шоферюг, стариков и младенцев, собак и кошек, лисиц и зайцев. Чтоб упали на эту чертову землю ракеты, сожгли дотла, вскипятили моря, вспучили ртутными пузырями океаны, сварили эту жизнь, отвратительную и постылую.

Он так страстно отрицал эту жизнь, ненавидел ее, так вымаливал этот взрыв и огонь, что дрожь прокатилась по его телу и он ожидал немедленного испепеляющего удара.

Но удара не было. Смятые три рубля казались насмешкой над ним. Золотая баба его обманула. Завлекла сюда, заманила, кинула ему на осмеяние мятые три рубля.

— Золоченая сука! Колдунья! — Бред колыхнулся. Хмель возвратился разом. Он глухо застонал, захрипел. Двинулся к ней. Втиснулся в витрину, повторяя: — Сука, золоченая сука! — Стал бить и резать ее золотое лицо, выкалывать глаза, процарапывать щеки и рот. — Сука золоченая!

По улице мимо магазина промчалась ночная «скорая помощь». Пульсировала лиловой мигалкой. И тот пульсирующий лиловый огонь выхватывал исковерканное, иссеченное, с отпавшей позолотой лицо. И в Чесноке, как бред, как близкое безумие, возникли незабытые картины Чернобыля.

Едва привезли его в Чернобыль и он увидел город без обитателей, заколоченные дома, замки на калитках, военные машины с мигалками, людей в белых робах и марлевых, по самые глаза, повязках, увидел сами эти глаза, тревожные, воспаленные, наглядевшиеся за день на что-то громадное и ужасное, едва он все это увидел, как пожалел, что искусился на денежный куш в пять зарплат, и задумал дать деру куда-нибудь подальше от этого зараженного места. Или в Сибирь к геологам бить шурфы, или на Сахалин на рыбу, или на худой конец на какую-нибудь бестолковую стройку, где нет порядка и можно бить баклуши, добывая на хлеб если не трудом, так бездельем, потихоньку растаскивая безнадзорно лежащие доски, кирпич и цемент. Еще не побывав ни разу на аварийной станции, он уже задумал побег, поджидая удобного случая, прислушиваясь к молве.

Говорили, что земля вокруг станции ядовитая, нельзя ступить, а чтобы уменьшить радиацию, грунт покрывают сплошным бетоном, выстилают толстыми плитами, — на эту работу и подрядился он, Чесноков. Говорили, что солдаты в помещении станции лопатами сгребают уран, и, чтобы не погибнуть от смертельных лучей, каждому в день выпадает десять секунд работы. Говорили, что машины, побывавшие на аварии, стали радиоактивными, их отобрали у водителей, загнали на площадки, и там, на этих площадках, они будут догнивать и разваливаться, источая лучи. Говорили, что пожарники, тушившие на блоке пожар, погибли в мучениях и их хоронили в свинцовых гробах, а тем, что выжили, пересаживают спинной мозг. Говорили, что водка выгоняет из крови отраву, в Чернобыле ее не достать, а в Киев не каждый поедет. Говорили, что реактор кипит, выбрасывает газы и сажу и возможен в любой момент новый взрыв, от которого не будет спасения. Говорили, что город Припять оставлен в одночасье и в квартирах богатая мебель, деньги — энергетики жили не бедно. Говорили, что всех, кто проработал срок на аварии, помещают в госпиталь и они лысеют, теряют мужскую силу, не способны иметь детей.



Все это слушал Чеснок, чутко улавливал и обдумывал. И решение удрать крепло.

Когда через несколько дней его нарядили в белую шапочку, в пугающе чистую робу, выдали респиратор и на автобусе вместе с другими бетонщиками привезли на станцию, он по-настоящему испугался.

Скопление техники. Урчащие, дымящие, сосущие и качающие механизмы. Красные пожарные машины с надрывной сиреной и лиловыми вспышками. Вертолеты, исчезающие за полосатой красно-белой трубой, пикирующие на аварийный реактор. Приплюснутые «бэтээры» в свинцовых попонах, медленно уползающие на станцию, в близкое неизвестное и пугающее. Множество людей, одинаковых, в масках и робах, исчезающих в чреве станции. И сама она, огромная, белая, солнечная, окруженная невидимым, пронзающим все излучением, глотающая белые толпы, похожая на громадную операционную, в которой, если заглянуть внутрь, на белом столе лежит неподвижное тело и хирурги-великаны с хрустом, треском рассекают его.

Это видение было столь страшным, станция столь угрюмо на него надвигалась, валила из неба полосатую трубу, дула смертью и гибелью, что Чеснок, потихоньку пятясь, отдаляясь от бригады, зашел за грузовик с цистерной. Прохлюпал по белой разлитой жиже. Увидел отъезжающий автобус. Успел впрыгнуть в дверцу и покатил прочь от гиблого места, зная, что уж больше сюда не вернется.

Но, покуда ехал по гладкому голубому асфальту, мимо зеленых сосняков, цветущих обочин, белых, мелькавших на пригорках сел, страх его понемногу исчезал. Исчезли затравленность, беспокойство, угрюмое недовольство. Он снова был вольной птицей, бродягой без кола, без двора. И это освобождение побуждало его к озорству, порождало желание куролесить. Не просто сбежать отсюда, покинуть эти украинские, вверх дном перевернутые земли, а что-нибудь выкинуть, натворить напоследок.

В селах белели хаты безлюдно, нарядно. От шоссе к ним тянулись проселки. Его подмывало побывать в этих селах, поискать и порыскать. Вдруг что-нибудь плохо лежит. Хотелось заглянуть в эти белые дома без хозяев.

— Притормози-ка, — попросил он шофера. — Тут где-то наши работают! — неопределенно махнув, он выскочил на дорогу, отпуская удалявшийся, затихавший автобус.

От шоссе через поле ответвлялся проселок. Стоял указатель с надписью «Беляки». Травяная обочина, зеленое поле, гряда кустов, темневший в отдалении лес были огорожены свежеотесанными столбами, натянутой на них колючей проволокой. При съезде на проселок высилась обшитая тесом наблюдательная вышка. Два солдата смотрели на подходившего Чеснока. Один говорил по телефону, другой спускался к нему по ступенькам.

— Нельзя. Запретная зона, — преградил дорогу солдат.

— Все будет нормально, товарищ старший лейтенант, — договаривал по телефону тот, что стоял на вышке. — Два трактора и две водовозки.

А в нем, в Чесноке, по-прежнему озорство, веселое бесстрашие, желание играть и дурачиться. Он видел, что оба солдата русские. Коверкая украинские слова, придумывая и складывая их в невообразимый, создаваемый тут же язык, он сказал:

— Та хлопцы, чи вы нэ бачите! Я ж мистный! З Билякові Мэне ж треба до дому, до хаты!

— Запретная зона. Никого не пускаем,— сурово и неколебимо отказывал солдат, невысокий, смуглый, с шелушащимися скулами, рассматривая белое одеяние Чеснока, болтавшийся на его шее респиратор.

— Дак це ж мое сило! Як нас эвакуировали, мы усе покидали, уси вещи, уси харчи. Бабка дюже болие. Мэне за ликарствами послала. Заховала ликарства у хати, а теперь болие. Пустите, хлопцы. Я трохи з дома возьму и вертаюсь,— выдумывал на ходу, увлекаясь игрой. Знал, что так или иначе проведет, облапошит этих серьезных худосочных солдатиков.

— Нельзя,— вмешался второй на вышке.— Зараженная зона. Вот пройдет химзащита, снимет фон, тогда возвращайтесь.

Зазвонил телефон. Солдат отвернулся, стал бубнить в трубку.

— Нэ можно, дак нэ можно! — сокрушался Чеснок, внутренне веселясь своей украинской, бог весть откуда взявшейся речи.— Бабка дюже болие!

И пошел вдоль обочины, вдоль столбов с каплями желтой смолы, с перекрестьями стальной, не успевшей заржаветь проволоки.

Дождался, когда вышка скроется за кустами. Пролез под проволоку. Отцепив от робы колючку, шмыгнул в кусты и вышел на поле.

— Стой! — услышал он за спиной.

Оглянулся. К нему бежал солдат, тот, что разговаривал с ним под вышкой.

— Как же, салага, сейчас! — огрызнулся Чеснок и помчался по полю, сильнс, крепко толкаясь ногами, улыбаясь свистящему теплому ветру, чувствуя, зная, что легко убежит от низкорослого солдата.— Салага сушеная, недокормыш!

— Стой! — продолжал кричать солдат, отставая, останавливаясь, глядя из-под ладони на Чеснока. А тот продолжал легко бежать, не к селу, а к темневшему лесу, сбивая с толку солдата, радуясь силе своих ног, своей удали, своему превосходству.

— Салажонок недокормленный!

Он постепенно переходил на шаг, успокаивал дыхание, оглядывался. Было солнечно, тихо. Поле, непаханное, поросло дерном, было усеяно редкими камнями. Он поднял один голыш, гладкий, теплый, прижал к щеке. Отбирал накопленное в камне тепло. Засмеялся. Он снова был вольный казак, сам себе голова. И никакие вышки и проволоки, никакие взорвавшиеся станции и обитые свинцом транспортеры ему не помеха. Не касались его. Остались от него в стороне.

Он услышал тихий далекий стрекот. Услышал и забыл. Но стрекот усилился, приблизился. Двигался где-то в небе, кругами, за соседним холмом. Над кромкой леса возник вертолет, хвостатый, низко летящий, с непельной тенью винтов. Прошел над полем, пересек его в стороне, развернулся и двинулся к нему, Чесноку.

«За мной,— промелькнуло.— Солдаты... Телефон... Навели, салаги!»

Он пригнулся, стараясь быть незаметней. Вприпрыжку, сгибая голову, забывая выбросить камень, помчался к лесу, далекому, мягко темневшему.

Но слишком выделялся на поле его ослепительный наряд. Вертолет приблизился, завис над ним, наполняя небо звоном, ревом, железным снижавшимся свистом. Продолжая бежать, задирая голову, Чеснок увидел вертолетное гладкое брюхо, швы на борту, красную звезду и в глазированном блеске кабины лица пилотов, наклонившихся к нему из неба.

— Суки! Не возьмете! — выдохнул он, кидаясь из-под железного, дующего ветром шатра, меняя направление бега, хрипя от напряжения, затравленный, шустрый, в белой мелькавшей робе.— Суки вонючие!

Вертолет снижался, давил, плющил его, растирал по земле своим отшлифованным брюхом. Рассекал винтами, утюжил, сминал. И он испытал ужас, чувствовал, что погибает,— сейчас получит удар из пулеметов и пушек.

Споткнулся, упал. Резко, вьюном развернулся, лицом вверх к стальной ненавистной машине. Оскалясь, плевался липкой грязной слюной.



Его опять настигли, опять травили и гнали, как волка, с самого детства. Отыскивали повсюду, хватали, чтобы мучить и бить. И теперь нашли посреди пустынного поля — схватят и свяжут, затолкают в железное чрево, вернут обратно на страшную, готовую взорваться станцию.

— Не пойду! — крикнул он в грохот винтов.— Не пойду, суки!.. Стреляйте!

Он испытал последний предельный ужас, затмевающий глаза слепыми бельмами. Прозрел в яростном бешенстве, готовности отбиваться. Вскочил, ненавидя зеленую лягушачью морду машины, красную звезду на борту, лица пилотов.

— Бью, суки! — он вспомнил, что в кулаке у него голыш. Размахнулся и метнул его навстречу машине.

То ли вертолетчики углядели взлетевший камень, то ли не было у них на борту людей, способных сойти на землю, задержать и вернуть Чеснока, но машина качнулась, стала набирать высоту. Отвернула и, мерно урча винтами, стала удаляться над полем. А Чеснок, согнувшись, отплевываясь, чувствуя над собой поколебленное разорванное небо, торопился к лесу. Забредал в сосны, вглубь, в тишину, заслоняясь густыми горячими вершинами, прочь от людского глаза, с колотящимся ненавидящим сердцем.

Он забредал, углублялся в лес, подныривал под зеленые лохматые шатры, защищался ими от неба, от погони. Было тихо. Пахло горячей хвоей, теплой, потревоженной его шагами землей. Сердце продолжало ухать. Каждый вздох причинял страдание, будто сквозь легкие продернули колючий металлический шнур.

«Здесь не возьмете! — думал он, продолжая бояться, ненавидеть, но и испытывая чувство победы, почти превосходства над вертолетом, испугавшимся его камня.— Здесь не возьмете, суки зеленые!» — издевался он над зеленой машиной, над лицами пилотов в кабине.

Хотелось пить. Хотелось охладить содранное хрипом и клекотом горло. Земля была бестравной, усыпанной прошлогодними иглами. Сосны зеленели молодыми побегами. И он сорвал несколько сочных колючих отростков, похожих на свечки. Очистил от колючек, стал жевать, высасывать пахучий смолистый сок. Вспомнил, как его пугали отравленным лесом, отравленной водой и травой. Он выбросил горсть побегов, повторяя: «Суки зеленые!»

Жажда не проходила. Он брел по лесу, надеясь найти овражек, лужицу, бегущий ручеек. И одновременно пугался мохнатых веток, пропитанных невидимыми ядовитыми соками, мягкой темно-золотистой земли, в которой таились жалящие крупицы.

Увидел синий цветок, пробившийся из хвойной подстилки, хрупкий стебель без листьев, яркую чашечку с крохотной золотой сердцевиной. Прилетела пчела, села в цветок, наклонила его своей тяжестью. Стала мять, выдавливать, высасывать сладость. И глядя на пьющую пчелу, завидуя ей, он вдруг начал догадываться, что его обманули. Здесь, в этих тенистых лесах, в этих белых покинутых селах, присутствует обман, скрывается какая-то тайна. И дело не в станции, не в аварии, которой, быть может, и нет, не в реакторе, который совсем не разрушен, а в чем-то другом, затеянном здесь военными. Солдатами, что стояли на вышке, не пускали его за колючую проволоку. Пилотами, что гнались за ним в вертолете. Тем генералом, что сквозь маску выговаривал им, сошедшим на платформе Чернобыля. Здесь затеяно нечто неясное, грозное, как и все, что они затевают. Скрывают от глаз, держат за семью печатями. Потому и согнали с насиженных мест крестьян. Обнесли колючей проволокой села. Не пускали его, Чеснока, гнались за ним по пятам. Здесь нет никакой радиации. Нет ядовитых, осевших в землю частичек. Таится другая тайна, которую скрывают от него, Чеснока.

Он рассмеялся от своей догадки, от своей прозорливости. Тронул ногой цветок. Спугнул пчелу, напившуюся, отяжелевшую от цветочного сока.

Эта мысль о тайне показалась ему увлекательной. Нет, не трусость увела его со станции. Не вид бронированных, покрытых свинцом машин,

белых громад строений, излучавших незримую смерть. Он покинул толпу одураченных послушных людей, готовых по чужому приказу бездумно кинуться в любое пекло, поверить в любую глупость, повторять любую бессмыслицу. Он покинул их безгласные скопища, чтобы остаться одному. В своей независимости и свободе разгадать эту тайну, добраться до истины. И вот он, рискуя жизнью, мучаясь жаждой, уклоняясь от преследователей, шагает лесом, осторожный, умный разведчик.

Игра в разведчика продолжалась недолго. Злоба вернулась. Легкие, ошпаренные криком, болели. Хотелось пить. Он вслушивался, не звенят ли над лесом винты вертолета. Не хрустят ли сзади настигающие его шаги.

Лес кончился. С опушки он увидел зеленевший выгон, близкие белые хаты села. Не того, что открывалось с шоссе, а другого. Оно было меньше, не на бугре, а в низине. Выгон был пуст. Рядом ни вышек, ни солдат, ни колючей проволоки. Вприпрыжку, стремясь побыстрее одолеть пустое пространство, слить свою белую робу с белыми стенами хат, он помчался в село.

Улица была безлюдной, безжизненной. Проезжая часть без колесных следов начинала прорастать травой. Хаты под соломенными серыми крышами нарядно стояли в садах. Но не было слышно людских голосов и собачьего лая. На заборах мелом были выведены какие-то цифры. Дерн вдоль оград был вскопан, перевернут корнями наружу. Непрерывные аккуратные полоски дерна, опрокинутого травою вниз, тянулись по обе стороны улицы, след прошедших здесь войск химзащиты.

Эта пустота показалась ему жуткой. Будто жившие здесь не исчезли, а были превращены в невидимок. Незримо наблюдали за ним из веток зеленых яблонь, из черных сучков на заборе, из окон и соломенных крыш. Он вдруг снова безумным прозрением понял: в этом и была разгадка тщательно скрываемой тайны. Людей не убили, не вывезли, а каким-то таинственным средством превратили в немых невидимок. Он, Чеснок, разгадал эту тайну, и теперь его превратят вот в такой же висящий на калитке замок, или в пустое, вцепившееся в тополь гнездо, или в красный намалеванный на хате цветок. И недавняя ненависть, загнанность и тоска вернулись к нему. Появилось желание подпалить солому на крышах. Бежать вдоль улицы с факелом, тыкать смоляной, опадающей капелью огонь в сухую солому, чтобы крыши затрещали огромным пламенем. Лопались, вылетали из окон стекла. Закипал в яблонях сок. И те, с вертолета, узнали, что Чеснок еще жив, еще не превратился в камень. Посылает им знак своей ненависти.

Он ткнулся в калитку. Она оказалась открытой. Вошел во двор и сразу увидел колодец. Деревянный сруб с навершием, журавель с цепью и висящим ведерком. Быстро, жадно, чувствуя запах холодной близкой воды, окунул цепь. Проталкивал ведро вниз, в сруб, пока не услышал звонкий удар. Помотал, предвкушая холод и сладость. Вытягивал, слушая тяжелые литые удары ведра о венцы сруба, непрерывное звучание льющихся капель.

Вода была душисто-холодная, и он пил и не мог напиться. Тяжелел от ледяной, проливавшейся в него струи. Мочил себе брюки, башмаки. Омывал горячее пыльное лицо. Напившись, тяжело навалился на сруб, головой в колодец, чувствуя, как пропитывается его тело влагой и холодом. Далекое дно светило из-под земли серебром, и опять показалось, что это смотрят на него заколдованные обитатели. Он опрокинул ведро, уронил в колодец шумную, упавшую громко воду.

Собирался отойти, когда увидел тонкую, спускавшуюся вниз бечеву, приторочённую к срубу. Потянул сильнее, выше. Вытащил отекавшую капелью бутыль с плотной резиновой пробкой. В бутылке плескалась жидкость. Чеснок, открывая пробку, внюхиваясь в бутылку, уже понимал, счастливо догадывался: в бутылке самогон. Хозяева, остерегаясь досмотра, спрятали самогон в колодец.

— Ну хохлы! Ну подпольщики, партизаны!..

Он сделал глоток из горлышка, обжегся сладким огненным духом. Замотал головой.

— От рентгенов лучшее средство... Прописано, — говорил он вслух. — Горилка есть, а закусь найдется?



Оглянулся на хату, на дверь, где висел замок. Поставил бутыль на землю, побежал к сараюшке. Ткнулся в горячий сумрак, прорезанный пыльным солнцем. Отыскал в углу ломик. Не раздумывая, подбежал к хате, подсунул лом под железные скобы и, крякая, напрягаясь, вытащил с корнем запор.

— Горилка есть, а закусь всегда найдется! — похохатывал он, занося бутыль в хату.

В доме было душно, сухо. Иссох, согнулся цветок на окне. В углу на божнице золотилась икона. На стенах висели салфетки и коврики. Большая допотопная кровать блестела никелированными шарами. В печи темнели чугунки. Шкафчик был наполнен тарелками, чашками. Все убрано, чисто. Нет следов поспешного бегства. Чеснок, озираясь, почему-то подумал, что жилище принадлежало двум старикам. Их молодой портрет висел над кроватью. Два молодых, прижатых друг к другу лица.

— Здравствуйте, хозяева дорогие! Принимайте гостя, — ерничал он, испытывая смущение, стараясь от него избавиться. — Какие тут у вас разносолы?

Он рыскал по избе, заглядывая в углы. Наткнулся на погреб. Поднял за кольцо половицу. Среди груды чистого, сухого картофеля, отмытых, мягко розовевших морковин увидел закупоренные банки. В них были грибы, огурцы, помидоры. Прошлогодние запасы бережливых хозяев, хранивших соления до нового урожая.

— Прошу садиться, — приглашал он себя самого, расставив откупоренные банки, выкладывая на тарелку скользкий ворох грибов, красную, налитую соком помидорину. — За все хорошее! Чтоб в доме вашем мир да любовь! — кланялся он фотографии на стене, подымая налитую чарку. — Чтоб всего у вас было вдоволь! И картошки, и морковки! Чтоб куры неслись и коровы телились! И всегда у вас — полная чаша!

Он выпил жаркую, полыхнувшую внутри чарку. Жадно закусил, брызнув из помидорины соком. Торопился налить еще.

Он быстро опьянел. Ему, укрывшемуся от посторонних глаз в чистой светлой хате с радужными половиками, с белой печью, с нарядными, украшавшими стену салфетками, захотелось пожить здесь. Отдохнуть, отсидеться, хоть на время прекратить свои скитания среди случайных, равнодушных людей, которые вдруг по неясным, каждый раз повторявшимся законам превращались во врагов, ополчались на него, гнали, травили и мучили. Пожить бы здесь, отдышаться.

Он оглядывал хату, наслаждался чистотой и порядком. Видно, хозяева жили небедно. Видно, у стариков были и другие запасы. Куда им, старикам, раскошеливаться. Какие траты у них, стариков. Должно быть, скопили деньжат. Где-то прячут, хранят. Вряд ли утащили с собой. Где-то здесь, в хате, хранится стариковский чулок. Зарыта кубышка. Где они хранятся, деньжата?

Он встал, хмельной, чувствуя себя прозорливым. Вел диалог со стариками, пытавшимися его обмануть. Утаить от него кубышку, спрятать деньги.

— Не надо жадничать, старцы! Бог велел делиться! А то икону повесили, а сами кубышку зарыли. Не по-нашему, не по-русски!

Он знал, что отыщет деньги. Подставил к божнице стул. Поднялся, просунул за икону руку. Пошарил. Вытащил сухой бумажный цветок. Задел икону, и она, соскользнув, упала. Исчезло лицо Богоматери, золотые круги над головами ее и младенца.

— Ладно, не здесь, так там!

Он переставил стул к шкафу. Поднявшись, стал шарить на верхней полке среди посуды, гремя тарелками, рюмками, остатками прежних сервизов от бесчисленных прошумевших в хате застолий. Не нашел ничего. Рассердился, наколовшись на острую щепку. Отдернул руку. Фарфоровая с малиновыми цветами чашка упала на пол, разбилась. Лежали на полу осколки с красными мальвами.

— Вот хохлы хитроумные! Нет, чтоб положить на виду. Заховали куда-то. А я все равно найду! Чесноку денег нэ трэба! Чесноку трэба правда! Дюже хитрый ты, дед, а я хитрее!

Он вынул занозу, отсосал кровь. Заглянул под матрац. Там, под тюфяком, под периной, на железной упругой сетке было пусто. И это

вдруг его разозлило. В гневе он сдернул перину на пол, рванул ее. Пух вылетел из ветхой ткани, закружил, залетал по хате.

— Черти старые! Зачем вам столько иметь? Вам помирать, а мне жить! Я их с пользой для жизни! Они мне нужней, чем вам!

Он заглянул под кровать, вытянул сундук, раскрыл. Стал выбрасывать из него стариковскую рухлядь. Сарафаны, линялые юбки, гимнастерки, поношенные мужские рубахи, ленты, тесьма. И на дне два аккуратных комплекта — глаженые, чистые, мужской и женский, видно, припасенные для похорон.

— С собой-то туда не утащите! Там все бесплатно, — злился Чеснок, вытряхивая все наружу, перевертывая сундук, ударяя в сухое гулкое дно.

Он пошарил в печке, вымазался в саже. Рванул из горшка сухой цветок. Злоба его нарастала вместе с хмелем. Опять его одурачили. Заманили в избу, напоили, унизили, обманули.

Он вернулся к столу и выпил стопку, угрюмо, враждебно глядя на портрет хозяев.

— И что мы все время друг другу врем? И врем, и врем, и врем! Вы мне врете, я вам. Когда же мы врать-то устанем?.. Ну вот, что вы мне врете? Про станцию зачем-то наврали. Про деньги наврали. Нет у вас денег, не надо. На кой мне ваши деньги поганые! Не за деньги живу. Я гулять люблю, веселиться, чтоб выпить было с кем, чтоб девка была. А вы что устроили? Радиацию, рентгены наслали. Да нет никакой радиации! Брешете все! Нет никаких рентгенов. Все вы врете!

Он пнул ногой перину, подняв к потолку белые перья. Вся хата в летающих хлопьях. Вышел наружу. Стоял на дворе и мочился прямо у крыльца, тупо глядя на зараставшую тропку.

И внезапно сверху, с неба, прямо на тропу упала птица. Серая, с желтым зобиком, с темными метинами на крыльях. С мягким стуком, грудью о землю, распушила крылья, раскрыла клюв, жадно хватая воздух, и застыла, закрыла желтой пленкой глаза, словно ее сразила в небе дробинка.

Чеснок нагнулся. Вид умершей, убитой без выстрела птицы поразил его, отрезвил на мгновение. Он оглянулся — белая хата, зеленый недвижный сад, мелом начертанные на заборе иероглифы — записи, сделанные дозиметристами.

— Суки проклятые! Не верю...

Он вернулся в хату. Не стал больше пить. Снял с божницы икону, замотал в старушечий платок, сунул под мышку, надеясь продать ее в городе.

Вышел на улицу и стал выбираться из села. Хмель его то проходил, то возвращался. И в пьяной голове возникла внезапная, показавшаяся увлекательной мысль. Пробраться в Припять, в пустующий город, и там, в оставленных домах и квартирах, еще раз попытать свое счастье.

Он добрался до Припяти вечером, с машины на машину, пользуясь своей белой робой, прикрывая лицо респиратором. Один из многих, кого авария разбросала по району.

Город с моста казался розовым, окна отражали закат, и чудилось — там праздник, многолюдье, гулянье.

Но не было многолюдья, гулянья. Беззвучно пульсировали на углах светофоры. Висели линялые, двухмесячной давности кинорекламы, выцветшие розовые флаги. И ни души, ни звука, ни голоса. Казалось, сквозь город промчался вихрь и унес обитателей, оставив призмы домов, чистые, без соринки асфальты, мигающие на углах светофоры.

Хмель его улетучился. Голова была ясной. Мысль, что он, Чеснок, единственный на весь город живой человек, эта мысль волновала. Город был его. Принадлежал ему. Послушно открывал перед ним свои улицы и дворы, звал в дома.

Он вошел в подъезд двенадцатиэтажной башни, слыша, как летит эхо вверх по пустынным лестницам. Нажал кнопку, и лифт быстро и послушно пришел. Но Чеснок не вошел в лифт, а медленно, держа под мышкой укутанную в тряпицу икону, стал подыматься, толкая по пути двери. Все были заперты, и он, не торопясь, не чувствуя опасности, поднимался, обдумывая, как ему открыть дверь. Жалел, что не прихватил в стариковском сарае топор и зубило.



Он толкнул обитую дерматином дверь с глазком и медной чеканной биркой, и она вдруг открылась. Это на мгновение его испугало. Он замер на пороге, видя в прихожей блеск зеркала, ковер на полу, мерцавшие в комнатах предметы. Осторожно вошел. Изнутри дверь была оснащена сложными запорами, и он подумал: видно, жильцы — богачи. Торопились и забыли запереть квартиру.

Он осторожно прикрыл дверь, услышал щелчок замка. Теперь он был в полной безопасности. Никто, даже случайный патруль, не сможет его обнаружить.

Он оглядывал гостиную — диван с висящим ковром, книжный шкаф с книгами, прозрачная горка с хрупким блеском хрустальных рюмок и вазочек. В спальной стояли две сдвинутые просторные кровати, приоткрытый шкаф с торчащим рукавом пиджака. В детской на столе лежала стопка учебников, висела фотография легкового автомобиля. Во всем был виден достаток. Отсюда уезжали спокойно, надеясь скоро вернуться.

«Вот только, умники, дверь запереть забыли! Замки завели, а запереть не успели. — Он почти осуждал хозяев. — Вот так и живем. Замки заводим, а запирать не успеваем».

Чесноку не хотелось торопиться, не хотелось чувствовать себя грабителем, вором. Хотелось сберечь царивший в доме порядок, пожить в этом уютном доме на правах хозяина.

Он пошел в ванную и, скинув свою запыленную робу, принял душ. Долго, с наслаждением плескался в прохладной воде, умащал себя душистыми шампунями, растирался губкой. Свежий, чистый, благоухающий, нарядился в хозяйский мохнатый халат. Теперь, пока еще было светло, следовало заняться поиском.

Вначале он заглянул в гардероб, перебрал развешанные пиджаки и платья. Приподнимал стопки рубах и блузок, заглядывал на дно ящика. Натолкнулся на женскую ночную рубаху. Распустил ее, прозрачную, с просторным вырезом. Приблизил лицо — от рубахи исходили чуть слышные запахи духов, взволновавшие его. Он представил, как прозрачная ткань наполняется женским сильным и теплым телом. Усмехнулся, положил рубаху на кровать.

В книжном шкафу вынимал томики, по нескольку штук сразу, шарил за ними. Ничего не находя, ставил на место, бережно и аккуратно, стараясь не нарушить порядок.

Золото он нашел в комоде, в маленькой шкатулке, даже не запертой на ключ. Два золотых кольца, сережки с зелеными камушками, запонки, мужская булавка для галстука, женские, с узорным браслетом часы, тонкая с медальоном цепочка.

Он даже и не слишком обрадовался. Он был уверен, что найдет, и именно то, что нашел, — все эти цепочки и серьги. Знал, что они существуют. Шел за ними по лесу, спасался от вертолета, убегал от солдат, терпел усталость и жажду. Оно, это золото, принадлежало ему по праву.

Он ссыпал добычу в горсть, ощутив литую холодную тяжесть металла. Роба с карманами, куда надлежало спрятать добычу, валялась в ванной, и он выложил все золото на стол, разложил красиво, окружив цепочкой серьги, булавку, запонки.

В ванной сбросил халат, облачился в робу, вернулся в комнату. Можно было уходить, но что-то его удерживало.

Золотые изделия красиво, в последнем вечернем свете лежали на столе. Сверкали в буфете хрустальные рюмки. На книжной полке светились корешки. И хотелось еще немного побыть среди этого уюта, достатка, который был ему вовек недоступен. Ему, бездомному, скитавшемуся по углам и общагам, среди захламленного, убогого быта. Еще немного посидеть здесь. Почувствовать себя не бичом, не ворюгой, а гостем, другом дома, желанным в этой семье человеком.

Сел лицом к окну, за которым смеркалось. Золото не блестело а казалось тусклым. Стал вспоминать свою жизнь, не для себя, а для кого-то, глядящего на него из окна. Внимательно, строго, вопрошающе.

Мать родила его, нежеланного, себе на муку. Еще в чреве травила хиной, мучила его в своей утробе. Никогда он не видел отца, а видел мать с другими мужчинами, которые тискали ее, поили вином, и она, пьяная, пахнущая духами и табаком, выпроваживала его из комнаты то к соседке, то в коммунальную кухню, то прямо на улицу. Часами не пускала домой. Мужчины, посещавшие мать, не обращали на него внимания, а мать поминутно на него раздражалась, била и щипала, называла «бедой» и «сопливым». Он и впрямь был вечно немыт, одет кое-как, на попечении посторонних людей, жалевших его, осуждавших непутевую мать. С детства, с этих материнских попоек он научился ненавидеть, презирать женщин. А в уличное сквернословие, в поношение матери вкладывал свой собственный, личный смысл.

В школе его звали «крыса». Колотили, дразнили, но не зло, а скорей на потеху. Он быстро понял, что быть посмешищем не опасно, а выгодно. Шутов не бьют, даже любят, и он, подольщаясь к сильному, к вождю, умно, тонко узнавал его пристрастия, становился шутом гороховым. Унижался, гримасничал, оттеняя своим ничтожеством силу и величие покровителя. Тот туркал его, но относился к нему как к собственности, защищал от других, посторонних.

Кое-как доучившись, мыкаясь лето до армии, он устроился грузчиком в винный магазин. Научился пить, добывать среди ночи бутылку бормотухи. Пользуясь слабостью алкоголиков, брал с них втридорога. У него появились деньги. В магазинном вонючем подвале, пахнущем рыбой, луком и несвежим мясом, он впервые узнал женщину.

Армию он отслужил в стройбате. Строили в северном гарнизоне «пятиэтажки». Там он научился мешать раствор, ставить леса, ходить с носилками по шатким доскам, класть кирпичную стенку. Первый год его тиранил здоровенного роста сержант, не купившийся на заискивание, невзлюбивший хлюпкого прыщавого Чеснока. Гонял его по всякому поводу. Но зато через год, отделавшись от сержанта, став «стариком», Чеснок замучил почти до смерти, почти до петли худенького солдата-южанина, не умевшего говорить по-русски, погибавшего среди лютых морозов вдали от своих виноградников. Он вызывал в Чесноке постоянное желание причинять ему боль. Отстал лишь после того, как другие два, из соседнего взвода, черноволосые, жаркие, яростные, разбудили его ночью, приставили к горлу нож и сказали, что зарежут, если не перестанет мучить их земляка.

После армии, получив специальность строителя, он пустился в скитания. Был в Сургуте на строительстве ГРЭС. На Сахалине, завербовавшись на рыбу. В геологической партии долбил в Саянах шурфы. Были драки, пьянки, поломанные ребра, безденежье и гульба. Жизнь казалась спутанным комом, носимым между трех океанов.

Так он жил. Куда-то все время спешил, меняя попутчиков, собутыльников. Пока не оказался вдруг здесь, под Чернобылем. Сидел в темной комнате чужого дома перед золотыми украшениями, которые собирался украсть.

Пора было уходить. Аккуратно ссыпал в карман робы драгоценности. Почувствовал, как золото тяжело потянуло ткань. Не забыл икону, закутанную в старушечью тряпку. Сунул доску под мышку и отправился в прихожую.

Приближаясь к двери, вспомнил, как тихо щелкнул запор, когда он входил в квартиру. В прихожей было темно, и он зажег свет, предварительно затворив дверь в комнату, чтобы не светились окна. Замков было несколько. Обычные английские, и один ни на что не похожий — с медным засовом, поворотными винтами и кнопками.

Он дернул дверь, она была плотно замкнута. Стал крутить замки, осторожно, после каждого поворота пробуя дверь, и когда она не открывалась, возвращал его в прежнее положение. Перепробовал все замки, но дверь не открылась.

— Сучья ловушка! — ухмылялся он, разглядывая замки, и особенно медный, ни на что не похожий, выточенный каким-то умельцем. — Завели замки, как в банке, а добра-то два колечка говенных. Рационализаторы!



Он решил взломать дверь. Стал искать, чем бы ее поддеть. Обшарил ванную, кухню, шкафчик в туалете, надеясь найти инструмент. Ничего не нашел.

— Ну мужики пошли! Инструмента дома не держут. Ну хозяева. Гады!

На кухне, в ящике он разыскал большой кухонный нож. Вернулся с ним в прихожую и стал щупать щель между дверью и косяком. Ему показалось, что он нащупал выступ. Нажал на нож, сильнее, изо всех сил. Нож согнулся и лопнул. В руках остался обломок с белым изломом стали. И он отшвырнул его в угол. Набросился на косяк, пытаясь его отодрать, но косяк из крепкого дерева был плотно вмурован в стену.

— Как в тюрьме, в одиночке!.. Правильно, гражданин начальник... Виноват, гражданин начальник! Исправлюсь, гражданин начальник.

Выключил электричество в передней, вернулся в комнату. Сел в кресло напротив окна, обдумывая свое положение.

После электрического света в прихожей глаза его привыкали к темной комнате. Квадрат окна был светлее. И там, за окном, в темных пространствах, над лесами, полями розовело зарево.

«Пожар?» — подумал он и тут же понял и охнул:

— Станция!

Вглядывался в далекое розоватое свечение, колыхавшееся над невидимым взорванным реактором. Оно, свечение, и было реактором, и было аварией, от которой он сегодня сбежал. Забыл о ней, но она настигла его, отыскала и теперь светила в него своим розовым смертоносным оком. Долетала до него, касалась его зрачков, его рта и дыхания. Наполняла комнату убивавшей его радиацией.

Ему стало жутко. Он заметался, стараясь укрыться за сплошной стеной, уклониться от окна. Но комната — шкафы, люстра, книги, ковры — все было пронизано бесшумным полетом лучей, пробивавших его тело, умертвлявших его.

Он кинулся к двери. Бился о нее, рвал, колотил, стараясь выдрать с корнем. Ломал ногти, грыз, чертыхался, кровянил кожу о проклятые замки, о медный с рычагом, с поворотным колесом. Слышал, как сотрясается дверь, как стучат о нее его кости и мускулы.

Он изнемог. Был мокрый от пота. И здесь, в прихожей, лучи настигали его. Зарево дышало в спину, жгло лопатки. Он понимал, что в ловушке. Его заманили сюда. Завлекли и захлопнули. Он не ведал об этом, а его манили, сбивали с пути. Травили солдатами, гнали вертолетом, вели лесной тропкой, пока не заманили сюда. Подложили золотые колечки, и пока он плескался под душем, вспоминал, его заперли здесь, замкнули. И включили реактор. Этот страшный, в розовом свете реактор работает для него, облучает его. Над ним, Чесноком, поставили жесточайший опыт. Он, Чеснок, помещен в эту камеру. И когда закончится опыт и он, бездыханный, будет лежать на полу, придут санитары, подымут его на носилки, накроют брезентом и унесут Увезут в какой-нибудь центр или клинику, положат на стол, станут извлекать из него пробитое излучением сердце, обожженные легкие, станут изучать и рассматривать.

Зрелище своей собственной рассеченной груди, из которой извлекали пузырящиеся красные легкие, показалось ему столь ужасным, что он снова кинулся к двери, ударяясь о нее всем телом, стараясь вышибить доски.

Устал, сполз вдоль стены на пол. Лежал, тяжело дышал, чувствуя, как болит его избитое, в ушибах и ссадинах тело. Медленно вернулся в комнату.

Он сидел в темноте лицом к окну, загипнотизированный заревом. Оно то усиливалось, расползалось по горизонту, то почти исчезало. Атомный кратер дышал. Дыхание прилетало сюда, опаляло Чеснока, и он, беспомощный, приговоренный, казнимый за все прегрешения, сидел, прикованный к креслу. Казалось, там, вдали, шевелилось кольчатое огромное тело. Качало узколобыми головами на длинных шеях. И они тянулись к нему, облизывали его ядовитыми языками.

— За что? — вырвалось у него. — За что меня?

Мать родила его, нежеланного, себе на муку. Еще в чреве травила хиной, мучила его в своей утробе. Никогда он не видел отца, а видел мать с другими мужчинами, которые тискали ее, поили вином, и она, пьяная, пахнущая духами и табаком, выпроваживала его из комнаты то к соседке, то в коммунальную кухню, то прямо на улицу. Часами не пускала домой. Мужчины, посещавшие мать, не обращали на него внимания, а мать поминутно на него раздражалась, била и щипала, называла «бедой» и «сопливым». Он и впрямь был вечно немыт, одет кое-как, на попечении посторонних людей, жалевших его, осуждавших непутевую мать. С детства, с этих материнских попоек он научился ненавидеть, презирать женщин. А в уличное сквернословие, в поношение матери вкладывал свой собственный, личный смысл.

В школе его звали «крыса». Колотили, дразнили, но не зло, а скорей на потеху. Он быстро понял, что быть посмешищем не опасно, а выгодно. Шутов не бьют, даже любят, и он, подольщаясь к сильному, к вождю, умно, тонко узнавал его пристрастия, становился шутом гороховым. Унижался, гримасничал, оттеняя своим ничтожеством силу и величие покровителя. Тот туркал его, но относился к нему как к собственности, защищал от других, посторонних.

Кое-как доучившись, мыкаясь лето до армии, он устроился грузчиком в винный магазин. Научился пить, добывать среди ночи бутылку бормотухи. Пользуясь слабостью алкоголиков, брал с них втридорога. У него появились деньги. В магазинном вонючем подвале, пахнущем рыбой, луком и несвежим мясом, он впервые узнал женщину.

Армию он отслужил в стройбате. Строили в северном гарнизоне «пятиэтажки». Там он научился мешать раствор, ставить леса, ходить с носилками по шатким доскам, класть кирпичную стенку. Первый год его тиранил здоровенного роста сержант, не купившийся на заискивание, невзлюбивший хлюпкого прыщавого Чеснока. Гонял его по всякому поводу. Но зато через год, отделавшись от сержанта, став «стариком», Чеснок замучил почти до смерти, почти до петли худенького солдата-южанина, не умевшего говорить по-русски, погибавшего среди лютых морозов вдали от своих виноградников. Он вызывал в Чесноке постоянное желание причинять ему боль. Отстал лишь после того, как другие два, из соседнего взвода, черноволосые, жаркие, яростные, разбудили его ночью, приставили к горлу нож и сказали, что зарежут, если не перестанет мучить их земляка.

После армии, получив специальность строителя, он пустился в скитания. Был в Сургуте на строительстве ГРЭС. На Сахалине, завербовавшись на рыбу. В геологической партии долбил в Саянах шурфы. Были драки, пьянки, поломанные ребра, безденежье и гульба. Жизнь казалась спутанным комом, носимым между трех океанов.

Так он жил. Куда-то все время спешил, меняя попутчиков, собутыльников. Пока не оказался вдруг здесь, под Чернобылем. Сидел в темной комнате чужого дома перед золотыми украшениями, которые собирался украсть.

Пора было уходить. Аккуратно ссыпал в карман робы драгоценности. Почувствовал, как золото тяжело потянуло ткань. Не забыл икону, закутанную в старушечью тряпку. Сунул доску под мышку и отправился в прихожую.

Приближаясь к двери, вспомнил, как тихо щелкнул запор, когда он входил в квартиру. В прихожей было темно, и он зажег свет, предварительно затворив дверь в комнату, чтобы не светились окна. Замков было несколько. Обычные английские, и один ни на что не похожий — с медным засовом, поворотными винтами и кнопками.

Он дернул дверь, она была плотно замкнута. Стал крутить замки, осторожно, после каждого поворота пробуя дверь, и когда она не открывалась, возвращал его в прежнее положение. Перепробовал все замки, но дверь не открылась.

— Сучья ловушка! — ухмылялся он, разглядывая замки, и особенно медный, ни на что не похожий, выточенный каким-то умельцем. — Завели замки, как в банке, а добра-то два колечка говенных. Рационализаторы!



Он решил взломать дверь. Стал искать, чем бы ее поддеть. Обшарил ванную, кухню, шкафчик в туалете, надеясь найти инструмент. Ничего не нашел.

— Ну мужики пошли! Инструмента дома не держут. Ну хозяева. Гады!

На кухне, в ящике он разыскал большой кухонный нож. Вернулся с ним в прихожую и стал щупать щель между дверью и косяком. Ему показалось, что он нащупал выступ. Нажал на нож, сильнее, изо всех сил. Нож согнулся и лопнул. В руках остался обломок с белым изломом стали. И он отшвырнул его в угол. Набросился на косяк, пытаясь его отодрать, но косяк из крепкого дерева был плотно вмурован в стену.

— Как в тюрьме, в одиночке!.. Правильно, гражданин начальник... Виноват, гражданин начальник! Исправлюсь, гражданин начальник.

Выключил электричество в передней, вернулся в комнату. Сел в кресло напротив окна, обдумывая свое положение.

После электрического света в прихожей глаза его привыкали к темной комнате. Квадрат окна был светлее. И там, за окном, в темных пространствах, над лесами, полями розовело зарево.

«Пожар?» — подумал он и тут же понял и охнул:

— Станция!

Вглядывался в далекое розоватое свечение, колыхавшееся над невидимым взорванным реактором. Оно, свечение, и было реактором, и было аварией, от которой он сегодня сбежал. Забыл о ней, но она настигла его, отыскала и теперь светила в него своим розовым смертоносным оком. Долетала до него, касалась его зрачков, его рта и дыхания. Наполняла комнату убивавшей его радиацией.

Ему стало жутко. Он заметался, стараясь укрыться за сплошной стеной, уклониться от окна. Но комната — шкафы, люстра, книги, ковры — все было пронизано бесшумным полетом лучей, пробивавших его тело, умертвлявших его.

Он кинулся к двери. Бился о нее, рвал, колотил, стараясь выдрать с корнем. Ломал ногти, грыз, чертыхался, кровянил кожу о проклятые замки, о медный с рычагом, с поворотным колесом. Слышал, как сотрясается дверь, как стучат о нее его кости и мускулы.

Он изнемог. Был мокрый от пота. И здесь, в прихожей, лучи настигали его. Зарево дышало в спину, жгло лопатки. Он понимал, что в ловушке. Его заманили сюда. Завлекли и захлопнули. Он не ведал об этом, а его манили, сбивали с пути. Травили солдатами, гнали вертолетом, вели лесной тропкой, пока не заманили сюда. Подложили золотые колечки, и пока он плескался под душем, вспоминал, его заперли здесь, замкнули. И включили реактор. Этот страшный, в розовом свете реактор работает для него, облучает его. Над ним, Чесноком, поставили жесточайший опыт. Он, Чеснок, помещен в эту камеру. И когда закончится опыт и он, бездыханный, будет лежать на полу, придут санитары, подымут его на носилки, накроют брезентом и унесут Увезут в какой-нибудь центр или клинику, положат на стол, станут извлекать из него пробитое излучением сердце, обожженные легкие, станут изучать и рассматривать.

Зрелище своей собственной рассеченной груди, из которой извлекали пузырящиеся красные легкие, показалось ему столь ужасным, что он снова кинулся к двери, ударяясь о нее всем телом, стараясь вышибить доски.

Устал, сполз вдоль стены на пол. Лежал, тяжело дышал, чувствуя, как болит его избитое, в ушибах и ссадинах тело. Медленно вернулся в комнату.

Он сидел в темноте лицом к окну, загипнотизированный заревом. Оно то усиливалось, расползалось по горизонту, то почти исчезало. Атомный кратер дышал. Дыхание прилетало сюда, опаляло Чеснока, и он, беспомощный, приговоренный, казнимый за все прегрешения, сидел, прикованный к креслу. Казалось, там, вдали, шевелилось кольчатое огромное тело. Качало узколобыми головами на длинных шеях. И они тянулись к нему, облизывали его ядовитыми языками.

— За что? — вырвалось у него. — За что меня?

Он вдруг вспомнил об иконе, оставленной в прихожей. Кинулся к ней. Размотал тряпку. Извлек квадратную доску с двумя золотыми кругами, в которых темнели два лика — Богоматери и младенца. Принес икону в комнату. Поставил на кресло. И упав перед ней на колени, не зная ни единой молитвы, веря, надеясь, в ней, в золотой, отыскивая последнее спасение, последнее к себе милосердие, стал молить:

— Отпусти ты меня и помилуй! Ну открой мне дверь, ты ведь добрая. Ну что тебе стоит! Не буду я больше грешить. Пить брошу, курить брошу. Чужого никогда не возьму. Слова ругательного не скажу. Пойду работать! Куда скажешь, туда и пойду... Нужники чистить, как в армии. В больницу санитаром, за старухами, стариками ходить. Отпусти ты меня, пожалей!

Он выгреб из кармана драгоценности, высыпал на стол. Снова обратился к иконе:

— Ты ведь бога родила! Ты — мать! Ты все можешь. Я тебе свечку поставлю. Пожалей! Что я такого сделал? Меня все били всегда, все надсмехались. Никому не был нужен. Матери родной не был нужен. Ты — моя мать!

Он стоял перед ней на коленях, плакал, испытывал к ней умиление. Ждал от нее прощения. Далекое зарево долетало до иконы, отсвечивало в золотых кругах, и казалось, лицо Богородицы живое. Она обнимала и защищала младенца. Его, а не Чеснока.

Он снова пошел к двери в надежде, что она открыта. Ткнулся. Дверь была заперта наглухо. И такая тоска, и отчаяние, и ненависть ко всему, из чего состоял этот мир, — к иконам, реакторам, машинам, людям, животным, ко всему мирозданию, — такая ненависть его посетила, что он вбежал в комнату, в ярости пнул кресло с полетевшей, грохнувшей на пол иконой.

— Пропадите вы пропадом! Взорвитесь вы все без следа!

Вбежал в спальню, упал на кровать. Лицо его коснулось женской ночной рубахи. Ароматы духов, женского тела, легкая ткань возбудили его. Чертыхаясь, ненавидя, зная, что умирает, что смерть его настигла в этой кровати, тискал, мял, целовал, рвал зубами рубаху, пока мучительная, сладкая предсмертная вспышка не заставила его задохнуться. Дергаясь, суча ногами в липком горячем поту, замер, забылся в глухоте, в черноте, в бессилии.

Проснулся в утренних сумерках. Вяло встал в мятой робе, оставив в постели глубокую, сморщенную яму. Вышел в гостиную. Опрокинутое кресло. Лежащая на полу икона. Рассыпанные по столу золотые сережки и кольца. В окне утренняя черно-желтая, длинная заря, не освещавшая землю, а лишь отделявшая земную тьму от тьмы неба.

Не чувствуя ничего, без единой мысли, вышел в прихожую. Постоял перед дверью. Толкнул ее. Она отворилась. Он не удивился. Обессиленный, обескровленный, едва волоча ноги, вышел на площадку. Спустился. Улица была пустынной. От черно-желтой зари веял ветер. Вдали нарастал рокот и гул. По улице, накалив стеклянно-белые выпученные фары, приближался бронетранспортер.

## *Глава восемнадцатая*

Станция ночью, как ледокол, шевелит тяжкие глыбы, освещает длинные полыньи. Треск, гул, чавканье металла и льда. Бег людей. Вспышки огня и газа. Махина, качая бортами, раздвигая торосы, расталкивая дымную тьму, движется, оставляя рваный след. Небо над станцией — высокие туманные спектры, летучие полярные радуги.

Обрезок железной трубы, не сваренный с водоводом, лежал на снегу. В трубе, в стальной оболочке, защищаясь от ветра, заткнув торец кругляком из фанеры, сидели рабочие. Сварщик и два автогенщика. Они пребывали в бездействии, ибо слесаря не было. Некому было подтягивать к трубе железные резные ломти, приторачивать их, пока ведутся сварные работы. Слесаря перебросили на соседний участок. Но здесь, в трубе, не грустили по этому поводу. Автогенщик включил агрегат, шипящую желто-синюю струйку, не сильно, чтоб грела. Удобно привалились на груду тряпья, разговаривали. Сварщик Вагапов отложил трезубец держателя, пакет электродов. Смотрел на ровный язык шипящего газа, слушал разговоры товарищей. Но думал о своем, погружаясь в ровный шелест огня, в потоки нагретых, гулявших по трубе сквозняков. Прислушивался к гудению ветра за фанерной заслонкой. Железная труба, в которой они тесно сидели, слабо дрожала, и казалось, начинает подниматься, взлетать, несется куда-то в огромных ночных потоках, отталкиваясь шумящим огнем.



Зрачки его не могли оторваться от пламени. Он словно оцепенел, не мог, не хотел шевельнуться. Чувствовал необъятный морозный мир, отделенный оболочкой металла, а в себе самом, в самой глубине, среди дыханий и биений сердца — малую горячую сверхплотную точку. Эта точка, разраставшаяся, испускавшая из себя свет и тепло, была его жизнью, той, непрожитой, неявленной, которую ему еще предстояло прожить. Из нее же, из ее огненной сердцевины, уже возникло и осуществилось его давнее и недавнее прошлое. Мать, деревня, школа над синей речкой, старший любимый брат. Эти детские образы сменились другими — армией, офицерами, соседями по казарменным койкам, взорванным чадящим реактором, страхом и смертельной борьбой. Но и это кончилось, и теперь была стройка, железная труба, лица и голоса товарищей, чувство крохотной жаркой точки под самым сердцем.

Он вглядывался в свое будущее. Оно выплескивалось наружу с каждым ударом сердца. А то, что оставалось, таило в себе множество зрелищ, событий, среди которых ему предстояло прожить. Понять и постигнуть нечто сокрытое, но самое важное, не дающее покоя, тревожащее. Зачем ему, Сергею Вагапову, было суждено появиться на свет, испытать нежность, любовь, страх смерти, готовность обнять и спасти весь белый свет, чтобы потом неизбежно исчезнуть?

Он знал — существует ответ. Таится в огненной точке, но было невозможно добыть его тут же, сейчас. А надо было набраться терпения, долго ждать, прожить всю остальную жизнь, чтобы когда-нибудь ему открылся ответ.

Он вглядывался в себя. В малую жаркую искру, из которой поминутно рождался.

Он знал: еще немного, и он покинет стройку, покинет Броды. Уедет отсюда. Не выезжавший из деревни дальше районного городка, он, едва попав в армию, сразу очутился в Чернобыле. В самом пекле, в зоне аварии. Насмотрелся на беду, наработался, нахватался ядовитых лучей, належался в госпитале, накричался в ночных кошмарах. По зову брата приехал в Броды посмотреть, как строят реактор, из которого там, в Чернобыле, вырвалась смерть. Реактор, на который он, Сергей, бежал в ужасе, в последнем отчаянии, в безумном удалом молодечестве. Бежал на осколок урана, валявшийся у серой стены.

Он уедет из Бродов, как только запустят блок. Уедет поглядеть на другие края и земли, на моря и горы, на города и народы, чтобы понять, кто они все, живущие на земле в одночасье? Какая она, земля, ее города и села? Как жить ему, Сергею, кричащему от страха в ночи?

Он думал о предстоящих странствиях, о предстоящих неведомых встречах. И крохотная алая точка горела в груди.

Несколько дней их рота химзащиты работала на дезактивации сел. Ходили по дворам обезлюдевших хат. Выгребали из пустых сараюшек сухой навоз и солому. Таскали на носилках радиоактивный хлам, валили в грузовики. Возили мусор к отдаленному лесу, ссыпали в могильник, в длинный, вырытый экскаватором ров. Отсасывали из зараженных колодцев воду, выгребали донный ил. Перекапывали грунт вдоль стен, переворачивали дерн вверх корнями. Мыли, скоблили, драили крыши и стены. Солдаты вяло чертыхались сквозь марлевые повязки, бранили безвестных хозяев, за которых вынуждены были разгребать вековые завалы. Изредка веселились, натыкаясь в сарае на куриные гнезда с целой горой белых, невыбранных, никому не нужных яиц. Или наблюдали за аистом, одиноко носившимся над селом, слушали его унылые крики.

Однажды утром их выстроили на плацу, на лесной поляне, где стояли их палаточные городки. Командир объявил, что они направляются на

станцию, на очистку третьего блока. «Самого грязного», как сказал командир, находящегося рядом с разрушенным четвертым реактором.

Взрыв «четвертого» взметнул на воздух глыбы бетона, ошметки стальных конструкций, осколки урана, ломти графита. Расшвырял по окрестности губительное чадное месиво. Тяжелые глыбы упали на кровлю станции, проломили, провалились в реакторные и машинные залы. И им, солдатам, предстояло работать в реакторном зале третьего блока, самого злого и грязного среди трех уцелевших.

«Злого и грязного» — так и сказал командир, худой, усталый, с темным лбом, смуглыми скулами, с белым незагорелым пятном вокруг носа и рта, где он носил респиратор.

И вот они стояли в просторном, без окон, помещении, освещенном люминесцентными лампами. За бетонной стеной находился реакторный зал. Дверь в него была плотно закрыта. У двери топтался ротный, в бахилах, в накидке с островерхим балахоном. Поводил глазами по стенам, потолку, словно желал убедиться в их непроницаемости. Сергей видел его выпуклые белки, ярко, воспаленно блестевшие над рыльцем респиратора. Солдаты растянулись длинной цепочкой. Голова ее твердо, недвижно упиралась в закрытую дверь, а хвост шевелился, загибаясь по всему помещению.

Дверь отворилась. Сквозь нее из реакторного зала в столбе мгновенно упавшего света выскочил солдат, быстрый, запыхавшийся. Стал тут же, у дверей, сбрасывать балахон, перчатки, прозрачный щиток с лица, прорезиненные сморщенные бахилы. Словно одежда на нем горела и он сдергивал жгущие комья.

— Сделал? — спросил его ротный, помогая стянуть бахилу.

— Еще маленько осталось! — едва выговаривал солдат. — У шкафчика смел в одну кучу!.. А правее, где ступенька, только начал!

— Молодец, хорошо уложился! — Ротный взглянул на часы, тут же о нем забывая. — Следующий, приготовься!

Передний в цепочке, уже зачехленный, в респираторе, в прозрачном щитке, подошел напряженный, готовый к броску. Ротный приоткрыл щель солнечного пыльного света, что-то ему показывал там, в реакторном зале, где в проломы кровли падали снопы солнца. Солдат кивал своим застекленным лицом. А тот, что вернулся из зала, мокрый, почернелый от пота, радовался, что страхи позади. Распрямлял свои плечи, подмигивал товарищам, а те молча провожали его, уходящего, совершившего свою трехминутную, отпущенную на день работу.

Сергей Вагапов стоял в хвосте, ожидал очереди еще далеко от дверей. Старался представить, что происходит там, за бетонной стеной.

В круглой крыше проломы и дыры. Косые лучи солнца. На бетонном полу стальной контейнер для мусора. Древками к двери лежат метла и лопата. Команда командира: «Вперед». Солдат вбегает в зал, мечется, слепнет от света. Хватает метлу. Пробегает к дальней стене. Считая секунды, метет, смахивает пыль с бетонных ступенек, с железных уступов и ящиков. Наметает темную кучу пыли. Замполит стоит в отдалении, с хронометром, на малом островке безопасности, где фон излучения ниже. Окриком, жестом руководит работой. Указывает, где мести. Не пускает в участки зала, где сила излучения огромна, быстро набирается смертельная доза. Когда истекает время, крик замполита: «Назад!» Солдат несется обратно. Кидает метлу на пол, древком к дверям, чтоб другим было сподручней, выскакивает прочь из зала.

И так, один за другим, всей цепочкой, они пробегут через зал по куполу вмурованного в толщу реактора, рядом с кратером четвертого, взорванного, орудуя метлой и лопатой, заслоняясь от смертоносных лучей прозрачным щитком из пластмассы.

Сергей Вагапов все это знал по рассказам. Пробежавшие через зал уходили со станции мокрые от пота, с одинаковым облегчением и счастьем, путаясь и сбиваясь в словах, как в угаре. Возвращались в расположение роты, в баню, в лес, в сосняки.

Работая по очистке сел, отмывая заборы и стены хат, копая дерн и вытаскивая из сараев навоз, Сергей не тяготился работой. Эта работа не казалась ему нечистой. Он видел в ней смысл и добро. Ему чудилось, что, работая в украинском селе, он спасает свой собственный дом, сберегает свою деревню. Ему нравилось заходить в дровяной сарай или в пустой захламленный хлев с запахом скотины, с изгаженным куриным насестом, с изгородкой, где еще недавно жил поросенок. Эти запахи, заваленные сухим навозом углы напоминали ему дом, пристроенный сарай, где держали овец, и хрюкала, возилась свинья, и, натягивая цепь, кидался навстречу мохнатый пес. Работая в обезлюдевших селах, он понимал сердцем случившуюся здесь беду. Работал охотно, побуждаемый не приказом, не волей командиров, а состраданием, видом беззащитных крестьянских дворов.



Когда привезли их утром на станцию и он оказался среди множества ревущих, мигающих, брызгающих раствором, качающих воду машин, среди гусеничных на танковой основе бульдозеров, облицованных свинцом «бэтээров», когда мимо, выворачивая гусеницы, угрюмый, слепой, с буграми и нашлепками стали прополз транспортер, вращая на башне маленький телевизионный зрачок, когда наклонилась над ним полосатая, красно-белая труба, обступили корпуса и пролеты станции, он вдруг почувствовал, что лишился воли, лишился понимания, отдал себя во власть могучих бездушных сил, повелевавших не только им и его командирами, но и всеми, кто явился сюда. Безучастное, покорное смирение овладело им, когда их вели бесконечными коридорами, подымали по лестницам и опускали в пролеты и он оказался в толще, замурованный бетоном и сталью, отделенный от света и воздуха. И все, что случилось здесь, было делом рук кого-то одного, огромного, безгласного, сотворившего зло, собравшего их, живых, слабосильных, толкнувшего во тьму переходов.

Еще один солдат выскочил из дверей, словно толкнули его в спину косые лучи. Казалось, он выпал из неба, обугленный и горящий. Стал сволакивать с себя прорезиненный чехол и бахилы.

— Молодец, уложился! — поощрял его ротный. — На метле верхом! А следующий лопатой черпнет! Рази кучку в контейнер!.. Следующий, приготовься!

Солдат в капюшоне и маске шагнул к дверям, сгибаясь, напрягая мускулы, готовясь к прыжку. А тот, что явился из зала, мокрый, усталый, улыбался, крутил головой, торопился уйти.

— Не страшно! Только не запнись на бегу!

Вся длинная, завивавшаяся цепочка как бы делилась на три части. Солдаты, стоявшие в хвосте, чья очередь ожидалась не скоро, двигались, шумно топтались, громко переговаривались и смеялись. Старались себя взбодрить. На их лицах, еще без щитков, капюшонов, было выражение молодечества, нарочитой бесшабашности. Они приветствовали выбегавшего из зала солдата, хлопали его по мокрым плечам, как болельщики бегуна, и казалось, сами с нетерпением ждали своей минуты, когда смогут метнуться в зал, испытать свою ловкость и удаль.

Другие, стоявшие в середине цепочки, приближавшиеся к дверям, уже умолкали. Молча, сосредоточенно смотрели на дверь, ждали, когда из зала в снопе лучей вырвется солдат, станет сбивать с себя невидимый ком огня. Их лица обращались к дверям, их слух ловил неясные слова замполита и сбивчивые ответы солдата. Они мысленно примеряли на себя балахон и бахилы, старались представить близкий невидимый зал, лежащие метлу и лопату.

Третьи — у входа, уже зачехленные в спецодежду, плотно, недвижно стояли, одинаковые, в островерхих капюшонах, в мерцавших масках, толстоногие, в широких бахилах, в резиновых, похожих на перепонки перчатках. Казалось, они были в единой связке, в едином усилии, в едином напряженном стремлении. В их позах были страх и желание его одолеть. Пружинная готовность к скачку через черту и преграду страха, в близкий невидимый зал, где в пронизанном солнцем пространстве, в пустоте и безлюдье им надлежит молниеносно и ловко проделать опасный труд.

— Следующий, приготовься!

Сергей Вагапов находился в хвосте цепочки, тающей, сжигающей свою головную часть. Перед ним стоял сержант Данилов, высокий, ладный, марлевый респиратор ловко сидел на широких румяных скулах. Губы, невидимые под марлей, смеялись, говорили, дышали. За Вагаповым пристроился маленький, щуплый солдат из Узбекистана Рахим, сутулый, в обвислой рубахе, горбоносый, с продолговатым лицом, на котором никак

не мог удержаться, сваливался респиратор. Рахим то и дело цеплял его на свой не помещавшийся в марлю нос, мерцал черно-лиловыми влажными глазами.

— Меня взяли в военкомат. Очень тяжело уходил! — вздыхал сквозь марлю Рахим. — Отца не жалко было бросать. Мама не жалко. Два брата не жалко. Старший сестра не жалко. Младший сестра Зульфия — очень жалко! Я плакал, она плакала, никак не могли уходить! Она больная. Руки болят, никак не держат. Вот так вниз висят, ничего не могут. На хлопок ходила, много хлопка брала, руки студила, совсем руки висят, как без рук! Даже махать не могла!

— Станцию почистим, всю дрянь уберем, и вернешься к своей Зульфии! — подбадривал его Данилов. — На грязи ее повези, есть такие грязи лечебные, нервы лечат. Здесь не бойся, страшного нет ничего. Я спортом занимаюсь. Мотоциклы на льду, слыхал? Как заложишь вираж коленом в лед, ну, думаешь, сейчас башкой вверх тормашками и другие по тебе шипами, колесами! А ничего, жмешь, даешь! Одного обходишь, другого!

— Зульфия красивый, тонкий, самый красивый в кишлак! — горевал Рахим. — У нее жених был, жениться хотел. Как руки болеть стал, сказал: «Не буду жениться! Жена здоровой должна. Ковры ткать, виноград копать, посуда мыть, одежда стирать. Зачем жена, которой руки болят?» Зульфия узнала, побежала арык топиться. Я из арык Зульфия тянул, домой вел. Все время с ней был. Говорил с ней, читал, пел. Сказал: «В Москву поедем, к врачу. Будет тебе руки лечить». В армию пошел, кто с Зульфией сидит? Кто читает, поет?

Сергей их слушал, столь несхожих и разных, сведенных в этих тесных объемах. Проведенных сквозь лабиринты и лестницы к круглому залу, где в лучах и пылинках носится смерть. Он чувствовал обреченность, покорность. Неизбежность того, что случится. И невнятную боль. И невнятное ко всем сострадание. И внезапное видение под люминесцентными лампами среди бетонных стен, прорезиненных балахонов и масок. Будто он, мальчишка, гонит коней к водопою.

Скотник открывает ворота, и табун, десяток колхозных коней, шумно фыркая и сверкая глазами, вспыхивая разноцветно на солнце, выносится в свет, на зеленый истоптанный выгон. И он, Сергей, на широкой жаркой спине рыжего жеребца, трясется, подскакивает, кричит от восторга и страха. Со стуком и ржанием мчится к реке вдоль деревни, мимо огородов, дворов, и сквозь тряску, сквозь свисты развеянных грив видит свой дом, высокую липу, крыльцо, и мать, заслонясь от солнца, смотрит, как скачет табун.

Он уже был в середине цепочки. Видел, как из зала, покинув свой островок безопасности, возник замполит. Освобождался от спецодежды, словно из зеленого гофрированного стручка вышел живой человек. Усталый, озабоченный, с тревожными глазами. Проходил вместе с ротным, и Сергей услышал их разговор.

— Здесь, у синих щитов, подобрали. Вроде бы чисто, — говорил замполит. — Теперь начнем у рубильников. А там, где валяется трос, туда не суйся. Там черт-те сколько рентген. Дозиметристы придут, промерят, тогда и станем работать.

— Теперь я пойду на твой необитаемый остров, — невесело пошутил ротный, принимая у замполита прозрачный щиток. — А ты отдохни немного. А то ночью будешь светиться!

— Я мелом круг обвел, где будешь стоять, — сказал замполит, не откликаясь на шутку. — Там фон нормальный. А дальше не суйся!

Он достал из кармана блестящий цилиндрик дозиметра, поднял к люминесцентным лампам, заглянул в трубочку. Спрятал. Покрутил головой — не увидел в дозиметре ничего для себя утешительного.

Ротный влез в спецодежду, превратился в зеленый заостренный стручок и ушел в реакторный зал. Замполит занял у дверей его место.

Сержант Данилов тоже слышал разговор замполита и ротного. Нервно и зло озирался — по низкому, увешанному светильниками потолку, по шершавым бетонным стенам, словно искал выход из этого глухого угла, из глубокого каземата, куда их привели и поставили. Но обратного выхода не было — длинным, непроходимым и путаным был лабиринт. А двери вели



в реакторный зал, из которого опаленный, на крыльях пыльного света выпадал солдат, прямо на руки замполита, и беззвучно, бессловесно хлопал ртом, ловил воздух, и рубаха его в черных липких потеках ходила ходуном на груди.

— Метла да лопата — вот и вся электроника! — зло ворчал Данилов. — Где же они, ученые, академики, которые по телевизору хвалятся? Где их роботы самоходные? Чуть что случись, и их нету! Опять Иван с веником выручает! Пустили бы хоть луноход с граблями, он бы всю пыль и собрал. Да где там! Солдату в руки метлу — и вперед! Солдат не железный, его не надо клепать, его мамка родит! — Он хмыкал, кривился под маской, и все его сильное, крепкое тело кривилось, не желало двигаться, перемещаться к дверям.

Сергей Вагапов чувствовал движение угрюмых, безмолвных сил, сдвигавших их всех к дверям медленно, неуклонно. Эти силы были созвучны тем, что двигают ледники, смещают подземные толщи, меняют местами горы, и он, Сергей Вагапов, — лишь малая песчинка, вмороженная в ледник, движется вместе с горой. Но в нем, в живом, как малая встречная сила, звучали жалость и боль. Не к себе, а к Данилову, теряющему на глазах свою удаль, исполненному смятения и страха. К Рахиму, верящему в исцеление сестры, захватившему и сюда, в эти сумрачные стены, свою нежность, любовь. К деревенскому деду, одноногому печнику, хромавшему на деревянной культе, — однажды поманил его, схватил за тонкие плечи стариковскими большими руками, долго, молча смотрел, и слезы текли из глаз. К матери, полоскавшей у проруби груды ледяного белья — скрученные рубахи и простыни, промороженные салфетки и скатерти, — красные, как свекла, руки матери. К брату Михаилу, вернувшемуся из Афганистана и в первый же день напившемуся, — пел, сквернословил, похвалялся медалью и орденом и вдруг побледнел, упал без чувств на пол, а когда его раздевали, стягивали штаны и рубаху, на груди вдоль ребер — сморщенный красный рубец, будто приложили к нему кочергу.

Боль росла, прибывала, действовала в нем вопреки безымянным, бездушным силам, сдвигавшим материки.

...Табун летел по зеленой горе вдоль клеверов в медовом ветре. Он, Сергей, хватался за жесткую рыжую гриву, окруженный храпом и стуком, боясь упасть и сорваться, ликуя, крича, озирал с высоты родную зеленую ширь, россыпь деревень, белый шатер колокольни, небо с высокой птицей.

Из зала выскочил солдат в балахоне и, сдирая щиток, кашляя, задыхаясь, проталкивал сквозь кашель и хрип слова:

— Не донес!.. Уронил!.. Лопатой задел и просыпал!.. Не нарочно! Задел и просыпал!..

Он кашлял, бился, его выворачивало, драло нутро. По щекам текли слезы. Замполит обнимал его, успокаивал:

— Ничего, Ковальчук, бывает. В следующий раз не просыплешь... Ты где насорил, у рубильников?

Тот кашлял, кивал, объяснял замполиту. И другой солдат в балахоне слушал его объяснения. Ему предстояло собрать рассыпанный мусор, смести его в малую ядовитую горку.

— Внимание! — обратился замполит к солдатам. — Всем внимание!.. Отдохните минутку! А я вам пока скажу!..

Он оглядывал своих подчиненных, бледный, веснушчатый, с белесыми бровями, очень усталый. Хотел им прибавить сил. Хотел вдохновить, укрепить. Его слова, его обращение к солдатам были обращением и к себе самому. И себя он хотел укрепить в этом бетонном глухом мешке, где носилась бесцветная смерть. И все они были пронзенные сквозными ударами бессчетных смертоносных частичек.

— Други мои, мы ведь с вами люди военные, делаем, что прикажут! Но, кроме приказа, други мои, есть у нас с вами совесть. И она, совесть наша, сильнее любого приказа. Случилась беда, несчастье, какого на Родине никогда не бывало. Нет войны, а люди бегут с родных мест, как беженцы, погорельцы. Трудно нам, други, очень трудно! Каждый из вас к этой метле и лопате бежит, а на самом деле он в атаку на пулеметы бежит. И честь вам за это, и слава! Смотрят на нас сейчас детишки малые, девушки наши и матери. И мы наше дело делаем у них на глазах!

Он окончил говорить. Подошел к дверям. Надел капюшон на маску. Озарился синеватым солнцем, похожим на электросварку. Канул в дверях. Вместо него из зала появился ротный. Разоблачался, отфыркивался, словно выдувал из легких залетевшую пыль. Достал из кармана дозиметр. Посмотрел в прозрачный глазок.

Теперь Сергей был близко от двери. Посматривал на стену, где висели прорезиненные, глянцевитые костюмы, похожие на содранные мокрые шкуры.

— Мы с Варюхой второго родить хотели. Теперь погодим, а то лягушонок выйдет. — Данилов каждый раз с неохотой, страхом переступал вперед на освободившееся, приближавшее его к дверям место. — Головастика родим с хвостом, кто нам тогда красивые речи говорить будет? Заспиртуем его и в банке пришлем на выставку достижений народного хозяйства!

— Надо гранат есть много, — тихо говорил Рахим, косясь на близкую дверь. — Надо гранат давить, сок пить, будешь здоров.

— Гранату подвесь между ног, рвани за чеку — и будешь здоров! — огрызнулся Данилов. — Я бы тем, кто это устроил, всем понавешал гранат и рванул за чеку! Я бы их сюда понагнал, дал метелку и запер на день, другой. Пока не уберут, не выпускать! А то, подлецы, бед понаделали, а нам расхлебывать!

Было больно, все больней и больней. Боль его ширилась, выходила за пределы тесных лабиринтов, пустынных, с остановившимися машинами залов. Он обнимал этой болью замполита с его веснушчатым усталым лицом и ротного, тревожно глядящего в индикатор, и захлебнувшегося от волнения, промахнувшегося лопатой Ковальчука, и тот маленький памятник в пустом селе, где они проводили работы, обелиск со звездой, с именами погибших солдат, куда они положили букетик белых полевых цветов. Боль его была и любовью, и он в своей слабости, в своем неведении жизни чувствовал ее, как боль и любовь.

...Табун подлетел к реке, фыркая, стремясь на прохладный запах, на блеск, на зелень осоки. Ухнул с горы, ворвался в воду, поднял в небо всю реку, сверкающих рыбин, прозрачные пышные радуги. Лошади пили, чмокали, громко дышали. Он, Сергей, весь мокрый, холодный, исхлестанный струями, сидел на спине жеребца, смотрел, как плывет, переливается рыжее его отражение. Конь погрузил морду в реку, скалил зубы, громко, сладостно пил.

Они стояли у самых дверей в балахонах. Впереди Данилов, следом Сергей и сзади Рахим. Появились двое в белых стерильных робах, должно быть, работники станции, и с ними дозиметрист, в противогазе, с металлическим щупом, с сундучком на боку, в котором поблескивали циферблаты.

— Мы заканчиваем по четвертому сектору, — говорил замполит двум работникам в белом, и Вагапов, прислушиваясь, заметил: у одного под маской усы. Замполит раскрыл бумажный листок, где кругом был обозначен реакторный зал. Круг был разбит на секторы, и в каждом стояла цифра. — Вот здесь, в четвертом, подобрали что можно. А сюда боимся соваться. Здесь обломок графита, брикетина черная. Здесь надо промерить фон. Без промера людей не пущу.

— Промерим, — ответил усатый. — Брикетины крышу пробили, здесь и лежат. Вот здесь, у троса. Мы в прошлый раз замеряли, шкалы не хватило. Сейчас промерим еще.

— Промерьте, — повторил замполит. — Без промера людей не пущу.

Они подошли к дверям и скрылись все четверо, пропустив дозиметриста вперед, и, пока их не было, солдаты в цепочке расслабились, зашевелились. Данилов обрадовался, что очередь залипла и, быть может, ему повезет, на нем, Данилове, прекратятся работы. Ему не надо будет кидаться в зал. Их всех развернут, выведут прочь от станции, погрузят в крытые брезентом машины, отвезут в расположение части. Там поджидают их баня, ужин, кино, и можно будет сыграть в волейбол, лупить что есть мочи в звенящий мяч, гасить над сеткой подачи. Так думал он, вертя головой, подмигивая Вагапову сквозь прозрачный щиток. Было видно, что у него заготовлена какая-то бодрая шутка.

Четверо вернулись из зала. Дозиметрист в противогазе с невидимым лицом казался ошпаренным. Торопился прочь от двери. Все застегивал, не мог застегнуть крышку на сундучке с циферблатом.



— Вот здесь он лежит! — Усатый тыкал пальцем в бумажный листок, объясняя замполиту и ротному. — Синие ящики видели? Как раз под ними он лежит! Черный, под выступ забился... Здесь трос... здесь ящики... А он под выступ забился!

— Здоровенный кусище! — говорил другой, в белой шапочке, кивая на дозиметриста. — Все стрелки зашкалило.

— Если его брать, к нему надо другим путем подходить. — Усатый тыкал в круг пальцем. — Вот сюда, от двери налево, под прикрытием стенки. А потом из-за стенки через трос, прямо на него, и хватать! И обратно с ним на контейнер! Самый короткий маршрут!

Они продолжали обсуждать какой-то свой, им открывшийся план. И Сергей понимал, догадывался: в этом плане и он участник и ему уготовано место.

Замполит повернулся к ним, стоящим у двери. Данилов, Вагапов, Рахим — все трое были в бахилах и масках. Четвертый солдат, без накидки, ждал своей очереди, поглядывал на висящее облачение.

— Мужики, — обратился к ним замполит. Не «товарищи», не «братцы», не «парни». — Такое дело, мужики. Скрывать ничего не буду. Да вы и сами все слышали. Лежит графит. Из самой требухи его вырвало. Он дает фон огромный. Мешает работать. Надо его убрать. Робот здесь, сами видите, не пройдет. Да и где он, робот! Надо лопатой. Вон физики нам сейчас подсчитали — четырнадцать секунд на бросок! Если за четырнадцать секунд управиться, все будет нормально, никакого вреда. Но не больше, иначе хана! Такие дела, мужики. Неволить никого не хочу. Сам бы пошел, но мы с ротным сегодня перебрали втройне. Кто-то из вас. Добровольно. Давайте, мужики, помозгуйте. Решайте, кто пойдет.

Сергей Вагапов чувствовал, слышал движение разрушительных сил, сдвигавших с места земные платформы, рвущих корни материков, с подземным хрустом ломающих опоры планеты. Действие этих сил начиналось далеко в мироздании и давило на все устройство мира и космоса. Смещало планеты и звезды, сминало орбиты, плющило и искривляло Вселенную. Эти силы достигали Земли, тормозили земное вращение, сдирали с Земли атмосферу, гнули земную ось. И людские души сотрясались от страха и ненависти. Люди сходили с ума. Стреляли один в другого. Насылали мор и погибель. Пытали в застенках, слыша сквозь вопли и стоны глухие подземные трески разрушаемых планетных опор.

Сергей Вагапов все это чувствовал, знал. Чувствовал страх и нежелание Данилова, стиснувшего под балахоном свои крепкие мускулы в стремлении стать незаметней и меньше. Чувствовал робость Рахима, вращавшего под прозрачным щитком сиреневые с влажным блеском глаза. Чувствовал усталость замполита и ротного, обреченных командовать ими, посылать в урановый зал. И он, наполняя грудь дыханием боли, заслоняя их всем своим любящим сердцем, сказал:

— Я пойду... Пробегу, если надо...

И мгновенное у всех облегчение. У Рахима, Данилова, ротного. Замполит, благодарный ему, тут же забывая о своей благодарности, показывал чертеж на бумаге.

— Побежишь вот здесь!.. Маршрут оптимальный!.. Первый ориентир — защитная стенка. Побежишь под ее прикрытием. У края — лопата, возьмешь лопату — и дальше. Второй ориентир — брошенный трос... Пойдешь на него, перескочишь. Не зацепись, бога ради, не шлепнись! Если шлепнешься, сразу обратно. Время будет исчерпано. Третий ориентир — на стенке синие ящики. Под правым, под выступом, черный кусок графита. Его лопатой! Держи вперед от себя! Подальше, подальше! Беги к контейнеру! Кинешь — и сразу на выход! Лопату у выхода брось... Все! На выполнение четырнадцать секунд! Не больше! Иначе сгоришь! Вот мой хронометр, четырнадцать секунд на работу!

Замполит щелкнул кнопкой хронометра. Стрелка побежала, и он щелчком остановил ее бег.

— Сейчас давай глянем в зал. От двери посмотрим маршрут...

Замполит подвел Сергея к дверям, толкнул их. В грудь, в глаза, в испугавшееся, дрогнувшее сердце ударили с высоты туманно-голубые, прорвавшие кровлю лучи. Оранжевый карусельный кран, бетонные стены,

бетонный пол с вмурованными стальными брусками, под которыми таился реактор,— все было в синеватом тумане. Защитная стенка пересекала часть зала. Виднелся брошенный трос. Черный, как мусорный ящик, стоял контейнер. И далекие, бесконечно удаленные, как в обратные окуляры бинокля, жестяные ящики на стене.

— Под правым видишь?— указывал замполит.— Темный такой обломок, как брикетик торфа... Понял теперь, как бежать?

— Понял,— ответил Вагапов.

— Сейчас тебе лопату положат,— сказал замполит.

Он закрыл дверь, оттесняя Вагапова не к солдатам, стоящим в цепочке, а в сторону, отдельно, не давая ему смешаться с другими.

— Ты!— обратился замполит к Рахиму.— Пойдешь и перетащишь лопату! Древком к дверям! Понял? А ну повтори!

— Пойду, перетащу лопату... Деревянкой к дверям!— послушно повторяя, старательно выговаривал Рахим.

— Вперед!— Замполит выпустил в зал мелькнувшего, юркнувшего в лучи Рахима.

Тот вернулся быстро, весь взъерошенный, взвинченный, чем-то похожий на кошку, у которой поднялся загривок. На глазастую, гибкую, наэлектризованную кошку.

— Готова!— говорил он.— Готова! Деревянкой к дверям!— Он продолжал повторять отпечатанное, выжженное в нем заклинание.— Готова! Деревянкой к дверям!

— Ну давай, Вагапов, готовься! — Замполит сжимал в ладонях хронометр.— А я тебя подстрахую!— и ушел в зал, занял место на «островке безопасности».

Сергей стоял у порога перед закрытыми створками, двигая легкими, готовыми к броску и бегу мускулами. И все на него смотрели. Солдаты в цепочке. Дозиметрист сквозь свои кругляки противогаза. Физики в белом. Ротный, подошедший к дверям, готовый отдать команду.

Сергею вдруг стало страшно. Темный, животный, из всех клеток поднявшийся ужас охватил его, лишил дыхания, стал разворачивать вспять, толкать назад, прочь от этих закрытых дверей, за которыми бушевали лучи, ждали его, чтобы спалить и обуглить. Он медленно начинал разворачиваться, переставлять обутые в бахилы ступни.

— Вперед!.. Марш!— скомандовал ротный, словно отдавал не приказ, а сигнал бежать стометровку. Ударил в двери. И Вагапов, продираясь сквозь ужас, оставляя его за спиной, как часть своей жизни, навсегда исчезающей, метнулся в лучи.

Ворвался в зал. Наткнулся на просторный сноп голубого света. Пронырнул его головой, как волну, работая плечами, локтями, всем заостренным телом. Почти ударился в замполита.

— Правей! К лопате!

Отклонился, изменил траекторию. Набежал на лопату, лежавшую длинным древком навстречу. Затоптался, нагнулся. Схватил лопату, держа ее вперед острием, заржавленным темным совком, кинулся вдоль защитной стены. Бежал, сжимаясь в плечах, пропуская над собой стучащие пулеметные очереди, посылавшие над его головой грохочущие перекрестья огня. Они не задевали его, долбили бетон на стене, крошили разрывными пулями.

Он бежал, истребляя отпущенные для бега секунды. Сначала по бетонному полу, под которым таился реактор. Потом по выжженному полю в воронках с обрывками колючей, растерзанной взрывами проволоки. Потом по горячему тонкому льду, хрустевшему, с выступившей черной водой. Потом по горячему, обжигавшему пятки бархану. Он бежал, потеряв счет годам. И пока он бежал, успевали родиться и возмужать его дети, превратиться в стариков и скончаться, и табун с золотым жеребцом стал грудой замшелых костей на дне сырого оврага.

Он вырвался из-за стенки. Перед ним на полу лежал металлический трос. Крученый, масленый, с тускло сиявшей серьгой. И он, боясь оступиться, прыгнул в стальную петлю, не давая ей захлестнуться, пронес над ней лопату, свое быстрое тело, свистящий выдох.

Налетала в грубой побелке стена. Три жестяные ящика. Левый, средний и правый. И под правым, в сумраке, под глубоким уступом— черный,



с резкой гранью осколок. Жуткий, шевелящийся, разрастающийся на глазах, разевающий огнедышащий, с алой подкладкой зев. И в открытый зев, в пламя, в пасть— вонзить острие, забить, закупорить собой, не дать прорваться огню.

Он поддел лопатой осколок, раз, другой, подбрасывая, вытряхивая его на середину совка. Поднял лопату на вытянутых руках. Развернулся и помчался к контейнеру, чувствуя, как пылает, подобно углю, черный осколок.

Подбежал к контейнеру. Продел лопату сквозь тяги, вглубь, до железного звяка, сбрасывая страшную ношу, возвращая ее в преисподнюю. И обратно к дверям.

Замполит встретил его на пути, подхватил, подставляя плечо. Бежали, обнявшись.

— Лопату! Отдай...

Замполит с силой выдрал из рук лопату, шмякнул на пол. А Вагапов все бежал с вытянутыми пустыми руками. Прошиб телом дверь, не почувствовал боли, пробегая вперед, туда, где толпились солдаты. И они сначала расступились, а потом сомкнулись вокруг. Помогали раздеться, стягивали бахилы, перчатки.

Он стоял весь мокрый, липкий, без кровинки в лице, равнодушный, пустой, словно сделался вдруг стариком, прожив огромную жизнь.

Замполит подошел, держа на ладони хронометр:

— Восемнадцать секунд! Ничего! Ненамного отстал.

— Вагапов, родной, спасибо!— Ротный обнял его, прижал. Отошел, бормоча:— Эх, мужики, мужики... Жизнь-то у нас какая!

А Сергея тихонько покачивало. Какая-то тихая отмель. Какая-то теплая, старая, с поломанной уключиной лодка.

## *Глава девятнадцатая*

К ночи усталый, измученный после огромного, вмороженного в снег и железо дня Фотиев вернулся домой, в тесную комнатку общежития.

В течение дня за множеством встреч, разговоров он израсходовал массу энергии. Убеждал, уверял, волновался, увлекал людей своей идеей и верой, добывал единомышленников и сторонников. На каждый пустяк, на любой, самый малый вопрос отзывался искренне, страстно. Проповедовал, не жалея эмоций и мыслей. Теперь, на исходе дня, опустошенный, продрогший, он сидел под газетным абажуром, среди утлого, убогого быта, прижав к батарее голые ноги. И было ему тревожно. Было ему печально и смутно.

В эти минуты усталости, когда его детище выпивало весь запас природной энергии и душа, подобно пустому колодцу, открывала в себе темное дно с обломками утонувших, погибших в прежние годы людей, разрушенных дружб, поломанных надежд и иллюзий, когда иссякали природные силы, доставшиеся ему от жизнелюбивой уральской родни, он остро, страшно чувствовал свое одиночество, свою неприкаянность, свою вечную долю скитальца.

Те, с кем когда-то начинал свой поиск, что в благоразумии, исполненные здравого смысла, ставили себе реальные цели, уже давно их достигли. Работали в науке, инженерии, администрировали. Занимали посты, защищали диссертации, жили в уютных домах и квартирах, разъезжали в собственных машинах, имели семью и детей.

Он смотрел на грубое, морщинистое, неловко застеленное одеяло. На грязные, сохнущие у батареи башмаки. На свои голые ступни, прижатые к железу. И в нем собирались тоска, уныние, предчувствие очередной, ожидавшей его неудачи, очередного крушения.

Почему, думал он, его «Вектор» обречен на крушение? После первых шагов, первых робких успехов на него ополчаются, начинают отторгать и преследовать, изгоняют и губят? И делают это достойные, умные люди, не враги, не проходимцы, не лодыри, а опытные, умудренные, желающие блага, страдающие от несовершенства дела, стремящиеся его улучшить, не щадящие для этого сил. Именно они отвергают его и отталкивают. Почему?

Может, в этом повинен «Вектор»? Виноват он сам, Фотиев? Недодумал, не завершил, недоделал. Не привел его к совершенству. В торопливости, в нетерпении промахнулся, пролетел мимо истины. И она, неразгаданная, осталась вне «Вектора». «Вектор» отторгается жизнью, как чужое, врезанное сердце. Малый начальный успех, мнимое облегчение, а потом отторжение, неминуемая смерть и крушение. Может, «Вектор» — просто ошибка, блистательный парадокс, вечный двигатель, работающий лишь на бумаге?

Но нет, виноват не «Вектор». Виноват не он, Фотиев. Виноваты время и жизнь. Виноваты общество, составляющие его конкретные люди, их умы, отдельные и коллективные интересы. Они не готовы к «Вектору», не готовы к усилиям и жертве. К предельному напряжению сил, к рывку и движению, требующему мучительного всеобщего действия, когда народ должен колыхнуться всеми миллионами, иначе разместиться на шестой части суши, иначе взглянуть на себя и на мир, на ближние и дальние цели. Нет, не готов, не хочет народ этой жертвы. Слишком устал и изверился. Весь в рубцах и порезах от прежних, еще незаживших ран. И затеянные начинания обречены на провал. Не будет живого огня, не будет рывка и развития, стремительного, поражающего мир продвижения, а только вялое тление, топтание на месте, многословие, лень и апатия.

Так думал он, глядя на папку с «Вектором», чувствуя, как подымается паника. Знал: если и теперь, на этой атомной стройке, после стольких усилий его снова постигнет провал — провал этот будет последним. Не останется сил для нового воскрешения из праха. Его, неудачника, ожидает погибель. Психушка, инфарктная койка, неуемное пьянство, угрюмое отрицание, жизнь без веры, без творчества. Такой ему будет конец, как и многим другим неудачникам.

Он сидел, большой и сутулый, скрючившись на стуле, упираясь ногами в железо. Искал для себя спасения. Вдруг подумал о ней, Антонине. О недавней ночной дороге, где блестели звезды, хрустел белый снег, и что-то случилось, в мгновение ока преобразилась земля, и он испытал к ней нежность, влечение, загадочную, чудную, желанную связь с ней. Знал: и она испытала. Ее он хотел бы сейчас увидеть. В свою худую минуту, без веры, без сил, к ней бы он хотел прислониться.

Но была уже ночь. Город спал. Только станция гудела вдали, поводила в небе туманными лопастями света. Ночные бригады, наполняя ее холодное чрево, резали и варили железо.

В дверь постучали осторожно и тихо. Он встрепенулся: неужели она, Антонина, услышала его зов и мольбу? Но это была не она.

Елена Вагапова осторожно открыла дверь.

— Николай Савельевич, можно? — Ее большое бледное лицо улыбалось. Рука придерживала полу халата, под которым круглился живот. — Слышала, вы пришли. Свет увидала, не спите. Решила зайти.

— Входи, Елена, входи! — Он засмущался своих босых ног, не знал, куда их спрятать. Ткнул ступни под тюфяк, под край одеяла. — Немного промок, простыл.

— Я вам долг принесла. Весь день караулила, хотела отдать. Вот возьмите, спасибо. Выручили нас с Михаилом. — Она положила на стол пачку денег.

— Да мне несрочно,— продолжал он смущаться. Но радовался ее появлению, белизне ее большого, с пухлыми губами лица, в котором близкое материнство светилось умилением, робостью, млечной, чуть болезненной нежностью. — Могли бы не торопиться!

— Миша получил премиальные. И мне за декрет заплатили. Спасибо вам!.. Вы хороший, добрый! — Она улыбалась. Взгляд ее, устремленный на него, был исполнен все той же материнской нежности. Она, молодая, угадывала его смятение, сострадала ему, делилась с ним своими животворными силами. — Миша вам верит во всем. Он говорит, вы человек настоящий. Он бы с вами в горы пошел. Он бы вас в горах прикрыл. Он говорит, такого командира он бы хотел иметь в горах.

— Ну уж в горы-то зачем мне идти! Я и стрелять не умею. — Он вдруг почувствовал, как затуманились от влаги глаза, и испугался, что может вдруг расплакаться перед ней, не скрыть свою слабость.



— И я говорю — вы наш! — продолжала она. — Хоть вы и ученый, и образованный. А все равно — наш. Из нашего теста. Я вот сейчас сидела, Миши нет, и мне вдруг так плохо стало. Вы пришли, я и обрадовалась — не одна! Рядом живой человек!

— А что, тебе плохо? — Он оглядывал ее большое, отяжелевшее тело, дышащий под халатом живот, белую открытую шею с голубоватой на белизне прожилкой. Видел, что ей и впрямь нездоровится, что она страдает. Устыдился своей слепоты, своего эгоизма, упования на ее животворные силы. — Тебе плохо?

— Вот тут болит, — коснулась она живота. — Заболит и отпустит. И Миши нет! Только к утру придет!

Она вдруг схватилась за стену, сгибаясь. Живот мешал согнуться, и она опускалась на пол.

— Что с тобой, Лена?

— Плохо мне!.. Помираю!

Он чувствовал, что она погибает здесь, в его комнате, у него на глазах. И словно очнулся. Близкая чужая беда вернула ему бодрость, расторопность, способность действовать.

— Погоди! Потерпи! Я сейчас!

Сорвал с батареи сырые башмаки. Сунул в них босые ноги. Громко, со стуком сбежал по лестнице, вниз, к телефону, к сонной, закутанной в шаль вахтерше.

— «Скорая помощь»? Женщина рожает! Сейчас, немедленно! Четвертое общежитие.

И обратно, наверх, задыхаясь.

Ее ввезли на каталке в операционную. Она лежала на спине в белой длинной рубахе, с огромным вздувшимся животом. Волосы ее, густые, светло-русые, тяжелой гривой упали, рассыпались, свесились с каталки. Боль накатывалась издалека, из области дыхания, приближалась, проходила сквозь грудь, наезжала железным колесом на живот, мяла, давила, превращалась в нестерпимый ожог, опускалась ниже, к бедрам, коленям, стекала с кончиков пальцев множеством ручейков и стихала. Краткое исчезновение боли вызывало в ней стон облегчения.

— Ближе к столу! — раздался над ней чей-то голос.

Вращая зрачками, не подымая отяжелевшей головы, она увидела операционную люстру. Хромированный диск со множеством застекленных глазниц. Две из них ярко горели, бросали белые снопы, освещая пустое, уготованное для нее ложе, россыпь отточенных инструментов, приготовленных для ее тела. Зрелище этой острой, колючей стали и белых лучистых дисков, влетевших в комнату, паривших над ней, вызвало ужас, желание вскочить. Но не было сил. Боль зарождалась где-то не в ней, а над ней. Входила в нее с дыханием. Взбухала темной горой. Опадала у кончиков пальцев. Отпуская волну страдания, озирая окружавшую ее белизну, она простонала:

— Боюсь...

Фотиев ничего этого не знал и не видел. Он сидел внизу на обшарпанной желтой скамейке, не в силах уйти. Суеверно думал, что его присутствие здесь, вблизи Елены, поможет ей, облегчит ее муки, спасет. Смотрел на скомканное платье, на сбитые каблуки. Думал о ней, защищал, заслонял, отводил от нее беду. Отвлекал беду на себя. Чувствовал ее, лежащую за стеной, окруженную ночным грозным миром, в котором множились вспышки бед и несчастий, приближаясь к ней, к ее дышащему животу.

В его охваченном смятением разуме она, готовая родить, ее нерожденный младенец сочетались сумбурно и суеверно с его собственным детищем, с «Вектором», с грозящей ему напастью. Его «Вектор», выношенное в муках и болях дитя, единственное на всю жизнь призвание, заслонившее все остальное, собравшее в себя эту жизнь, оно либо родится, прорвется сквозь скальпель и кровь, либо погибнет.

Ей вонзили в руку иглу. Подключили капельницу. Она почувствовала легкую, поступавшую в руку прохладу. Измеряли давление, пульс. Сестра у ее изголовья воздвигала на белой ткани гору сияющих инстру-

ментов. И во всем ее теле начиналась дрожь, мучительный трепет. Тело ее трепетало не от страха и холода, а оттого, что в нем завершалась долгая работа, уходящая в прошлое, в жизнь ее матери, бабок, прабабок, передавших ей свою плоть, свою кровь, свою женственность, завещавших ей свои муки и скорби, родивших ее для продолжения грядущих рождений. И теперь она, выполняя завет, заканчивала эту женскую, вмененную ей природой работу. Сотрясалась, трепетала, освобождала себя от бремени.

— Шприц! — командовал анестезиолог.

Поднял вверх свои сильные, по локоть обнаженные руки, словно молился. И сестра вложила ему в ладонь шприц с блестящей иглой.

Фотиев внизу, в приемном покое, сгорбился, стиснул руки, смотрел воспаленными глазами. Мир, окружавший ее, лежавшую на операционном столе, ожидал рождения младенца. Уготовил младенцу место, малое пустое пространство, которое тот скоро заполнит... В этом мире, в далеких горах, опускалась вертолетная пара. Из-под треска винтов кубарем, врассыпную, стреляя на бегу из автоматов, высаживалась группа десантников. Залегли в камнях и расселинах, и навстречу им тяжело, брызгая красным грохотом, бил с горы пулемет. И десантник, пробитый сердечником, опрокинутый навзничь, катился по склону, роняя оружие, вещмешок и подсумок, кровеня на откосе камни, и в его умиравших глазах последним видением колыхнулся родной городок, ветхие косые домишки, абажур в материнском окошке.

Туда, на место убитого, в открытое смертью пространство, стремился родиться младенец. И Фотиев в страхе и боли не мог его удержать, не пустить на свободное место.

Он думал о «Векторе», связывая мысли о нем с рождением ребенка. Его «Вектор», его дитя, возник из дыма и копоти, из лязга заводов и строек, из ругани бригад и планерок. Еще не мысль, не открытие, а предчувствие близкой, растворенной повсюду истины, попираемой, отрицаемой, но присутствующей в каждой душе. Стремление не просто трудиться, зарабатывать деньги, умножать изделия труда, а в труде обретать драгоценное, превыше любого богатства умение — жить сообща и по совести, на высшем пределе человеческих чувств. Сотворяя города и заводы, с каждым новым творением увеличивать правду, гармонию, осмысленность жизни.

Об этом догадывался, с этим приступил к созданию «Вектора», своего социального двигателя, направленного на добро. От первых неловких схем, наивных скороспелых моделей, обреченных на быструю гибель, преодолевал свое невежество, неумение кустаря и неуча. Докапывался до тончайших, сокрытых от глаз механизмов, действующих в человеческом обществе.

Сколько он перебрал всего, сколько раз терпел поражение! Начинал все сначала. Предлагал свой опыт к внедрению. Его гнали. Над ним глумились. Подвергали осмеянию. Оставляли без хлеба. Вечный странник, без копейки в кармане, он верил в свою звезду, знал, что она существует. И теперь, когда звезда засветила: «Вектор» достроен, запущен, прокрутил свои первые обороты, не заглох, не рассыпался, а, все убыстряясь, захватывал все больше энергии, заработал, задвигал тяжелые рычаги и колеса, колыхнул всю стройку,— неужели его снова разрушат, порвут обмотки, замкнут и расплавят клеммы, грудой мертвых обломков выкинут прочь? Неужели так будет?

У него не было прямых доказательств, что над «Вектором» нависла беда. Но его инстинкт, его чувство говорили ему, что нависла. И теперь в приемном покое, прислушиваясь к звукам больницы, он ждал, когда родится ребенок, когда женщина на операционном столе пройдет сквозь муку и боль и родит. Это рождение в его страдающем, смятенном сознании было связано с рождением «Вектора».

Анестезиолог окунул шприц в ампулу, всасывая прозрачную влагу. Поднял иглу, брызнул легкой туманной струйкой.

Она послушно поджала колени. Спина напряглась. Пальцы врача трогали спину, выбирали место для укола. Ей по-прежнему было больно и страшно. Но в этом страхе возникла горячая мысль, присутствовала, окруженная страхом. Мысль о ребенке, который был в ней, причинял ей страдание, рвался наружу, рвал ей живот, был причиной ее несчастья.



Ему, ребенку, отрекаясь от себя, посвящала она свое терпение, смирение, готовность на муки. Лишь бы он появился и выжил...

Желтая, замызганная, в пятнах и потеках скамейка. Мятая газета в углу. Скомканное женское платье... Далеко, в океане, тонет подводная лодка. Команды, сигналы тревоги. В ракетном отсеке пожар. Задраены наглухо люки. Сквозь дым и вспышки огня мрачно круглятся контейнеры с сонными телами ракет. Матросы, хрипя и харкая, натягивают кислородные маски. Махина теряет плавучесть, кренясь и проваливаясь, вяло идет в глубину. Железный корпус, наполненный огнем и стенанием, скрежещет и плющится. И Фотиев здесь, на скамейке, слышит подводные скрежеты.

Он вскакивал и снова садился. Порывался бежать. То к Михаилу, на станцию, известить его о случившемся. То наверх, в операционную, узнать, что с Еленой. Оставался сидеть, караулить, ожидая в любую минуту, что его позовут, что кому-то он может понадобиться.

Он снова думал о «Векторе», о множестве идей и открытий, скопившихся в народе, замурованных, стремящихся выйти наружу. Думал о мучительном, охватившем страну обновлении, на которое сам уповал. «Вектор» и был обновлением, его инструментом и символом. Сможет ли победить обновление? Или глухие, угрюмые толщи окажутся сильнее его? Затрут, обескровят, погасят, введут в неверное русло. И вместо новизны и цветения, долгожданного рывка и развития — хаос, крушение надежд, унылое прозябание.

Эта мысль была страшной. Было страшно за себя и за «Вектор». Страшно за страну и народ. И все эти страхи складывались в один — за нее, беззащитную, идущую добровольно под нож. Что они делают с ней? Как идет операция?

Дверь отворилась. Пожилая санитарка в очках недовольно его оглядела.

— Вот так все вы, отцы! — заворчала она.— Когда нужны, вас нет. Жены за вас работают. А когда нет от вас проку, сидите. Ну чего ты сидишь, зачем? Все одно ничем не поможешь.

Она удалилась за дверь. А он остался сидеть на скамейке, слыша глубинные гулы — скрежеты тонущей лодки...

Она лежала голая на операционном столе, раскинув руки крестом. Кожаный плоский ремень плотно охватил ее ноги, пристегнул к доске. В венах торчали иголки капельницы, извивалась трубка катетера. Большая, тяжелая, с высоким бугром живота, набрякшая, налитая.

Золотой мазок. Другой, третий. Огромный золотой живот, как церковный купол. Бьющие из люстры лучи. Под куполом шевелится, ходит ходуном, выпрыгивает, колотится в свод невидимый, близкий младенец.

Мажут йодом лобок, бедра, колени. Золотят ее. Она лежит недвижно, как большая золоченая статуя.

Ее занавешивают, набрасывают простыню на ноги. Стелят на грудь. Оставляют малый прогал на золоченом животе. Хирурги с двух сторон обступили ее...

Фотиев слушал голошение мира, словно вместо ушной перепонки ему вставили огромную мембрану.

На полигоне пускали ракету, новую боевую систему. Генералы, конструкторы приникли к дисплеям, считывали мелькание цифр. На старте, воздев острие, окутанная легким туманом, стояла ракета. Белая, как колокольня, начиненная электроникой, топливом, драгоценными сплавами. Хранила в своей голове знание об огромных пространствах, о полюсах, океанах, о крохотной, затерянной среди континентов точке, которой стремилась достичь. За ракетным пуском следили военные, надеясь на ее точность и мощь. Следили промышленники, вложившие в нее громадные средства. Следил противник, фотографируя ракету со спутников, посылая к побережью корабли радиоэлектронной разведки. И когда прозвучала команда, провернулся стартовый ключ, вспыхнули пышно огни. Колонна белого света медленно отжала ракету, одолевая притяжение Земли, раздирая воздух, протачивая тоннель в атмосфере. Ракета пошла, выбрасывая огненный факел. Скрылась в тучу, наполнила ее красным сиянием. Пропала, оставив шлейф рева, маленькую лунку в небе. Летела по огромной, опоясывающей Землю дуге, посылая с борта сигналы. Военные у дисплеев ликовали, поздравляли друг друга с удачным пуском.

Фотиев слышал рокот ракетных двигателей, трясение земли, гулы бессчетных моторов, запущенных на танкодромах и стрельбищах. И думал о рождении ребенка. Думал об огромной, древней, заложенной в мир идее об избавлении от зла, о возможном цветении и благе. Эта идея, перетекая из рода в род, из учения в учение, заслоняемая бойней, невежеством, неверием, тьмой, здесь, в его земле и народе, породила небывалое общество, небывалое государство. На его сотворение потребовались непомерные силы, страшные жертвы и траты. Идея цветения и блага строилась на крови и костях. От нее отвернулись сердца. И теперь, на исходе века, эта идея, усталая, не желающая плодоносить, без прежних ревнителей, нуждалась в спасении. Нуждалась в новых умелых работниках, глубоких мыслителях, страстных приверженцах. Иначе она покинет утомленный, утративший веру народ и уйдет к другому народу. Что будет с государством и обществом, если их покинет идея? Что станет с самой идеей, если она уйдет из народа?

Он сидел на скамье в приемном покое, перебирая в памяти всех, с кем его сводила судьба. Тех, кто верил в идею. Не паразитировал на ней, набивая карман добром. Не следовал ей слепо, казня и побивая других. Не проходил мимо нее равнодушно, готовый молиться любому богу. Не отталкивал ее, возненавидя кровавый лик. А тех, кто ее носил в своем сердце и разуме, не давал ей погаснуть.

Он сидел и старался вспомнить. Их было немного, известных ему,— философов, управленцев, политиков, одолевающих догму, отметающих демагогию, видящих горизонты развития. Сумеют ли они устоять? Сумеют ли победить? Успеют ли быть услышанными? Ибо времени не осталось. И он сам, и его «Вектор» — успеют ли?

Он сидел, охваченный сомнением и страхом. Чувствовал свою малость и слабость. Огромную, навалившуюся на страну и народ заботу. Страна взывала о помощи, ждала ее от него. А он был не в силах помочь.

Он принимался ходить. Прислушивался к звукам больницы. Слышал угрюмые, на далеких полигонах моторы. Вдруг она умрет под ножом? Или родится мертвый младенец? Как ей можно помочь? Отдать свою жизнь, свою кровь? Да разве ей нужна его кровь?..

Лезвие скальпеля коснулось дышащей плоти. Сильный, быстрый надрез. Распадается кожа. Белый пузырящийся жир. Красные фонтанчики крови. Скальпель хрустит и потрескивает, и кажется, вслед за ним раскрывается огромный, алый, хохочущий рот. Брызгает красной слюной. В него вставляют стальные крюки, оттягивают сочные губы. Толкают белую марлю, и она мгновенно пропитывается красным. Четыре быстрые руки, меняя зажимы, пинцеты, промокалки, сушили рану, и она трепетала, пульсировала, словно зияющий зев.

Там, в глубине, в сокровенном центре, народилось светило, новое небесное тело. Стремится выйти наружу, занять на орбите место. А она, сотворившая это светило, растерзанная, рассеченная, распятая, выпуская его на свободу, истекает кровью.

Спящее, бледное, с открытыми глазами лицо, отделенное занавеской от раны. Две легкие прозрачные слезинки, бегущие по щекам...

Фотиев не находил себе места. Ночь грозила, пугала. Гнала его прочь от этой больницы, с этой желтой скамейки. Прорывалась наверх, туда, где лежала Елена. Стремилась к ее нерожденному чаду. А он не пускал, отгонял. Не давал просочиться гибельным темным потокам. Подставлял им себя...

Где-то в ночи, в потаенном застенке пытали и мучили. Несчастный, с разорванным ртом, висел на цепях человек. Валялись плетки и прутья. Целлофановый, залитый слюной и слезами мешок. Мучители отдыхали, курили. Отирали потные лица. И один из них поднимался, брал шипящую паяльную лампу, медленно приближался к висящему. Наводил кинжальный огонь. И тот, в цепях, раскрывая беззвучно рот, натягивая кожу на ребрах, сотрясался в оковах. Смотрел на близкое беспощадное пламя.

Фотиев думал: скольких людей он обнадежил и увлек за собой! Сколько людей поверили в возможность иначе жить, иначе работать, иначе, справедливей, разумней, устроить мир. Сослужить свою службу людям, послужить стране. И в этом служении самим укрепиться и выстоять. Не сгинуть, не сникнуть под действием больных, разрушительных сил.



Неужели они ошибутся? И не будет победы, а еще одно поражение, еще один, теперь уже последний провал?

В тоске и неверии он чувствовал, сколь слаб и немощен. Сколь близок к крушению...

Хирурги работали сильно, быстро. Напрягали мускулы, толкали и били. Как горнопроходчики, проламывались сквозь пласты, в недра горы. И гора сотрясалась, изрыгала горячий дым.

Касание ножниц. Быстрый, резкий надрез. Громкий плещущий взрыв. Из надреза — фонтан красной жижи, мутная кровь и вода. Обрызгала ткани и простыни, халаты и маски хирургов. Хлюпающий жаркий поток, и там, в обмелевшей утробе, сине-лиловый младенец. Его сморщенное, в складках темя. Материнское лоно в красных рваных лоскутьях, в парных оболочках. Среда, в которой природа взрастила плод...

Кого-то насиловали в подворотне, прямо на мерзлой земле. Двое держали за руки, затыкали варежкой рот. Двое других сдирали одежды, рвали платье, растягивали в стороны ноги. Она отбивалась, кричала, и лохматый грязный детина ударом заглушил ее крик. Набросил на голову ватник. Слюнявый и хриплый, жадно упал на нее.

Фотиеву казалось, что он сходит с ума. Мир взбесился, исполнен зла и порока. И нет той силы, которая его исцелит. Вернет ему разум и смысл. Он, Фотиев, в затмении, утратил веру, готов отступить. Подняться и уйти с этой лавки. Отдать ее, обреченную, лежащую на операционном столе, на волю слепых, беспощадных сил. И, чувствуя, как поминутно слабеет, как оставляет его воля, как меркнет рассудок, он стал в своем безрассудстве молиться. Не Земле, сорвавшейся с оси, охваченной злом и насилием. И не космосу, наполненному звездной неживой бесконечностью, в которую вморожены остатки умерших галактик. А той белизне, что слабо светилась в душе и была то ли утренним снегом за их малым оконцем, на котором лежали хрупкие стекляшки и бусы, снятые матерью с елки. То ли бабушкиной седой головой. То ли чистым и нежным облаком. Он стал молить, чтоб ее пощадили. Чтобы роды ее завершились. Чтобы жили и она, и младенец. И если нужно кому-то, пусть возьмут его, Фотиева, жизнь. Пусть возьмут и погубят «Вектор». Лишь бы она уцелела, лишь бы его услыхали и приняли от него эту жертву...

Хирурги тянули в четыре руки, проталкивали сквозь надрез сморщенную липкую голову. Голова упиралась, застревала. Сестра держала поднос, выстланный белой тканью, как противень, на который вот-вот должен лечь каравай. Кровенясь, заталкивая руку в утробу, под синий ком головы, хирург потянул. Голова выплыла наружу, выскользнула, и вслед за ней, как идущий на убыль конус, вышло тело ребенка. Сгорбленная спина. Комочки скрюченных ног. Весь в росе, отекая красной капелью, волоча за собой прозрачный мерцающий шлейф-пуповину. Как пузырящийся парашют. Приземлился на землю. Ребенка положили на противень лицом вниз. И мгновение тишины, неподвижности. И громкий хрипящий крик. Кричал, выталкивал из гортани слизь, стискивал крохотные кулачки. Крохотная статуэтка из синего, в красной глазури фарфора.

— Мальчик! — сказал хирург, опуская устало руки.

В приемном покое хлопнула дверь. К Фотиеву вышла санитарка.

— Ну что я тебе скажу... Жена родила... Мальчика тебе родила.

Фотиев сидел на скамейке и бесшумно, беззвучно рыдал.

### *Глава двадцатая*

В воскресенье за городом состоялся лыжный кросс.

Фотиев после бессонной ночи, измученный, опустошенный, явился на кросс лишь потому, что обещал Антонине. Рассеянно получил лыжи, вяло надел расплющенные, с разболтанными гнездами ботинки. Послушно нацепил тряпицу с номером. И увидел Антонину. Веселая, с блестящими глазами, розовощекая, в голубом пушистом свитере, она скользнула к нему, словно оттолкнулась от тонкого, блеснувшего под лыжей луча.

— Я вас ждала, волновалась. Думала, вдруг не придете.

Он обрадовался ей, совершил усилие, чтобы отрешиться от ночного, пережитого, перенестись сюда, в оживление, утреннюю красу, где его поджидала она, такая милая, веселая, скользнувшая по лучу.

— Догоняйте! — оглянулась Антонина, и он, разглядев ее обернувшееся счастливое, с яркими глазами лицо, испытал мгновенную радость, влечение к ней, благодарность за то, что она выхватила его из бессонной ночи, из неверия, страха, пустила по этой белой, блестящей лыжне.

Они бежали по просеке, попадая в слепящие белые вспышки, в горячие смоляные лучи, окунались в прохладные голубые тени, в студеный воздух. Он нагонял ее, не успевал удержаться, бил носками мелькавшие лыжи. Она оборачивалась. Он виновато кивал. Она извиняла его, ободряла, убегала вперед. И он снова нагонял, боясь помешать ее бегу. Топтался, семенил в лыжне, дожидаясь, пока быстрый мелкий бег не унесет ее вперед, в синюю глубину, полную туманных мерцаний, испарений, запахов снега и хвои.

Они миновали сосняк, выбежали на широкий прогал. Тонкая лучистая сталь высоковольтных опор наполняла просеку. Прозрачные мачты несли заиндевелые мохнатые провода; они прошли под легкими тресками летевшего в синеве электричества, и он вдруг почувствовал, что избавлен от ночных тревог и мучений.

«А здесь я схитрю, и ты ничего не заметишь!» — подумала Антонина, сворачивая с этой лыжни на другую, едва пробитую. Кто-то одинокий проложил этот след в лес, где сосны мешались с дубами. Черные ветвистые рога дубов уходили в небо, и в каждой вершине стояла такая синева, такая плотная, живая, дышащая сила, что сладко и чудно было смотреть.

«Вот и смотри...» — заманивала она его вглубь, и кто-то неведомый, проложивший одинокий след, увлекал их обоих.

Они вышли на поле, на чистое пустое сверкание, выпуклое, в зеркалах и мерцаниях. Не было теней, а одно напряженное излучение света. Горячее, белое, обесцветившее небо солнце, и ледяные его отражения — бегущие во все стороны ручьи света. Лыжный след утончился, оборвался. Снова слабо возник. И исчез навсегда, словно тот, кто заманил их на это поле, вспорхнул и пропал. Летел над ними, невидимый в высоких лучах.

— Какая краса! — воскликнул Фотиев. — Куда мы пришли? Не сбились?

— Давно уж! — засмеялась она. — Это я вас увела с пути истинного!

Медленно по твердому хрустящему насту шли рядом. По горячему снеговому простору. Лишь вначале поле показалось пустым и безжизненным, но потом ожило, задышало.

Цепочка лисьих следов прочертила наст. Маленькие, прожженные в снегу отпечатки. Ледяная ребристая чашечка с крохотным солнцем. Они оба нагнулись к следам, трогали пальцами лунки. Их руки слетались, касались. Она отломила от поля кусочек мерзлого снега с отпечатком лисьей стопы, держала на весу, и след отекал капелью, таял у нее в руке. Он подумал счастливо о красном пушистом звере, пробежавшем здесь на рассвете. Лиса свернулась в клубок, смотрит на них с опушки. Красный завиток на снегу.

Навстречу им из-за наста встал стебель, сухой и колючий, с пышным, похожим на чалму соцветием. Уже не соцветие, а ворох мохнатых семян. Куст чертополоха, перестоявший зиму, бураны, жгучие звездные ночи, неживой, оттаивал на солнце. Разжал свои железные скрепы, и семена на легчайшем ветру вылетали из мертвой головы, неслись над снегами. Фотиев смотрел, как прозрачное пушистое семя, сотканное из паутинных лучей, плывет по воздуху. Наивно, по-детски подумал: там, в перекрестье лучей, крохотный неразличимый портрет — два их лица, склоненные к неживому цветку.

На их пути под лыжами заголубело, засверкало синее перышко. Сойка пролетела, обронила над полем перо. Он поднял его, глянул в небо. Невидимый в воздухе птичий след. Невидимый в белом поле след их лыж. Бережно спрятал перышко. И внезапно с нежностью, с болью подумал: через много лет, бог знает где, посмотрит на синее перышко, вспомнит этот день, это белое поле, ее и себя, счастливых, бредущих в сиянии снегов.

Они перешли поле и снова оказались в лесу. Пробирались сквозь буреломы, завалы, уже без путей, зная, что заплутали, не пугаясь, а радуясь тому, что заблудились.



Вышли на большую поляну, парную, горячую. Снег был словно сливки, словно кипяченое дышащее молоко. Сочился, испарялся, превращался в туманную дымку, сквозь которую на дальнем конце поляны темнел одинокий сарай.

— Откуда сарай? — спросил он, оглядываясь, стараясь угадать близость жилья, соседство человека. Не находил, не угадывал. Слышал деревянный стук дятла, его гулкую весеннюю очередь. — Как с неба опустился сарай!

— Должно быть, была деревня. Здесь много таких заброшенных. Срубы свезли, или они сгорели. Дороги лесом поросли. А сарай остался. Тут, по лесам, много таких деревень.

— Поселиться бы в такой, — сказал он мечтательно.

— Какой же вы фантазер! — засмеялась она. — Вечные у вас фантазии! Только дай вам повод, и уже фантазии!

Он тоже смеялся.

— Я так редко вас вижу, — сказал он, перестав смеяться, глядя на нее серьезно и пристально. — Мало вас вижу, говорю редко. Но чувствую вас постоянно, обращаюсь к вам мысленно. То где-то мельком вдали вас замечу. То из автобуса на ходу. То мимо вашего дома пройду. Думаю о вас, хорошо думаю. Вспоминаю, как познакомились, как ехали по ледяной дороге в сумерках. Уж о чем говорили, забыл, а лицо ваше помню. Как оборачивались, как тихо улыбались. Кажется, вчера это было. Или целая вечность прошла.

— А я помню, о чем тогда говорили. До словечка помню, — ответила она, дорожа этой внезапной, возникшей между ними серьезностью, подвинувшей их к какой-то близкой, желанной черте, о которой знала, которую в мыслях преступала многократно. И теперь на этой горячей млечной поляне чувствовала, как близки они, как им хорошо обоим в окружении темного, теплого, бесснежного леса с перестуками весеннего дятла, в жарких испарениях снега, в могучих, непрестанных, поступавших из неба потоках света. Черный в отдалении сарай казался кораблем, плывущим в белизне и сверкании.

— Я о вас думаю тоже, — сказала она. — Чувствую ваше присутствие. Мне кажется, с тех пор, как вы приехали, здесь все изменилось. Люди изменились, стали думать иначе, иначе поступать. Вы внесли смятение, возбуждение. Одни о вас говорят хорошо, тянутся к вам, повторяют ваши мысли. Другие бранят вас, почти ненавидят. Вы им чем-то мешаете, что-то у них отнимаете. Если я слышу, что люди вас хвалят, желают вам помочь, вижу, что это ваши друзья, я их очень люблю за это. А если вижу ваших врагов, сама на них нападаю. Запрещаю им говорить о вас худо. Вы должны знать — я за вас! Должны меня считать своим другом!

— Когда мы возвращались из Троицы, я хотел вам сказать, что очень дорожу вами. Но постеснялся, не решился.

— Теперь скажите.

— Говорю... Я очень дорожу вами. Очень.

— А я вам признаюсь... Наверное, это смешно... Это звучит, как у школьницы... Но мне кажется, я вас предугадала... Нет, не это слово... Предчувствовала!.. Знала, что вы есть. Искала вас. Мне казалось, есть человек, похожий на моего отца нравом, характером, верой. И все не находила... Но вот встретила вас. Вы чем-то на него похожи. В вас та же одержимость и страсть. И одновременно чувство долга. В вас много фантазии, увлеченности и одновременно воля, разум. И еще, я знаю, вы способны на жертву. Уверена, если вашим убеждениям будет грозить беда, вашему делу будет грозить разрушение, вы пожертвуете собой, не задумываясь. Таким был отец!

— Мне хочется узнать о вашем отце. Хочу, чтобы вы мне о нем рассказали. Чтоб мы сели как-нибудь вместе и я бы вас слушал. И вы мне рассказывали бы о себе, о своей жизни, о том, какой вы были в детстве, что вас окружало. Я очень хочу вас слушать!

— Так и будет. Приглашу вас к себе, и устроим вечер рассказов. Я — о себе, а вы — о себе. Посиделки устроим.

— Хочу, чтоб вы знали — я в вас нуждаюсь! В вашей молодости, красоте, доброте. Я нуждаюсь в вас!.. Сегодня была страшная ночь. Родился ребенок в муках, в крови. Я молился, чтоб он появился на свет.

И он появился. И мне кажется, эта белизна на поляне, этот весенний жар оттого, что он появился!

— Вы добрый!.. Вы сильный!.. Вы мой милый!.. Я вам хотела писать. Письмо вам хотела писать, как школьница... Вам смешно?

— Напишите сейчас. Вот вам белый лист. — Он махнул рукой на поляну. — А вот вам перо! — Он тронул ее лыжную палку. — Пишите!

Она вытянула палку. Осторожно, переступая лыжами, начертала на снегу: «Вы — мой милый».

— Вот вам письмо!

— А я вам ответ напишу.

Он вытянул палку и, стараясь не задеть ее письмена, вывел рядом: «Вы — моя милая».

Они смотрели, как на белой поляне мерцают два их послания. И казалось, кто-то незримый, тот, кто их вывел сюда, тоже смотрит из солнца, читает их письмена.

Легкая тень затмила солнце, тончайшая налетевшая дымка. Следом набежало тихое облачко, закрыло солнце, и оно сквозь тучку оделось голубыми кругами. Испарение снега, потоки лучей, дыхание близких, просыпавшихся лесов, ледяных дремотных болот, — все источало туманы. И они все гуще, выше поднимались, затмевали небо и солнце. И вот от лесов, от сугробов, от тающих лисьих следов, от поломанных, вмороженных в лед прошлогодних цветов поднялся туман, огромный, великий, непроглядный. Они потерялись в тумане, изумленные этим таинственным, окутавшим их покровом. Брели, взявшись за руки, чувствуя, как проносятся мимо клубы тумана. И в этих клубах колыхались хоругви, мелькали копья и шлемы. И ей вспомнился какой-то рассказ, какая-то притча о Федоре-воине, о битве с ордой неведомой.

В тумане затемнело пятно. Запахло старым нагретым деревом, сухой травой, оттаявшей, источавшей ароматы землей.

Они подошли к сараю, к его темным, расплющенным от тяжести и ветхости венцам, к тесовой шелушащейся крыше. Ворота были приоткрыты, съехали с петель. И они, скинув лыжи, прислонив их к стене, вошли в сарай. Он был наполнен до верха сеном. Скошенная поляна — ромашки, колокольчики, лесные герани и пижмы, потемнев, утратив цвет, лежали в сарае.

— Так вот куда мы пришли! — сказала она, прижимаясь к высокому, под кровлю уходящему стогу. — Вот я вас куда привела!

Он медленно к ней наклонился, обнял, слыша, как слабо звенит трава и легкие стебли осыпаются сверху на плечи. Целовал, повторяя:

— Милая!.. Милая ты моя!..

Туман, великий, огромный, накрывал их своим поднебесным пологом. Ветхий короб сарая прятал их посреди поляны. И он обнимал ее, чувствуя, как чудно ему, горячо, какая сладость и боль, долгожданная желанная мука. И сквозь муку и сладость — внезапный слепящий свет, и в бесшумных блистающих молниях, пронзающих крышу сарая, кто-то светоносный, в развевающихся лучистых одеждах метнулся и прянул ввысь, оглядел их множеством сверкающих глаз.

Тишина. Отлетающий свет. Темный засохший цветок у нее на лице.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### *Глава двадцать первая*

Хорошо работалось Фотиеву в жарко натопленном вагончике. Синее перышко сойки лежало на рабочем столе. В оконце вагончика виднелась блестящая лужа. В нее, разрубая, выдавливая солнце, съезжали «БелАЗы», гремящие «камацу», шлепающие «магирусы». Расшвыривали лужу до черного липкого бетона. Но вода опять натекала, собирала в луже яркое солнце.

Стукнула дверь, появился Язвин, бодрый, улыбающийся, щеголеватый, в новенькой пластмассовой каске, с неизменным черно-серебряным перстнем.



— Доброе утро, Николай Савельевич, — приветствовал он Фотиева, наполняя вагончик запахом дорогого одеколона, расстегивая телогрейку, под которой белел ворот рубахи, нарядно пестрел галстук. — Выкроил минутку и решил забежать. Застать вас в вашей экологической нише.

— И чудесно, Леонид Петрович, — приглашал его Фотиев, хватая чайник. — Хорошо, что зашли. Сейчас чаек вскипятим!

— Радушный вы человек, симпатичный, располагаете к себе! Я и сам таков! — признался Язвин. — Что вы здесь чертите? Никак для Накипелова стараетесь? Повезло Накипелову, сблизился с вами. Особые отношения, сердечные! Но ведь есть и другие люди, Николай Савельевич, кто хотел бы иметь вас в друзьях. Поближе познакомиться с «Вектором», быть может, заняться его внедрением. Надо расширять отношения, расширять круг друзей. Это и политически верно, и для души приятно!

— Я вам очень рад, Леонид Петрович! Душе моей очень приятно! — Он усаживал гостя, хлопотал, радовался его улыбке.

— Все-таки знаете, Николай Савельевич, здесь, в глухомани, очень тесен круг общения. Мало людей, с кем бы можно было дружить. Много дельных работников, славных товарищей, а вот близких по интеллекту, по духу очень немного. Я несколько раз вас слышал, наблюдал за вами. Ваш «Вектор» мне импонирует. Я бы хотел с вами сблизиться, сойтись, как говорится, домами.

— Я тоже вас слышал. Единомышленников всегда не хватает. Домами дружить хорошо. Собственно, вот он, мой дом. В общежитии у меня угол, а это дом. Рад вас приветствовать в моем доме!

— Следующая встреча у меня. Жена будет вам рада. Я, вы знаете, в отличие от многих обставил мой дом на широкую ногу. Иные живут, как на насесте. Не квартиры, а времянки. Думают, кончится стройка, получат квартиры где-нибудь в Москве, в Ленинграде и там заживут, там и мебель поставят, зеркала, картины развесят. Так вся жизнь и проходит. А я — по-другому. Приходите, покажу вам мою обстановку, мою коллекцию монет. Побеседуем, вина хорошего выпьем, посмотрим «видео». У меня много фильмов по искусству. Я, знаете, летом с супругой отправляюсь в круиз по Средиземному морю, и мы сейчас смотрим фильмы о Греции, Италии, Франции. Приходите, посмотрим вместе!

— Очень интересно! Приду. Посмотрим на афинский акрополь.

— Вот видите, увлек вас. Найдутся общие интересы. Поговорим о Греции. Кто-то ведь строит акрополи, а мы с вами только энергоблоки.

Он принял из рук Фотиева стакан горячего чая. С удовольствием пил. Мерцал перстнем. Улыбался глазами. И Фотиев радовался: появился еще один друг, еще один единомышленник.

— Вы знаете новость? — отставил стакан Язвин. — Замминистра Авдеев Афанасий Степанович умер. Из Москвы был звонок. Вы помните, к нам на стройку приезжал Авдеев?

— Его не помню. Я приехал в Броды в тот день, когда он уехал. Трясся в автобусе, а навстречу «Чайка». Откуда, думаю, «Чайка»? А потом уж узнал — на стройку приезжал замминистра. Но я его здесь не застал.

— Да, не застали. Но все равно вам интересно узнать. Колоритный мужик был Авдеев, грубый, резкий, не терпел противоречий. Сказал — сделай! Накричал — исполняй! Типичный, как говорится, деятель застойного периода. Лауреат, Герой. Дело знал! Уважали его. Много строек из грязи поднял. Все реакторы через его руки прошли. И чернобыльский тоже. Не простили ему Чернобыля. Не сразу уволили, а подержали, потомили да и проводили на пенсию. И хорошо проводили, не пинком в спину. Министр на коллегии адрес читал. К ордену представили. Дорогой подарок сделали. Афанасий Степанович благодарил, шутил, что теперь, дескать, займется наконец любимым делом — из цветной бумаги журавликов вырезать, наподобие японских. Вернулся домой, взял, говорят, ножницы, одного журавлика вырезал да и умер. Сердце не выдержало. Столько энергоблоков пускал, выдерживало, а пенсионного журавлика не выдержало. Вот оно, наше сердце!

Фотиев слушал, вспоминал промелькнувшую «Чайку», промерзший автобус, лицо Антонины, дурачка в треухе, «бича» в красном шарфе. Свое первое появление в Бродах, когда все уже начинало завязываться,

складываться в первый рисунок, и листочки «Вектора» лежали в старом портфеле, как горстка драгоценных семян, спасенных из пожара. Еще не в земле, еще без ростков и кореньев,— робкая возможность будущих хлебов, урожаев. Теперь эта весть о кончине Авдеева, незнакомого, постороннего ему человека, встревожила его. Что-то разрушила в том первом морозном дне, в его изначальном рисунке. Легчайшая цепь разрушений протянулась в это светлое утро из того морозного дня.

— Да, Чернобыль для многих — эпоха! — продолжал рассуждать Язвин.— Будут говорить: «Эпоха Чернобыля». Вы ведь, кажется, тоже там были? И на вас он дохнул, Чернобыль? Я думаю там, в саркофаге, целая эпоха укрыта, весь прежний период замурован. Всех деятелей застойного времени надо не в Кремлевскую стену, не на Новодевичье кладбище, а туда, в бетонный саркофаг. И табличку с фамилиями. Государственная могила для всего руководства с указанием должностей и званий! Пионеров водить на экскурсии... Но к Авдееву это не относится, нет! Авдеев был дельный мужик!

Язвин говорил интересно, чуть насмешливо, чуть отстраненно. Но в этой отстраненности Фотиеву вдруг почудилась неясная цель. Дуга, по которой двигалась мысль Язвина, предполагала какой-то центр, какую-то малую точку, известную лишь ему. Вокруг нее, этой точки, двигалась его мысль. И ее, эту точку, пытался угадать Фотиев. Не мог. Начинал сильнее тревожиться.

— Казалось бы, смерть Афанасия Степановича — далекая от нас смерть,— продолжал Язвин, поглядывая в вороненый перстень.— Но она, эта смерть, порождает ряд замещений, ряд вакансий. И этот ряд, насколько мне стало известно, тянется прямо сюда. Дронова, на это есть указание, пригласят в министерство.— Черный зайчик от перстня скользнул по глазам Фотиева.— Конечно, Дронов может не согласиться. Начальник строительства — это личность, это позиция. В каком-то смысле вершина карьеры! Дальше, в главке или на посту замминистра, происходит распыление личности, выпадение из фокуса. Крупный клерк — и не больше. А начальник стройки — персона! И все-таки, я полагаю, Дронов уйдет в министерство.

— Почему? — спросил Фотиев. И вопрос его касался не Дронова. Вопрос касался другого: почему говорит с ним Язвин? Почему он к нему пришел? Почему его появление породило тревогу?

— А я вам скажу почему. Как я понимаю, конечно. Дронов устал. Устал он, наш Дронов. Просто усталость души! Живешь, живешь, одна стройка, другая, третья. Одну из прорыва, другую, третью! И вот усталость! Понимаешь, что четвертую уже не потянешь. Будешь делать вид, что работаешь, а на самом деле отлынивать. И все посыплется к черту! Вот такое у него состояние. Эту стройку он вытянул, первый блок худо-бедно пустил и второй худо-бедно пустит. А на третьем может сломаться. К тому же новые времена начинаются. Новая экономика — палка о двух концах. Хозрасчет, неизвестно, с чем его кушать. Демократия, которая из-под палки. Все это до конца неясно, сулит большие хлопоты, а может, и неприятности. Станут еще выбирать начальника стройки, а вдруг да и не выберут Дронова! Словом, сейчас ему самое время уйти в министерство, с почетом и славой. А хлопоты оставить преемнику. Сейчас у него жена из Москвы гостит, тоже, небось, уговаривает. Дескать, всю жизнь порознь прожили, пора и вместе на старости лет побыть в московской квартире. Сын к нему приехал, вертолетчик, из Афганистана. В Чернобыле летал над реактором. Тоже сейчас в Москве, в академии. Вот я и думаю, что Дронов согласится.

Он размышлял, вовлекая Фотиева в свои размышления, доверительно, дружелюбно. Друг, заглянувший к другу. И Фотиев старался понять: откуда тревога? Что сулит ему черный перстень?

— Не возникает вопроса, кто станет преемником Дронова. Конечно, Горностаев. А кто же другой? Лев Дмитриевич примет стройку. Отличный работник, тянет весь воз, правая рука Дронова. В Москве огромные связи. Они непременно сработают. Да и время сейчас такое — выдвигать молодых. Вы согласны, Николай Савельевич?

— Согласен,— кивнул рассеянно Фотиев, все еще не чувствуя точки, к которой шел разговор, к которой, сжимая дугу, двигалась мысль Язвина.— Конечно, он достойный преемник!

— И вот теперь, Николай Савельевич, маленькая для вас информация. Не вся, ибо не имею права. А как бы утечка, как бы случайно. На правах друга. На правах болтливого друга. Ибо действительно хотел бы сблизиться с вами, дружить домами, и, если позволит вам время, приходите сегодня же — посмотрим фильм об акрополе.

— Какая утечка? — торопил его Фотиев.— О какой информации речь?

— Между нами. Хотел вам сказать... Надеюсь на ваш такт. Мое имя не будет названо. Я должен быть совершенно уверен...

— Да будьте уверены, конечно, я буду молчать!

— Так вот, я недавно узнал: Горностаев хочет закрыть ваш «Вектор», хочет погасить экраны!

— Почему? — воскликнул Фотиев, понимая, что центр обнаружен. Концентрические окружности мишени сжались в черное яблочко, и оно, это яблочко,— его «Вектор», в снайперском перекрестье прицела.— Почему? Ведь сам Горностаев пригласил меня с «Вектором»! Поддерживал его, защищал! «Вектор» нужен строительству, нужен начальнику стройки, нужен Горностаеву! Вы что-то напутали, Леонид Петрович! Объясните, объясните мотивы!

Тот смотрел на него внимательно, сострадая, смотрел на своего нового друга, которого любил и жалел. Которому недоставало при всем его уме и таланте — недоставало проницательности. Терпеливо ему пояснял:

— Мотивов здесь несколько, Николай Савельевич. Точнее, два. Первый мотив. Ваш «Вектор», несомненно, способствует ускорению и развитию дела. И когда он спустится вниз, из штаба в бригады, он, я уверен, покажет свою настоящую силу. Но одновременно с развитием его экраны высвечивают некомпетентность начальства. Ошибки его управления. Престиж начальника падает. Горностаев наследует стройку в момент, когда руководство не назначают, а выбирают. Его репутация благодаря вашему «Вектору» начинает падать. И он хочет устранить причину падения.

— Но ведь надо изменить подход к управлению! Научиться управлять по-другому! Не травмировать стройку, не бить ей под дых, а лечить, патронировать! — Фотиев пытался пояснить свою мысль.— Надо подняться над личной гордыней, и люди поймут и поверят!

— Но есть второй мотив, Николай Савельевич, не менее важный, чем первый! Вы... как бы это поделикатней выразить... вы, видно, сами того не зная... Право, это очень деликатная тема! Вы, Николай Савельевич, отбили у Горностаева женщину! Отняли у него любовницу, причем у всех на глазах! А это невозможно простить!

— Как? — изумился Фотиев еще не тому, что услышал, а самому слову «отбили», его пошлому звучанию и смыслу.— Как вы сказали?

— Может быть, действительно это слишком деликатная тема. Но ведь вы знали, что Антонина Ивановна — любовница Горностаева. Почти жена. Вся стройка это знала и видела. А теперь узнала другое. Стройка — это большая деревня. Ничего не утаишь. Кто-то едет в Троицу ночью, а их видят. Кто-то на лыжах отбивается от коллектива и исчезает в лесах — их тоже видят. Стройка — большая деревня! Тысячи глаз, сто языков. Горностаеву, конечно, сказали. Он взбешен, возмущен. Вы его враг. Он хочет вам досадить.

— Быть не может!.. Антонина Ивановна... При чем здесь Горностаев? Вздор, клевета! Зачем вы мне об этом сказали? Я не желаю. «Вектор» — это общее дело.

— Мне нужно было вам сообщить,— спокойно, жестко прервал его Язвин. И этот жесткий, холодный тон заставил очнуться Фотиева. Заставил его прозреть. Перед ним находился не друг. Перед ним находился посланник. Его послали враги предупредить о начале войны. Еще не самой войны, а близкой ее угрозы. Перед ним сидел дипломат, умный, изящный и опытный. Нанес ему первый удар, смутил, чтоб легче достигнуть цели. Так в чем же была его цель?

— Я слышал,— продолжал Язвин,— быть может, не совсем достоверно... Но отчасти можно догадываться. Горностаев намерен обратиться к участникам штаба, собрать их мнение о ненужности, вредности «Векто-

ра». Быть может, добиться коллективного письма начальнику стройки. По этой коллективной просьбе Дронов закроет «Вектор», погасит экраны. Против общественного мнения не пойдешь, в этом дух времени. Вы можете возразить, что участники штаба были за «Вектор». Но у Горностаева реальная власть, реальное влияние на каждого. Каждый в чем-то от него зависит и не станет особенно спорить. Такова горькая истина!

— А Накипелов? Он не подпишет письмо! — вырвалось у Фотиева.

— Может быть, он не подпишет. Один из всех. Тогда его просто сомнут.

— А вы?

— Хочу быть до конца откровенным... Конечно же, я подпишу. «Вектор» мне импонирует. Я вижу его достоинства, верю в него. Но с Горностаевым бессмысленно спорить. Он без пяти минут начальник строительства. Он все равно победит. А мне с ним работать. Зачем же мне в его лице наживать врага? Я откровенен с вами, Николай Савельевич! До конца откровенен!

— Спасибо. — Фотиев старался владеть собой. Перед ним сидел дипломат, присланный из вражьего стана. И нужно было понять, на что рассчитывал враг. Раскрыть до конца его замысел. — Что же мне делать? — Он растирал лоб, заслоняя рукой глаза, чтобы Язвин не увидел волю к борьбе, его проснувшуюся готовность бороться. — Что же мне делать?

— Могу дать совет. Насколько понимаю проблему. Хотя до конца ее мне понять невозможно. Это ваша проблема!

— Что же вы мне посоветуете?

— Одна возможность — уехать. Наплевать на все и уехать! Не связываться с Горностаевым, он все равно сильнее. «Вектор» ваш — золото! Его и на другой стройке внедрят, только покажите! Мало ли строек! И вам будет спокойней, здоровье свое сбережете, не изведете себя в безнадежной борьбе. Это одна возможность.

— А другая?

— Другая... — помедлил он. — Пожалуй, скажу... Только правильно меня поймите. Я никакой не посредник, а сторонний наблюдатель, поверьте. И я могу ошибаться. Но все-таки вам скажу. Вторая возможность такая. Вернуть Горностаеву женщину, отказаться от нее. Ну что вы в ней, право, нашли? Есть много других симпатичных. Хотите я вас познакомлю? В следующее воскресенье мы едем в лесную сторожку. Приглашаю с собой. Будут симпатичные женщины... Но это не все, конечно... Отказавшись от Антонины Ивановны, войдите в пай с Горностаевым. Не по женской части, конечно, здесь вы откажитесь полностью. А по части «Вектора». Сделайте его соавтором метода, участником внедрения. Да и не только его. Хотите — меня! Я вам предоставлю мой трест, вместе станем внедрять. Горностаев со своими связями обеспечит нам публикацию, патент. И если будет успех, поверьте, будет Госпремия, будут звезды, награды. Все это будет, поверьте!

— Еще у вас есть советы? — спросил Фотиев.

— Пожалуй, что нет.

— Тогда уходите.

— Обиделись?

— Уйдите, прошу вас.

— Ну вот, видите, я вас обидел. Пришел искать дружбу, а ненароком обидел.

— Если вы сейчас не уйдете, я выкину вас! — Фотиев медленно, грозно поднялся, чувствуя, как нарастают в нем гнев, слепое, не поддающееся обузданию бешенство. И Язвин разглядел в его глазах это бешенство. Поспешно вскочил и вышел. А Фотиев, тяжело дыша, чувствовал, как разбухает сердце. Страшным усилием усмирял свой гнев. Снимал с глаз красную слепящую поволоку.

Синее перышко сойки вспорхнуло от сквозняка. Фотиев едва успел его удержать. На пороге стоял Менько, бледный, растерянный, водил по углам глазами.

— Вы один? Никого? — Менько, затворяя дверь, выглянул пугливо наружу.

— Никого. Проходите. — Фотиев встречал нового гостя, понимая, что его появление связано с предыдущим.



— Я вас избегал, сторонился. После утверждения «Вектора», когда я не решился высказаться, устранился по слабости духа. Вы должны меня презирать. Я и достоин презрения. Но я не мог не прийти!

— Я рад, что пришли. Я и сам хотел к вам идти. Вы так понимаете метод, так глубоко его чувствуете. Теперь, когда мы сделали первый шаг, нужен второй, решительный. Ваши оценки, суждения, они так нужны!

— Я не мог не прийти! Я рисковал. Едва оторвался от слежки! Перехитрил, улучил минутку и пришел! Но за мной следят, поминутно!

— Кто следит? — Фотиев всматривался в выпуклые, бегающие глаза Менько, в которых сквозили безумие и утонченная, связанная с безумием прозорливость. — Кто за вами следит?

— Постоянно, поминутно, повсюду! Мой телефон прослушивается! Конверты вскрываются! Я проверял, поверьте! Сам себе послал письмо с секретом, с тайным знаком, с приклеенным волоском. Волосок был разорван, письмо вскрывали!

— Да кто вскрывал? И зачем?

— И за вами следят, поверьте! Не удивлюсь, если в стенах подслушивающие устройства! Но я решил к вам прийти. Решил рассказать, хотя для меня это риск, огромный!

— О чем рассказать?.. Вы садитесь... Вы взволнованы, успокойтесь, пожалуйста! — Фотиев усаживал его, заражаясь его нервной тревогой, его безумием, страхом. Оглядывал стены вагончика, пытаясь углядеть маленькое металлическое ухо вмонтированного микрофона.

— Я вас предупреждал, что они ополчатся. Рано или поздно, но ополчатся! Набросятся на вас и растопчут. И вот это время настало! Они собираются вас растоптать! Жестоко и беспощадно расправиться! Меня приглашал Горностаев и требовал, чтобы я подписал бумагу. Донос! На вас, на «Вектор»! И я буду вынужден подписать! Но пришел вам сказать об этом! Примите меры! Если можете, примите меры!

— Какие меры?

— Связи! Только связи в высших инстанциях! В Москве, в партийных кругах! В госбезопасности! Приведите в действие связи! Немедленно! Иначе опоздаете!

— Нет у меня связей, о которых вы говорите! — Фотиеву казалось, что день весенний начинает меркнуть, на солнце ложится тень и опасность уже на пороге. — Нет никого в Москве. Только здесь. Накипелов, несколько прорабов, рабочие. И вы, я надеюсь!

— На меня не надейтесь! Я подпишу донос! Презирайте меня! Можете плюнуть в лицо! Но я подпишу!

— Почему? Что вас может заставить?

— Страх! Я вам говорил. Во мне живет страх, реликтовый! Боюсь, что будут пытать. Смерти не боюсь, нет! Ни расстрела, ни петли! Боюсь застенка! Огня боюсь, раскаленной кочерги! Иголки под ногти! Как ребра ломают! Этого я не выдержу!

— Да очнитесь! — Фотиев пытался сбросить наваждение, сбросить безумие. — Кто вас будет пытать? Где?

— Все возможно. Возможно, что все повторится! Я чувствую приближение! Жестокость, много жестокости! Тупик, катастрофа! Снова начнется бойня! Будут пытать и расстреливать!

— Опомнитесь! — Фотиев схватил его за плечи, сильно сжимал и встряхивал, желая сотрясти его разрушенный, смещенный дух, вернуть его на место. — Откуда в вас это? Кто вам навеял?

— Отец! Его расстреляли. Его долго пытали и мучили. Били, выгоняли на снег. Кидали в яму и поливали нечистотами. Тушили о лицо папиросы. Он был инженер, турбинист. Разрабатывал турбины для Днепрогэса. Его уничтожили, страшно! Его письмо уцелело, одно, чудом. Успел переправить из лагеря. Я помню его наизусть! «Вера, приди на мою могилу! Вера, приди на могилу!..» Его могила здесь, подо мной! Я стою на его могиле!

— О чем вы говорите? — Фотиев смотрел вниз, под ноги, куда указывал Менько. — Почему здесь могила?

— Здесь повсюду могилы, повсюду кости! Мы идем по костям, спим на костях, строим на костях! Здесь повсюду, до горизонта, сплошные кости! Здесь могила отца!

Фотиев поил его чаем, вливал ему чай в стучащие зубы. Видел, как тело Менько сотрясается мелкими судорогами.

— Успокойтесь, прошу вас! Ну прошу вас, успокойтесь, пожалуйста.

Менько пил, захлебывался, проливал чай, долго, мучительно кашлял. Продолжал говорить:

— Здесь по лесам, в болотах, вы не знаете... Здесь в торфяниках был проект. Сталин решил. Построить станцию на торфе. Источник энергии. Для развития атомной программы... Дешевый торф. Согнали тысячи, в топи, в хляби, несчастные люди, строили ТЭЦ. И мой отец... Умирали без счету. Лежневки, узкоколейки, бетонки. Здание станции... Не выдержал грунт, все провалилось... Все ушло в топь, в преисподнюю, вместе с костями. Здесь, по лесам... Я езжу... Ищу могилу отца. Тысячи безымянных могил, лесом поросли. Как в джунглях. Сталинская цивилизация, заросшая лесом, погруженная в болота. Страшный град Китеж...

Фотиев с ужасом слушал. Вспоминал окрестные, в снегах и болотах леса, вечерние озаренные дали, застывшие туманные топи. Там, в этих топях, в чахлых осинниках таились остатки сгнивших бараков, покосившихся вышек, оград из колючей проволоки. Заросшие просеки, остатки шпал, ржавые, утонувшие паровозы, замшелые бетонные стены. В этих торфяниках, в перегное, в истлевших корнях лежали безымянные кости, гуляли светляками души умерших, плутали над болотами, в чахлых, кривых осинах.

— Этого больше не будет! — шептал Фотиев. — Такое больше на Руси невозможно. Мой «Вектор» направлен в другую сторону. Ни кровинки, ни слезинки. Исцеление ран. Мы все уже поняли это. Наша работа, наше творчество, наша жертвенность не будут связаны с пролитием крови. Мы будем воскрешать, исцелять!

— Вы не знаете Горностаева! — так же шепотом отвечал Менько. — Он способен на все. У него энергия, ум, властолюбие. Он тот, кто владеет властью. Знает тайны власти. Знает мистику власти. Чтоб ее удержать у себя, он способен на все. Берегитесь! Вас могут ошельмовать, завести на вас уголовное дело, обвинить в измене государству, наехать на вас самосвалом, уронить в пролет. С ним невозможно бороться! Я в его власти. Я его раб. Я не могу убежать! Поэтому я подпишу донос. Подпишу, а потом повешусь! Как Иуда.

Он поднялся, словно забывая о Фотиеве. Шатаясь, пошел из вагончика. И синее перышко сойки снова вспорхнуло от ветра.

Это был визит сумасшедшего. Только что перед ним побывал человек, потерявший рассудок. И следовало его утешать, успокаивать, уводить его мысль подальше от страхов. Но вокруг по горизонту расстилались озаренные леса и болота, и страхи смотрели оттуда, из перламутровых перелесков.

Синее перышко сойки лежало на рабочем столе. Он сидел над экраном, думая напряженно, воспаленно. Стремился вернуть своим мыслям недавнюю ясность и твердость. Не мог, был близок к панике. Он понимал: над «Вектором» нависла опасность, смертельная, близкая. Предстояла борьба с неравными силами. Об этой неизбежной борьбе предупреждал его прежний опыт, бессчетные поражения и срывы. Об этой борьбе предупреждали его «великаны», московские друзья и соратники. Она, борьба, была заложена в «Вектор», в его самораскрытие, питала собою двигатель. Он же, «Вектор», включавший идею борьбы, нес в себе гарантию победы, обладал способностью защищаться, отторгать неприятеля. Но для этого ему нужно было окрепнуть, пройти свою робкую, беззащитную стадию. А он не прошел, не окреп. Еще нуждался во внешней защите. Беда пришла слишком рано. Грозила крушением. И Фотиев метался, искал для себя опоры. Искал защиты для «Вектора».

Лужа за окном снова разбрызгала жидкое солнце. Мелькнул «уазик», свернул к вагончику, встал перед дверью. Послышались шаги по ступенькам, и в вагончик вошел секретарь райкома Костров, в телогрейке, в резиновых сапогах, в пластмассовой каске, под которой скуластое лицо выглядело болезненным, бледным.



— Извините, — сказал он, пожимая Фотиеву руку. — Никак не могу собраться побеседовать с вами. Минуты свободной нет. Хотел было сегодня вас пригласить, но надо ехать по району. Скоро посевная, нужно проверить в хозяйствах готовность техники, семенного фонда. Некому сеять, в селах людей не осталось. Но очень хочу побеседовать с вами о «Векторе».

«Вот кто поможет! — подумал с надеждой Фотиев. — Вот кто защитник! К партии — за поддержкой!»

— Для меня большая удача, что вы зашли, Владимир Гаврилович, — начал он жарко, полагаясь на свое красноречие. — Я сам хотел к вам идти. Все откладывал, не решался тревожить. Хотел положиться на естественный ход событий. Но теперь нуждаюсь в поддержке. Как пишут газеты: «Перестройка нуждается в поддержке». Наступил критический, переломный момент. Да или нет? Чаша весов колеблется. И на каждую чашу падает свой груз. Куда мы пойдем? В болтовню, в демагогию, в прежнюю рутину и косность? Или в реальное дело, в новаторство, в новые идеи и методы? Простите, что я вам это говорю, но мне кажется, партия должна быть решительней. Решительней вторгаться в процессы. Если вы хотите, я готов прочитать вам цикл лекций по «Вектору». О новых идеях в управлении, о концептуальном подходе. Назначьте время. После работы. Ночью. Рано утром. Я буду приходить и читать. Вы должны глубоко понять «Вектор», должны его защитить.

— Некому сеять хлеб, — задумчиво повторил Костров, морщась то ли от этой больной мысли, то ли от слов Фотиева, неумеренно страстных и громких. Он зажмурился, как от яркого, нестерпимого света, обжигающего больные глаза. — Я слышу вас не впервые. Меня поражают ваша страсть, ваша вера! Вы прирожденный агитатор, агитируете за идею. Вижу, что бескорыстно. Признаться, еще не понимаю идею, до конца не понимаю ее. Но вы убеждаете, что она важна и значительна. Может быть, действительно это большая идея! Вы целостный человек, и это внушает уважение. Но одновременно почему-то раздражает, вызывает недоверие! Как можно быть абсолютно целостным сейчас, когда все двоится, все расслаивается, все ставится под сомнение? Любая проблема, любая тема сразу обнаруживает свою изнанку, свою противоположность, свой второй отрицательный смысл! Вот, к примеру, мы строим замечательную станцию и одновременно губим озеро, окрестные села, окрестную природу. Как можно этого не видеть и гнать вперед стройку? Вербуем на строительство последнюю молодежь из деревень, загоняем ее в общежития и бараки, и в этих бараках пьянство, разврат, бескультурье. Молодежь, цвет нации, наше будущее, деградирует, погибает. Казалось бы, начинаем новую эру в политике, пытаемся умножить, собрать, увеличить богатство и опыт — и уничтожаем эру предшествующую, стираем ее с земли, и опять наше развитие оказывается на пустыре, на развалинах. Откуда в вас эти целеустремленность и оптимизм? Разве вы не знаете истории?.. На партийную работу меня взяли из школы. Но я по-прежнему историк. Посмотрите на нашу историю за последние семьдесят лет! Одни обрубки, одни угольки, одни умолчания! Оказывается, все, что ни делали, все не так, все с ошибкой, все с вывихом. Из-под палки, из-под пулемета, из-под окрика. Вы знакомы с моим отцом, с его «Книгой утрат»? Он читал вам эти страшные записи? По всем уездам, по всем углам на печах сидят сейчас старики и пишут свои «книги утрат». Революция с гибелью духовной элиты, коллективизация с истреблением трудолюбивейших земледельцев, каналы и станции, построенные мучениками, войны с чудовищными потерями, дело генетиков и врачей, отбросившее нас на задворки науки. Вечные избиения — крестьян, военных, поэтов. Откуда в вас эта целостность духа? У меня ее нет. У меня все двоится, расслаивается. Я способствую строительству станции, тороплю ее возведение и тем самым гублю мое родное гнездо, где похоронена мать, где несчастный больной отец грозится уйти под воду. Я говорю на районном активе: «Торопитесь с пуском второго блока!», а сам думаю: не готовим ли для района второй Чернобыль, для себя, для наших детей? Я ратую за перестройку и тайно думаю, не превратится ли она еще в одну историческую неудачу, еще в один тупик, откуда уже не будет выхода. Я ни в чем до конца не уверен! Во мне, в партийном работнике, комплекс вины перед народом, перед

отцом, перед деревенскими соседями. Я все время думаю, — мне не место на этом посту. Мне нужно обратно, в школу, в самую глухую и бедную. Учить детей фольклору, народным песням, краеведению, отрабатывать свою вину и за эту станцию, и за Беломорканал, и за штрафные батальоны, и за кукурузу в тундре. Там мое место, рядом с отцом. А вы говорите — целостность... «Вектор»! Вы не неуч, не конъюнктурщик, не фанатик. Вы — верящий человек, и это редкость, почти исключение! Я хочу знать основу вашей незыблемой веры.

Фотиев был поражен. Костров, секретарь райкома, кадровый партийный работник, чьей воли и грозного слова боялись Горностаев и Дронов, работник, соответствующий расхожему образу районного руководителя, говоривший и действовавший от имени партии, теперь говорил от имени своей боли и своей неуверенности. Не был опорой Фотиеву, не был защитой «Вектору». Сам нуждался в опоре и просил о защите.

Мучаясь, заражаясь мукой Кострова, он понимал, что не имеет иного средства, кроме собственной веры. Нет у него высоких покровителей, проверенных, безотказных связей. Нет власти, нет имени, нет репутации в научных кругах. Всякую новую мысль каждый раз приходится защищать изначально, от истоков ее зарождения, проходя весь путь целиком. И это требует огромных, немыслимых трат. Но нет у него иного выхода. Он должен убеждать, проповедовать, превращать из врагов в друзей всех и каждого. Только так он мог по песчинкам, по крохам создать для «Вектора» почву, живую плодоносную землю, где тот прорастет, процветет. Окрепнет настолько, что не будет нуждаться в защите.

— Я к вам на минутку, — сказал Костров, и было видно, что он торопится, не хочет продолжать разговор. — Мне надо в Троицу, к отцу. Что-то с ним худо. До свидания!

Пожал Фотиеву руку, пошел к дверям. Глядя, как отъезжает «уазик», как синеет на газетном листе перышко сойки, Фотиев думал с надеждой: секретарь одолеет свои сомнения, обретет столь нужную волю и целостность, будет ему, Фотиеву, опорой.

«Костров мне будет союзником!.. Партия будет союзником!..»

## *Глава двадцать вторая*

Начальник строительства Дронов находился под впечатлением утреннего звонка из Москвы. Звонил министр. Не на работу, не в управление, а прямо домой, в коттедж. Министр, знакомый Дронову по прежним стройкам, приглашал своего подчиненного в Москву. Не с отчетом, не на очередное совещание, а приватно, почти без цели, почти по-дружески. Посидеть, обменяться идеями, поговорить по душам, вспомнить доброе старое время. Нурек, Смоленск, Курск. «Когда еще, слава богу, не взрывались реакторы и нас с тобой во врагах народа не числили!» Словом, восстановить прежние душевные связи, прерванные субординацией, редкими поневоле встречами. Министр посетовал, как трудно ему приходится в последнее время без деятельных, верных помощников. «Некому, знаешь, душу раскрыть!» Повздыхал по поводу безвременной смерти Авдеева. «Старики отдыхать не умеют, да и мы, думаю, с тобой не научимся». В конце разговора заметил, что рано или поздно хороший начальник стройки должен «менять энергетический уровень», а на стройке всегда найдутся перспективные молодые работники.

Об этом необычном звонке, таившем в себе прозрачный намек, думал Дронов, проезжая по городу, осматривая строящиеся объекты. Вылезал из машины, проваливался в жидкий снег у двенадцатиэтажного дома, цеплял пальто за свежую тесину на строительстве детского сада, отворачивал глаза от слепящей сварки на возведении спортивного комплекса.

О нем же, об этом звонке — о неформальном, приватном приглашении перебраться в Москву и занять высокий пост в министерстве — думал Дронов теперь, сидя в «уазике» рядом с шофером, слушая работу рации — переговоры диспетчера с бетонным заводом, с автохозяйством, с площадкой третьего и четвертого блоков, уже запускавшей в мерзлый грунт свои бетонные корневища.



Стройка оттаивала. Блестела, искрилась, дымила. Брызгала лужами. Оседала закопченным, пропитанным сыростью снегом. Выдавливала наружу железные конструкции, трубы, строительный мусор. Проступала черными углами, громадная, угрюмая, могучая, рядом с белым, блестящим овалом ледяного озера. «Две силы, две красоты», — думал Дронов, проезжая вдоль берега.

У котлована четвертого блока образовался затор. Народ толпился у края грязно-коричневого, прорезанного бульдозерами откоса, где работал ковшовый экскаватор, и японский «камацу», вспучив гидравлические мышцы, нацелил отточенный, отражавший солнце нож.

— Что стряслось? — Дронов встревожился. Мелькнула мысль об аварии, о несчастном случае. Выскочил из машины, пробрался сквозь толпу. — Что происходит?

Люди узнавали начальство, расступались, пропускали вперед.

— Да вон «камацу» самолет из земли поддел. Хвост подцепил и крыло дюралевое! Я гляжу: что-то рвет! Думал, труба, теплотрасса. Гляжу — самолет! Я ему в кабину машу: «Стой, говорю, аккуратней!» Подхожу — и впрямь самолет! — пояснял Дронову, должно быть, не первому, коренастый монтажник в телогрейке, радуясь всеобщему к себе вниманию. — Да здесь, говорю, только копни хорошенько, и танк выкопаешь, и корабль!

Дронов видел слоистый срез котлована. Черный, копотный поверхностный снег. Белый, как жир, волнистый спрессованный лед. Горчично-рыжую промороженную землю. Сочный, липкий, как вар, парной, незамерзший торф. И на этом срезе между мягким торфом и рыжим замороженным грунтом повис самолет. Словно ископаемое существо, замурованное в отложения. Бульдозер, выгрызая котлован, тронул самолет своим бивнем, нарушил обшивку, отломил фюзеляж от торфа. Дронов вглядывался в крылатую, погребенную в землю машину. Крыло с отпавшим мотором. Драные лоскутья хвоста, на котором сквозь тлен и наросты торфа краснела звезда. И вид самолета, след его траектории из пустого слепящего неба сквозь пласты земли, остановившей его, — все это вызвало у Дронова острое, больное волнение. Предчувствие близкой, постоянной, вечно живущей в нем мысли. Он смотрел на пикирующий бомбардировщик, чувствуя усилие этой больной, пугающей и желанной мысли.

В толпе, кругом говорили:

— Тут, если копать в болотах, чего не найдешь! Недаром Броды зовутся. Знаешь броды — прошел, а не знаешь, так и ухнул в болото, поминай как звали!

— Вот они, без вести пропавшие! Так и лежат полками, а то и дивизиями в болотах. Вот она, весть-то, пришла! Через сорок с лишним годков докатилась!

— Под второй блок рыли, много костей нашли. Экскаватор ковшом черпанул, а там кости, людские, конские! Горы костей! Кольчуги ржавые, бляшки на сбруях. Одна золотая, узорная. Не знаю, экскаваторщик снес, нет в музей или себе на зубы пустил?

— Тут, говорят, сеча была старинная. Ну а самолет, конечно, с нашей войны.

— Его бы, самолет-то, надо аккуратней достать. Кабину лопатой разрыть. Может, летчик остался.

Мысль, которой страшился Дронов, которую звал и предчувствовал, была уже в нем. Мысль об отце. Здесь в войну, в этих снегах и болотах, погиб отец. Летчик-штурмовик улетел на удар да так и не вернулся с задания. Все эти годы, строя станцию, он думал: где-то здесь, в низеньком небе, был последний полет отца, последний огненный след. Теперь он почти не сомневался: это машина отца, его штурмовик. Встреча, казавшаяся невозможной, но с детства желанной, эта встреча вдруг состоялась.

— Ты тихонько вокруг пропаши, а после толкни. Он и стронется! — Народ учил бульдозериста.

Бульдозерист уселся в просторной застекленной кабине. Шевельнул ножом, задним отточенным бивнем. Лязгнул гусеницами. И японская махина плавно и мощно стала наезжать, отъезжать, кружиться на месте, вспарывая мерзлоту вокруг самолета, выколупывая его, отделяя от спрес-

сованной толщи. Самолет колыхался, вздрагивал фюзеляжем и крыльями, словно просыпался от долгого сна.

Дронов чувствовал трепетание самолета, его пробуждение. И мысль об отце была пробуждением его собственных детских молений, воспоминаний о материнских слезах, о желтых треугольниках, хранившихся в материнской шкатулке, о маленькой, отклеенной с документа фотографии молодцеватого лейтенанта, о родных отцовских глазах, разгоравшихся над ним в ночи во время болезни среди детского жара и бреда, о детских рисунках, на которых самолет с красной звездой летел над дорогой, стреляя из пушек, превращая в пожары и взрывы колонну танков с крестами. Отец был не памятью, не образом породившего его человека, а живым, на всю жизнь, состоянием, в котором присутствовало вплоть до нынешних дней чувство вины и любви, надежда на чудо, на появление отца, на возможную, ожидавшую их в будущем встречу. И теперь, глядя на бульдозер, на сотрясавшийся фюзеляж самолета, он вспомнил письмо отца. Один из последних треугольников. Какая-то изба в полумраке. Какие-то старик и старуха. Какая-то лампадка в углу. И назавтра вылет, бомбежка. Прорыв сквозь огонь зениток, воздушные бои с «мессершмиттами». Обращение к жене и сыну: «Милые вы мои, дорогие...»

Самолет, в комьях торфа, лежал, окруженный людьми. Двое с лопатами наклонились над кабиной, выбрасывая землю.

— Может, в кабине на дне лежит! От удара вдавило!

— А что, я читал в газете, находили пилотов. Кости, конечно. И кожанку с планшетом. По документам определяли фамилию.

— Аккуратней лопатой! Приборы на доске не разбей!

Фонаря на кабине не было. Нутро было набито спрессованным мерзлым торфом. Дронов смотрел, как лопаты откалывают, отрезают ломти, и испытывал оцепенение. Вот сейчас, с очередным ударом лопаты, он увидит отца. Его недвижную голову, оледенелые глаза, запрокинутый подбородок. Знакомое по малой фотографии лицо, только неживое, недвижное.

Он понимал, что увидеть лицо невозможно. Что возможно увидеть кости, истлевший, распавшийся прах. И страшился, и мучился — сейчас наконец он увидит отца. Сейчас состоится то давнишнее, ожидаемое страстно свидание.

Но кабина оказалась пустой, вся, до днища, до рычагов и педалей, до расколотой приборной доски, где пустые, набитые торфом зияли глазницы. Пустой была ячейка стрелка. Видно, оба, пилот и радист, выпрыгнули с парашютом.

Дронову казалось: лопнула, распалась сверхплотная оболочка, сохранявшая в себе спрессованное, давнее время. Тот далекий военный день, воздушный поединок, треск разрываемых туч, вой и скрежет металла, длинный витой огонь, схвативший простреленный двигатель. Распались не земные пласты, а время, замурованное, остановившееся, вдруг вырвалось на свободу. Снижаясь над осиновым лесом, теряя высоту, шел штурмовик, искря и дымя, растягивая длинный коптящий след, и отец, обжигаясь и корчась, сбрасывал пробитый фонарь, глотал, задыхаясь, ветер, и из туч черной точкой, увеличиваясь, в блеске пропеллера вылетал «мессершмитт».

Дронов смотрел на небо в ясный, сияющий свет, где таял, исчезал образ боя. Сохраненное в толще земли время сгорало, превращалось в вечность, в ничто.

Людей у самолета копилось все больше. Машину трогали, гладили, очищали от грязи. На бетонке разрастался затор, выстраивался хвост самосвалов. Но Дронов не вмешивался, не требовал разойтись, не отсылал людей на работу. Он словно оцепенел. Ему казалось, отец где-то здесь, среди собравшихся гомонивших людей, наблюдает за ним. Чувствовал присутствие отца и в толпе, и в скоплении машин, и в высоком небе, и в далеком за озером лесу. Станция, ее бруски и цилиндры, ее дышащие топки — и они говорили об отце. Самолет врезался в торфяное болото, скрылся в нем, залег, словно малое семя. И из этого семени начался медленный рост. Вырос город, выросла станция. И он, Дронов, не ведая, взращивал стройку из малого крылатого семени, упавшего из горящего неба.



Дронов вдруг почувствовал приближение слез. Тронул рукой холодный лоскут алюминия.

«Неужели? — думал он. — Неужели возможно?»

Пошел к «уазику», чувствуя, как смотрят на него из толпы, из неба, из далекого леса любимые, родные глаза.

## *Глава двадцать третья*

В этот субботний день Дронов раньше обычного вернулся домой, в свой коттедж, укрытый в тихом зеленом ельнике, в стороне от бетонной трассы. У него гостили жена и сын, долгожданные, редкие гости. Сын Алеша, вертолетчик, после долгих скитаний получил назначение в Москву, в академию. На краткий отпуск прилетел повидаться. Сейчас он спал дневным крепким сном в соседней комнате, раскрыв настежь форточку, укрывшись отцовским тулупом. Дронов чувствовал из-под двери свежий сквозняк, с нежностью, гордостью думал о сыне, о его здоровье и молодости.

Жена Вера Егоровна, историк, работала в реставрационном центре в Москве, среди древних книгохранилищ, облупленных расколотых ларцов, обветшалой, отслуживший век утвари. Читала лекции, водила экскурсии. Редко выбиралась к мужу на его огнедышащую стройку. Но теперь приехала вместе с сыном, надеясь склонить наконец мужа к переезду в Москву, где все они втроем после разлук и скитаний смогли бы пожить вместе, единым домом, семьей.

Сейчас Вера Егоровна сидела у окна, выложив на свет темную икону, принесенную накануне Горностаевым. Легкими прикосновениями прижимала к иконе ватный, пропитанный спиртом тампон. Снимала с доски многолетний нагар, оставленный бессчетно возжигаемыми лампадами, печным дымом, людским дыханием, чадом крестьянской избы.

— Никогда такой иконы не видела! — говорила Вера Егоровна, отнимая тампон, под которым открылся влажно и сочно край черного звездного неба, алый обшлаг рукава и рука господня, осеняющая мир крестным знамением. — Битва с неведомой ордой!.. Какой-нибудь апокриф... С татарами могли сражаться, или с чудью, или друг с другом, с новгородцами, тверичами, суздальцами!.. Ну с литвой, с поляками, шведами!.. Но чтоб какая-то орда неведомая!.. Местный миф и апокриф... Откуда у Горностаева эта икона?

— У него много икон, — рассеянно ответил Дронов, рассматривая сумрачную, залитую варом доску, где смутно просвечивала битва, проступали башни и стены и тянулись перекрестия белых лучей, похожих на свет прожектора. — У него страсть. Ездит по брошенным деревням и привозит иконы. Гибнут в лесах деревни, зарастают лесом. А он привозит, спасает.

— Нехорошо это — входить в пустые дома и снимать иконы. Нечистоплотно!.. Грех!

— А по-твоему, пусть пропадают? — начинал возмущаться Дронов, втягиваясь поневоле в давнишнюю распрю с женой, подстерегавшую их обоих в каждом слове, в каждой неосторожной интонации. Их былые несовпадения, скопившиеся с годами несогласия готовы были себя обнаружить даже в редкие, дорогие им обоим мгновения. — По-твоему, не брать, да? Пусть пропадают? Пусть в пожаре погибнут? Лишь бы греха не совершить! Где же ваши спасательные экспедиции? Ваши безгрешные святые ревнители? Все это — лицемерие, то, что ты говоришь! Богомолы твои так рассуждают!

— Грех все равно! — упрямо и тихо повторила жена, бережно касаясь иконы. — В кинутый дом войти, икону взять — это как с мертвого снять. Не нравится мне твой Горностаев. И умен, и ловок, и деловит, и обходителен, а чего-то в нем нет. Света в нем нет, духа живого! Одна расчетливость!

— Грех!.. Дух!.. Опять эта твоя старушечья лексика! Горностаев прекрасный работник. Блестящий организатор. Он тянет стройку, ведет ее талантливо, умно. А стройка не ветряная мельница и не какая-нибудь там часовенка рубленая, а атомная станция. И все свои словечки — дух,

грех — оставь для богомолий. А здесь, поверь мне, работают другие термины.

— Вот и отдай стройку Горностаеву, если он такой молодец! И пусть ведет ее умно и талантливо. Надо ведь молодым уступать дорогу, — ухватилась жена за его последнюю мысль, оставляя распри на потом. — Переезжай наконец в Москву. Ты нездоров, ты устал. Хватит тебе мыкаться по медвежьим углам. Для тебя в Москве есть работа, почетная, нужная, достойная тебя. Что тебе говорил сегодня министр? Ты давно перерос эти стройки! Давай поживем семьей, пока у нас осталась хоть капелька сил, пока Алешенька с нами, пока опять его куда-нибудь не услали! — Она умолкла, низко наклонилась к иконе. Не желала, чтобы он увидел ее лицо. Он не видел, но знал: ее бледное, усталое, со следами былой миловидности лицо выражало страх, предчувствие новых для себя испытаний, обиду на него, Дронова, за какую-то ему до конца неясную вину, терпеливое ожидание еще возможного, еще прозреваемого в будущем счастья.

— Ты помнишь Палиху, Тихвинский переулок? Помнишь, как я встречала тебя в подворотне? Там было много черных блестящих сосулек. Пока ждала, все смотрела, как в этих сосульках отражается фонарь. А потом, когда провожала тебя, отламывала кусочек сосульки, уносила домой, и льдышка таяла в моей чашке. Мне казалось, что вечер, наша прогулка, метель, фонарь в переулке — все это еще продолжается. Я засыпала, и сосулька таяла в чашке, пока я засыпала. Ты помнишь?

Она сказала это так внезапно, с такой страстью и нежностью не к нему, не к себе, а к тому драгоценному времени, где было у них краткое единство и счастье, казавшееся неколебимым, данным навсегда, сделавшее их неразлучными. С таким истовым, похожим на молитву чувством она это сказала, что лицо ее на мгновение почти избавилось от морщин, исчезла и стала незаметной седина, улетучились усталость и глубокая печаль в темных глазах, и лицо ее, помолодевшее, страстное, ожидающее, обратилось к нему. И его душа и память вдруг кинулись сквозь пространство и время, как с отвесной горы, прошибая в падении плотный непускающий воздух, проламываясь сквозь толщи в то воскрешенное, мгновенно возникшее чудо — в ночной переулок, в московский снег, в туманный, окруженный метелью фонарь.

— Я помню, однажды ночью, когда у тебя остался, — твои родители куда-то уехали, — проснулся: в окне заснеженная огромная колокольня, весь купол в снегу, дует метель, и у меня, может, от счастья или от ночного внезапного пробуждения появилось какое-то сверхчеловеческое зрение. Я различал во тьме все завитки на лепнине колокольни, спрятавшегося, застывшего в капители голубя, каждый сверкающий кристаллик снега на куполе, и сквозь черные глухие окна — внутреннее убранство, фрески, нимбы, одежды святых. В полной темноте их увидел.

— Да, тогда ты мог видеть нимбы! Мог видеть их в темноте. Это теперь ты не видишь!

В этих словах была знакомая укоризна, возвратившая его из прошлого в недавнюю распрю. Но он не хотел возвращаться, хотел оставаться там, в своих свежих, молодых и наивных верованиях, в своей первой и единственной в жизни любви. Их любовь среди московских метелей, тихих ночных снегопадов была безмятежна. Была молодостью, Москвой, блестевшими под фонарем сугробами.

— Тогда ты мог видеть нимбы! Это потом они у тебя погасли. А тогда у тебя был бог в душе! — повторила она, продолжая их долголетний, не сегодня родившийся спор.

И он, уловив знакомую, раздражительную интонацию, откликнулся немедленным раздражением.

— Ничего не поделаешь, у меня другой бог в душе, не тот, что у тебя! Мой бог — энергетика! Пора бы к этому привыкнуть! — сказал он и сам неприятно поразился трескучему звучанию слов, их выспренности и неправде.

Энергетика не была ему богом, а была огромной, изнурительной, с утра и до ночи заботой. Стройка не была ему богом, а тяжелым варевом непрерывно возникавших проблем, человеческих конфликтов, производственных срывов, организационных и инженерных решений. Станция спозаранку захватывала его в свои железные лапы, перекладывала в течение дня с одной громадной ладони на другую, комкала, мяла, и он, боясь быть раздавленным, отбивался от нее, реагировал на нее множеством неточных, мгновенно возникавших действий, имевших единственную цель — удержать в равновесии взбухавшую огнедышащую махину, не дать ей упасть, развалиться на отдельные, не связанные в единство ломти. Даже ночью, во сне, он продолжал бороться со стройкой. Темная, в красных искрах, в шершавой броне и щетине, она двигалась на него, разрезала котлованы, пялила ртутные очи, и он боролся с ней, как с ночным кошмаром. Нет, энергетика не была ему богом. Теперь, сейчас не была. Но ведь прежде, раньше была! Прежде он был с богом в душе!



Его первая стройка в азиатских горах на зеленой кипящей реке. Он прораб. Экскаваторы на мелководье дерут и черпают гальку. Взрывники короткими точными взрывами ровняют скалу, готовят ее к бетону. Стройка «завязывается», набирает массу, копит энергию. Сгружают механизмы с платформ. Ставят балки и бараки. Заселяют щитовые дома. Созывают, скликают молодой стоязыкий люд. Но что-то не клеется, неуловимое, помимо всех механизмов, всех планерок и митингов, не подвластное управленцам, за пределами инженерных решений. Дух не вселился в стройку, она еще не ожила, движима не своей энергией, дышит не своими легкими, не может подняться. И уныние медленно, вместе с затяжными дождями вползает в ущелье. Тоска на лицах людей. Тоска в расхристанных жидких дорогах. В ржавеющем скрипучем железе. В сыром, неуютном жилье. И вот уже потянулись прочь, побежали со стройки одиночками, парами, целыми бригадами. Снимаются и уходят на другие места, на денежные живые работы. Стройка, еще не успев сложиться, уже рассыпается, тает, несет в себе признаки долгой, на многие годы болезни.

Они, молодые прорабы, бригадиры, комсомольский актив, собрались на свое совещание. Решили сломить уныние, одолеть болезнь, повести людей в котлованы, на строительство перемычки, в топь, в хлябь, в холод. И начать свой штурм неожиданно, поразить воображение стройки. Совершить коллективную вылазку на соседнюю черную гору, мрачно, в дожде нависавшую над поселком.

Шли в сумерках, в холодную изморось. Подскальзывались на липких камнях. С тяжелыми рюкзаками, в связке, как альпинисты, несли с собой краску, молотки и лопаты. На ощупь, в темноте, оставляя внизу зыбкие в дожде огоньки, скрываясь в ледяном моросящем облаке, достигли середины горы. Рискуя сорваться, поддерживая друг друга, светя фонариками, собирали камни, красили их в белый цвет, выкладывали из них огромные буквы. Стесывали мох, обкалывали шелушащиеся сланцы. Под утро, измызганные, исцарапанные, перепачканные краской и грязью, спустились в поселок. И когда рассвело и заспанные люди вяло шли на работу, дождь прекратился, ветром сдвинуло тучу, и на черной горе, над поселком загорелась, забелела огромная надпись: «Коммунизму — быть!» И народ — шоферы, бульдозеристы, монтажники — смотрели на эту взывающую, из неба упавшую надпись.

Был, был в нем бог. Бог энергетики. Бог дерзкой всесильной молодости. Бог всемогущей техники. Бог крепнущей любимой державы, в которую верил, которой отдавал свой талант, служил беззаветно. Куда он исчез, тот бог? Какая надпись теперь на той черной, угрюмой горе?

— Я тебе всегда говорила, наши разногласия превыше быта. Разве я не жила с тобой в бараках, не мыкалась по углам? Разве не готова была ехать за тобой на край света? И в клубе, и в библиотеке работала, много ли мне надо? Нет, не это, не это нас с тобой разделило!

— Да слышал, слышал много раз твою песню! Сколько же можно?

— Нет, ты послушай, послушай!

Ее лицо опять постарело, осунулось. На нем обнаружились новые морщины и тени. Свет ушел из лица. Едко, резко она стала повторять известные ему, неменявшиеся укоры, усвоенные на стороне, среди каких-то иных, враждебных ему людей. Упреки, направленные против него, против дела, мировоззрения, всей его сущности. И он знал: цель этих упреков была в том, чтобы разрушить его, измотать, оторвать от дела, развенчать это дело, оставить его вне дела, беспомощного, безоруж-

ного. Воспользоваться его бессилием, увести за собой, к себе, сделать своим. Вся их жизнь — отъезды, разлуки, краткие пребывания вместе, вся их жизнь до скорой, поджидавшей их рядом старости проходила в этой борьбе. В ее стремлении разрушить. В его стремлении устоять.

— Ты — убогий технократ, холодный, жестокий! Добываешь свою энергию, свою грубую мощь, истребляя другие, тонкие, драгоценные энергии жизни! Ты их просто не видишь, не чувствуешь! Для тебя природа — это только вода для охлаждения машин, грунт, который ты взрываешь и роешь, доски, которые ты снимаешь с пилорамы. Ты никогда не умел любоваться озерами, лесами, закатами. Для тебя народ — это всего лишь рабочая сила, которую ты выманиваешь из деревень, отрываешь от корней, высасываешь живые соки для твоих железных чудовищ! Ты называешь себя государственником, а никогда не понимал истинных законов национальной истории. Для тебя не существует таких понятий, как дух, судьба, рок. Ты никогда не понимал искусства! По-видимому, для тебя не существует и такой категории, как совесть, в том смысле, как ее понимают лучшие наши писатели и мыслители. Вся деятельность таких, как ты, — это одна сплошная гордыня, духовная слепота, следствие которых — разрушение природы, разрушение национальной жизни, разрушение семьи, нашей с тобой семьи, разрушение себя самого!

Он морщился, отворачивался. Ему была неприятна ее риторика, расхожие, постоянно воспроизводимые нарекания, усвоенные в чужой среде, навязанные другими, враждебными ему людьми. Она следовала этим банальностям, верила в них, и в этой несамостоятельности, несвободе было что-то старушечье, жалкое, беспомощно-бабье, кликушечье. Была нетерпимость к нему, даже злоба, нарастающая не только в ней, но и повсюду, несправедливость к его профессии, несправедливость к ним, инженерам, на своем хребте трудно, страшно выволакивающим непомерную махину несовершенной, плохо сконструированной цивилизации, как бурлаки тяжелую, против течения баржу. На барже сидели и те краснобаи. И в то время, как они, инженеры, протаскивали ее по мелям, перекатам, по хрустящему дну, те глумились над ними, погоняли, учили жить. И жена говорила их голосами, мыслила их неверными, нечестными мыслями.

Прежде он бы мог ей ответить. Осадить, насмеяться, скомкать те разглагольствования яростными, яркими доводами. Что-нибудь о том, что сегодня национальная идея, способность обеспечить национальную суверенность, определяется марками стали и быстродействием счетных машин. Что национальная идея определяется уровнем энергетики и глубиной управленческих идей. А разговоры о совести и милосердии, останавливающие усилия государства по поддержанию военно-стратегического паритета, есть в лучшем случае ханжество и скудоумие, а в худшем — сознательный саботаж всякого исходящего от государства усилия. Он бы мог ей все это ответить, разя не ее, а тех, ненавистных ему краснобаев, подчинивших ее себе, присылавших ее к нему из Москвы, зачумленному и измученному, чтобы мучить его больнее и тоньше. Он бы мог ей ответить, как прежде не раз отвечал. И тогда, когда она приезжала на его первые стройки, а он, не успевая ее обнять, не успевая ею насладиться, в первую же ночь уходил в комсомольский патруль, в облавы по баракам, где завелись и угнездились блатные с ножами, кастетами и обрезами, — терроризировали стройку. И под утро с ножевой царапиной и кровоподтеком, свалив в мешок груду отобранных железяк, переправляя в милицейский участок выловленных воров и бандюг, он возвращался к ней, огорченной, разобиженной, и впол-уха, засыпая, слушал ее рассказы о фольклорной экспедиции в Заонежье, о сарафанах и киках, собранных в нижегородском селе.

Но что-то изменилось вокруг. Не было у него прежних слов, прежней иронии, прежнего над ней превосходства. Что-то случилось с ним, не теперь, не сию минуту, а постепенно, от случая к случаю. Копилась неуверенность, потеря прежней воинственной веры, упрямого знания, упорного стоицизма. Он вдруг начинал ощущать, что в нем, прожившем свой век на стройках в неусыпных трудах, оказалась пропущена, не выявлена иная, сокровенная жизнь, хрупкая, безымянная, где присутствует память о милых и близких, ушедших, умерших, тайная перед ними вина, ожидание собственной смерти, беспомощность перед ней, упование на то, что, быть может, смерть одолима и возможно чудо бессмертия, чудо встречи с отцом, что есть в этом мире за пределами очевидного знания иная реальность, иное, обнимающее мироздание дыхание, и этим дыханием зажигаются звезды, взращиваются деревья и травы, рождаются люди, и он сам выведен на свет этим легким, таинственным, сберегающим и хранящим дыханием.



Иногда ему казались тщетными усилия, бессмысленным и ненужным надрыв, вся его деятельность инженера, строителя. Итог, о котором мечтал, к которому стремился — увеличение благоденствия и мощи страны, осмысленности и разумности жизни, упрочение опор, на которых существует и творит человечество, — все это подвергалось сомнению. Оборачивалось разочарованием. Усложняло и путало мир, создавая в нем мучительную, недоступную разумению сложность, в недрах которой прятались катастрофы, гибли ценности, исчезали идеалы. Мир как гнездовье катастроф — вот что ему открывалось.

— Нам надо было расстаться, — сказала она. — Сразу, как ты уехал из Москвы, я поняла, что мы разные люди и нам вместе не жить. Почему же мы не расстались? — Она смотрела на него задумчиво, жалобно, жалея и его и себя, без недавнего кликушечьего блеска в глазах, с лицом усталым и тихим. — Скажи, почему мы с тобой не расстались? Может быть, сын Алеша?

Он и сам об этом думал не раз. Почему столь разные по образу жизни, по привычкам, пристрастиям, столь редко встречавшиеся, разделенные пространством, без общего дома и домашнего очага, окруженные каждый своим миром, своими друзьями, привязанностями, — почему они не расстались, оставались мужем, женой?

Дронов мало думал о сыне, пока он не вырос. Отцовство его дремало. В краткие наезды в Москву он не знал, как вести себя с Алешей. Таскал его суматошно по каким-то зрелищам — в цирк, в зоопарк, в театр. Утомлял его и сам утомлялся, вызывая нарекания деда и бабки. С облегчением расставался с Москвой, с сыном, с не любившей его родней жены. Мчался обратно на стройку, где одинокий, свободный, рыл котлованы, ставил на бетонные основания реакторы, приходил ночевать в холостяцкое, неприбранное жилище.

Не сразу, постепенно, с годами, началась и усилилась между ним и женой борьба — борьба за сына. Та старалась увлечь сына в свои пристрастья — в литературу, искусство, историю. Водила по музеям, по окрестным подмосковным усадьбам, брала в экспедиции, учила народным песням. Он же, отец, быть может, из чувства ревности, из чувства противоречия приближал сына к себе, нагружал его своим знанием и опытом. Брал на стройки. Сажал в кабины «БелАЗов», на двуглавые, похожие на драконов трубовозы. Проносил на вертолете над бескрайней просекой, наполненной блестящей тончайшей сталью. Вводил в реакторные и турбинные залы. Объяснял устройство громадных, из драгоценных сияющих сплавов машин. Он и жена взращивали в сыне две разные сущности, где одна отрицала другую. И эта борьба за сына соединяла их, не давала расстаться, превращала их жизнь в сложный, из противоборства и согласия союз.

Позднее сын угадал свою роль. Остро пережил ее своим молодым расщепленным сознанием. Стал удерживать их от разрыва, соединял, скреплял, позволял отцу и матери продолжить мучительную для него борьбу. Любил их обоих, приносил себя в жертву.

Конечно же, сын, Алеша, — вот кто помешал им расстаться.

Дронов думал об этом, прислушиваясь к тишине за стеной, где спал под тулупом сын. Вспоминал его белокурого, с локонами, в детской кроватке, с пластмассовой цветной погремушкой. И другого — в форме военного летчика, смуглого, худого, усталого, с легким тиком на обгорелой скуле.

Должно быть, и жена вслед за ним оглянулась назад, вспоминая себя и сына. В ней поднялась вся ее горечь, все ее страхи и боли. Меняясь в лице, обращая его против мужа, она стала жалобно и зло выговаривать:

— Не буду, не буду тебе повторять, что ты загубил мою жизнь, занял в ней место, которое мог бы занять другой! Не буду повторять, что

прожила всю жизнь соломенной вдовой, без мужа, без домашнего очага, без уверенности в завтрашнем дне. Не стану тебя упрекать за то, что никогда не хотел меня понять, мои привязанности, мои идеалы, моих друзей — глумился над ними, смеялся! Я это тебе простила. Но я не простила тебе, слышишь, не простила и никогда не прощу сына! Не прощу тебе Алешу! Ты, ты его погубил! Ты его искалечил. Из своей гордыни, из своего своеволия, потакая своим капризам, своему сентиментальному мифу, будто бы твой отец, пилот, был бы счастлив видеть пилотом внука! Ты, ты направил Алешу в училище, внушил ему, наивному, доверчивому, свой дурацкий, вредный, оболванивающий тезис... «Вертолет есть средство познания современного мира!» «Вертолет — инструмент познания современной цивилизации!» Ты кинул его в ужас, в смерть! Неужели ни разу не пожалел, не раскаялся? Когда Алеша прилетел из Эфиопии и в его глазах, милых, светлых, добрых, был ужас, темный кошмар от того, чего он там навидался, неужели ты не раскаивался? Или когда ездили в госпиталь и он после Афганистана лежал в бинтах, обгорелый, и кругом эти молодые, израненные, искалеченные люди, ты тоже не раскаивался?.. Или после Чернобыля, когда в его лице не было ни кровинки, и я молила бога, чтобы анализы показали улучшение крови, и дело не дошло до этих страшных операций, — ты был спокоен? Опять затолкнешь его в вертолет, в инструмент познания мира? Какого, какого мира? Зачем такой мир, если его нужно познавать через смерть? Ты страшный человек! Вы страшные люди! Сначала создаете чернобыли, а потом посылаете туда своих сыновей. Сначала создаете афганистаны, а потом толкаете туда своих сыновей. Ведь это чудовищно. Это грех непростимый! Вы — детоубийцы! Ненавижу тебя!..

Она ненавидела, блестела глазами. Голос ее срывался на клекот. На горле двигалась и пульсировала синяя жила. И он, видя это ненавидящее лицо, испытал такую боль, такую слабость и муку, признание всех своих вин перед ней, перед отцом, перед сыном — такое непонимание того, из чего сложилась его жизнь, прожитая почти в одночасье, уложившаяся в миг единый, и скоро ему умирать и со всем прощаться, и что он им скажет, прощаясь?

Он почувствовал, что теряет сознание. В обмороке, куда его опрокидывало, перевертывало, вовлекало в стремительную траекторию, вдруг возник самолет, красный, в вечернем солнце, в низком облачном небе, с длинной черной косой чадного дыма.

Должно быть, она увидала, почувствовала его обморок. Он очнулся от ее вскрика:

— Валя, что с тобой, Валя? Прости! — Она кинулась к нему. Обнимала, целовала, гладила его плечи, повторяла: — Прости, прости! Это — затмение. Уедем с нами! Брось эту ужасную стройку! Поедем в Москву. Поживем все вместе — ты, я, Алеша! В кои веки судьба улыбается нам. Мы скоро с тобой старики... Еще живы, Алеша наш с нами. Ну поедем, умоляю тебя!

Он обнимал ее. Чувствовал, как на его руки бегут ее быстрые слезы. Стоял, сжав плотно веки. Тот московский переулок в снегу, заснеженная старая церковь, застывший в облупленной капители голубь. И мука его не кончалась.

— Мама, папа, вы что? — услышал он. — О чем это вы так громко? — Из соседней комнаты вышел сын, отдохнувший, улыбающийся, держа на плечах тулуп. — О чем спорите? Может, я помогу?

— Ни о чем, сынок. Какие уж наши споры! Иди к нам. Постоим, помолчим.

Они стояли втроем. Сын обнимал их. Молчали. И было им всем каждому по-своему больно и хорошо.

## *Глава двадцать четвертая*

Дронов и сын Алеша гуляли по белой лесной дороге, уводившей от коттеджей в зеленый ельник, в синие долгие тени, в полосы желтого солнца. Медленно удалялись от дома. Дронов слушал сына, его энергичное молодое витийство. Искоса мельком взглядывал на близкое сыновье лицо, на статное, сильное тело. Испытывал нежность и робость. Неужели это он, Алеша, его милый мальчик, с кем когда-то в далекий, им обоим подаренный день ночевали в деревенской избе, под лоскутным крестьянским одеялом, и он, отец, фантазировал, складывал какую-то сказку, про какой-то прилетевший из неба корабль, про каких-то жестоких небесных воителей, решивших покорить всю землю, и сын забывал дышать от восхищения и страха, прижимался к нему своим маленьким жарким телом. Неужели это он, Алеша, сильный, энергичный мужчина, познавший войну, видевший смерть и страдания, и есть тот худенький, хрупкий мальчик, доверчивый и наивный, тихо смеявшийся под лоскутным деревенским одеялом?



— Ты был прав, отец, прав абсолютно! Действительно, как ты говорил: вертолет — инструмент познания мира. Я до конца не понимал тебя прежде. А теперь понимаю. И благодарен, поверь! Благодарен за то, что направил меня в вертолетчики. Мать хотела меня сделать историком, посадить за чтение летописей. Но историком-то по-настоящему сделал меня ты. Втолкнул меня в современную историю! Цивилизация — это загадка, которую нельзя понять в кабинетах, нельзя понять в библиотеках. Ты посадил меня в вертолет, и я, что бы там ни было, тебе благодарен!..

Дронов кивал, слабо улыбался. Слушал философствования сына. Вспоминал тот день, когда ночевали в избе.

Утром проснулись, пошли обследовать старый большой сарай, наполненный сухим серебристым скарбом. В дырявую дранку косо, под разными углами летели лучи, бесшумно ударялись о ветхие предметы, расплющивались дрожащими мягкими пятнами света. Растресканная деревянная ступа, долбленая, из тяжелого корня, с остатками пшеничной пыли, слабым запахом истертых зерен. Сын боязливо трогал ее, ему мерещилась ведьма; и обшарпанная, из березовых прутьев метла, и избитый дубовый пестик — орудия колдовского полета — стояли тут же. Поломанный ткацкий стан, смугло-коричневый, с обрывками прелых нитей, пропустивший сквозь себя столько полотен, разноцветных половиков, хранивший бессчетные прикосновения исчезнувших женских рук. Грабли, вилы и косы на заржавелых гвоздях — сын робко их трогал, они чуть слышно звенели, будто в них отзывались старинные косцы, давнишние сенокосы, душистые, зеленые копны. Лошадиная дуга с бубенцом, расписанная цветами и птицами, — сын протягивал руки к дуге, будто гладил ушастую голову, и мерцали, туманились лошадиные большие глаза, дышали мягкие губы, слабо, сладко звенел бубенец. Здесь были берестяные торбы, изношенные драные лапти, еловые суковатые посохи — все что осталось от тех, кто исходил окрестные земли к святым местам, на торговые ярмарки, на церковные богомолья. Здесь, в старом сарае, он впервые на мгновение понял жену, ее увлечение древностью, ее мистическую любовь к старине. Под дырявой крышей собралось и укрылось минувшее время: крестьянские свадьбы, престольные праздники, солдатские проводы. И когда осторожно качнули детскую зыбку, линялую роспись на поломанных шатких дощечках, из-под зыбки выбежал еж, прошуршал, оглядел блестящими черными глазками, как маленький домовой, рассерженный их появлением.

— Я писал тебе из Эфиопии, помнишь?.. Мы строим, конструируем, действуем на земле, а земля отрицает нас, сгоняет с себя, не хочет нас. Мы ей в тягость, в боль, в болезнь! — Сын продолжал развивать свои мысли, делился с отцом, дорожил возможностью быть с ним на равных, помериться силой ума, важностью и глубиной пережитого. — Я прочувствовал непрочность конструкции, которую мы создаем. Случайность и слабость швов, где она пришита к природе, к человеческой морали и психологии. Мой вертолет прошелся по этим швам, исследовал разрывы, исследовал цепь катастроф. Те места, где происходят бессмысленные, невосполнимые траты природы, техники, благих людских усилий. Что-то не то мы наделали! Не так мы существуем и действуем! И все объяснения этого «не то» и «не так» не устраивают. Я стараюсь понять, в чем загадка. Сейчас в Москве снова засяду за книги. Экономика, политика, право. Благо академия к этому побуждает. И я найду, найду мой ответ!.. Я писал тебе из Эфиопии, помнишь?..

На бреющем вертолете проносился над Африкой, из Аддис-Абебы, в лагеря голодающих, в Лалибеллу, где томились тысячи гибнущих от мора людей. Нес на борту мешки с пшеничной мукой.

В стрекоте, блеске винтов стремительно мелькала земля. Черная пашня была разорвана, расколота, как огромная глиняная миска. Казалось, сквозь трещины вырывается бледный огонь преисподней. Вспыхивали ослепительно белые скелеты павших лошадей и волов. На утлые крестьянские хижины, сухие и легкие, была направлена недвижная линза солнца. Вот-вот задымятся и вспыхнут тростниковые круглые крыши. Погребальные шествия, длинные вереницы людей в белых балахонах тянулись по проселкам в разные стороны. Сопровождали одинаковых, укутанных, похожих на личинки покойников.

Вертолет приближался к каньону. Кончилась земля, и огромный бездонный провал, наполненный синим туманом, поднял вертолет на громадных гранитных ладонях, отпустил в пустоту. Парение в невесомости с медленным вращением, словно открылась другая, умирающая планета. Опаленные в лиловом пламени скалы. Сухие глубокие русла с остатками рек, где в поисках последней воды толпятся копытные. Не замечая их, вьется семейство барсов. Табунятся белокрылые, изнывающие от жажды птицы. Гибнущая, при последнем издыхании жизнь.

Он, вертолетчик, пролетал над огромным ожогом, опалившим Африку. Распались, рассеялись тончайшие покровы небес, и огонь солнца хлынул на землю. Образ кары господней открылся ему сквозь блистер кабины. И позже, через многие годы, все будет являться во сне: растресканная, горячая, как тигель, земля, и на ней отшлифованные белые ребра, рогатый воловий череп, блестящие на солнце муслы.

Дронов слушал философствования сына. Чувствовал его полемический пыл, направленный против него, отца. Не возражал, не перечил. Дорожил возможностью шагать с сыном рядом. Уступал ему место на дороге, место в синем весеннем воздухе, в чем-то еще, безымянном, куда их обоих ввели, сочетали любовью и нежностью и медленно теперь разлучали. Тот давнишний чудесный день, когда ночевали в избе, гуляли по лугам и дубравам.

За деревней малая речка, травяные берега, шаткий с перильцами мостик. Они с сыном лежат на мостках, свесив головы, и два отражения, два их близких лица на солнечно-темной воде. В глубине, сквозь их лица, в переливах подводных теней — колыхание донного света, мелькание рыбешек, полет золотистых песчинок. И так сладко лежать лицом к прохладной воде, чувствуя грудью слабое, струнное дрожание дерева, близкое дыхание сына. Вдруг бабочка упала на воду. Забилась красными крыльцами, замутила, зарябила их отражения. Пыталась взлететь, не могла, колотилась бесшумно. Сын свесился гибким телом, протянул руку к бабочке, вычерпал ее из реки. Держал на весу ладонь с опадавшей яркой капелью, с красной намокшей бабочкой. Бережно, осторожно положил ее на мостки, живую, мокрую. Смотрел, как она высыхает. А в нем, в отце, — желание запомнить эту речушку, высокое белое облако, их близкие отраженные лица, красную бабочку.

— Они все ждут экологическую катастрофу, а я убежден, она уже началась. Пробили дыру в природе, и она сама, бедняжка, не в силах ее залатать. Дыра все больше и больше. Пробоина в борту увеличивается. Там, в Африке, я наблюдал тепловой удар, поразивший весь континент. Здесь, на севере, быть может, скоро тронутся, поползут ледники. Ну и что тогда наша вражда, НАТО, Варшавский Договор? Конфронтация двух систем, если на обе эти системы поползут ледники? Мы однажды говорили об этом с западным немцем, с летчиком из люфтваффе, там, в Лалибелле. Он на военном транспорте тоже возил пшеницу...

Вертолет завис над седым пепелищем, над рыжей угрюмой горой с каменным иссеченным храмом. Пыльный туманный пустырь чернел, шевелился. Черное муравьиное скопище слипалось в ком, копошилось, вздымало в небо солнечный душный прах. Тысячи голодных кинули домашний очаг, иссохшие колодцы и нивы, стекались к храму. И он, вертолетчик, снижая машину, различал их длинные, голые, в рубищах, в овечьих шкурах тела. Чувствовал их голодные жизни, жадные, к нему обращенные взоры. Их голодное страдание засасывало его вертолет. Здесь, у подножия храма, разразилась мировая беда, и он сажал вертолет в самый центр мировой катастрофы.



Шел из-под винтов по колючей земле. Сзади сгружали пшеницу. А он, миновав шлагбаум, двигался по территории лагеря.

Плотно, густо сидели, стояли люди. Худые, длинные, тощие. Обтянутые ребра, ключицы. Выпуклые костяные колени. Пыльный войлок волос. Пыльные, висящие на бедрах овчины. Кожа, тонкая, в струпьях, в экземе, натянутая на скелет. Казалось, люди на солнцепеке медленно высыхают, превращаются в мумии и туман над толпой — это влага, покидающая их выставленные на сожжение тела.

Он шел по лагерю, пробираясь в толпе. Густой едкий смрад окружал его, пропитывал одежду, дыхание. Женщины в отрепьях, с пустыми, длинными, как сморщенные чулки, грудями. Дети, обессиленные, опрокинутые на спину, с немигающими, остановившимися глазами. Мужчины, понурые, опершиеся на посохи, смирившиеся с близкой, неминуемой смертью.

Он шел в толпе, чувствуя, как из пыльных шкур, свалявшихся волос на него тучами перескакивают мелкие жалящие насекомые. Впиваются в него, колют, тянут жадно его горячую обильную кровь, голодные, не находящие прокормления на тощих, лишенных соков телах.

Их всех убивало солнце, сгоняло с земли, превращало в стеклянные струящиеся над горой миражи. Тут же бугрились могилы — длинные холмики, обложенные обломками сланца. Умершего без ямы клали на землю, накрывали горячими камнями, и труп испарялся. Над могилами дрожал прозрачный колеблемый воздух.

Он шел среди гибнущих, обреченных, стыдясь своего сильного, сытого тела, молодых, крепких мускулов, чистой, свежей одежды. Пшеница, которую привез его вертолет, была манной небесной. Но ее было мало для этих страдающих толп.

Он сидел под навесом рядом с летчиком из люфтваффе. Его транспорт, доставивший груз пшеницы, стоял у другой оконечности лагеря. Пили воду из пластмассовых прозрачных бутылок. Близко, на пекле усаживались торопливо в кружок дети, старухи и старцы. Служитель расхаживал между ними, делил пшеницу. Высыпал на глиняное блюдо белую горку. Люди хватали муку, совали в рот, пудрили белым лица и волосы. Служитель палкой бил по голове подростка, хватающего без спроса муку, а тот, не заслоняясь от ударов, все совал, все толкал себе в рот белые щепотки пшеницы.

— Этот летчик, его звали Гюнтер, — он военный, из НАТО. Его бросили на голод, на засуху. Быть может, мы когда-нибудь будем друг в друга стрелять в каком-нибудь воздушном бою над Европой. Но здесь, в Лалибелле, мы были с ним заодно. Были просто люди, которые спасают людей. Я, кажется, писал тебе об этом, отец...

Дронов вспоминал то письмо, невнимательно, бегло прочитанное во время аврала на станции, во время какой-то комиссии, приехавшей инспектировать стройку. Память его тянулась к другому. К тому незабвенному дню, где сын Алеша, хрупкий, тоненький мальчик, входил в прозрачную воду, в солнечный речной омуток, боясь глубины, еще не умея плавать. И он, отец, ободрял его, осторожно брызгал на голые острые плечи, манил, поддерживал на воде сильной отцовской рукой.

Они плыли в реке, ухватившись за бревно. Мокрые волосы сына блестели, как стекло. Пятки колотили, взбивая серебряные буруны. Он чувствовал скользкие касания гибкого сыновьего тела, колыхание бревна, запах реки, близкого луга, свою связь с Алешей через эти прикосновения, воду, высокую белую тучу с недвижной парящей птицей. Переплыли реку, уперлись бревном в топкий берег. На осоку, перед самым лицом Алеши, не пугаясь его, села синяя слюдяная стрекозка.

— Ты станешь мне возражать, я знаю. Слишком много сил ты отдал энергетике, технике. Ты сам, своими руками строил эту цивилизацию. Ты к ней привязан. Конечно, в ней много мощи, много красоты. Но в ней так мало человеческого! Она словно не для человека, а для чего-то другого. Ее мерилом служит что угодно, но только не человек! Не его боль, не его тревога, не его любовь. Новая идея, о которой мы с тобой говорили, — если ей суждено родиться, должна быть идея человеческая. Человек должен встать в центр всего! Не кумир, не вождь, не герой, а самый обычный, смертный, с краткой данной ему в проживание

жизнью! Либо цивилизация — за человека, и тогда она нужна и желанна, либо — против него, и тогда зачем же она? Ты меня понимаешь, отец?..

Вертолет, грузивший пшеницу, принял на борт голодающих. Готовился их нести прочь от сгоревших земель, в южную, не тронутую засухой зону. Там оставалась в реках вода, шли дожди, зеленели леса. Туда, на новые земли, от голодной смерти их уносил вертолет.

Второй пилот, стоя у трапа, подсаживал длинноногих чернокожих людей, шатких, нетвердо ступавших. Пыльные, драные шкуры, голые худые тела, тусклые пустые глаза. То был библейский, наказанный богом народ, гонимый с насиженных мест, понукаемый огненным, из неба протянутым посохом. Несколько женщин с младенцами вошли в вертолет, опустились на клепаный пол, положили детей. И один ребенок, хрупкий, иссохший, лежал на красном тряпье, как ворох тоненьких веток, догоравших в костре.

Он вел машину на бреющем. Падал в голубые каньоны. Взмывал вдоль гранитных круч. Торопился, чувствуя, как сзади на красном тряпье умирает ребенок. Эта смерть казалась ему воплощением вселенских несчастий, его собственной смертью, смертью его нерожденных детей. Он сжимал штурвал, следил за приборами, слушал рокот винта. Молил, чтоб ребенок не умер, чтоб смерть его пощадила, чтобы топливо, металл, электричество, скоростная машина вырвали ребенка у смерти.

Прилетели в Аддис-Абебу, сели на бетонную полосу. Винты затихли. Открылась дверь. Оглушенные люди тянулись на свет. Ребенок был мертв. Недвижно, плоско лежал в тряпье. Мать на него не глядела. Теребила красную тряпочку.

Дронов слушал сына. Пытался угадать, какие картины и зрелища толпились в его душе. Что значит сыновний протест, неявный, скрываемый, направленный против него. Чем провинился перед Алешей. Вспоминал тот день, казавшийся бесконечным, бездонным, длящимся в продолжение жизни.

Они взбирались с сыном на гору, травяную, скользкую. Хватались за легкие блестящие стебли, за колеблемые ветром цветы. Сын срывался и падал. Нежно, сильно он подхватывал его, увлекал к вершине. И когда одолели склон, поднялись на покатый, нагретый солнцем зеленый купол горы, дунуло ветром и открылись пространства и дали: озера, реки, леса, деревни в разноцветных полях, белые шатры колоколен — вся любимая родная земля. И казалось, оба они, сын и отец, подхвачены теплым ветром, летят обнявшись и косцы в лугах опустили мокрые косы, смотрят, как они пролетают.

— Кстати, у тебя сохранились мои афганские письма? Хотел бы их перечитать, если можно...

Он зашагал быстрее, обгоняя отца, оставляя его одного на белой дороге. Словно стремился оказаться один. Не желал брать с собою туда, где ему, отцу, не место. Где место ему, сыну.

Вертолетная пара шла над горами, над вечерними озаренными кручами. Складки и склоны были в тени, в слепой синеватой тьме, окаймленной горячим светом. В этой тени, невидимые, прятались караваны с оружием. Погонщики, услышав шум вертолетов, загнали верблюдов в тень, уложили животных, и летчики из кабин напрасно напрягали глаза. Слепые синеватые пятна укрывали караван. Невидимые стволы пулеметов следили за кружением машин.

В передней машине командир эскадрильи, держа высоту, не рискуя снижаться, закладывал круг за кругом. Облетал ущелья, опасаясь огня пулеметчиков. Надеялся по вспышке, по тусклому отсвету стали засечь караван. И тогда — заход на атаку. С грохотом, ревом снижаться, посылая к земле красные чадные взрывы, работая двумя вертолетами, долбя и дырявя скалы.

Он, Алексей, ведомый, с превышением высоты повторял маневр комэска. Пролетал над озаренной вершиной, над красной горой, чей солнечный склон был в обвалах и осыпях, в пересохших ветвистых ручьях. Внизу, у подножия, как слабый отпечаток подошвы, прилепился кишлак, серые лепные строения. Тут же крохотное зеленое поле, малое кудрявое дерево, будто на эти камни из чьих-то высоких ладоней упала капля жизни.



Вел машину, переговариваясь по рации с командиром. Ждал, когда командир отдаст приказ поворачивать, возвращаться домой. Думал о комэске с любовью. Дорожил его дружбой, возможностью вместе летать. Учился у командира атакам, разведке, полетам в туманных ущельях. Вечерами в душной, с распахнутыми окнами комнатенке слушал командирские песни, игру на гитаре. Рассматривал фотографии его жены и детей. Милая круглолицая женщина, два серьезных, обнимавших ее малыша.

Он пролетал над вершиной, видя, как складки горы укутывают, прячут кишлак и бездонная черно-синяя тьма поглощает мир. Вертолет командира над этой тьмой блестел винтами, поворачивался озаренным пятнистым бортом. Были видны звезда, бортовой номер, подвеска с ракетами, легкая, оседающая гарь мотора.

Он ждал, что сейчас услышит приказ возвращаться. Набрав высоту, они мерно потянутся над цепью вечерних гор. Опустятся на аэродроме, окруженном вершинами, на которых последнее солнце зажигает высокие, медленно гаснущие самоцветы. Покинут остывающие, с обвислыми лопастями вертолеты. Смоют пыль и пот, стоя под железным баком, под тепловатой арычной водой. После ужина, когда спадет жара и быстро наступит южная ночь с туманными звездами, пиликаньем невидимой рации, с шелестами колючей земли, с одиноким выстрелом, — они сойдутся с командиром в его комнатушке, послушают кассетник, почитают друг другу письма, а потом незаметно, слово за слово, втянутся в свой непрерывный, из вечера в вечер, спор — об этой проклятой афганской войне, об оставленном, трудно живущем отечестве, о мировых катастрофах, об их военной, связанной с катастрофами долей.

Так думал он, пролетая над горой, видя, как медленно выпутывается из складок кишлак и вертолет командира светлеет на фоне непрозрачной, окутавшей гору тьмы.

Он увидел, как в тени слабо чиркнула вспышка. Маленький красный уголь зажегся, закружился, мгновенной жалящей точкой вознесся сквозь тьму, ударил в вертолет командира. Прозрачный на солнце, беззвучный шар света окружил вертолет. Лопнул — и машина, колыхнувшись, потеряв управление, стала скользить и проваливаться, выпуская два черных дымных хвоста. Две черные лыжни, по которым съезжала, скользила машина, погружалась в черную тень. И оттуда, из тени, потянулись красные трассы, огненные спицы. Забили пулеметы душманов.

Вертолет командира падал, охваченный чадной гарью, роняя жидкий огонь, и он, ведомый, понимал, что случилась беда, та самая, возможная в любую минуту, ожидаемая, отпускавшая их каждый раз невредимыми, она наконец случилась. Вертолет командира сбит, командир погибает. С криком «Коля, держись!» он направил машину в пике.

Он догнал вертолет, горевший, как стог. Машина горела, сыпала летучие ворохи, черная, длиннохвостая, в рыжем растрепанном пламени. Они падали в тень, в глубокую пропасть. Следя за падающей близкой машиной, он успевал различать высокую, оставшуюся наверху, с мазками солнца вершину, каменистый склон с вереницей верблюдов, наездников в белых повязках, бьющие в него неточные пулеметные трассы. Направлял машину в ущелье по огненной, оставляемой командиром спирали. Кричал в эфир сквозь стекла кабины, в тучу огня и дыма: «Коля, Коля, держись!»

И в ответ в шлемофоне сквозь хрипы и клекоты раздалось: «Прощайте, мужики!»

Вертолет командира упал, грохнул взрывом. Разлетелся на лоскутья огня. В каждом клочке огня чернел обломок. Алексей посадил свою машину рядом, на гравий, у зеленой, бегущей по ущелью реки. Борттехник выставил в дверь пулемет, крутил на турели, садил ввысь по склону. А он и второй пилот подтаскивали убитых товарищей.

Улетали, оставляя в ущелье догоравший вертолет, неся в блистере, в хвосте, в лопастях пробоины. На полу, на обшивке лежали три трупа. Комбинезон командира продолжал чадить и дымиться.

— Ты сохранил мои афганские письма? Мне хотелось бы их посмотреть...

Дронов кивал, обещал достать письма. Шел рядом с сыном, чуть касаясь его плечом, чувствуя его крепкие мускулы. Хотел продлить, удер-

жать эти случайные прикосновения. Вспоминал тот единственный день, когда были они неразлучны.

Сидели на высокой горе среди легкого посвиста трав. Огромный валун, бог весть как попавший на гору, розовел в стороне. На камне молча наблюдала за ними сизая птица. Они постелили на теплую землю чистый платок, выложили нехитрую снедь. Их трапеза на горе. Ломали краюху хлеба, передавали друг другу. Сыпали крупную соль. Шелушили сваренные яйца. Резали на ломти красные сочные помидоры. Отвинчивали фляжку с молоком. И отец, отпивая молоко, передавал фляжку сыну. Видел, как у него с губ, из-под горлышка фляжки стекает белая млечная струйка.

Сын осторожно, чтоб не спугнуть птицу, стряхнул с платка крошки, скорлупу, крупицы соли — для нее, сидящей на камне. И теперь, через много лет, шагая по белой дороге, слушая сына, Дронов думал: неужели это он, Алеша, стряхивал крошки с платка? И можно одолеть это время, вернуться к той высокой горе, на ту травяную вершину и увидеть розовый камень, сизую молчаливую птицу, белую скорлупу на траве?

— Я не знаю, отец, что нас спасет. Броня или ладанка? Если разум нас не спасет, может, чудо спасет? И нужно, пока не поздно, внести и повесить лампаду в наш бункер железный. В твою угрюмую станцию, в мой боевой вертолет. Если не научились правильно думать, может, научиться молитве? Ты знаешь, я однажды молился. Может, и жив потому...

Его «вертушка» шла над Салангом, над тусклой бетонкой, над блестящей пенной рекой. Внизу горела колонна. Изогнутая, как позвоночник, составленная из наливников, встала, забив ущелье. Две головные машины чадили, и в жирной копоти колыхалось рыжее пламя. Третий наливник начинал чуть заметно дымиться, все сильней и сильней. Повалил густой дым, и в нем заметался маленький едкий огонь.

С двух соседних вершин, из окопчиков, из-за груды камней впивались в дорогу прозрачные тонкие иглы. Били из засад пулеметы. Сверху сквозь блистеры были видны округлые белесые горы, словно их посыпали солью. Петляла дорога, по которой подкатывала другая, еще далекая колонна. Просматривались позиции пулеметчиков, горящие наливники.

Там водители вываливались из кабин. Падали за колеса, отстреливались из автоматов. Колотилась на открытой платформе зенитная установка, нащупывая слепо пулеметы. Два «бэтээра» шли вдоль обочины, крутили башнями, брызгали бледным пламенем. Передний наливник вдруг взорвался, превратился в слоистую сферу огня, и этот воздушный огненный шар стал подыматься. Расширялся, разрывался, превращался в рыжие космы. И сквозь них виднелись дорога, река, растерзанный, охваченный огнем наливник.

В шлемофоне была слышна какофония схватки. Зовы о помощи, позывные и коды колонны. Вторая «вертушка», отвернув на подлете, громила в близких горах выходящие из засады банды, вереницы стрелков, несущих на плечах базуки, гранатометы, винтовки. И он, командир экипажа, один, без прикрытия, принимал решение на бой. Снижал вертолет. Направлял на гнездовья душманов.

Машина шла с рычанием винтов, вгрызаясь в сухие откосы. Нацелила клювы снарядов, черные пулеметные рыльца на соседнюю гору с белой подковкой окопа, где лежали стрелки. Готовилась рвануть и ударить, соскрести окоп, расплавить вершину, оставить обугленные тела и ошметки. Но с другой, казалось, безлюдной вершины поднялись к вертолету трассы, охватили мерцаньем и вспышками.

Пуля прошла сквозь остекленье над головой у второго пилота, пробуравив дыру, наполнив кабину белым колючим сором. Пробила приборный щиток и, осыпав осколками, ушла сквозь кабину в небо. Вторая пуля, оставив в стекле лучистую щель, пролетела над плечом у борттехника в глубь вертолета и застряла в обшивке, разлохматив шпангоут.

Он увидел перекошенное лицо второго пилота, лучистую дыру над его головой и густые, частые, окружавшие машину пунктиры. Очереди тяжелых пулеметов, разрывные пули и стальные сердечники, отыскивающие в небе его ужаснувшееся сердце.

Положил машину в вираж. Круто отвернул. Сменил высоту. Уходил торопливо прочь от огня, от боя, спасаясь от гибели. Летели над волнистыми, солнечными горами, безлюдными, нестреляющими, в розовом туманном свечении. Второй пилот был бледен, слабо сжимал штурвал. Борттехник покинул кабину, исследовал повреждения в хвосте. А он, командир, переживший испуг, вел машину, слушая клокочущий в шлемофоне эфир в проклятьях, в моленьях о помощи.



Там, на трассе, продолжался бой. Солдаты, пробитые пулями, замирали у спущенных скатов, у тяжелых осевших «КамАЗов». Лопались цистерны с горючим. Водопады огня жгли скалы, стекали в реку, превращая ее в жидкий текущий огонь. И, слыша этот невидимый бой, видя его своим страшащимся сердцем, он разворачивал вертолет. Готовясь к атаке, молил о спасении не красную кнопку пуска, не барабаны, набитые «нурсами», не рокочущий двигатель, а незримую, из тени и света силу, реющую в бесцветном небе.

Низко, на бреющем, огибая в виражах вершины, впился в ущелье. Ворвался на поле боя. Пошел на окоп, выцеливая стрелков, на белые повязки, на тусклую сталь пулеметов. Уклоняясь от трасс, опустошил левую кассету снарядов. Впрыснул в гору черные курчавые смерчи. Видел сплошные взрывы, плавящий плоский огонь. Пролетел сквозь дым. Обезлюдевший окоп дымился рваным гранитом. Одинокий в чалме человек бежал с горы, как горящий масляный факел.

Еще один разворот. Косая отшатнувшаяся гора. Две длинные неровные очереди, шарящие в небе, настигающие его вертолет. Промахнулись, сошлись в перекрестье, разлетелись в бесцветном небе. И туда, где возникли трассы, в амбразуры укрытий, послал снаряды из правой кассеты. Черный косматый букет, красные грязные соцветья. И там, где лопнули, распустились цветы, — искореженные базуки, обугленные патронные ящики, переломанные, разбитые о камни тела.

Он кружил над вершинами, над горящей колонной. Колотил пулеметом, вырезая, выкалывая укрытые в скалах засады. Вторая «вертушка», подоспев, работала в паре. Колонна внизу оживала, огибала горящие наливники, двигалась вниз по ущелью. Он вел вертолет над колонной, прикрывая ее блеском винтов. В скважину блистера, в пулевую пробоину дул в щеку твердый сквозняк.

— Я не верю в ангелов, не верю в божественный промысел! Но что-то ведь есть, отец!..

Они стояли, сын и отец, посреди пшеничного поля. Одинокий дуб чернел, голубел вершиной. Собиралась гроза. Тяжелая туча оседала, клубилась, глотала солнце. Перекатывала в чреве глухие раскаты. Дергала ртутной глазницей. Первые капли ударили по плечам, посыпались, взволновали колосья.

Они бежали к дубу. Вместе с ними спешили укрыться под листьями муравьи и бабочки, полевые мыши и птицы. Летели с поля, влетали в вершину дуба, усаживались и стихали, прижимались к веткам.

Они стояли под дубом, шумящим громадной листвой. Ливень, темный, клокочущий, проливался из неба. Цеплял за крону огромными трескучими крючьями. Старался сдернуть, сорвать. Били молнии. Падали в пшеничное поле. Дергались яркие синие жилы. Катались в колосьях слепящие голубые шары. Сын боялся, дрожал. Он, отец, прижимал его, заслоняя от тяжелых, пробивающих крону капель. Чувствовал спиной, затылком их удары. Знал — этот ливень, небесный гром и огонь не убьют их. Ниспослан во имя них. Связан с жизнью, с преображением мира. И могучее древо, хлюпающее, отяжелевшее, наполнено живой влагой неба. Кропит их, отца и сына, своей жизнетворной силой.

Буря кончилась. Туча, оскудев, оставив в дереве ливень, отлетела за поле. Колосья опали, дымились. С веток непрерывно лились ручьи. И на первое солнце, на первый блеск полетели из дуба птицы. Брызнули в разные стороны. Наполнили небо сверкающими быстрыми стаями.

— Человек должен быть понят, отец! Глубоко понят! Мы понимаем машину. Понимаем вертолет. Понимаем реактор. Не понимаем одного — человека! И ему, непонятому, загадочному, отдаем в управление машину. Отдаем боевой вертолет. Отдаем клавиатуру реактора. Как же так? А если в нем под человеческим его обликом дремлет злое животное? Или трусливая тварь? Или тупое древовидное диво? И он ненавидит, боится, стремится истребить и разрушить? Как можно ему доверить кнопку

управления реактором или гашетку пулемета, или поставить во главу министерства, или города, или страны? Он разорит, взорвет, уничтожит! Не бомбы взорвут — человек! Его, человека, нужно высветить, нужно понять и открыть! Самое большое, предстоящее в мире открытие — это открытие человека! Ты согласен со мной, отец?..

Его первый полет в Чернобыль. Он прибыл в Киев на военный аэродром с группой летчиков. Их поджидал вертолет, и первое, что он заметил, усевшись на пассажирское место, — двойные листы свинца, выстилавшие пол кабины и сиденья пилотов. Слой радиационной защиты.

Вертолет пролетел над Киевом, над зелеными кущами, над зеркальной гладью Днепра. Из дубрав пробивались золотые жаркие маковки, подымались храмы — белая Лавра, Святая София. Золотые лучи куполов возносились к вертолету. Он чувствовал, как пролетает сквозь их сияние. Древний город облучал их прозрачным золотом, напутствовал, освещал.

Вертолет проходил над белыми селами, хлебными нивами, нитками шоссейных дорог. Он с высоты ощущал, что внизу, на земле, неладно. Дороги были пусты, луга зеленели без стад; нивы без тракторов, села с безлюдными дворами и улицами. Там, на солнечной, нарядной земле, была беда.

Борттехник уступил ему место. Сквозь застекленные клетки кабины он видел туманную даль, проплывавшие леса, водоемы. И из этой солнечной дымки выдвигались, возникали бруски, цилиндры, полосатые трубы, ребра конструкций. Атомная станция грозно дышала туманом, и казалось, вертолет был захвачен ее дыханием, втягивался в тусклое марево.

Он увидел, как стрелка радиомера на приборной доске дрогнула, оторвалась от нулевой отметки, заскользила. Понял, что тусклое пепельное солнце, рыжий массив погибшего леса, водная гладь с неподвижной солнечной рябью, многоугольная махина станции с красно-белой полосатой трубой — все пронизано невидимой радиацией. Тончайшие смертоносные лучи уже пронзили вертолет, проникли сквозь клепаный пол, обшивку, одежду людей, вонзились в их плоть, убивают, истребляют кровяные тельца, и это убийство бесшумно, неслышно. Лишь колеблется стрелка на циферблате, отмечая уровень смерти. Ему, прошедшему Афганистан, видавшему гибель, направлявшему вертолет на разящие пулеметные очереди, одолевавшему страх и смятение, ему стало вдруг страшно. Оцепенело, бессловесно смотрел на разрушенный блок. Провалившийся, рухнувший кратер, как дупло прогнившего зуба. И из черной дыры, окруженной ядовитым туманом, летели в вертолет бессчетные истребляющие лучи.

— Я приблизился к главному в нашем разговоре, отец. Готовился к нему. Много раз сам с собой проговаривал. Ты позволишь сказать? Не будешь на меня в обиде?..

Какая обида, одно только счастье — возможность быть вместе с сыном. Как в тот давний, им отпущенный день.

В сумерках на берегу реки разводили костер. Сын, упираясь, цепляясь, подтаскивал тяжелые ветки. Он, отец, ломал их с треском, подбрасывал звонкие, сухие дровины. Окружил ладонями веточку хвои, защитил от дуновений реки, от близкого леса, сырого луга с черным клеверным стогом. Сын поднес огонек. Оба в четыре ладони, сберегая слабое пламя, смотрели, как перебегает оно на другие хрупкие ветки. Дули, наклоняли лица, вдували в костер свое дыхание. Красный огонь уходил в глубь костра, свивал себе гнездо, ворочался в нем, увеличивался, подымал сквозь ветки крылья, хвост, гребень. И вот уже треск, свет, искры. Осветилась река, осветилось темно-синее небо. Они сидят с сыном плечом к плечу, смотрят на большой горячий огонь, живой, древний. Следят за его колыханием. Колышутся вместе с ним. И чудится: из костра доносятся чьи-то древние бессловесные песни, смотрят родные бородатые лица. И оба они, отец и сын, вышли из этого древнего племени. В него и уйдут, когда прогорят трескучие ветки.

— Нет, отец, не подумай, я не предъявляю тебе счет. Это не упреки сына отцу. Мы, сыновья, не предъявляем свой счет отцам! Но ведь вы, отцы, сознательно конструировали мир, в который нас народили. Ты его строил по образу своему и подобию. И не было у тебя и тени сомнения, что строишь не так. Вы думали, что строите рай земной и населите этот рай нами, вашими детьми. А когда населили, этот рай вдруг превратился в поле боя, в поле голодной смерти, в поле катастроф и аварий. В огромный тупик, куда вы нас затолкали. Ваша цивилизация, как подводная лодка, у которой проломлен борт. А вы все гоните, гоните эту гиблую серию, не снимаете ее с производства! Но я не упрекаю тебя, отец, нет...



Тогда в Чернобыле их эскадрилья работала на дезактивации станции. Вертолетная площадка разместилась на травяном выгоне у лесозащитной полосы. С трубным ревом, распластывая небо винтами, садились тяжелые транспортные вертолеты, громадные, как слоны. Из тополиных зарослей, подскакивая на ухабах, мчались грузовики с цистернами, окружали веером вертолет. Солдаты подключали шланги, качали в вертолетное чрево липкую, клейкую жижу. Махина взмывала и, сбрасывая жирную копоть, уходила к станции. Разбрызгивала жижу в районе четвертого блока, склеивала, скрепляла, стягивала пленкой радиоактивную пыль, не давала ей развеяться.

Днем ожидалась пылевая буря. Все машины — тяжелые транспортные и те, огневой поддержки, на которых летал он сам, были брошены к станции. Поливали зону реактора.

Он подымал вертолет, неся на тросе контейнер с «липучкой», достигал строений станции, облетал полосатую трубу, плоскую кровлю машинного зала. Обходил стороной разрушенный блок, видя сверху черную, окруженную пеплом и мусором дыру, перекошенное взрывом ребро осевшего реактора. Над реактором слабо туманился воздух. Горела, варилась, кипела сталь. И в воздух, к вертолету, излетали металлические ядовитые испарения. Вертолет продвигался в отравленном небе.

Он знал: внизу день и ночь шла кромешная работа. Под реактором шахтеры долбили туннель, строили фундамент, подкладывали под урановую головню бетонную подушку. Солдаты войск химзащиты, напялив балахоны и маски, кидались в машинный зал, выметали, вытаскивали осколки. Ползали по ядовитой земле «бэтээры» и танковые бульдозеры, сдирали отравленную почву, увозили в могильники. А он, вертолетчик, помогал им из неба. Опустошал над промзоной контейнер.

В стороне, эшелоном ниже, шел тяжелый вертолет, выделяясь пятнистым телом на белых строениях станции. Из него проливалась, опадала грязно-коричневая струя, орошала железнодорожные пути, брошенные краны и экскаваторы, пепельно-серую, в тусклых блестках землю, где уже подымался ветер, гнал колючую пыль.

Он опустошил свой контейнер, «отбомбился» и делал разворот над реактором. Зиял черный кратер. Торчало стальное ребро. Дышал ядовитый туман. Несся из зева, наполняя собой мир, окутывал рощи и нивы, впитывался в синие реки, оседал на белые хаты, на золотые главы церквей. Долетал до Москвы, втягивался в переулок с ампирным особнячком, у которого прошло его детство. Просачивался в квартиру, где мать ставила чашки на стол. В Третьяковку, где висела его любимая картина «Гонец» — древняя ладья на реке. Кратер зиял чернотой, был провалом вглубь, в преисподнюю, в незримые угрюмые сферы, из которых излетали все беды, все войны, все болезни, все мировое зло. И он, вертолетчик, был готов направить машину, кинуть ее в зев реактора. Закупорить собой дыру, вбить в нее кляп, перекрыть горловину, из которой изливалась беда.

В полдень разразилась пылевая буря. Вместе с другими пилотами он сидел в палатке, задраив все щели. Свистело, шелестело, овевало пылью брезент. Ему казалось: реактор сеет смерть по земле. Из каждой пылинки, из каждой отравленной споры прорастет и взорвется новый Чернобыль.

— Я не упрекаю, не предъявляю тебе счет, отец! Но все же, но все же!..

Дронов слушал сына. Того мучили вопросы о смысле жизни, о назначении человека, о причинах заложенных в мире несчастий. Сын был свидетель катастроф, их участник. А отец, по мнению сына, был их виновник. И им предстоит объяснение, предстоит долгий на всю ночь разговор, быть может, резкий и горький. Но только не теперь, не сейчас. Не спугнуть бы видение того давнего дня. Прожить его весь, до конца.

Их костер прогорал, тлел, дергался жаром. Пылали лишь крупные

ветки. Они сделали три корабля, три еловых полена. Укрепили на них три горящих светильника. Осторожно спустили в реку. Первый светильник был он, отец, второй — мать. Третий — сын Алеша. Пустили их по воде. Ночная река медленно подхватила огни, отражала, плавно влекла. Все дальше и дальше в ночь, в черно-зеркальном потоке. Первым потух головной огонь — потух он, отец. За ним догорела мать. Третий светильник долго краснел, колыхался, уплывая один. Потом и он догорел и исчез. И там, на темной реке, где догорели светильники, тихо засвистала ночная птица.

— Ведь, в сущности, вы — инженеры, стратеги, политики — сконструировали эту жизнь по собственным меркам. Вы рассчитали и построили эту оболочку, не имея достаточных знаний. А в ней вдруг обнаружились дыры, и мы, ваши дети, затыкаем их своими телами. Мой дед, твой отец, заткнул дыру своим телом. Погиб, но передал тебе в наследие мир, в котором ты мог жить, расти, действовать. А вы нам отдаете в наследие мир, который весь в дырах, в авариях. И мы, как наши деды, затыкаем их своими телами. Ты об этом не думал? Вы об этом не думаете? У вас власть, рычаги управления! Вы должны это осмыслить этически!

В первые дни ранения он лежал в медсанбате с обожженной грудью, с пробитой осколком рукой. Рядом на койке под капельницей умирал капитан-десантник. Разрывная пуля попала ему в живот, страшно разворотила нутро, и только богатырское здоровье, молодая, не желавшая умирать жизнь продлевали его часы. Он метался в бреду, вел управление боем, и среди команд и приказов, солдатских имен и фамилий вместо сквернословия он то и дело повторял: «Се ля ви!»

— Харламов, Харламов, прикрой! Я по арыку пошел! Се ля ви... Гафуров, куда же ты прешь? За дувал, се ля ви, за дувал!

Он, Алексей, чувствовал, как умирает десантник. Чувствовал боль в руке, липкий ожог на груди. Сам впадал в забытье. Ему казалось: из неба, из бесцветной бездны надвигается огромная паяльная лампа, шумящее рыжее пламя в чьем-то громадном, сжимающем рукоять кулаке. Дующий огненный вихрь приближается из неба к земле. Вот-вот загорятся, вскипят горы, воды, и в земле, как в воске, открывается дыра. Глубже, глубже, до самой сердцевины, вытапливается огненным смерчем. И он, вертолетчик, подымает свой вертолет, крохотное легкое семечко, летит навстречу огню.

Просыпался, прогонял наваждение. Белобрысый десантник под капельницей: «Гранаты, Иванов! Се ля ви!..»

Они лежали с сыном на высоком клеверном стоге. Стог тихо звенел, шуршал. В нем шло копошение, движение. Быть может, мыши прорыли в нем свои норы, сновали среди блеклых стеблей. Или спрятались кузнечики, бабочки, дневные птицы. Стог был домом для бесчисленных тварей, и они, отец с сыном, лежали на крыше этого дома, и над ними мерцали, дышали, медленно текли белые дымные звезды. Сыновняя рука была в отцовской руке. По ней, неслышное, переливалось тепло. И они вдвоем смотрели на другие сиявшие над ними миры. Гадали, есть ли там жизнь, ведомо ли ей, удаленной, их земное бытие. Видны ли ей, этой жизни, они, сын и отец, лежащие на клеверном стоге.

И вдруг в глубине небес из крохотной вспышки зародилось сияние. Опустилось на землю бесцветным шатром, прозрачное, невесомое. Одело близкий лес, кусты над рекой, клеверный стог, их, на стогу лежащих. Медленно двигалось, будто чье-то прозрачное крыло задело землю, пропускало ее сквозь оперение. Погасло. Они лежали молча, счастливо. И отцу казалось: близкое сыновнее лицо окружено серебристым сиянием.

— Вы несете ответственность! — выговаривал сын, оборачиваясь к нему, ожидая отпора. И сам наступал, резкий и требовательный. — Вы имеете реальную власть, имеете жизненный опыт. Вы еще не старики, еще у кормила! Так используйте свою власть и влияние для развития новых идей! Поставьте в центр всего человека! Его человеческий идеал, его высшую цель, связанную с любовью, с бессмертием. Внесите в эту железную оболочку лампаду. Созовите на совет всех мудрецов, всех пророков. Пусть они выскажутся! Пусть выскажемся мы, ваши дети! Мы тоже кое-что уже видели, кое-что знаем о мире. Я добуду истину, вот увидишь! Произнесу мое слово! Ты веришь? Веришь в меня, отец?



### *Глава двадцать пятая*

Среди дня к Дронову пришел Горностаев. Оживленный, любезный, разделся в прихожей, извиняясь, что потревожил начальство во время «уикэнда».

Вера Егоровна поднялась навстречу. Горностаев поцеловал ее руку чуть старомодно, чуть насмешливо.

— Ну уж и задали вы мне работу, Лев Дмитриевич! — строго сказала Вера Егоровна. — Что могла, то и сделала!

Она подвела его к столику, где, накрытая белой тканью, лежала икона. Убрала с нее ткань. Ярко, многоцветно, сочно засветилась доска — алым, золотым, нежно-голубым.

Мчалась конница. Топорщились шлемы и копья. Развевались плащи. Город над стенами вздымал купола церквей. И навстречу атакующим всадникам летели лучи, как длинные лезвия, рассекали коней, воинов, прожигали кольчуги и шлемы. И загадочный, белый, светящийся, похожий на медузу собор парил меж землей и небом. Из него, из глав, куполов, из белых кипящих чаш, вырывались лучи, истребляли конную рать. И над всем, словно полог шатра, были отдернуты облака, и из солнца, из синевы, из звездного неба опустились божьи персты, указуя на битву. Тонкими, стертыми золотистыми буквами пролегала надпись: «Сеча бысть с неведомой ордой...».

Горностаев смотрел на икону. Любовался, испытывал неясную, похожую на муку тревогу.

— Икона редкая. Можно сказать, небывалая. Нигде и никем не описанная. Уж не знаю, как она у вас оказалась. — Вера Егоровна строго выговаривала Горностаеву. Наклонялась к иконе, и тогда в глазах ее исчезала строгость и появлялось долгое, нежное, хмельное выражение. — Должно быть, какой-нибудь апокриф. Какой-нибудь местный миф, местное предание, местный мастер. Во всяком случае, в музеях, в запасниках нет таких. И очень жаль. Она бы украсила любую коллекцию.

— Я как раз вам хотел сказать, Вера Егоровна, — Горностаев улыбался ее строгому тону, ее назиданиям, укоризнам, — хотел подарить эту икону в музей. Не знаю в какой. Может быть, в Исторический? Если не возражаете, я передам ее вам, а вы уж распорядитесь ею. Или в Исторический, или в Музей Рублева. Я ее просто вывез из деревни, где она должна была сгореть или попасть в руки какому-нибудь добытчику. Ходят здесь, слоняются по брошенным деревням, а потом где-нибудь в Мюнхене или в Нью-Йорке всплывает. Так что вот, дарю!

— Это правда, Лев Дмитриевич? — восхитилась Вера Егоровна. — Валя, ты слышишь? — обернулась она к Дронову. — Лев Дмитриевич отдает икону в музей! А я, грешным делом, подумала нехорошо о вас. Вы простите меня, Лев Дмитриевич. Я передам ее в фонд Исторического музея, и там будет написано, что это ваш дар, ваш вклад!

— Да зачем же? — тихо смеялся Горностаев. — Имя мастера неизвестно. И имя вкладчика неизвестно. Добрые дела без грома, без звона творятся.

— Как вы правы, Лев Дмитриевич. Валя, как он прав! Какой он умница! — Вера Егоровна взяла Горностаева за руки, пожимала их жарко.

Пили чай, и за чаем Горностаев расспрашивал Алексея о настроениях среди военных, готовящихся к «глобальному разоружению», о московских интеллигентских кружках, где бывал Алексей, где бурлят идеи и страсти.

После чая Горностаев и Дронов перешли в кабинет. Уселись на диван. Вновь перешли к делам строительства, к станции, чья близость и мощь не позволяли мыслям отлетать от нее. Станция своей гравитацией возвращала их в свое могучее поле.

— Я хотел вас просить, Валентин Александрович, — произнес Горностаев небрежно, мимоходом, устало, завершая беседу, приберегая свою пустячную просьбу на конец разговора. — Хотел вас просить: отдайте распоряжение убрать экраны «Вектора». Снять их со стен, не весь «Вектор», а экраны. Оставим Фотиеву его бумажки, пусть с ними возится, шелестит. Но экраны следует убрать. Об этом вас хотел попросить.

— Почему? — изумился Дронов. Вспомнил, как утром разглядывал

аккуратные, развешенные листы ватмана, похожие на турнирные таблицы. Имена начальников управлений и трестов. Свое собственное имя. Выставленные за недельную работу оценки. Тройку напротив своей фамилии.— Почему погасить экраны? Какой же смысл «Вектора» без экранов?

— Может, и с экранами в нем никакого смысла, не знаю. Но с экраном, это понятно всем, он превращается в средство дискредитации руководства. В частности, он наносит ущерб вам, Валентин Александрович, вашему престижу на стройке. Эти постоянные черные значки напротив вашей фамилии, эти двойки и тройки, конечно, это смешно и наивно, игра в среднюю школу, в «дочки-матери», но люди начинают поговаривать, что во всех неурядицах стройки повинно высшее руководство. Повинны мы с вами. Это затрудняет работы. С инженерно-техническим составом я еще могу ладить, но вот вчера перед экранами стояла группа рабочих, и вы бы послушали, что они говорили! В частности, и о вас, Валентин Александрович. А с рабочим классом шутить не стоит.

— Да бог с ними, пусть говорят! Тем более что они правы во многом. Многие огрехи происходят по нашей вине. «Вектор» мне кажется весьма полезным. Проясняет картину, выявляет узкие места, направляет наши усилия точно по адресу. Разве нет? Ведь вы сами говорили, что «Вектор» активизировал штаб, дал ощутимый эффект на высшем этаже управления. Фотиев, я слышал, хочет внедрить свой метод в бригады, и там, по его утверждению, метод заработает в полную силу. Ну и пусть внедряет. Ради бога. Зачем препятствовать? Вы ведь сами ратовали, сами его за руку привели на стройку.

— Привел,— согласился Горностаев,— за руку. Он мое детище. Я помог ему в разработке и внедрении. Устранил вопиющие нелепости, кустарщину дилетанта. И я вам объяснил, для чего это делал. Нам нужно было успокоить Кострова, успокоить прессу, успокоить министерских демагогов. И мы это сделали. Они спокойны. И этот «Вектор» — эта елочная игрушка перестала блестеть. Она не нужна. Так снимем ее! Фотиев у некоторых порождает иллюзии. В нем видят выразителя новой экономики, новой социологии и политики, нового, как мы изящно выражаемся, мышления. А в нас, кого он поносит, видят ретроградов и обскурантов, сторонников «силового управления», конструкторов, как модно теперь говорить, «механизма торможения». Ну для чего нам это нужно? Эффект управления последнего месяца был достигнут не в русле «Вектора», а благодаря нашим с вами бессонным ночам, нашему с вами надрыву. Мы протянули стройку сквозь узкое место, протолкнули верблюда сквозь игольное ушко, и теперь верблюд несколько недель будет идти спокойно, а потом опять упрется в иголку, и снова наши с вами бессонные ночи, будем обрывать телефоны, стучаться в медные лбы наших субподрядчиков. Вы же знаете, Валентин Александрович, в этом дело, а не в пятерках и двойках, выставляемых этой новоявленной классной дамой в плохо проглаженных брюках!

Горностаев негромко, но засмеялся, и Дронов удивленно посмотрел на него, стараясь понять этот тихий, недобрый смех, стараясь понять своего заместителя, умного, преданного, деятельного, кому доверял, на кого полагался, кого взращивал подле себя, себе на подспорье и смену.

— А вы думаете, Лев Дмитриевич, что, побуждая меня отдать распоряжение о «Векторе», вы толкаете меня на недемократический шаг? Вдвойне недемократический, если учесть, что «Вектор», как вы его представляли, есть воплощение демократии! Форма демократизации управления. Что подумают люди? Что почувствует коллектив?— Дронов спрашивал, домогаясь не ответа, а стремясь понять Горностаева. Выявить, определить, зафиксировать промелькнувшую между ними частицу, темную, разрушительную, угадать в Горностаеве истинного, сокрытого человека, заслоненного внешним привычным образом партнера, помощника, обремененного, как и он, Дронов, единственной заботой — о стройке.

— Валентин Александрович, вы шутите? Какая здесь демократия? Бумажка, пепифакс. Неужели наши люди поверят в эту бумажную демократию? Наши-то люди, энергетики? С дубленой кожей, шерстью заросшие, битые-перебитые? Мы с вами?

— Что скажет Фотиев, которому я обещал поддержку? — настойчиво спрашивал Дронов. — Что скажут Костров и Евлампиев?



— Евлампиеву и Кострову я объясню, партия нас поймет. Лишь бы нам не выпасть из графика. А мы и не выпадем! Фотиев требовать объяснения не будет. Оставим ему шелестящие бумажки, пусть радуется, на хлеб зарабатывает. Завтра я распоряжусь убрать вагончик, стоит на дороге, мешается. Прикроем лавочку,— и конец!

— Мне непонятна ваша настойчивость, Лев Дмитриевич! — допытывался Дронов.— Если это для вас пустяк, почему вы так настойчиво и подробно об этом думаете?

— Хорошо, я вам признаюсь, Валентин Александрович,— доверительно, как бы сбрасывая маску, с выражением полного откровения говорил Горностаев.— Зачем мне лукавить, да еще перед вами? Перед тем, кого почитаю и, простите за признание, люблю. Я опять сегодня разговаривал с Москвой, с любимым дядюшкой, и он мне успел сообщить... Знаете, такая малюсенькая утечка секретной информации для всеобщего пользования. Он мне сказал, что уже заготовлен приказ о вашем переводе в Москву, на место глубокоуважаемого и безвременно ушедшего от нас Афанасия Степановича. Вы знаете, он был другом отца. Я его искренне любил и ценил. Так вот, его место займете вы. Это логично и неизбежно. Кому же еще, как не вам! И так же логично и, уж вы извините за откровенность, неизбежно мне занять ваше место на стройке. Я начал думать об этом. Мне завершать строительство второго блока. Мне его пускать. Мне идти на аврал в последние предпусковые недели. И я хочу максимально использовать авторитет руководителя, достающийся мне от вас... Максимально его использовать в эти критические предпусковые дни. «Вектор» мне мешает. Эта глупость мне мешает. Эта болтовня и демагогия мне мешают! Этот болван мне мешает!

Истерика, надрыв почудились Дронову. Утренний звонок министра становился все более понятен, и Горностаев, видимо, прав: ему, Дронову, место в Москве, в министерстве. Ему после всех кочевий и строек время вернуться к оседлой жизни, к жене, к сыну, к любимой Москве, а Горностаеву с его жаром, энергией, с его пониманием стройки,— место здесь, в Бродах. И его заместитель прав, готовясь на первые роли. Прав, примеряясь к стройке. Особенно в новые, наступающие времена, непредсказуемые, таящие в себе непредвиденное, возможность провалов и срывов, неудержимых, неведомых прежде процессов. Горностаеву работать в новых режимах. И он вправе позаботиться о своей будущей роли. Вправе утверждать свои взгляды и принципы.

Все было так и не так. В этой понятной логике оставалось нечто неясное. Та промелькнувшая, жестоко ударившая частица. Ее природу хотел понять Дронов.

— Вы правы, Лев Дмитриевич. Если уж мне и отдавать кому-нибудь стройку, так это вам. Вам ее брать. Но все же подумайте, люди, подобные Фотиеву,— порождение нового времени. Они нужны. Их идеи нужны.

— Вздор! — нелюбезно, резко перебил Горностаев.— Они порождение всех времен! Они пена любого процесса. Это пузыри, излетающие из любого процесса!

Дронов вновь изумился яростному отрицанию, которое обнаружил Горностаев. Видно, «Вектор» не был для него пустяком. Фотиев не был безобидным для него человеком, был враг, был противник. И хотелось понять природу вражды.

— Когда тонет огромный корабль, из него исходят пузыри. Тонны пузырей из тонущего, уходящего на дно корабля. Я их ненавижу, люди-газы, ядовитые газы. Они проникают во все щели, разлагают, разрушают, истачивают. Когда конструкция рушится и корабль идет на дно, газы излетают, спасаются, пузырями идут на поверхность, вскипают пеной! Фотиев — человек-пузырь. Их много теперь, подобных. Говорят, язвят, убеждают, разоблачают, растаскивают по песчинке. А в результате — хаос, катастрофа, и нам с вами, оплеванным, нам откачивать воду из трюмов, латать в бортовине дыру величиной с континент. Фотиева надо устранить как можно скорее во имя его же блага. Его первого сметут, первого растопчут. Ему надо скорее заткнуться, чтобы уцелеть. И бежать, спасаться, пока не поздно! Закроем его «Вектор», и ему же лучше.

Жестокие картины чудились Дронову в речах Горностаева, жестоким было его бледное красивое лицо. Жестокость знающего, думающего чело-

века. И Дронов испугался этой силы и этого знания, этой знающей, умной жестокости.

— Время кризисов порождает романтиков! Добро бы в литературе и музыке, там они безвредны, даже полезны. Но горе, если мы попадем под власть романтиков от политики, от экономики — тогда нам конец. Благие пожелания всему человечеству без базисных знаний о реальном человечестве. Благое стремление спасти весь мир разом, без фундаментальных знаний об этом мире. Все это приводит к ужасным последствиям. Вы помните, как нам обещали земной рай через двадцать лет? Безусловное опережение Запада во всех областях развития? Ненужность границ и армий? Вы помните, как распиливали линкоры, как погубили первоклассный, лучший в мире бомбардировщик Мясищева? Как раскрыли девять тысяч километров границы? Где они, эти романтики? Будь они прокляты! Нам, прагматикам, пришлось расплачиваться за их романтизм. Удерживать соперника в небе, в океане и в космосе. Восстанавливать в страшных усилиях границу. И бежать, бежать, задыхаясь, вслед за Америкой и Японией, чтоб они не скрылись за горизонтом. Бежать так, что лопались сосуды в глазах!

Глаза Горностаева покраснели, налились кровью. Дронову казалось, что лопнул, взорвался в его голове сосуд, затопило лицо красной горячей ненавистью.

— Фотиева надо защитить от него самого. А нас защитить от него. Пока не поздно. Пока не задвигались материки. Материки сорвут якоря и пойдут дрейфовать. Многое повалится, многое погибнет, и нам с вами, нам ставить новые якоря, останавливать материки. Потому что мы-то, слава богу, знаем геологию! Мы-то знаем конструкцию мира! Мы знаем, как устроено государство, устроено хозяйство, устроены экономика и военное дело. Мы не бюрократы, как они хотят нас представить. Не паразиты, как они нас шельмуют. Не воры, как хотят они нас опорочить. Мы государственники. Собрали в себе колоссальный опыт строительства, управления, обороны, преодоления кризисов. Мы управленцы, соль земли! На нас, на нас стоит государство. И нас, именно нас, они хотят уничтожить. Да не нас, а само государство! Его хотят уничтожить... Не дадим! Не позволим. Встречный удар!.. Наотмашь!.. Я не сталинист, не подумайте! В моем роду много жертв, много мучеников Гулага. Но я остаюсь государственником. И эту мразь, эту плесень, эту кислую романтическую накипь буду уничтожать. Наотмашь... Наотмашь!

Это напоминало истерику. Но было не истерикой, а мгновенным исходом накопившейся скрытой энергии. Дронов, пораженный, смущенный, будто впервые видел своего заместителя, пугался его.

— Алеша прав, — продолжал Горностаев, — ваш сын, Алеша, прав. Эти дыры, эти бреши придется нам затыкать своими телами. Как в Чернобыле, как в Афганистане! Так не будем же детьми. Не будем наивными! Будем тверды и последовательны. Я прошу, я настаиваю, Валентин Александрович, закройте «Вектор»!

В его словах была сила, были воля и власть. Он, Дронов, был еще начальник строительства, в скором будущем — замминистра. Но у Горностаева, у его заместителя, были воля и власть. В близком, в грозном, наступающем времени он, Горностаев, был хозяин. Видел, понимал это время. И не было у Дронова сил бороться, взять на себя это время. Принять участие в кромешной предстоящей борьбе, готовой разразиться среди этих котлованов, моторов, яростного многолюдья.

— Вы действительно так озабочены проблемой «Вектора»? — спросил он устало.

— Да, озабочен!

— И вами движет только принцип? Только принципиальные соображения?

— Только они!

— Я не могу запретить «Вектор» без согласия коллектива. Если вы принесете мне докладную за подписью участников штаба, я, ссылаясь на эти подписи, закрою «Вектор».

— Ну конечно же, Валентин Александрович! Конечно, принесу докладную. Конечно, ссылаясь на подписи. Мы не станем игнорировать мнение штаба! Это и есть демократия, это и есть коллективная воля.



Он поднялся и стал прощаться.

— Подождите, я с вами, — остановил его Дронов. — Хотел проверить работу на насосах и в дизельной.

— Не нужно, Валентин Александрович. Побудьте со своими домашними. А я поеду на стройку, все проверю, дождусь приемной комиссии. В двадцать четыре часа они обещали принять. Я вам позвоню. До свидания.

И вышел, оставив Дронова с чувством неясной вины, неправого, им совершенного дела.

Горностаев, легкий, веселый, сосредоточенный, одержав победу, шагал по городу. Совершал «круг почета», так называл он свою прогулку, прежде чем сесть в машину и отправиться на станцию. Составлял в уме докладную. Спокойная, холодная лексика. Сдержанные аргументы, подписи самых деятельных, самых уважаемых производственников.

Менько — его подпись добыть несложно. Лист положи — и подпишет. Трус, сломанный, зависимый человек. Умница, отличный работник, но раб до гробовой доски. Верный служака, будет отрабатывать. Только свистни — прибежит. Горностаев видел листок докладной и подпись Менько.

Язвин — и этот подпишет. Циник, на все наплевать. Сибарит, живет в свое удовольствие, не станет вступать в конфликт с будущим начальником стройки. Ухмыльнется, дохнет на перстень и подпишет листок. Вот она, подпись Язвина.

Лазарев — честолюбец, интеллектуал. Ревнует к Фотиеву, к его внезапной известности. Поговорить с ним о летающих блюдцах, о телекинезе, тонко польстить, пообещать награду, орден после успешного пуска, и подпись в кармане. Нервная, с вензелем подпись Лазарева на листке докладной.

Накипелов — мужлан. Трудяга, упрямец, что в голову взбредет, трудно выбить. С ним придется повозиться. Где обмануть, где посулить, где прикрикнуть, обосновать высшими интересами дела. Что-нибудь о народе, о Родине. И подпишет как миленький. Вскипит, возмутится, но подпишет.

Евлампиев — дело решенное. Партнер, товарищ. Вместе после ухода Дронова расхлебывать стройку, расхлебывать в новые времена. Партия будет за нас. Евлампиев подпишет бумагу.

Горностаев шагал по мокрым, отливающим синевой тротуарам, мысленно перебирал работников, листал их досье, где были занесены проступки, слабости, черты характера. Пользовался этими досье, добывая подписи.

Город под бледным солнцем сочился, блестел, выступал из сугроба, плескался лужами, разноцветно сиял. Горностаев знал город, каждый его камень, каждую ступеньку, каждое цветное стекло в витраже. Его шелестящие по лужам автобусы, его фасады с мозаикой, не успевшая поблекнуть новизна, молодой, энергичный люд — он любил этот город как свое детище, гордился им, испытывал чувство творца, счастливое чувство господства. Город был его, такси на асфальтовой улице — его, толпа в магазине — его, молодая чета с ребенком — его. Он, Горностаев, возвел этот город на месте гнилых болот и осинников. И будет возводить и устраивать дальше, используя свою волю, свое умение и власть на благо города, населяющим его людям.

Проходил мимо дома, где жила Антонина. Ее высокое знакомое окно. Там, за окном, ее зеркало, голубая стеклянная вазочка, флаконы духов, снятые кольца и бусы, рассыпанные заколки. Милая, уютная, дорогая ему комната.

Горностаев испытывал неимоверный порыв подняться, зайти, увидеть ее, обнять. И следом — больное, острое, унижающее воспоминание. Отвращение к себе, к ней, к нему, виновнику этого отвращения и унижения. Одолевал свое чувство, вгонял его в тесный круг своего замысла. Город — его. И она — его. Она вернется к нему непременно. Она зависит от него, нуждается в нем. И тогда, когда она вернется, он расквитается с ней. Нет, не жестоко, не как победитель, не как властелин. Но заставит ее опомниться, понять, что он пережил в это время. Какую боль, какой урон она ему причинила.

Он проходил стеклянную витрину, где был выставлен манекен — дева с золоченым лицом. И это лицо было изрезано, избито, изуродовано, наспех закрашено коричневой грязной краской. Зрелище изрезанного золотого лица не отвратило его, а вызвало неясное, неосознанное удовлетворение.

Шагая, Горностаев увидел перед собой человека. Его вид, его походка привлекли внимание. Горностаев не видел лица, только спину, но и со спины чувствовалось в человеке нелепое, неуверенное, больное. Нахлобученная, с опущенными ушами шапка, добротная, с кожаным верхом, но неуместная в этот солнечный день, когда иные шли по улице с непокрытыми головами. Пальто, тоже добротное, новое, колоколом стояло на тучном теле. Походка была шаркающей, нервной, войлочные боты шлепали по лужам.

Горностаев обогнал, обернулся и все понял. Полное, с прозрачным румянцем, толстогубое лицо дебила смотрело на него водянистыми голубыми глазами. Руки прижимали к груди кулек. Он шел, машинально переставляя ноги, что-то шептал, и прозрачный жир на его щеках колыхался.

Горностаев испытал сложное, из брезгливости, любопытства, мучительного влечения, чувство. Видимо, дебил направлялся в Старые Броды, где помещалась клиника для душевнобольных. Некоторые из них, небуйные, смирные, получали от врачей разрешение выходить в город.

Горностаев задержался, пропуская вперед человека. Двинулся следом, продолжая рассматривать его со спины, испытывая все то же неясное, из любопытства и отвращения, чувство. Больная, несовершенная плоть, студенистый, разжиженный разум, бессмысленное ненужное существование делали дебила лишь подобием человека. И это вызвало в Горностаеве сострадание и протест. Его, Горностаева, живой и открытый разум, прочное подвижное тело словно заражались болезнью и слабостью идущего впереди человека. Вовлекались в эту болезнь, обрекались на тупое, сумеречное, животное существование. Стряхивая с себя это наваждение, он буравил жирную спину своим острым взглядом. Толкал его, прогонял, прокалывал ему затылок, мозжечок, гипофиз. Подумал: когда станет начальником стройки, он будет добиваться устранения из города клиники для душевнобольных. Не место в молодом, развивающемся городе этим больным, пусть несчастным, но отвратительным, действующим угнетающе на нормальных людей.

Улица упиралась в дощатый забор с надписью «Объезд». Перед забором расплылась обширная лужа, были кинуты кирпичи, обломки досок, наведены через воду шаткие мостки. Дебил, осторожно прижимая к груди кулек, начал переступать с кирпича на кирпич, шатаясь тучным, неловким телом. Горностаев сзади своим режущим взглядом, твердым разящим лучом уперся в него. Бил, толкал, заваливал в сторону, желая, чтоб тот упал. И тот поскользнулся, потерял равновесие и с тонким, жалобным криком, роняя кулек, упал. Бился, хлюпал, пропитывался грязью, жалобно скулил и взывал.

Горностаев очнулся, ужаснулся своему ненавидящему, несущему несчастье взгляду. Гасил в себе этот взгляд, этот луч. Уходил быстро прочь, неся в душе остывающий синий ожог.

## *Глава двадцать шестая*

Фотиев с братьями Вагаповыми направлялся в общежитие, где была назначена встреча с Накипеловым. Туда же собиралась прийти Антонина. Там же поджидала мужа вернувшаяся из родильного дома Елена. Туда, в общежитие, двигался Фотиев с друзьями по весеннему, мокрому, блестящему городу.

Ему было хорошо, было легко и счастливо той внезапной, не имевшей видимой причины легкостью, молодым, необремененным никакой очевидной мыслью счастьем, когда любишь и благословляешь все, что тебя окружает, весь окрестный мир есть порождение твоей любящей бескорыстной души, а сама душа, исполненная любви, принадлежит не тебе, а светлой безымянной силе, наделяющей ее светом и благом. Такое чувство



испытывал Фотиев, двигаясь по влажным, в трещинах, тротуарам, замечая и радостно откликаясь на всякую малость. Синица прилетела из леса, свистела, скакала по тоненьким веткам молодых, посаженных вдоль улицы деревьев. Проехал автобус, и в солнечном стекле промелькнула борода деревенского деда. Два молодых милиционера прошли, оживленно разговаривая, смеясь, толкая друг друга локтями, забыв, что они на дежурстве. Сквозь дома засветлел нарядными шатрами, деревянными башнями, флюгерами детский городок. На верхнем этаже недостроенного дома мерцала голубоватая звезда сварки. И весь молодой, просторный, раскрытый в поля и леса город был ему дорог и мил. Был его город. В нем, в этом городе, жила его милая, ждала его, знала о нем, думала о нем поминутно, и он чувствовал ее присутствие как незримую светоносную силу, витавшую среди улиц и крыш. Город был населен дорогими людьми, теми, что шли с ним рядом, и теми, незнакомыми, что шагали навстречу. Он их всех любил, всем желал блага. И не было у него врагов. Даже те, кто желал ему зла, тревожил его, посягал на его дело, даже они не вызывали в нем отвержения. Он любил и их и им желал блага.

Он шел, улыбался. Нес в себе это состояние. Не боялся думать о нем, не боялся спугнуть, не боялся, что оно вдруг исчезнет. Знал: оно не исчезнет, оно не только его. Оно пополняется в нем постоянной невидимой светоносной силой, что витает над городом.

Он знал: его дело, его замысел уже присутствуют в жизни, преображают ее, делают лучше, добрей. Люди не ведают о нем, не знают, откуда прибывают добро и благо. И эта неузнанность, безвестность были ему особенно важны и радостны. Он не требовал себе наград и благодарности. Сам благодарил и любил.

В то же время по городу, по соседней улице продвигалась другая компания.

Чесноков и двое его дружков-«бичей», Кусок и Гвоздь, гнали перед собой, преследовали дворничиху Катюху. Донимали ее, окликали, все трое хмельные, веселые, потешались над ней. В руках Чеснока блестела бутылка водки. Не отставая от убегавшей в страхе Катюхи, он целил в нее этой бутылкой.

— Катюха, дай ключ от дворницкой, а то застрелю, выпить негде, пусти, говорю, выпить к себе! Не пустишь — к стенке поставлю!.. Шнеллер, шнеллер! Руссиш швайн! Та-тах-тах! — изображал он автоматную очередь. Щерил желтые крепкие зубы, мотал красным измызганным шарфом, двое других смеялись, а Катюха оглядывалась, чуть не плача:

— Отстань, черт! Чего привязался? Я тебя на порог не пущу, пьянь проклятая! Чего ты ко мне привязался?

— Да не строй из себя целку, Катюха! Не строй из себя комсомолку! Водка наша, закусь твоя, пустишь к себе — полстакана налью. Ты же пускала, Катюха. Ничего для нас не жалела. Помнишь, как платок твой пропили?

— Ворюга проклятый! Бич, пьяница! Когда только тебя в тюрьму упрячут? Извел. Напишу на тебя. Пусть тебя возьмут и в тюрьму упрячут. Не хочу тебя видеть. Чего привязался, отстань! Проходу мне не даешь.

— Потому что люблю, Катюха! Замуж тебя возьму. Брюхо тебе сделаю. Младенчика мне родишь, хорошенького, масенького, с хвостом и с двумя головами. Я специально в Чернобыль ездил, чтобы такого родить. А что, сразу двойня! Одно тулово и две головы! — Он хохотал, пытался ее обнять. Она отбивалась. Двое других громко ржали. Кусок в гоготе блестел металлическими зубами.

— Да ты не отворачивайся, дура! Счастье свое пропустишь! Кому ты нужна-то, чурка такая, кроме меня-то? Зимой с ломом колотишься, аж ноги кривые стали. А летом с метлой, вся в грязи! С помелом, как баба-яга. Посмотри на себя-то, страшна, как баба-яга! А я тебя и такую возьму. Бутылку разопьем, свет погасим, и красивее нас нет никого!.. Правильно я говорю, мужики? Ну давай ключ, а то силой отнимем. Где ты его, в трусах, что ли, прячешь?

Они вышли на перекресток, где сходились две улицы, стоял дощатый забор с красной надписью «Объезд». Перед забором, преграждая дорогу, растекалась обширная лужа. Долговязый Гвоздь первый прошлепал по доске, по кускам кирпича. Остановился на одном из обломков посреди гря-

зи. Катюха, успев преодолеть половину лужи, остановилась, шатко закачалась на кирпиче, окруженная со всех сторон водой. Чеснок прыгнул на доску, преградил путь к отступлению. Шлепал водой, нагонял на стоптанные Катюхины башмаки водяные волны. Гоготал, брызгал.

— Вот ты и попалась, Катюха! Вот мы тебя сейчас и макнем! Отдай лучше ключ, а не то нахлебаешься! Не будь ты сукой, Катюха! — Чеснок, видя, как она боится, начинает кричать, качаться на шатком своем островке, хлюпал доской все сильнее. Наслаждался ее мукой и страхом, свирепея, поливал ее замусоленное пальто жирной грязью. А она посреди лужи закатывалась хриплым криком и плачем:

— Помогите! Что он ко мне привязался? Помогите же кто-нибудь!

Такими ее и Чеснока увидел Фотиев, выходивший с друзьями на перекресток.

Кинулся на зов о помощи, на женский крик. Зрелище плачущей, обижаемой женщины затмило свет. Он испытал мгновенную муку, внезапную слепоту.

— Что ты делаешь? Оставь ее! — бросился он к Чесноку. — Зачем ты на нее брызгаешь грязью?

Ему показалось, что он уже видел где-то и этот красный замызганный шарф, и желтые ощеренные резцы, придававшие лицу крысиный вид. Где-то видел и эту женщину. Не старался вспомнить, а стоял на краю лужи, требовал от Чеснока:

— Уйди с доски! Дай ей пройти. Прошу тебя добром, дай ей пройти!

Чеснок обернулся к нему и вспомнил. Тот зимний скрипучий автобус, сумерки вечерней дороги, жирный, зачехленный в шубу и шапку дурак, и он, Чеснок, забавляется, дразнит его. А этот длинный неизвестно откуда взялся и мешает его забаве, совсем как теперь. Чеснок узнавал его, изменяясь в лице. Переводил свою ощеренную желтозубую улыбку в гримасу бешенства.

— Катись ты, хрен долговязый, покуда тебе башку не расшибли! — Угрожая, он поднял бутылку с водкой, ненавидя, готовясь швырнуть и ударить, призывая дружков на помощь. — Моя баба! Хочу в луже купаю, хочу, как кошку, деру... Вали отсюда! Пока морду тебе кирпичом не погладил! — Он с силой хлюпнул доской, окатил Катюху жирной грязью.

Сергей Вагапов, оскорбленный за Фотиева, потрясенный жалобным воплем Катюхи, кинулся на Чеснока по воде, вцепился в него, стал тянуть.

— Как же ты смеешь? Сейчас же, сейчас же уйди!

Чеснок увидел перед собой Сергея, худого, бледного. Хрястнул ему в грудь кулаком. Тот отшатнулся, упал на руки Фотиева, задыхаясь, хватая воздух, пытаясь снова кинуться на Чеснока.

— Стой! — Михаил Вагапов оттеснил брата. Оттеснил и Фотиева. Ловко, длинно прыгнул на доску. Крутым, крепким вывертом заломил Чесноку руку, выдавливая из нее бутылку, швырнул о забор. Бутылка лопнула, разлетелась.

— Кусок! Гвозды! Бей их! Коли! — взвизгивая от боли, вопил Чеснок. — Режь их, гадов! Чего стоите?

— Да ладно, Чеснок, не связывайся, — сказал Гвоздь. — Это афганец из реакторного. Я его знаю, он бешеный.

— Суки вы, суки!.. Все вы суки продажные. Ненавижу! — визжал Чеснок, бултыхаясь на доске, сжатый Михаилом. Ударил ногой, окатывая грязью Катюху.

Сергей Вагапов, растерявшийся было, застывший на краю лужи, очнулся, быстро прыгнул на камни, подал Катюхе руку, она шагнула к нему, потеряла равновесие, и он подхватил ее, сам оступившись в воду, понес на руках, вынося из лужи. Поставил на сухой асфальт.

— Я тебя сейчас за «суку» утоплю! — бледнея, наполняясь слепой беспощадностью, произнес Михаил. Наклонил Чеснока к воде, ближе, ближе. Макал его в грязь, еще и еще, булькающим, захлебывающимся лицом. — Мразь! Слизняк! Я тебя сейчас размажу, следа от тебя не останется!

— Миша! Михаил! — остановил его Фотиев. — Перестань! Отпусти его!

И тот, повинуясь, откликаясь на голос Фотиева, отпустил Чеснока, не удержался, дал ему под ребро ладонью, отчего Чеснок загнулся, захрипел.

Они уходили, уводили с собой Катюху, мокрую, плачущую.

Чеснок распрямился, глядел им вслед:

— Убью! Всех убью! По одному подкараулю. По кусочкам разрезать буду. Ненавижу!

В его руке извлеченный из кармана блестел нож.

Они шли гурьбой в общежитие, возбужденные одержанной победой, увлекали за собой спасенную Катюху. Не увлекали — она сама торопилась за ними, боялась отстать. Шаркала, семенила большими промокшими башмаками, куталась в куцее пальто, жалобно всхлипывая, приговаривала:

— Он, Чеснок, опять придет! Дверь сломает. Ножом пырнет... Боюсь я его, не пойду домой. Вы уж меня не гоните.

— Пойдем с нами, обсохнешь, чайку попьем, — успокаивал ее Фотиев. — А Чеснок к тебе не придет, он ведь трус, Чеснок-то!

Сергей Вагапов шагал за ней следом. Прислушивался к ее жалобным причитаниям. Невольно, не замечая этого, повторял ее шаги. Наступал, как и она, в талые лужи. Проваливался, как и она, в мокрый, грязный снег. На его бледном, худом лице появилось выражение муки и сострадания. Казалось, и лицом своим он повторял ее несчастное, болезненное, заплаканное лицо.

Они пришли в общежитие. Шумом, стуком, дыханием наполнили тесную комнатушку Фотиева. Рассаживались по табуретам, кроватям. Навешивали на крюки телогрейки и робы. Из соседней комнаты вышла, встала в дверях Елена, простоволосая, в домашнем платье, с голой белой шеей, с белой фарфоровой чашкой в руках. Оглядывала их влажными, улыбающимися глазами. Встречалась взглядом с мужем, чуть заметно кивала и снова смотрела на всех доверчиво, тихо, приглашая всех радоваться ее счастью, ее материнству.

Из-за ее спины появилась Антонина с пластмассовой погремушкой в руках. Ахнула, увидев многолюдье, улыбнулась всем сразу и особенно, одними глазами, Фотиеву. Легонько тряхнула целлулоидным попугаем. И на звук погремушки из соседней комнаты отозвался тихим писком ребенок. На этот писк поднялся и шагнул Михаил. Елена, пропуская его, испуганно, умоляюще посмотрела на мужа — на его большие потемнелые руки, на усатое обветренное лицо. И оттуда, куда он унес запахи железа и сварки, холодного мокрого ветра, вытесненные, потекли тонкие млечные ароматы пеленок, зыбки, лежащего в ней младенца.

— Сейчас мы чайник поставим. Николай, убери со стола чертежи. — Антонина была здесь как дома. Помогала Елене нянчить ребенка. Приносила провизию. А сегодня забежала, чтоб подарить нарядную, понравившуюся ей самой погремушку.

Катюха, войдя в чужой дом, где увидела двух молодых счастливых женщин, двух хозяек, сжалась, забилась в угол. Стыдилась своей стоптанной обуви, измызганного дворницкого халата, больших нечистых, распухших от работы рук. То и дело поправляла растрепанные волосы. Поджимала ноги, запахивала халатик. Слабо, чуть слышно причитала:

— А он-то мне говорит: «Тебе только лом достался! Ничего у тебя в жизни не будет, ни семьи, ни дома, только лом железный».

Сергей Вагапов сидел рядом с ней, слышал ее тихие причитания, похожие на поскуливания. Испытывал к ней жалость. Испытывал боль за нее, за себя, за брата, за его народившегося сына, за общее их неведение. Невозможность объяснить этот мир, где родятся младенцы, умирают убитые пулей десантники, строятся невиданные в красоте и совершенстве города и солдаты в «хэбэ» с совковой лопатой кидаются на уран... Где затихает, замирает, зарастает осинником его родная деревня и мать выдирает из гряды лебеду, и квакают в вечернем пруду лягушки, и высокий самолет тянет в небе розовый след над старой, разрушенной церковью к далекому темному бору.

Его боль становилась мучительней, сострадание сильнее. Он слушал близкие всхлипы, несвязные бормотания, не умел ей помочь. Она в своем нелепом халате, в растоптанных мужских башмаках казалась близ-

кой, родной. Казалась сестрой. Он видел: ей худо, она погибает, нуждается в немедленной помощи, в мудром, сердечном слове, в чистом, искреннем чувстве. Не знал этого слова, не умел проявить чувства. Слушал, как она причитает:

— А он мне говорит: «Ты на себя посмотри. Страшнее войны! Тебя, говорит, люди за сто метров обходят...»

Фотиев убрал со стола чертежи. Антонина внесла горячий чайник. Появились сахар, батоны, разномастные чашки и кружки. Все потянулись к столу.

— А ты чего жмешься в угол? — обратился к Катюхе Фотиев.— Здесь все свои. Ближе подсаживайся!

Та трясла головой, отказывалась, боялась занять за столом чужое место, взять чужой кусок. Стыдилась своей внешности, своих нечесаных волос, прожженного, промасленного халата. Не верила, что ее здесь могут терпеть. Боялась, что над ней учинят посмешище.

Сергей Вагапов мучился — за нее, за себя, за них, не понимавших, как ей сейчас худо. Не знал, что сделать. Как ее заслонить, каким покровом накрыть, чудесным, разноцветным, пахучим, как луг за деревней, где туманно от цветущей пыльцы и гуляет белая тихая лошадь, окруженная теплым туманом. Чем ее заслонить?

— Ну что же ты? — настаивал Фотиев, приглашая Катюху.— Садись.

— Приглашают — значит, иди,— строго приказал Михаил.— Вот твоя чашка, бери.

Этот строгий окрик испугал Катюху, она подумала, что ее прогоняют. Вскочила, кинулась к дверям, где висело ее пальто.

И такую внезапную слезную муку испытал Сергей, чувство такой беззащитности их всех, собравшихся в комнатушке, веру, что он один, только он единственный может их всех защитить. Упредить грозящую всем беду, отвлечь ее на себя, обмануть, заговорить, увести беду за собой. Накрыть их всех невидимым, не проницаемым для беды покровом.

— Стой,— сказал он Катюхе,— погоди, я сейчас...

Как был, не надевая пальто, выскочил из общежития. Услышал крик Михаила:

— Сергей, ты куда, полоумный?

Выбежал из общежития, чуть не сбив комендантшу, та наградила его вслед гневным окриком. Промчался по протоптанной стежке, расталкав парней — возвращающуюся со стройки бригаду. Миновал кинотеатр с намалеванной афишей — какой-то человек с пистолетом; обогнул отделение милиции — зарешеченный синий фургон, из которого выволакивали упиравшегося мычавшего пьяного. Магазин с витриной, где стояла дева с золоченым изуродованным, избитым лицом. В три скачка одолел ступеньки. Сначала в отдел, где стояли тяжелые, пахнущие пылью диваны. Не то, не то. Затем к прилавку, над которым висели люстры, мерцали побрякушки. И это не то. Затем туда, где было пестро от тканей. Платья, рубашки, платки. Вот это. Вот здесь. Протолкнулся, протиснулся, оттесняя покупателей.

— Ну ты, парень, распихался! Сейчас так пихну, отлетишь,— осадил его здоровенный мужчина, тискающий в руках тонкую сорочку.

— Что ты хочешь? — спросила его продавщица.

— Вот это,— задыхаясь, он указал на цветастый платок.— Нет, лучше это. Он ткнул на шерстяную кофту.— Нет, вот это, вот это! — Ему бросилось в глаза нарядное, разноцветное платье, о нем, разноцветном, думал он, когда сидел, жалел Катюху. О нем, разноцветном, думал, когда мчался по городу, боялся не успеть, упустить — и вот нашел.— Это мне дайте!

— Вот зарабатывает парень, весь магазин покупает! — ухмыльнулся мужчина.

— Да ты размер-то хоть знаешь? — спрашивала продавщица, вглядываясь в его бледное лицо.— Для жены? Для невесты?

— Для сестры,— ответил Сергей.— Для сестренки моей! Да не надо заворачивать!

Он мчался обратно по городу, развевая платье. Мимо милиции, кино, вытрезвителя, мимо суровой комендантши, боясь опоздать, боясь, чтоб Катюха не ушла.



Вбежал. Катюха сидела со всеми и пила чай. Все на него смотрели.

— Это тебе! Надень.— Он протянул платье Катюхе.

— Мне? — переспросила она, пугаясь снова, думая, что над ней потешаются.

— Ну, конечно, тебе! — Фотиев угадал случившееся, ободрял ее.— Сережа тебе платье дарит.

— Ай да Серега! — хохотал Михаил.— Думаю, куда он рванул?

— Пойдем-ка, пойдем-ка,— Елена тянула Катюху в свою комнату, на ходу забирая у Сергея подарок.— Да отдай ты... Не здесь же ей надевать.

Они ушли, и, пока их не было, все обратились к Сергею. Подшучивали над ним: «Влюбился ты, что ли?» Но все понимали его и хвалили.

Дверь отворилась, и появилась Катюха. Все ахнули. Нарядная, стройная, статная. Платье ей было впору, чудесно сидело на ней, окружало ее своими цветами, перехватывало ей талию тонким лучистым пояском. Елена отдала ей свои новые туфли, расчесала ей волосы, заколола ярким гребнем. Тронула щеки легким гримом, чуть подкрасила губы помадой. И Катюха, преображенная, успевая в зеркале увидеть свое преображение, сверкала глазами, восхищенно улыбалась. Улыбкой, глазами благодарила своего благодетеля. Сергей молча, с легким румянцем на бледном лице смотрел на нее.

— Ну ты и красавица, Катя! Ну просто невеста! — Фотиев снова усадил ее за стол, а с ней рядом — Сергея. Они сидели бок о бок, в тесноте, пили чай, стеснялись смотреть друг на друга.

Пришел Накипелов, шумный, тяжелый, большой. Казалось, нет ему в комнатке места. Но и его усадили, втиснули. Вставили в руку чашку, налили черный, как деготь, чай. Приняли в свое братство.

— Заряжаю твой «Вектор», Николай Савельевич.— Он отхлебывал громко из чашки.— С мужиками поговорили. Бригадирам раздал бумаги. Все обмозговали. Народу интересно. Народ хочет попробовать. Так что ты давай, помогай!

— С завтрашнего дня ни на шаг от тебя, Анатолий Никанорович,— отвечал ему Фотиев.— Обойду все твои участки, с каждым повстречаюсь, пусть в любое время ко мне обращаются. Мне твоя поддержка дорога. Мне вера твоя драгоценна.

— Лазарев приходил. Юлит, вынюхивает. Как змей хитрый. Не любит он тебя, отговаривает от «Вектора». «Ты, говорит, и без «Вектора» орден Ленина получишь. Брось эти елочные игрушки...» Я-то знаю, что он не от себя приходил, от Горностаева. Не любят они нас с тобой, Николай Савельевич.

— А нам их любовь не нужна! — отшучивался Фотиев.— Пусть нас другие любят,— поглядывал весело на Антонину.— И бояться мы их не станем.

— А их ведь немало. Сил-то у них немало.

— Да и нас посчитать — собьешься! Хотят с нами биться — пожалуйста. Принимаем вызов! Кто за нас? Кто против?

— Райком — за нас,— сказал Накипелов.— Костров за нас. Я с ним говорил. Он обещал поддержку... А профсоюзы? — Он повернулся к Антонине.

— Профсоюзы тоже за вас! — твердо кивнула она.

— И рабочий класс за нас. Правда, хлопцы? — Накипелов приобнял сидевшего рядом Сергея.

— И женщины за вас, и дети! — засмеялась Елена.

— Ну значит, вся матушка-Русь за нас! А мы за нее. Должны же когда-нибудь люди в России зажить хорошо. Должны мы когда-нибудь вздохнуть полной грудью.

— Ну вот и вздохните, запойте,— подбивала его Елена.— Только и знаете, что говорить, совещаться, деньги считать. А петь — не поете!

— Почему не поем? — принял вызов Накипелов.— Сейчас споем. Какую?

— Давайте деревенскую, крестьянскую,— сказала Елена.— Мы ведь все из деревни. А которые из города, те тоже все равно из деревни. Давайте-ка «Горькую рябину».

— Ну зачем нам горькую?—сказал Накипелов.—Что-нибудь послаще давайте.

— Тогда «Мороз, мороз»!

— Какой сейчас мороз? Все сосульки растаяли.

— Тогда запевайте, которую знаете! Всем не угодишь.

Накипелов насупился, сдвинул брови, выпучил грозно глаза. Упер кулачища в колени. Возвел высоко могучие плечи. И, набрав в грудь воздуха, вывел низко:

При лужке, лужке, лужке-е-е...

Будто тяжело провел по лугу косой, повалил густые мокрые травы, оставил за литовкой сочную, подрезанную охапку цветов.

При широком по-о-оле...

Двинулся дальше, вламываясь в хрустящие, брызгающие соком стебли, продираясь сквозь могучее плетение цветов, шире, просторней, оглядываясь на остальных, приглашая вслед за собой на эти травы, цветы в голубое полыхание луга с блеском воды, с птичьим взлетом, с темными туманными копнами.

При знакомом та-а-буне-е...

Елена смело, сильно ступила вслед за ним на открывшийся луг, пронося над упавшими травами подол сарафана, кропя его брызгами, травяным соком, большая, белолицая, млечная, оглядывалась на мужа радостным, зовущим лицом.

Конь гулял на во-ле-е...

Михаил устремился на ее зов, встал с ней рядом, плечо к плечу, голос в голос. Оба шли молодые, сильные, созданные один для другого, для этих раздолий, для цветения и радости. Ступали по желтым лютикам, белым ромашкам, красным головам иван-чая, среди коростелиных криков, лучей туманного солнца.

Катюха взглянула на Сергея, расправив на груди разноцветное платье. Умоляла, робко взывала, о чем-то его вопрошала. И тот отвечал, соглашался. И оба они ступили на этот яркий, цветущий луг. Запели высокими дрожащими голосами, стремились ввысь, боясь не долететь и упасть, возносились, поддерживая друг друга. Воспаряли над поймой, над речными протоками, где белели косцы, гуляли табуны, скользили лодки. Парили в родном чистом небе, среди родных облаков, блестящих дождей, созданные для веры, любви.

Фотиев видел их всех, поющих, разбредающихся в разные стороны по цветам, уходящих в просторы и дали. Они все сочетались песней, не теряли друг друга, и он обнимал их всех, принимал в свое сердце. И ее, Антонину, любимую, чудную,—в самую яркую, дышащую, верящую сердцевину.

Так пели они единым дыханием и хором, в своем удальстве и могуществе. И Фотиев на вершине песни, на высшей светоносной ее волне, испытал прозрение счастья—смерти нет, все убитые живы, все мертвые воскресли, и все они вечны, нетленны на этой чудной земле.

В соседней комнате заплакал ребенок.

— Тише! Разбудили! —Елена вскочила, ушла. Все сидели, умолкшие, разгоряченные, улыбались, не хотели отпускать песню. Слушали, как плачет в соседней комнате ребенок.

Появилась Елена. Держала плачущего младенца. Расстегивала платье, доставала грудь. Ребенок, услышав запахи материнской груди, умолк, потянулся, схватил губами сосок. Елена кормила ребенка, и все смотрели на женщину, кормящую грудью младенца.

Как сидели тесно, все вместе, так и вышли из дома. Шагали гурьбой. Никому не хотелось расходиться. Первым стал прощаться Накипелов.

— Завтра, Николай Савельевич, ко мне на утренний штаб приходи. Я пригласил бригадиров, они тебя будут слушать. Станем наш «Вектор» на глубину пускать. Как корабль. Ты конструктор, я капитан.

— Я, Анатолий Никанорович, может быть, всю жизнь жил, чтоб завтрашнего дня дождаться!—ответил, прощаясь, Фотиев.

— И дальше будем жить не тужить!—Накипелов ушел, унося с собой кипу бумаг. И весь оставшийся вечер и ночь до глубокой тьмы он будет сидеть у себя дома под лампой, разбирая и продумывая новые, еще не ясные ему до конца идеи, находя в них согласие со своими толпящимися, одолевающими его мыслями, в которых главным оставалось желание осмысленного труда, плодоносящего, справедливого дела, умножающего в работающем человеке и во всем народе чувства добра и блага. Жена в ночной рубахе тихонько заглянет в его комнату и, боясь потревожить, уйдет.

Потом ушел Михаил Вагапов на стройку, в вечернюю смену. Перед тем как шагнуть в подъемник, возносящий железную клеть вдоль округлой бетонной стены с серым размытым пятном, напоминавшим медведя, перед тем как подняться к реактору, он свернул на ремонтную площадку, где стоял под навесом выкопанный из земли самолет.

Еще в комьях земли, покосившийся, с драным оперением, с обломанным, полуотпавшим крылом самолет впервые за многие годы был окружен светом и воздухом, для которых был некогда создан. Рядом с машиной стоял мужчина, молодой, хорошо одетый, по виду не прораб, не рабочий. Михаил, подходя, вглядывался в его лицо, и оно казалось ему знакомым. Он старался вспомнить, где мог его видеть. Не вспомнил. Подхватил с земли короткий опилок бревна, подтащил к самолету, к крылу.

— Подними-ка крыло!—попросил он мужчину.

Тот оторвал от бетона алюминиевую гнутую плоскость, издавшую металлический стон, и Вагапов подтолкнул и подсунул деревянную подпорку. Проделав эту работу, оба стояли у самолета, испытывая друг к другу симпатию, молча улыбаясь. Станция вздымала свои бетонные башни, и медведь, поднявшись на задние лапы, взирал на них с высоты. Вагапову казалось, что где-то он уже видел лицо этого человека, но никак не мог припомнить, где именно.

Он не знал, что мужчина—сын начальника стройки Дронова, боевой вертолетчик. Что виделись они один краткий миг в горячем афганском ущелье, у русла сухого ручья, когда в треске и рокоте сел вертолет с бортовым номером «76», и солдаты втаскивали убитых, помогали забраться ему, Михаилу, и над ним на один только миг наклонилось лицо пилота, стиснутое шлемофоном.

Теперь они не узнали друг друга. Молча стояли у разбитого штурмовика, испытывая друг к другу непонятную обоим симпатию.

Катюхе было боязно добираться до дома. Она боялась Чеснока и упросила Сергея Вагапова проводить ее. Простились с Антониной и Фотиевым, двинулись по городу, и Катюха, уцепившись за локоть Сергея, говорила:

— Сереженька, послушай меня! Давай уедем в деревню! Соберемся и завтра уедем. Ко мне в деревню. Там поживем. Мы с тобой деревенские, нам и место в деревне. У меня жить будешь, сколько захочешь. Мама добрая, тебя любить будет. Кого я люблю, того и она. Деревня у нас красивая, на горе! Луг, река, бор—все близко. Я проведу тебя по всем тропочкам, по всем опушечкам. Ключик тебе покажу под горой. Вода в горе сладкая, чистая. Тетя Феня из ключа воду пьет, уже сто лет живет! Будем жить с тобой. Ты на трактор сядешь, тебе трактор сразу дадут. А я на ферму пойду теляток растить. В деревне жить хорошо! А то здесь погибнем, и ты, и я погибнем! Зачем нам гибнуть? Нам с тобой жить! Поедем в деревню, Сереженька!

Он чувствовал у себя на руке ее цепкие пальцы. Слышал ее умоляющий, зазывающий голос. И было ему тревожно, мучительно. Казалось возможным откликнуться на ее зов, не раздумывая, тут же довериться мгновенному порыву и чувству—синему вечернему небу, мокрому блестящему снегу—и уйти вместе с ней, едва знакомой, но ставшей вдруг близкой, родной. Вернуться в любимую, понятную с детства жизнь.

Он отвечал Катюхе тихо и осторожно, стараясь ее не обидеть отказом, не причинить ей боль, и без того больной, изведенной, почти погибшей, поверившей вдруг после его подарка, его разноцветного платья, в возможность спасения.

— Не могу я сейчас в деревню! Другие у меня дела! Сдадим второй блок,— рассчитаюсь и уеду в Сибирь. Нужно мне в Сибири пожить, посмотреть на сибирскую землю. Поживу в Сибири, поеду к туркменам в пустыню. Потом на Камчатку, потом на Кавказ. Мне еще надо много поездить, много чего повидать!

— Тогда и меня возьми!— Катюха не обижалась, а с готовностью, радостно устремлялась за ним.— И меня в Сибирь забери! Буду ездить с тобой. Вот увидишь, я тебе пригожусь! Я умелая, выносливая. Буду тебе готовить, стирать. Пьяный придешь, умою тебя, раздену, уложу. Заболеешь — лечить стану. В тюрьму посадят — буду тебя ждать, письма писать, приезжать. Я ведь сильная, верная! Я лед колю, шить умею. Я хорошая! Ты поймешь меня, Сереженька, скоро поймешь!

Она улыбалась, заглядывала ему в лицо, хотела, чтоб и он улыбнулся. А он чувствовал, как от нее удаляется, не идет вслед за ней, не пускает ее за собой. И их мгновенная близость, возможность быть вместе превращается в муку.

— Ты пойми меня, Сереженька, я хорошая. Ты только меня разгляди и пойми.

— Да я себя еще не разглядел и не понял,— тоскуя, ответил он.— Не понял, как жить. Понял, что не так мы живем, а как — не знаю. Брат Михаил, тот знает. И Фотиев Николай Савельевич тоже знает. А я не знаю. Вижу, не так живем. Все хотим по-хорошему сделать, а выходит плохо. Вон какая у нас земля, какая страна — нет богаче, а люди мучаются, бедствуют, слез кругом столько. Народ мы веселый, гостеприимный, добрый, добрее нет на земле, а друг на друга со злобой смотрим, норовим обидеть, толкнуть. Я маленький был, думал, вырасту, и что-то со мной такое случится, такое хорошее, счастливое, как в сказке. Сны мне снились цветные, сказочные, я их записывал, ждал, когда сбудутся. А вместо снов попал на аварию, облучился, во сне кричу. Брат Михаил — добрый, птенцов упавших домой приносил, выкармливал, а на войне людей убивал. И его чуть не убили, я знаю. Зачем такое с нами случается? Что еще может случиться? Почему люди так больно живут?

Он растерянно, беспомощно обращался к ней, будто она могла это знать, могла ему быть советчицей. Она прижималась к нему, угадывала его муку. Гладила его руку, словно хотела отнять его боль, взять себе.

— Чудной ты, Сереженька. Ни на кого не похожий. Как дурачок. Платье мне подарил. Когда про коня пели, у тебя слезы текли. Коня, что ли, жалко? Или меня жалко? Тебя будто пришибли, пристукнули, и тебе все больно. И меня пришибли, пристукнули, и мне больно. Мы похожие с тобой, Сереженька. И мне коня жалко. И Чеснока жалко, и Гвоздя. Всех, всех жалко!

Он слушал ее. Заслонял от чего-то близкого, страшного, витавшего беззвучно в синем вечернем небе, готового прорвать синеву, ударить в глазницы, погасить свет.

К нему возвращались его ночные видения и страхи. Возвращались видения Чернобыля.

У сосновой опушки на жухлой траве стояли в цепи солдаты. Белесый поселок, расплывшись двойной колеей, спускался с холма. Приближался к лесу, изгибаясь, скрывался в полях. Вдали на бугре белело село.

У опушки был выкопан ров, глубокий, рваный, с желтой горой песка, с выдранными корневищами сосен. Яма желтела краями, уходила вглубь ржавой обрезанной глиной. В стороне стоял бульдозер. Нож его ярко блестел. Гусеницы, изрезав опушку, оставив повсюду клетчатые следы и ошметки, были забиты песком и дерном. У рва был выстроен деревянный загон — свежие сосновые колья, длинные слеги в клубках и колючках проволоки. Загон горловиной раскрывался к проселку, сужался, приближаясь ко рву, обрывался у края ямы.

Солдаты стояли неровной цепью. Висели на ремнях автоматы. Болтались подсумки с рожками. Марлевые маски на тонких тесемках были приспущены с подбородков, белели на груди. Их лица, красные от загара, были утомленные, потные. Солнце слепило глаза. Они стояли не первый час, щурились вдаль на проселок, на белые мазанки. Но там было пусто. В полях дрожали нагретые испарения от бесчисленных прорастающих злаков.



Вдоль строя расхаживал прапорщик, хмурый, усталый, с липкими подтеками пота. В руках у него шипела и булькала маленькая рация, качался штырек антенны. Прапорщик подносил рацию к губам, тусклым, монотонным голосом повторял:

— «Ромашка», «Ромашка»... Я — «Василек»!.. Как слышишь меня, «Ромашка»?

Солдаты в строю разговаривали.

— Скорей бы их гнали, чертей!— Здоровенный, веснушчатый, с выпуклыми, быстро мигающими глазами Мотыга передергивал высокими костлявыми плечами, подбрасывая автомат, со свистом дышал сквозь желтые крепкие зубы.— Сделать дело — и кончено! В баню мыться... А то они пыли напустят, шерсть от них полетит, вся зараза на нас. Разве можно так близко? Подальше бы нас отвести. С дальней дистанции... Не люблю я эту скотину. Побили бы их с вертолета. А то нас поставили.

— И правильно, что поставили,— возражал ему Гаврилов, невысокий, ловкий, подтянутый. Он не выглядел усталым. Глаза его смотрели остро и зорко. Он похлопывал автомат, оглаживал вороненую сталь. Прикосновение к оружию доставляло ему удовольствие.— С вертолета их постреляют, все равно сюда свозить, в могильник. Нерационально. Правильно решило начальство. А заразы не надо бояться. Пригонят, маску надень. А после в баньку. Вечером замполит кино обещал. Я всегда говорил: машину на коня не сменяю. Меня в жокеи в спортшколу звали, а я пошел в автогонщики. В двух ралли участвовал. Мне машину жаль, технику разбитую жаль. Посмотришь сколько здесь техники брошено, какие миллионы погибают! А по лошадям чего убиваться? Они в хозяйстве роли большой не играют. Облучились, надо их ликвидировать!

— Как можно лошадей убивать?— Вагапов, худой, болезненный, с плохо подтянутым, обвислым ремнем, с оттягивающим плечо автоматом, мучился, крутил головой, испуганно глядел на яму, на дощатый загон, на недвижный бульдозер.— Нельзя их так убивать. Их лечить надо. Куда-нибудь в лес отогнать или в поле и лечить! У нас в деревне конь заболел, ноги отнялись, вставать не мог. Мы лечили его, лекарство давали, хлеб носили. Он вылечился, опять стал бегать... Я не могу, боюсь... Зачем так с конями? И так их мало осталось!.. Боюсь!

— Ну, деревня! Лечить!— раздраженно хмыкнул Мотыга.— Нас самих лечить надо! Наглотались здесь. Да еще этих чертяк... Они, говорят, все облезли. Лысые. Кожа с них слазит... Хоть бы спецовку дали, бахилы! А то бинт какой-то на морду. Разве он пыль удержит? Товарищ прапорщик!— обратился он к проходившему командиру.— Долго нас будут мурыжить? Хоть бы сказали, какой здесь фон, какую дозу хватаем.

Прапорщик устало, тускло взглянул на него, отвлекаясь от рации, словно пытался понять вопрос.

— Как оружие держишь?.. Вниз стволом опусти,— сказал он Мотыге. Прошел мимо, продолжая кого-то выкликать позывными: — «Ромашка», «Ромашка», я «Василек»!.. Как слышишь меня, «Ромашка»?

На проселке, в полях, в белевшем на взгорье селе было пусто, недвижно. Ни людей, ни машин, ни животных. Даже не было в небе птиц.

Там, за горой, за лесом, невидимая, удаленная, находилась аварийная станция. Выли сирены, вспыхивали и метались мигалки. Вездеходы, покрытые листами свинца, ползали по ядовитой земле. Вертолеты проносились сквозь бледное облако, сбрасывали в кратер обугленные бетон и железо, он мерно кипел в глубине, выбрасывал в небо ядовитый смрад. И окрестные воды и земли пропитывались смертоносным дыханием.

Но здесь, у опушки, было тихо. Над вырытой ямой струился воздух. Белели стружки у кольев загона. Маялись на солнцепеке солдаты.

— Вообще-то это целая проблема — неконтролируемая биомасса,— рассуждал Гаврилов, пробегая чуткими пальцами по стволу, цевью и прикладу.— В городах заразу разносят! Крысы, вороны, тараканы, голуби —

от них болезни, нечистоты. Все памятники загадили, мусоропроводы забили, канализацию. Короткие замыкания от них, пожары. Неизвестно, как с ними бороться. Надо кампанию организовать в городах по истреблению биомассы... Чего же они не гонят табун-то? Хоть постреляем, хоть оружие подержим в руках!

— Портянка, сука, съезжает! Всю пятку истерла. Белье испрело. Говорили, каждый день менять будут, а третий день не меняют. Мыло не мылится, из глины или из дерьма, не знаю.— Мотыга поправлял сапог, растирал сквозь кирзу болевшую пятку.— А тут еще эти чертяки болявые. От них заразу подцепим. У нас у самих волос вылезет, и на баб глядеть перестанем. Я из армии приду, мне жениться надо. А кому я нужен такой? Детей не будет, бабу обнять не смогу. Пускай бы сюда посылали тех, у которых дети наделаны. Стариков бы сюда. А мне еще надо жениться! И мыло, как голыш, не мылится!

— Мотыга, ты и есть Мотыга! — смеялся Гаврилов.— Мыло у него не мылится! Бабу он не обнимет. Учись жить. Мыло у меня клубничное, пена ароматная. Паста земляничная, зубы от нее как снег. А женщин я до армии любил и после буду любить. У меня женщин двадцать было, а то и больше, не считал. Когда я в ралли участвовал, мне моя любимая женщина шарф подарила, я его в кабину взял на счастье. Приз получил, мы с ней в «Сказку» поехали отметить победу, а после к ней домой... «Я, говорит, таких мужчин раньше никогда не встречала!»

— У нас в колхозе табун есть, десять лошадей,— тихо, тоскуя, говорил Вагапов.— Лошадь — доброта, она тебя узнает, понимает. Хлеб с ладони берет, все про тебя чувствует, знает... Мы в реке лошадей купали, они любят реку, они в чистоте живут. Нельзя их губить. Их на земле мало осталось. Их беречь надо! Разве можно так? И кто такое придумал? Надо генералу сказать! Позвонить генералу!

— Сейчас я тебе позвоню! — огрызнулся Мотыга.— Не ной, деревня! Без тебя тошно. А то по ушам вдарю!

Мимо проходил прапорщик, прислушиваясь к бульканью рации.

— Командир, сколько можно торчать! Сопрели. Когда их пригонят, чертей? — спросил Мотыга.

Прапорщик вскинул на него красные, воспаленные глаза, опять не сразу понимая вопрос. Понял, поморщился.

— Прекратить разговоры в строю! — И прошел мимо них.

Они продолжали ждать, томились каждый по-своему. Мотыга изнывал от жары, от липкого пота. Боялся невидимой, рассеянной повсюду отравы. Торопил время, желал поскорее вернуться в палатки, к бане, к столовой. Гаврилова тяготило ожидание. Его деятельный нрав требовал постоянной подвижности. Он подтягивал и без того аккуратно застегнутые ремешки. Любовался радужной дымкой на стволе автомата. Ему хотелось использовать оружие, услышать стук очередей, запах пороха. Вагапов тосковал, чувствуя неизбежность того, что случится. Страшился, молил, чтобы время тянулось медленней. И оно словно остановилось, застекленное в недвижном солнце, в пустынном проселке, в молчаливом, без птичьего крика лесу.

Внезапно рация в руках у прапорщика забулькала громче. Он оживился, приблизил ее к губам, вдыхал, вталкивал в нее слова:

— «Ромашка», «Ромашка!» Слышу вас хорошо! К приему объекта готовы! Вас не наблюдаю. На связь с четыреста третьим выйду по завершении работ.

Рация шелестела и хлюпала. В ней хрипели слова. Прапорщик их понимал, кивал невидимому, посылавшему их человеку:

— Понял вас! Ожидаю. Готовность через две-три минуты. До связи.

Опуская рацию, повернулся к солдатам оживленным, проснувшимся лицом. Громко, зычно скомандовал:

— Становись! Маски надеть!

Солдаты, словно разбуженные его окриком, расправляли затекшие плечи, выравнивали шеренгу, звякали оружием. Надевали на губы и нос респираторы. Одинаковые, в белых, мучнистых масках, в серо-зеленых одеждах, с тусклым свечением стали стояли цепью у выкопанного песчаного рва.

Что-то изменилось в природе, не цветом, не звуком, а словно про-



дернулась по солнцу незримая тень, и пространство чуть дрогнуло, стало иным.

На вершине холма, на проселке, где белели крестьянские мазанки, загудело, застенало, не машинным металлическим рокотом, а сплошным, непрерывным чмокающим гулом и стоном. Возникло облако пыли. Клубилось, взрывалось, выбрасывало из себя солнечные пышные ворохи, и в этой туче, наполняя ее, выносясь, выбрасывая вперед вытянутые ноги и узкие напряженные морды, возник табун.

Он мчал с горы, впитываясь в проселок, как в сухое русло. От него разлетались брызги — отдельные лошади стремились перепрыгнуть обочину, ускакать в поля. Но два погонщика заворачивали их на проселок, гнали к лесу.

Погонщики на одинаковых белых кобылах были в бахилах, в островерхих прорезанных капюшонах, в прозрачных пластмассовых масках. На груди у них болтались рации, в руках были длинные тонкие палки, которыми они кололи, направляли табун. Их островерхие балахоны, как шлемы, мелькали в пыли.

Лошади свернули с проселка, надвинулись, налетели, вынося на солдат пыльный горячий ветер, запах пота, ржанье и фырканье, свист хвостов, мерцание глаз и зубов. Вломились в загон, закружились водоворотом, сворачиваясь в разноцветную живую спираль из гибких хребтов, вытянутых узких голов.

Погонщики соскочили со своих кобыл и деревянными пиками загнали их в общее месиво. Их белые спины и гривы потекли, поплыли, вовлекаемые в круговое движение.

— Черти болявые! Вся пыль, все рентгены на нас! — сторонился Мотыга, заслоняясь локтем.— Вон они, все шелудивые! Все в болячках! Надышишься — и хана!

— Эй, мужики! — кричал сквозь маску Гаврилов, хватая за накидку погонщика.— Закрывай им выход, уйдут! Долбани ты ее жердиной!

— Здоровые они, не больные! — Вагапов, подымаясь на цыпочки, вглядывался в мельканье лошадиных голов.— Я за лошадьми ходил, знаю. Нельзя их так. Надо генералу звонить!

— Ты сам теперь генерал, себе и звони! — прикрикнул на него Гаврилов, и было видно, что он смеется под маской.

В табуне было десятка два лошадей, разномастных — сивых, гнедых, буланых. Среди них возвышался глазастой головой громадный жеребец, огненно-рыжий, потно-красный, с выпуклой могучей грудью, высоким лоснящимся крупом. Яростно, гневно оглядывал он табун, погонщиков в балахонах, цепь солдат, замкнувших горловину загона. Скалился, пучил солнечные глаза, крутил башкой, словно бегло пересчитывал своих лошадей. Рядом с ним, прижимаясь к нему, легонько его покусывая, топталась белесая молодая кобылка с тонкой шеей, влажными глазами, испуганно вздрагивала, тихо и нежно ржала.

Прапорщик, быстрый, резкий, побежал вдоль цепи, выстраивая солдат. Погонщики, безлико блестя плоскими солнечными щитками, отошли в стороны, побросали на землю жерди. Бульдозерист, лежавший в кабине, поднялся, прильнул к стеклу.

— Взвод!..— Прапорщик отбежал в сторону, давая простор своему командирскому окрику.— Оружие к бою! — Он командовал, подымая голос все выше, наблюдая, как слетают с плеч автоматы, чавкают затворы и стволы неровно, колеблясь, упираются в близкий табун. Короткими очередями! — взвинтил он голос до визга. И хрипло, захлебнувшись, гаркнул: — Огонь!

Тупо, часто задолбило, забрызгало, рвануло пламенем. Ударило в близкую дышащую плоть. Выдрало из нее ужас, боль, хлюпающий крик и визг, рваные красные клочья. Пули летели в лошадей, терзали, пробивали животных. Их бока, черепа, пронзали кости и внутренности, распарывали, рассекали артерии. Лошади падали, кувыркались на спинах, дрыгали копытами, харкали кровью. Вскакивали, роняя изо ртов красную жижу, выдували из ноздрей кровавые пузыри. Скакали по убитым, взметались на дыбы, упирались копытами в хребты. И солдаты осаживали их очередями, опрокидывали, валили навзничь в ревущее месиво.

Жеребец, как только услышал стрельбу, напряг крутые шары мускулов, толкнулся, расшвыривая вокруг себя лошадей. Могучим длинным скоком перемахнул загон и, выпучив огромные крутящиеся огненные глазищи, замахал галопом вдоль опушки, вытянув гриву и хвост.

Гаврилов юрко, ловко виляя вдоль цепи, отбежал в сторону. Упал на колено и, выставив автомат, послал вдогон жеребцу две короткие точные очереди. Пули пробили коню голову, застряли в кости, и он с грохотом рухнул, кубарем, огненным колосом покатился, сдирая дерн, громко колыхаясь всеми мослами и мышцами. Замер красной горой, дергая копытами, и выбитый глаз, как белое блюдце с красным вареньем, медленно стекал на траву.

Через минуту все было кончено. Дым, смрад, розовый терпкий пар. Хлюпанье, замирающий хрип. Еканье, бульканье пузырей. Солдаты опустили оружие, отворачивались, отходили.

Заработал мотор. Бульдозер ножом стал наезжать на убитых лошадей, сваливал их в яму. Они падали со стуком и плеском, как бурдюки с водой. Иные, еще живые, когда их толкал блестящий нож, пытались встать, отрывали от земли головы. Бульдозер двигал их, перевертывал, рушил в ров.

Подъехал к жеребцу. Водитель накинул на его задние ноги трос, стянул петлю, поволок. Развернулся на гусенице у края ямы. Свалил жеребца.

Там, где недавно кружил и дышал табун, была выдранная, черная, политая жижей земля. Из ямы беззвучно, прозрачно взлетал к небу раскаленный дух.

Солдаты, опустив автоматы, не слыша команд, еще не понимая содеянного, не знали, что делать дальше.

На горе, на проселке от белых мазанок возникала машина. «Уазик» мчался, спрямляя повороты, на бешеной скорости. Было видно, как его заносит, как солнечно пенится под колесами пыль, вздымается конусом.

Все смотрели, как приближается по проселку машина.

«Уазик» подлетел к солдатской цепи. Из дверцы, забыв ее захлопнуть, выскочил человек в жеваном костюме, в расшитой украинской рубахе, без маски, без кепки. Кинулся к яме сквозь солдатскую цепь. Заглянул, отшатнулся. Медленно, бледный, шевеля губами, пошел обратно.

— Не тот табун! — громко шептал он. — Ошибка! Не тот табун!

Солдаты молча, оторопело смотрели.

### *Глава двадцать седьмая*

Атомная станция в ночи уперлась в небо, в промозглую даль, в промерзлую землю столпами металлического света. Блуждание ртутных фар. Чавканье снега и грязи. Лязг гусениц. Мокрая, в подтеках стена. Вздетый медведь. Фарфоровый оскал изоляторов. Асбестовая шуба турбины. Злое дерганье стрелок. Мигание пультов. Угрюмые дымные всполохи. Брызнуло красным. Высокий купол. Сноп серебра. Пролетело и кануло. Голубое и белое. Как настенная фреска. Опять забелело. Как снежное поле. Укрылось в тумане. Озерная гладь. Тусклое золото. Высокие главы. Красная киноварь. Колыхание плащей. Лошадиные гривы. Шеломы и копья. Конное воинство. Князь со щитом. Скачут по травам. Лисицы и волки. Реют над стягами. Ястреба и неясыти. Комета с черным хвостом. Радуга с черным солнцем. Колышется даль. Перекрестия света. Еще туманней. Прилетело огнем. Грива коня дымится. Проплавлена, пробита кольчуга. Сеча грохочет. Вонзилась стрела. Боль нестерпимая. Нечем дышать. Молитву не вымолвить. Нечем смотреть. Кровавые слезы. Тьма. Отлетающий топот. Блуждание ночных светляков. Слабый стон. Два близких лица на подушке.

Они лежали в темноте в ее комнате. Зеркало было единственным источником света. Выпивало из окна редкое свечение фонарей, тающих снегов, туманных вечерних звезд, вливало в сумерки комнаты. Люстра под потолком слабо мерцала, собирая в себе невесомые ночные лучи.

Они лежали в темноте в ее комнате, и она говорила:

— Все стараюсь припомнить каждую мелочь, каждое словечко. Как впервые тебя увидела тогда, в том автобусе. Как ты вошел, не заметила.



И, как сел, не помню. Помню, что вдруг почувствовала: ты у меня за спиной. Хотела обернуться, взглянуть, не посмела, было неловко. Так и сидела, смотрела в окно, а чувствовала: ты у меня за спиной!

— А я сидел, любовался твоим цветастым платком. И все хотел увидеть твое лицо. Ждал, чтобы ты обернулась. Надумывал, что бы спросить тебя, как окликнуть, чтоб увидеть твое лицо. Но тоже было неловко. Так и сидел, рассматривая твой платок. Помню темные перелески, осинки, какой-то стожок заснеженный. Цветы на твоем платке.

— Ты мне не поверишь! Скажешь, что я выдумываю. Может, и вправду выдумываю, теперь, когда это случилось. Но мне кажется, что, когда впервые тебя увидела, когда мы заговорили тогда, среди множества мыслей была и эта. Мысль, что у нас с тобой это может случиться, мы будем вместе, ты окажешься здесь, у меня, и мы будем смотреть, как на люстре мерцает стекляшка, вон та, голубенькая. Такая вот мысль была мимолетная. Грешная, может быть, но была и сбылась!

— Я тогда не думал об этом. Просто суеверно смотрел на твои цветы. Думал — в тусклый зимний вечер въезжаю в незнакомый город, бог весть, что меня ожидает, и вдруг эти цветы на женском платке! Кто-то выслал мне навстречу эти цветы, показал мне узорный плат, и я, охраняемый им, въезжаю в город.

— Мне кажется, весь этот год я ждала твоего появления. Ну нет, конечно, я не знала тебя, не знала, что ты — это ты. Твое имя, твое лицо. Но чувствовала: ты должен приехать. И не просто в Броды, не просто в наш город, а ко мне, для меня, в мою жизнь. Ждала, ждала. Встречалась с разными людьми, всматривалась в разные лица, вслушивалась в разные слова: «Нет, не этот, не этот!» А там, в автобусе, когда ты начал рассказывать про какую-то рать, про какую-то старинную сечу, я вдруг узнала тебя. Подумала: «Это он!» Чуть не вскрикнула: «Это ты!..» А ты и не почувствовал вовсе.

— Я почувствовал позже, когда ты пришла в мой вагончик. В тот день решалась моя судьба. Ты пришла и пообещала, что все у меня будет удачно. А я загадал: если ты выйдешь и пойдешь мимо оконца и я сквозь наледь увижу твой платок, то действительно все у меня будет удачно. А если не увижу, то все будет плохо, худо. Ты прошла. Сквозь иней, сквозь наледь я увидел твой красный, твой золотой, твой зеленый платок. И вот видишь, во всем мне удача!

— А там, на дороге, когда возвращались из Троицы и ты целовал мои руки? Делал вид, что их согреваешь, а сам целовал. Я уже знала, что мы будем вместе. Что-то случилось тогда, какое-то чудо, как будто кто-то пронесся над нами и сказал мне: «Вы вместе!». Он сделал нас неразлучными. Не знаешь, кто это был?

— Я никого не видел. Просто был лес, звезды, белый-пребелый путь. И я целовал твои руки.

— А когда вернулась сюда, встала перед зеркалом и подумала: приведу тебя к себе непременно. Однажды подойду к тебе и скажу: «Пойдем!» И ты послушно пойдешь, мы будем здесь.

— Спасибо, что подошла. Спасибо, что позвала.

— Меня мучает, что ты знаешь обо мне слишком мало. Почти ничего не знаешь. Не знаешь, кто был у меня до тебя. Я должна тебе все рассказать. Лучше я, чем другие. Должна тебе все открыть.

— Не надо ничего открывать, все и так открыто. Я знаю о тебе самое главное: ты моя дорогая, любимая. А на все остальные рассказы у нас еще будет время. Сколько будем жить, столько станем рассказывать.

— И ты мой дорогой, мой любимый. Мне так хочется понять тебя до конца. Твои мысли, твое дело. Я чувствую, какое оно глубокое, важное, сколько в нем разумности, силы. До конца не понимаю. Должно быть, здесь нужна ученость, наука. Нужны особые знания, книги. Но я буду читать, учиться. Стану тебе помогать. Стану служить твоему делу. Оно ведь не только твое, оно и мое, и всех! Я знала, среди моих повседневных дел, моих нескончаемых будней появится наконец для меня большое, настоящее дело, которому можно служить, в которое можно верить, ради которого можно жертвовать. Ты мне показал это дело. Обещаю, мой милый, что буду ему служить. Не оставлю тебя, не покину. Даже если ты

ослабеешь на миг, от него отречешься, я стану ему служить, покуда к тебе не вернутся вера и мужество!

— Ты очень сильная. Сильная духом. Во многом сильнее меня. Мне кажется, ты чувствуешь что-то такое, что мне недоступно. Что-то очень важное, высшее. Ты зорче, чище, духовнее. Мне даже кажется, ты ясновидящая!

— Ну какая ясновидящая? Самая обычная... Работник профкома. Училась всему кое-как. Родилась в глухомани, на пограничной заставе. Видела два-три города. Знаю наизусть два-три стихотворения. Живу в суете, в неразберихе. День-ночь — вот и год прошел. Ничего не успеваю толком понять, глубоко пережить. Какая я ясновидящая?

— Сама говоришь: над тобою ангел небесный пролетел. Я-то ничего не увидел, только елки да шишки, а ты увидела ангела!

— Не знаю, может быть, и вправду ангел. Может, действительно ангел повсюду тихо летает за мной. Наблюдает, охраняет, о чем-то вопрошает. Мне иногда кажется, куда бы я ни попала, в какой-нибудь старый дом, на какую-нибудь проселочную дорогу, или на опушку, или просто в комнату, — чудится, что уже кто-то прежде здесь жил, любил, страдал и теперь смотрит на меня, внимательно за мной наблюдает, не совершу ли какой-нибудь непоправимой ошибки, какую они совершили и поэтому умерли. Смотрят, стараются мне что-то сказать, предостеречь. И не могут. Должно быть, и я совершу ошибку и поэтому умру. Может, мы все незаметно для себя совершаем какую-то одну и ту же ошибку и поэтому умираем?

— Когда-нибудь люди перестанут умирать, будут жить вечно. Мы мало что знаем об этом, но что-то мерцает в нас, какой-то луч бессмертия, ангельский луч, как ты говоришь. Мы делаем сейчас на земле страшную, неизбежную, черновую работу и изнашиваемся в ней, умираем. Но когда-нибудь эта работа будет окончена и мы перестанем умирать.

— А зачем мы живем? Чтобы умереть? Чтобы те, будущие, через тысячу лет научились не умирать?

— Может, и для этого тоже. И, может быть, те, кто благодаря нам, смертным, усталым работникам, научится избегать ошибок и станет жить вечно, те, умудренные, ставшие как боги, воскресят и нас. И мы опять восстанем из горстки праха и будем жить!

— Тогда я снова увижу отца. Если бы ты знал, какой был у меня отец! Он чем-то был похож на тебя. Он светлый, честный, жил не для себя. Я знаю, вы друг друга полюбите.

— Но это будет не скоро.

— Почему мне кажется, что даже здесь, сейчас кто-то смотрит на нас, слушает? Кто-то жил здесь прежде, любил, говорил похожие слова. Кто они, ты не знаешь?

— Какие-нибудь жених и невеста.

Станция гудела в ночи. Уханье, рокот насосов. Урчанье подшипников. Масляный блеск валов. Бетонный кожух реактора. Вспышки клавиш на пульте. Проплыл черно-красный кран. Озарение сварки. На стене туманная фреска. Движется конное войско. По травам, по рекам, дубравам. Туман, великий туман. Мерцание неясных лучей. Вспыхнул и тут же пропал. Возник и снова растаял. Ударило белым снопом. Конь упал, загорелся. Князь с пробитым щитом. Воин с прожженным лицом. Мчатся в седлах, горят. Нечем дышать. Нечем смотреть. Свет нестерпимый. Погасло. Тьма. Отлетающий топот. Блуждание ночных светляков. Два лица на белой подушке.

Она медленно, тихо, стараясь не потревожить его, подняла руку. Провела высоко в темноте, пробелев, проскользнув. Завела за голову, пытаясь нащупать что-то лежащее на столике. Упало, зазвенело, посыпалось, то ли бусы, то ли заколки. В окне накатил, налетел ночной шар света. Бесшумно взорвался, брызнул в комнату бесчисленными осколками. На улице затихал шум мотора.

— Я верю в твою удачу! Верю в успех твоего начинания, — сказала она. — Но ты не обольщайся. Победа будет нелегкой. Многие против тебя. Они все эти месяцы выжидали присматривались, а теперь станут действовать. Мне говорили, намекали — у тебя есть враги, сильные, очень умные. Они вот-вот начнут действовать.



— Да и мне намекали. Даже грозили. Думаю, они уже действуют.

— Ты должен их знать. Должен знать их повадки. Должен быть готовым к борьбе.

— Да я не хочу борьбы. Не хочу врагов. Я не рассматриваю их как врагов. Их тоже надо понять. У них свои интересы, они много теряют. Они сопротивляются и по-своему правы. У них своя правда. Вчера они были абсолютно правы, но время изменилось, и они вдруг стали не правы. Но прежде-то были правы! Они много сделали, многое создали. У них заслуги. Они и те, кто до них, построили великое государство, создали могучую оборону, выиграли великую войну. Они управляли огромной индустрией. Сделали, что могли, многое сделали. Им надо об этом сказать. Мы не можем их отвергать. Дело, которое мы затеяли, требует согласия всех, внутреннего мира и участия всех. И старых, и малых. И умных, и тех, кто попроще. И добрых, и тех, кто сердит. Станем действовать всем народом. Здесь не должно быть врагов. Здесь все правы, все достойны, все имеют свое место и честь!

— Ну, а Горностаев? Как ты чувствуешь Горностаева?

— Он горн стаи. Он затрубит, позовет — и сразу откликнется стая. Здесь, в Бродах. Там, в Москве. В министерстве, в Совмине, повсюду отзовутся и кинутся на его призыв. Он горн стаи. Но я не чувствую к нему вражды.

— А Накипелов, он кто?

— Тот, у кого накипело! Есть терпеливые русские люди. Терпят, терпят, скрипят, тужатся, тянут лямку, волокут воз. А потом накипит — и взорвутся! И уже не остановишь. Таких люблю. На таких всякое долгое дело стоит и всякое большое начинание зиждется. На тех, у кого накипает.

— А Чесноков?

— У него честь ног! У одного честь ума, у второго честь души, у третьего честь сердца. А у него самая низкая честь — честь ног. Но и его нельзя выталкивать из ковчега. И его надо брать с собой. Он падший, погибший, но он тоже народ.

— А себя как ты чувствуешь?

— Себя-то? Иногда очень сильным, даже могучим. Чувствую, что мое дело, мой ум, моя совесть сливаются с делом, знанием, совестью многих людей, с целым народом. И будущее за меня, народ за меня. Тогда я чувствую себя счастливым. Но иногда я кажусь себе одиноким и немощным. Меня посещают уныние, неверие. Я чувствую хрупкость моего начинания. Одно неосторожное движение, какая-нибудь злая случайность — и оно исчезнет, погибнет. И я страшусь, теряюсь. Я слишком многословен, я знаю. Стараюсь убедить, уверить. Проповедую, витийствую. А все оттого, что боюсь. Боюсь, что меня не поймут, от меня отвернутся и дело мое зачахнет. «Вектор» погибнет. «Века торжество» так и останется втуне. Век без него обойдется.

— Нет, нет, оно не погибнет! Ты мне верь, оно не погибнет. Оно уже не может погибнуть.

— Конечно, оно не погибнет. Когда мы убедимся, что из робкого росточка оно превратится в могучее дерево. Им живут, им дышат, оно сама жизнь. Тогда я смогу отсюда уехать. Повезу тебя в Москву, к друзьям, замечательным людям. Я называю их «великанами». Ты спрашиваешь: зачем мы живем? Кто мы? Они пытаются на это ответить. Их ответы огромны, исполнены мудрости. Они стремятся понять движение жизни от микроба до ангела, как ты говоришь, до богочеловека, который не ведает смерти. Знает законы Вселенной, берется за сбережение звезд и галактик. И, конечно же, они много знают о нашем времени, о нашем земном пути. Куда нам стремиться, чтоб не пропасть и не сгинуть. А остаться великой страной, великим народом с глубоким пониманием правды, любви, лучезарной космической истины!

— Мы поедем с тобой, мой милый. Поедем к твоим великанам. Но сказать тебе, что я больше всего хочу? Ты не будешь смеяться? Не испугаешься? Можно сказать?

— Ну конечно, скажи.

— Хочу, чтоб мы больше не разлучались. Сберегли не галактику, для этого у нас просто не хватит сил, а наш милый домашний очаг, наш порог. И хочу, чтоб у нас родился ребенок.

Она почувствовала, как он затих, сжался, словно у него перестало биться сердце. И ей показалось, она увидела в темноте, как он побледнел.

— Ты что? — спросила она.

Он не ответил.

— Что с тобой?

Он медленно повернул к ней лицо, и она увидела, какая в нем мука и боль.

— Не будет ребенка. После Чернобыля, когда я лежал в больнице, врачи сказали, мне не надо иметь детей. Может родиться урод или мертвый.

Они молча лежали. Над ними неслись какие-то всадники. Падали шлемы, мечи. Горели леса и нивы.

Она протянула руку. Коснулась его лба. Провела по глазам, по губам. И он слабо целовал ее пальцы.

— Подожди, я сейчас, — сказала она. — Поднимусь на минутку.

Она скользнула белой тенью. Что-то взяла, принесла.

— Смотри! — В руках у нее был огарок свечи, тонкий, гнутый, как стебель. — Помнишь, ходили в Троицу? Я забрала из церкви. Тогда и задумала, что ты ко мне придешь и я зажгу.

Она подвинула стул к изголовью. Зажженной спичкой растопила на свечке воск, укрепила стебель. Зажгла свечу. Дождалась, когда пламя тихо поднялось, осветило ее ладони, ее лицо, ее блестящие глаза, ее упавшие на плечи волосы. Вернулась к нему и легла. Оба смотрели, как качается пламя от их дыхания, от плавающих по комнате неслышных воздушных течений.

— Как хорошо... — сказал он. — Как спокойно...

— Отдохни от всего...

Он благодарно коснулся ее руки. Медленно закрыл глаза, чувствуя веками слабое тепло свечи. Забылся. И мгновенный, под дрожащими веками сон.

Он бежит, задыхаясь, по огромному гулкому залу, склепанному из металла. Не просто бежит — догоняет ребенка. Тот босиком, в белой до пят рубашке, с курчавыми волосами оборачивается, смеется и резво, ловко уклоняется от его объятий, ускользает, шлепая пятками по металлическому полу.

Они пробегают комнату, где в стене мигают разноцветные лампы. Вспыхивают и гаснут квадраты света. И мальчик, весь в миганиях, в красных и белых отсветах, касается нарядных клавиш и кнопок, играет, любуется ими. А в нем — страх за ребенка, стремление его догнать, остановить, оторвать его босые ступни от холодного бетона и стали.

Они выскакивают в зал, где гудят и колеблются трубы, вмурованные в толщу, бугрятся корпуса турбин и насосов, вращаются валы, скрежещут колеса и шестерни. Он кричит, умоляет. Боится, как бы мальчик не попал в это страшное вращение металла. Но тот, едва касаясь земли, как ангелочек, упархивает. Оглядывается, манит его за собой.

Они пробегают длинный пустой коридор с сумрачными светильниками, с рядами одинаковых железных дверей, за которыми стальные цифры, стуки реле, перемигивания индикаторов. Он знает, мальчика подстерегает беда, близкое, таящееся за дверями несчастье — оголенные провода, медные под напряжением шины. Тот в неведении бежит навстречу беде, и только он один, Фотиев, может его спасти. Догнать, прижать к себе его теплое, нежное, любимое тельце. Кричит, но рот беззвучно выдыхает горячий воздух, и мальчик от него убегает.

Они влетают в угрюмый тесный отсек, где невидимый рокот и гул. Упираются в шершавый бетон, и в бетоне бронированная тяжелая дверь, в каплях застывшей сварки, с красными литерами, с поворотным тяжелым запором. Там, за броней, он знает, таится погибель и смерть. Туда, за броню, нельзя. Там нежизнь, там ничто. Но мальчик, встав на носочки, поворачивает железную ручку, открывает дверь и легко ускользает в щель. Мелькнули его рубашонка, кудряшки на светлом затылке.



Он с ужасом, с последней надеждой, в предчувствии, в суеверной мольбе открывает страшную дверь, заглядывает, надеясь увидеть ребенка. Но там, в круглом зале, — красный спекшийся зев дышит, чавкает, хлюпает дымом и смрадом. Огромный шевелящийся уголь с бестелесным дрожанием жара. И такое бессилие, такая безнадежность и боль.

С колотящимся сердцем, задохнувшись, он проснулся, слепо открыл глаза.

Перед ним — горящая свечка. Тонкий стебелек с огоньком. И она, его милая, гладит ему лоб. Испуганно спрашивает:

— Тебе что-то приснилось?

— Нет, нет, ничего. — Он благодарно целовал ее руку. Опять закрывал глаза, чувствуя тепло слабого близкого пламени. И снова забывался, снова засыпал...

И видятся ему легкие сумерки. Сеновал, полный свежего сена. Сено пахнет, скользит, шелестит. Он лежит под дощатой кровлей, под темными, смуглыми балками в комочках ласточкиных гнезд. В оконце — птичьи мелькания, зеленые тени березы, высокое белое облако. И он усилием счастья, теряя свой вес, вылетает в это оконце, выскальзывает в него бестелесно. Выше, выше. В своем счастливом полете он видит родной поселок, зеленый, в бурьянах овраг, просторный выгон с коровами, красные рябины у леса, сосны на гранитных камнях.

Он парит, колышется, чувствуя сладость и легкость, возможность лететь. Управляет в полете своим юным счастливым телом.

Все выше, просторней. Он видит сверху реку и белую рожь. Проселки в лугах, далекие деревни и церкви. Видит рыбу в речных омутах, лесное зверье в чащобах. Видит далекие белые города, корабли на морских просторах.

Земля, как икона, светла и нарядна, любимая, мирная, украшенная трудами рук, дыханием божественных сил.

Он летит над ней не один. Чувствует рядом невидимую близкую душу. Ее женственность обнимает его, поддерживает, несет над землей. Он не видит лица, но знает — она, родная, любимая. То ли мать, то ли сестра, то ли милая. Она, эта женщина, держит его на руках как младенца, и он на ее добрых ладонях парит в бесконечной лазури.

Проснулся. Сон длился мгновение. Все тот же стебелек свечи. Пламя, дрогнувшее от его пробуждения. Ее пальцы у него на губах.

— Ты спи, спи. Я буду смотреть, как ты спишь. И что-нибудь тихонько рассказывать.

И третье видение во сне.

Туманное взлетное поле. На мокрых квадратах бетона под погрузкой стоит самолет. Серый огромный «Антей». Тяжелый, тупой фюзеляж. Громадные распростертые крылья. Выпуклые обтекатели двигателей. Моросит мелкий дождь. Аэродромная прислуга в блестящих, похожих на скафандры одеждах регулирует движение к трапу. Взмахами рук останавливает поток пассажиров. Взмах — и снова пускает на трап.

В этом медленном, восходящем на трап потоке, исчезающем в чреве «Антея», он видит множество лиц. Знакомых, тех, что знал и помнил когда-то. И тех, что едва мелькнули и, казалось, навеки канули. И совсем незнакомых, но с чертами забытого сходства.

В этой веренице, восходящей на борт, он видит отца, и мать, и бабушку, и соседей по дому, и знакомых ребят из поселка, с кем дружил и дрался когда-то. Девушку, которую любил своей первой быстротечной любовью. Женщин с забытыми именами, кто дарил ему мимолетные ласки. Тех бессчетных людей, с кем сводила судьба на стройках, в дорожных вагонах, в номерах затрапезных гостиниц.

Поднялись один за другим «великаны» и канули в проемах дверей.

А вот и те, с кем сошелся в нынешней жизни, — все они были у трапа.

Медленно взошла, остановилась, оглядываясь, Елена Вагапова. Держала на руках младенца, кутала, защищала от ветра. И муж Михаил обнимал ее нежно за плечи. Прошли и исчезли в темной глубине самолета.

Поднялся по трапу Костров с обветренными, сухими губами, с лицом, исполненным муки. Следом за ним величавый седой старик, его отец-летописец. Держал свою «Книгу утрат».

И Дронов с женой, с сыном — боевым вертолетчиком. Тоже поднялся, горбясь, пропуская вперед жену. Коснулся сыновьей руки, оглянулся перед тем, как уйти в самолет.

Сергей Вагапов с Катюхой медленно поднимались в потоке. На Катюхе было новое платье, но глаза ее были в слезах. Она смотрела на Сергея, чего-то ждала, но тот молчаливо и медленно двигался по высокому трапу, пока их обоих не поглотил самолет.

В этом мерном движении людей, отправлявшихся в полет на «Антее», были и Чеснок с дружками, и дурачок с кульком.

Здесь был Горностаев, очень бледный, красивый, поднял воротник пальто, зябко кутался, весь продрог, торопился укрыться от ветра.

Туда же, в огромное чрево, входили и его сослуживцы. Менько, Накипелов, Лазарев. Язвин дышал на свой перстень.

Поток не кончался. Казалось, он зарождается где-то в полях и лесах, за завесой дождя. Тянется, вырастает, приближается к самолету. Покачавшись на трапе, уходит в бездонное чрево. Здесь были люди со славянскими и азиатскими лицами. Узбек в тюбетейке. Молодой безногий десантник опирался на шаткий костыль. Поднимали под руку старушку. Следом за ней генерал крутил красноверхой папахой.

И он, Фотиев, двигался в том же потоке. Антонина была с ним рядом. О чем-то беззвучно спрашивала: так ли она все делает, туда ли они идут? И он отвечал: туда. Они делают так, как все. Как всем им было записано.

Они сидят в самолете. Длинное, в обе стороны уходящее пространство и лица, множество лиц.

Загудел один двигатель. Его гул, его тень от пропеллера. Тронулся второй, третий. Могучие моторы дрожат, сотрясают машину. И этот вселенский до неба рев, этот металлический вой и есть звуки мира, в котором они живут, небо, в котором летят, время, в котором движутся.

«Антей» отрывается от бренной земли, тяжко, со своей непомерной ношей, сбрасывая черные шлейфы копоти, идет в небеса. И все, кто ни есть в самолете, замерли, слушают упорное движение машины, одолевающей притяжение земли.

Летят в ночи. Черная, непроглядная тьма. Пульсирует габаритная лампа. Освещает и гасит надпись на крыле — «СССР». Впереди, в черном небе, в длинном узком прогале, — заря, красная, окруженная ночью. До восхода еще далеко. Ночь бесконечна. «Антей» в металлическом рокоте медленно идет на зарю...

Он проснулся с биением сердца. Близко, у самых глаз — свеча. Совсем не сгоревшая, с легким колыханием пламени. И милая его говорит:

— Ты знаешь, я очень люблю игрушки для елки из тоненького стекла...

Он взял ее руку, прижал к груди. Замер, слушая парение по комнате легких воздушных течений.

Огромный таинственный ветер, зарождаясь в глубине мироздания, омывая миры и галактики, пролетал над землей. Двигал тучи, толкал океанские воды, гнал рыбьи косяки, смещал с маршрутов корабли, самолеты. И штурманы вносили в приборы и карты поправку на таинственный ветер. Он пролетал над Россией, в талых ночных снегах, в тяжких застывших льдах. Над ее городами и пашнями, над заводами и разоренными храмами, над гарнизонами и крестьянскими избами. Залетал и сюда, в их комнату, омывал их, лежащих, слабо двигал пламя свечи.

— Ты помнишь эти игрушки для елки? — тихо смеялась она.

## *Глава двадцать восьмая*

По зимней вечерней дороге шел конь, запряженный в сани. На санях, на соломе, лежал человек. Кольчуга его была прожжена и пробита, спеклась на груди в ржавый ком. Шлема не было. Волосы смерзлись, влепились в красную льдышку. Опаленная солома топорщилась черной гарью, словно сани прошли сквозь пожар.

Под рукой на колечке слабо звенел бубенец. На дуге, намалеванный синим, стоял на задних лапах медведь. Человек лежал на соломе и бредил. Сквозь оплавленный пролом в кольчуге вяло сочилась кровь. Пропитывала солому, капала под сани, вмерзала красными бусинками. Сороки и сойки слетали на дорогу, долбили снег, выклевывали ягоды крови.



Освещенная зарей, проплывала высокая ель. Нижние ветви, заметенные снегом, уходили в сугроб, отливали синью. А вершина с гроздьями шишек пламенела на солнце. Человеку в санях казалось, что это придорожная церковь. Крест сияет, двери распахнуты, теплятся свечи. На столпах и на сводах — лики и нимбы святых. И священник в блистающей ризе держит обитую золотом книгу. Крестит ею дорогу, коня и его, проезжающего.

— Благослови мя, грешного, отче! Приду в воскресенье на исповедь. Примешь мое покаяние. А теперь тороплюсь, ехать надо! Весть донести! Ждут меня с вестью, отче.

Проплыла высокая ель. Снегири на вершине подставляли грудки заре.

Болото с черными льдами в красных отсветах солнца шелестело мертвыми камышами. В ледяные пузыри были вморожены следы лисиц и волков, прошлогодние стрекозы и бабочки, оставшиеся дуновения ветра. Летела по льду сухая поземка. А человеку в санях казалось — он проезжает летний цветущий луг. Утренние травы дымятся, блестят от росы. Косцы в белых рубахах валят душистые ворохи. И один, белокурый, с распахнутой грудью, отирает мокрую косу пучком зеленой травы. Улыбается, манит на луг.

— Тимофеюшка, сосед дорогой, оставь мне у леса делянку. Вернусь — подсоблю, докошу. А теперь не суди, не могу. Тороплюсь, весть несу.

Уплывают белые рубахи косцов, свежие зеленые копны.

Сани проезжали лесную гарь. Из-под снега торчали пни, острия умерших деревьев. В корнях и дуплах уже угнездилась ночь. Дуло тьмой и морозом. Завывало в невидимую унылую дудку. А человеку казалось — это свадьба шла по деревне, катилась огненным радостным колесом. Топотали ряженые. Краснели бурачные щеки. Гремели бубны. Верещали свистки и сопели. На шесте развевались ленты. Несли цветастый поднос, и народ сыпал на него серебряные и медные деньги.

— Приду, приду на пир! Весть донесу и вернусь. У Степана с Марьюшкой погуляю! — говорил он свадьбе, бросая на поднос золотник. А свадьба кинула ему вслед колючую горсть овса, осыпала коня и кольчугу.

Сани катились в последнем солнце. Из-под полозьев вытягивались и стлались на снегу тонкие золотые паутины. Редко капала кровь. Человек смотрел на красные капли. И одна из них стала расти, подниматься. Превратилась в красного пернатого ангела. Ангел побежал за санями, отталкиваясь от снега босыми стопами. Догнал, помогая ударами крыльев. Мягко подсел на сани, принимая поводья. Конь оглянулся на ангела и, почуяв узду, побежал резвее. Человек благодарно смотрел на пернатого возницу, и сквозь красное одеяние ангела, его алые прозрачные крылья просвечивали, как в румяном стекле, двигались, текли перелески, занесенные снегом стожки, осинники и сугробы. И человек заметил: в волосах у ангела заколот малый красный цветок.

Ночью, когда погасла синяя заря над лесами и в небе загорелись белые косматые звезды, конь въехал в деревню. Проволок сани сквозь хрустнувший сугроб к покосившейся крайней избушке. Приблизил голову к крохотному желтевшему светом окошку. Задышал в наледь. От горячего дыхания коня лед на оконце растаял. Глянул масляный светлячок лампады, застывший, скрюченный от мороза цветок. К потному глазку в окне приблизилось подслеповатое старушечье лицо. Вглядывалось в коня, в сани, развалившие сугроб, в опрокинутого человека.

— Господи, никак Федюня! — ахнула, всполошилась.

Кинулась в сени. Прогремела щеколдой. Выскочила на снег и, стеная, надрываясь, вволокла в избу бездыханное тяжелое тело. Положила на лежак у печи. И снег, упавший с волос человека, стал быстро таять в тепле, и металл кольчуги, седой от инея, проступил чернью.

— Господи, Федюня, где ж тебя так? На какой войне побывал?

Приложила ухо к кольчуге. Услышала сквозь железо слабые стуки сердца. Перекрестилась на икону Федора Стратилата в кольчуге с воздетым мечом. Кинулась к печке.

Раздула из угля огонь. Затрещало, залетало пламя в полукруглых вратах печи. Поставила на ухвате два глиняных круглых горшочка. Зашелестела пучками трав и кореньев, выбирая сухие ягоды, блеклые ломкие листья, сморщенные соцветия. Шептала, бормотала, охала, колдовала вокруг печи.

Когда в первом горшочке вскипела вода, она кинула зелье, сотворила заговор.

— Черника, голубика, ягода вороника! Ты, цветок ярпень! Ты, цветок язвень! Разрыв-трава, сон-трава, адов корень! Растите ввысь до месяца, до луны! Прорастайте вглубь до каменной глубины! Рабу божьему Федору кровь заверните, вспять оберните, по кровиночке соберите! Чтоб встала в нем кровь крепко, как столб во дворе у господа, как каменные палаты у царя Соломона, как посох у апостола Павла! Быть посему! Аминь!

Распустились в кипятке коренья и листья. Вскипела синяя пена. Намочила старуха отваром чистое полотенце. Омыла воину кровавые раны, и кровь в них разом застыла, ушла прочь из ран. А сами они закрылись. Вылила старуха остаток отвара на огонь в печи, и пламя остановилось. Стало как синий камень.

Кинула пригоршню трав в другой горшок. Забормотала, задышала в отвар.

— Ты, ягода малина, ягода калина, ягода крушина! Ты, цветок игрень! Папорт-цвет! Серафимовы глазки! Поцелуй-трава! Обойми-трава! Сладок корень! Растите ввысь до ясного солнца, копайте вглубь до нутряного огня! Рабу божьему Федору кровь разогрейте, по жилочкам разгоните, по суставчикам разведите! В щеки малиновой зарей, в сердце божьей верой! Аминь!

Намочила в отваре другое полотенце, приложила к устам страдальца. Провела по очам. И тот вздохнул высоко, щеки порозовели, глаза под веками задрожали. Старуха вылила остаток отвара в горшок с замерзшим цветком, и тот вмиг ожил, зазеленел, и на нем раскрылся и лопнул красный бутон.

Человек на лежанке открыл глаза. Увидел белую печь, лампадку у темной иконы, старушечье склоненное лицо.

— Бабушка Пелагея, ты ли? Как я к тебе попал? Ехал по другой ведь дороге. Видимо, сморило меня, и у Белых ключей потянул левый повод.

— Может, архангел-хранитель его потянул, оттого-то и жив.

— Ехать мне надо. Некогда мне оставаться. Я весть везу...

— Лежи, Федюня, а то твою весть карга на погост унесет.

Стаскивала с него кованую рубаху. Накрывала старушечьим лоскутным одеялом. И он, боясь уснуть, боясь умереть и исчезнуть, рассказывал торопливо старухе.

«Шли мы с князем конно от всех слобод и посадов, от всех деревень и погостов, всего два полка. Шли день до Никитиной пустыни, да еще полдня до обители Трифона Преподобного, да еще полдня до скита Филарета-старца. Как стал вечер, прошли сквозь дубняк, взобрались на гору и с той горы через реку увидали орду. Неведомая орда из незнаемых земель, будто ее с неба надуло. Не ливонцы — те в железах, с крестами ездят. Не ляхи — те перьями страусиными свевают шеломы. Не татары — те носят на знаменах дракона. Не угры — те в куньих и медвежьих мехах. Неведомая орда опустилась на реки, на пожни, на угодья. Пожгла мосты, разорила слободы, повалила святые храмы. Ее, орду неведомую, мы пришли воевать!..

Зрели ее с горы, и была она видом ужасна! Стан ее, яко град с башнями, главами и стеной зубатой. И все из стекла. Посередь того града в стекле крутится колесо, как мельница великая, и крутит его огненная вода. Наполняет собой озеро в железной оправе. И на воду ту больно смотреть — такой в ней свет и сияние. От града в ночь многие исходят лучи, так что можно под ноги коня смотреть и видеть следы от подков. И весь град полон воинов, ростом великих, в доспехах гладких, но не в железах, а будто в шелках. У каждого щит чашей наружу, а мечей и коней не видно..

Князь наш воздел длань и глаголил воинству: «Теперь, братие, ударим дружно, покуда они нас не ждут, а мы их зрим, яко при свете дня! Помолимся пречистой деве Пресвятой Богородице, дабы она нам, грешным, даровала победу. А ежели грехи наши велики, перетянут чашу ее милосердия и будет нам побиение, пусть жен наших и детей наших сохранит от орды и укроет. А мы, видит бог, не мечом, так костьми своими преградим дорогу орде!..»

Помолились мы на образ Божьей Матери и тронулись за князем с горы. Спустились обоими полками на поле и наметом на стан ордынский! И случился тут великий туман, будто адова щель отворилась в земле, и оттуда истек туман непроглядный. То все, как в полдень, видать, а то ушей у коня не видно. Мчим в темноте, в тумане — только звон кольчужный, да княжий сокольничий в рог заиграл, и которые ратники со Скоморошьей слободки, те достали свои гудки и сопели, и их стало слыхать. Так, по звуку рожка да по гуденью скоморошьих сопелей знали, где князь. Скакали в великом тумане...

Туман отлетел разом, будто рукой отвело. И открылся стан близко. Град о семи башнях и о семи вратах. На каждой башне щит, как чаша вовне, и вся горит. И озеро — та же чаша, только огромна, и вдруг встало дыбом, и вода в нем не льется, а яко лед блистающий, яко зерцало, и мы в том зерцале отразились, на самих себя скачем! Воины, их числом до ста, встали под стенами, воздели выше голов щиты, и щиты их — те же чаши, токмо не столь великие. Из большой чаши в них льются лучи, и они те лучи щитами хватают и обращают против нас. Будто мечут стрелы, и мы слепы от этих лучей, и кони наши слепы, а повернуть невозможно!..

Первым князь возгорелся. Влетел в него луч, проязвил дыру в шлеме, прошел лоб насквозь, разметал на затылке метлу огненную, и князь, с коня сметенный, на этом хвосте сатанинском понесся, сам яко клок огня, и пал пеплом, и другие кони пепел растоптали. За ним следом инок Алепий, что от Троицы, наехал конем на луч. Пробило его огненным древком. Схватил его Алепий руками, хотел из себя выдрать, а руки его загорелись, яко две бересты, и кричал он страшно, и руки его сгорели по самые плечи, а потом и сам он в искры рассыпался. Третьим пал Васька Колодник, который за татьи дела на цепи сидел, и он князю бил челом, умолял взять на сечу. Налетел Васька-тать на острие огненное и, как был в кольчуге, стал вскипать. Глаза его белым паром вышли, изо рта красный дым валит, и кровь его из кольчуги многими ручьями брызнула и испеклась, одна ржа осталась!

Тут вижу, заворочалось колесо посреди града, и черпаками тронуло озеро, и оно стало, как солнце. И им, солнцем, повело по нашему войску, и оно загорелось, как бор в смоле. Куда ни взгляни, кони горят и воины, и под ними земля горит, а над ними — небо. Летает кругом огонь, рвет войско, и где был всадник с конем — там пепел и дым.

Нагнал меня адов луч. Тронул коня, и конь мой стал белым пламенем, и я видел, как сгорает сердце в коне, и ржал конь страшно, а я упал и бежал, закрыв очи, настигаем лучом. И луч был, как вилы в три зуба, и искал меня, чтоб убить. Но внезапно явился ангел, схватил сильной дланью те адовы вилы и отвел от меня. А меня по воздуху перенес через полымя, опустил за гору в бору, где стояла телега, уложил и тронул коня.

И, покуда я гнал коня, пробирался сквозь бор, возник в черном небе улетающий град. Вознесся на семи хвостах, как дракон. Не стало видно звезд от света, и нечем стало дышать, и, как лодка с гребцами, ушел по водам небесным. И стало мне страшно и дико, и дух покинул меня. Я упал в телегу без памяти, а когда очнулся, не лето кругом, а зима, не телега подо мною, а сани. Будто орда неведомая, улетая с земли, полгода с собой захватила.. »

Раненый воин порывался встать и бежать. Старуха удерживала его, накрывала одеялом, мелко, часто крестила.

И приснился ему отец, убитый на другой войне, павший в другой сече. Будто он поднялся к отцу на небо и видит его, стоящего на небесной

поляне. По всей поляне, сколько хватает глаз, горят свечи. Одни ярко, пылко, другие догорают, от третьих малая капелька света осталась. В руках у отца свеча из красного воска, перевитая серебряной лентой. Отец ходит по той поляне среди свечей, изымает те, что сгорели, ставит на их место новые, возжигает от большой, красного воска свечи.

В груди у отца глубокая рана. Лицо худое, строгое. Будто не рад появлению сына. А он, сын, весь в слезах от любви к отцу, от нежности к нему и печали, от желания кинуться, целовать его любимое, родное лицо, омыть его кровавую рану.

— Помнишь, помнишь, отец, как ты брал нас с матерью на ладью и мы возили копешки сена, и мать из баклажки поила нас молоком, и вы с ней все смеялись? Почему вы тогда смеялись?

— Тут об этом не помнят, — сказал отец. — Тут о земном не помнят. Говори: зачем пришел?

И, глядя на отцовскую рану, вспоминая истошный плач матери, когда привезли отца на телеге с другими убитыми ратниками, он спросил:

— Рана твоя не болит? Будто и меня такой же стрелою настигло.

— Ранили нас одной и той же стрелою, — ответил отец. — Летит она издали и давно. И многие прежде меня были ею убиты. И многие после тебя будут ею уязвлены. Имя стрелы — свет тьмы, и она же — стрела сокрушающая!

Он слушал отца, не понимая смысл его слов, а только их звук. И слова неясного смысла отпечатались в нем, как горячая медь на воске.

— Откуда взялась орда, и что означает их град? — спрашивал он, глядя, как колеблются огоньки бессчетных свечей и гаснет то одна, то другая.

— Есть свет тьмы, и есть тьма света. И у них один ангел и один Град Семиглавый. Многие служат им и являются к вам на землю, чтобы мучить и жечь. И будут являться, покуда земля не одолеет тьму света и не станет, как снег. И все, кто на ней, очистятся в свете и будут занесены в книгу света, где несть тьмы!

— Почто мы живем, отец? Почто так мучаемся? Почто избиения? Когда конец рати?

— Рать будет долгой, сто веков, и еще сто веков, покуда летит стрела. И победы у вас на земле не будет, но и здесь, на небе, не будет. А место, где будет победа, сокрыто.

— Научи, отец, как жить! На что уповать?

— Загляни в мою рану. Вложи персты и раздвинь. Гляди и на то уповай.

Он вложил персты в отцовскую рану, раздвинул ее, прильнул оком. И в ране открылась чудная даль. Поля с желтой рожью, деревни с белыми храмами, синие студеные реки с темными лодками на зеркальной воде. Весь родной, любимый, дарованный богом мир. И так дивно, так сладко, такое умиление в сердце, такой свет в душе.

— Что делаешь ты, отец, на этой небесной поляне? — спросил он, любя отца, желая его обнять, робея его строгого лика.

— На каждое земное рождение возжигаю свечку. И на каждое земное успение гашу свечку.

— А моя есть свеча?

— Ступай за мной следом.

Они двинулись по поляне, перешагивая свечи, и среди многих пылающих отец указал одну, тонкую, как стебелек, с прозрачным слабым огоньком-одуванчиком.

— Твоя!.. Недолго гореть... А теперь ступай!

Погасла поляна. Исчез отец. А он проснулся под чистым солнечным пологом, и в руке его — огарок свечи.

И полог этот в доме его сердечного друга Василия, с кем взрастали рядом, в одном посаде, учились премудростям по одним рисованным книгам, не раз ходили к Троице и к обители преподобного Трифона. И Василий, душою высок и чист, во многих художествах и умениях преуспел, а более всего в творении молитв. Уйдя из мира, стал в иконах чудесные лики святых и апостолов рисовать — на дубовых досках камнем голубцом, и киноварью, и сурьмой. Теперь они сидели вдвоем в его светлой келье с окном в белый сад и вкушали мед. Пчелы из сада прилетали на мед и садились в чашу. Василий черпал бережно, чтоб не потревожить пчелу. На его столешнице, где лежали черные в кожах книги, синело малое перышко сойки.



— Монахи у Трифона рыли колодец и отрыли корабль. Деревянный, обшит медью, в двенадцать весел. Стало быть, где ныне сушь — там прежде море было. Минует время, и там опять море станет. Все кругами идет: и вода, и воздух, и жизнь царства. — Лицо у Василия спокойное, светлое. Одолением страстей достиг он премудрости. Тратит свой век на размышление и молитвы, на книги и писание досок.

— Ты, Василий, друг милый, превзошел меня в помыслах и художествах. Тебе, а не мне откроются врата истины.

— Но ты, Федор, возлюбленный друг мой, превзошел меня в ратных искусствах, в странничестве, в мирском подвиге, творимом за други своя. Тебе по исполнению дней откроются злаченые врата истины.

— Много мне удалось повидать, но мало понять. И нет того, кто бы мне открыл, разъяснил.

— Боюсь тревожить тебя расспросами. Во сне кричишь, душа твоя в муках рвется. Ступай в сад гулять. На яблонях чистый цвет. Гляди на него и духом светлей.

— Не могу по саду гулять, не могу глядеть на чистый цвет яблонь, покуда не поведаю тебе, как воевали орду. Ты выслушай и в книгу впиши. Один я остался, кто знает Умру — и вовсе забудется.

— Говори. Все впишу до единого слова.

И начал он долгий сказ про то, как случилось.

Прискакал на соборную площадь на опаленном коне ловчий Братко. Задрал рубаху, показывал народу свой сожженный живот. И, умирая, говорил бессвязные речи про явление орды, севшей на Броды, спалившей мосты и ладьи, и села, и посады, и божьи храмы, избившей многих жен, и мужей, и монахов, и рыбаков, н ловчих. И от той орды сходит огонь и великий пал. И если ту орду не посечь, все от старых до малых, в огне пропадут.

И князь велел бить в большой колокол, собирая рать. И на рать вышли все, кто мог воссесть на коня и держать в руке меч. Открыли подвалы и выпустили на волю колодников, которые просились на рать. И иноков, и монахов обрядили в кольчуги, которые просились на рать. И было на площади общее целование, просили друг у друга прощения, кто в чем виноват и согрешил, и говорили друг другу «брат».

И шли первый день по большой дороге на волок, и в травах следом шло много волков и лисиц, и летели карги, ястреба и птицы-неясыти. А ночью, когда стали станом, взошли разом две луны, обе красные, как сукровь.

Во второй же день пути случились иные чудеса и знамения.

Из озер и рек выбрасывалась рыба на берег, будто ей нечем дышать. Ползла на плавниках по земле под ноги коней и умирала. И ехали по мертвой рыбе.

Случилось вдруг со многими безумие и помрачение духа. Затмило разум ненавистью и злобой, и возгорелась ссора. Друг на друга кидались с мечами и бились. И были раненые, покуда иноки не окропили помутненных святой водой, и те прозрели.

Подъезжали когда под Малые Броды, вдруг напал на всех страх великий, и на коней. Сами поворачивали и скакали прочь. А у людей глаза побелели от страха, и многие враз поседели, будто увидели ужас. Но было все тихо, леса стояли зеленые, и реки тихо текли.

К полудню, когда поили коней, и был жар, и под кольчугой кожу пекло, вдруг река стала льдом. И долбили лед мечами и копьями, чтоб коней напоить.

А к ночи, когда достигли Святой Дубравы, побежали навстречу звери, будто их гнал пожар. Медведи, лисицы, зайцы, лесные и полевые мыши, ужи, пауки и всякий червь земной — все стремились навстречу, и кони ржали, хотели повернуть за ними.

Князь обратился к войску: «Идти ли дальше? Не говорят ли знаме-

ния, что будем убиты?» «Дальше идем,— отвечали полки.— А чтоб укрепиться духом, разверни, князь, хоругвы!»

Развернули хоругвь с образом Нерукотворного Спаса и взошли на Городище, на высокую гору, откуда увидали орду...

— Федор,— прервал его Василий.— Твой рассказ был записан мною, прежде чем ты начал рассказывать. Подойди сюда и взгляни. Так ли было?

Он взял друга за руку, отвел в угол кельи, где на столешнице синело перышко сойки и, накрытая полотном, лежала икона. Убрал белую ткань— и открылось.

Выезжает строем конное воинство. Шлемы, копья, щиты. Движется мимо нив, дубрав. Переходит вброд реки. Смотрит с высокой горы в глубину дола, где ужасный видом огненный Град о семи головах и башнях, и на каждой кипящая ртуть. Мчатся воины навстречу лучам, падают в пламени. Крутится в Граде огненный змий, и войско горит, как хворост. Уходит Град в ночное небо, оставив под собой семь хвостов и пожаров, и земля, как уголь, черна.

— Откуда все знаешь? Кто побывал до меня?

— На небе все было видно. Поднялся на колокольню, и на небе была видна сеча. В книгу ее записал и на доску занес.

Обнялись они, и плакали, и целовались по-братски.

— Ступай, отдыхай под полог,— провожал его друг.— А мне к вечере идти, часы читать.

Задернул над его головой чистую полотняную ткаиь.

И привиделась ему его милая. Сумерки зимней избы. Белая теплая печь. Беличьи шкурки сохнут, подвешенные у матицы на гвозде. Тихо покачиваются от теплых дуновений. Сверчок неумолчный за старушечьим сундуком, где вешают сарафаны и кики, осыпавшие жемчуг кокошники. И она, его милая, тихо ведет своей легкой рукой по его волосам, целует в закрытые веки.

— Опять ты от меня уехал и со мной не простился! В который раз уезжаешь, а перед этим слова не молвишь!

— Теперь никуда не уеду, с тобой останусь. Куда мне теперь уезжать?

— А помнишь, как ходили к Троице на страстную пятницу и всю ночь кричали грачи?

Помнит, конечно, помнит. Грачи кричали всю ночь, и из храма несли плащаницу, тяжелую ветхую ткань с серебряным телом Спасителя. Ночное кружение у церкви, заунывное пение старушек. Отец Николай дал ему в руки большую, обитую золотом книгу, а она, его милая, несла перед ним свечу. И он любил ее бесконечно в этих тающих весенних снегах, среди блуждающих огоньков и грачиных криков. Помнит, конечно же, помнит.

— А помнишь, как оторвался конь, убежал в чащобу и мы ловили коня?

И это он помнит. Как пробирались в чащобе, в душистом мокром малиннике, набирали полные горсти ягод, и она протянула ему пригоршню, и сквозь пальцы ее светило солнце, и сквозь ягоды светило солнце, и он целовал горсть ягод, и ее губы в малиновом соку, и конь сквозь кусты смотрел на них своим солнечным смеющимся оком.

— А помнишь, как ловили звезды ведром?

И это помнит. Ходили зимой к колодцу. Он вытащил дубовую стучащую о сугроб бадью, поставил на снег. И когда улеглась водяная рябь, в круглом зерцале собрались все звезды, все небесные силы. Опустились на колени, наклонились к бадье и увидели в ней мерцания высоких небесных царств и ночного синего ангела, пролетевшего в мироздании.

— Ты ушел на войну, а я сшила платье к венцу и бусы, и ленты купила. Все смотрела в зеркальце, которое ты мне подарил. Все хотела тебя углядеть. А в зеркальце вдруг блеску не стало, будто туман нашел.

— Что об этом теперь говорить? На Красную горку свадьбу сыграем.

— Обними меня крепко-крепко!

Он обнял ее. Раскрыл ей рубаху на груди и целовал серебряный крестик, и целовал под бусами шею и жаркие губы. И ему начинало казаться, она вырастает у него под губами, становится белой, необъятной, как земля в своей белизне. Подымает его и несет к высокому свету и блеску, к ночному чудному солнцу. Опускает обратно в сумерки теплой избы.



— Милый ты мой, любимый! Рожу тебе сына.

Бабочка, ожив от тепла, заметалась вокруг лампадки. Села, яркая, красная, на смуглый лик Богородицы.

— Милый, здесь жарко! Пойдем из избы. Покатаемся с тобой на санях. Достань-ка сани в сарае. Покатаемся с горы на санях!

Он вышел в сарай. Дохнуло морозом, холодным железом, старой, мертвой соломой. На ощупь пошел вдоль стены. Звякнули старые косы— ходили с отцом на луга. Качнулась деревянная ступа—мать долбила зерно. Вот драный плетеный кнутик—гонял подпаском коров. Вот старая берестяная дуда—манил щеглов и синиц. А вот и сани—гнутый полоз, ременные вожжи, ленточка сохранилась с давнишней масленицы.

Он вынес сани наружу, положил на хрустнувший снег.

Стояла ночь. Только за крышей сарая угасла последняя голубая заря. Колья забора темнели на синей заре, и из нее рождались водяные белые звезды. Над крышей их было много, морозных и дымных, в черных ночных небесах.

И такая печаль и нежность охватили его, такая любовь и боль к этой старой родимой избе и к ней, невидимой, милой, укрытой за венцами стены. Предчувствие утрат и потерь, близких неминуемых бед. Желание, чтоб они миновали, не коснулись его любимой, затерянной в полях деревеньки. И, желая отвлечь беду, преградить к родному порогу движение темных неведомых сил, он встал на колени и, обращаясь к заре, начал молиться.

Он молился о продлении рода. О родившихся, спящих в колыбелях младенцах и о тех, что еще были в материнских утробах. О стариках, готовых покинуть свет, и о тех, ушедших, что лежали в мерзлых могилах. Он молился, чтоб в людях сохранились добро и любовь, не оставили их милосердие и кроткая нежность. Чтоб земля его, Родина, в дождях, снегопадах, в осенних озаренных лесах, была вечна, неопалима. Сияла для мира в негрозной красоте и величии.

Он молился страстно и долго, покуда не погасла заря. Ожидал для себя знака, что молитва его услышана. За домами в проулке послышался стук колотушки, метнулся свет фонаря. Неся фонарь, упираясь в сугробы клюкой, прошел старый сторож.

Она вышла к нему из избы. В черноте блеснул ее цветастый платок.

— Пойдем на гору, слетим с горы на деревню!..

Они взялись за ременный повод. Потянули пустые, стучащие сани на гору мимо тихих избушек, где желтели над снегом оконца. Он чувствовал, как легка ее поступь, как горячо и румяно ее лицо, овеваемое морозным ветром.

Достигли вершины. Поставили сани в промороженную колею, и они, легкие, скользкие, колыхнулись, словно лодка в воде.

— Я впереди, а ты сзади!.. Держи меня крепче!—сказала она.

Он уселся, обнял ее. Ее цветастый платок с ночными цветами и листьями был у самых глаз, пахнул теплом и летом.

Оттолкнулся, и сани помчались. Брызнуло синими искрами, мелким блестящим льдом. Метель закружилась. Они летели с горы в ветре, свисте и, не достигнув подножия, оторвались от земли и взмыли.

— Боже, как хорошо!—сказала она.—Мы как птицы!

Они пролетели над деревенскими крышами с легкими красноватыми ворохами, излетавшими из труб. Над полем, где в снежных лунках, укрываясь от ветра, свернулись лисы, и были видны тени от их пушистых хвостов.

Возносились все выше иад спящей землей, и край ее шубки курчавился белой куделью, и ветер вырывал из глаз счастливые блестящие слезы.

— Куда мы летим?—Она оборачивала к нему свое восхищенное, с блестящими глазами лицо.—Не знаешь, куда мы летим?

Впереди, куда их влекло на крыльях, начинала разгораться заря. Все

ярче, красией. Все небо было в заре, огромной, непомерной. Земля оставалась в тени, и там, на земле, что-то клубилось и двигалось. Многоликие, темные, катили грозные толпы, беспощадные силы, по всем большакам и дорогам, по всем полям и ложбинам. Опять надвигалась беда. И не было войска, чтобы ее отразить, не было часа и времени, чтоб послать гонца за подмогой.

— Мне надо идти! — сказал он, выпуская ее из объятий. — Мне надо идти!

— Но ты вернешься ко мне?

— Вернусь! Но теперь прощай...

Она не пускала его. Заря была все огромней, начинала желтеть, пламенеть. Овчина на ее рукаве начинала дымиться. Ее лицо в заре казалось теперь золотым — золотые щеки и лоб, золотые губы, глаза.

«Златодева, — шептал он. — Златодева».

— Ступай, я вернусь к тебе скоро! — сказал он, толкая сани.

Она отлетала, удалялась, о чем-то его умоляла. И он радовался, что она исчезает и уже не мешает ему. Он был один. Оставалась еще минута, последняя, краткая, чтобы можно было приготовиться.

Внизу клубилось и двигалось. Множилась дымная тьма. Мелькали злые лучи. Земля, беззащитная, белая, покрывалась угрюмой мглой. И только он, единственный, мог спасти ее от беды.

Миновала, пролетела минутка. Он вздохнул глубоко, одернул ниже кольчугу и ринулся навстречу лучам.

Конь, запряженный в сани, двигался по зимней дороге. На санях, на соломе лежал человек. Он больше не бредил, и кровь из раны перестала сочиться и капать. И волки бежали следом, хватая на бегу красный снег.

●

Дон АМИНАДО

# Из литературного наследия

### «Как объяснить в простых словах...»

Имя Дона Аминадо мало что говорит широкому читателю. А между тем стихи этого поэта, публиковавшиеся в журнале «Новый Сатирикон», были весьма известны в дореволюционной России, в 1915 году вышла и его первая книга «Песни войны».

Псевдоним Дон Аминадо принадлежит Аминаду Петровичу Шполянскому (1888—1957). В 20-е годы он оказался за границей, много печатался в различных периодических изданиях русского зарубежья, выпустил несколько книг стихов и афоризмов, а также том воспоминаний «Поезд на третьем пути», где приводятся слова А. М. Горького, сказанные в 1934 году: «Один из самых даровитых, уцелевших в эмиграции поэтов». О стихах Дона Аминадо высоко отзывались В. Ходасевич, М. Цветаева, И. Бунин, ему сопутствовал большой читательский успех. Но многие литераторы, особенно более молодого поколения, отдавали должное лишь его таланту сатирика и юмориста.

Так ли это? В стихах Дона Аминадо явственно виден его литературный предтеча. Это Козьма Прутков. Соединение «высокого» с «низким», сознательная приземленность образов в сочетании с тонкой лиричностью, умением найти точную характеристику и меткое слово — все это черты своеобразного поэтического дара Дона Аминадо.

В стихотворении «Друг-читатель» поэт так обозначил внутреннюю задачу своей поэзии: «...ты в него так этим юмором брызни, чтоб он хоронил, но чтоб он хохотал». А хоронить читателю-эмигранту, да и писателю, было что. Отсюда в стихах Дона Аминадо так часты строки о напрасно прожитой жизни, горькие обращения к своему поколению. Поэт говорил — но своим языком! — о том же, о чем писал примерно в то же время Георгий Иванов:

Как вы когда-то разборчивы были,
О, дорогие мои!
Водки не пили — ее не любили —
Предпочитали Нюи...
Стал нашим хлебом цианистый калий,
Нашей водой — сулема.
Что ж — притерпелись и попривыкали,
Не посходили с ума.
Даже напротив — в бессмысленно-злобном
Мире — противимся злу:
Ласково кружимся в вальсе загробном,
На эмигрантском балу.

Эти строки перекликаются, внутренне единятся с горько-разоблачительными мотивами «Исповеди», «Исканий» и других стихотворений Дона Аминадо. Поэт «в простых словах», с жесткостью, четкостью, но и с болью выразил трагический итог бесполезной жизни: «вкруг да около ходили, мимо главного прошли».

В поэзии Дона Аминадо сильна ностальгическая нота. Все милое его сердцу осталось «на петербургских островах», «там, на Тверской... на Ямской», в блеске русского зимнего полдня, в шелесте пыльной уездной сирени. Пронзительные стихотворения — «Города и годы», «Потонувший колокол», «Люблю декабрь...» — безусловно, можно считать лучшими.

В предлагаемую читателю подборку вошли стихотворения из двух книг — «Накинув плащ» и «В те баснословные года». Оговорка эта делается потому, что поэт всегда оставался суровым критиком своего слова и от публикации к публикации правил стихи, добиваясь все большей выразительности.

Думается, знакомство с творчеством Дона Аминадо откроет нашему читателю самобытного поэта, чье имя, несомненно, имеет право на место в истории русской литературы.

*Игорь ВАСИЛЬЕВ*

### Как рассказать...

Как рассказать им чувство это,
Как объяснить в простых словах
Тревогу зимнего рассвета
На петербургских островах,

Когда, замучившись, несется
Шальная тройка поутру,
Когда, отстегнутая, бьется
Медвежья полость на ветру,

И пахнет влагой, хвоей, зверем...
И за верстой верста бежит.
А мы, глупцы, орем и верим,
Что мир лишь нам принадлежит.

### 1917

Какой звезды сиял нам свет?
На утре дней, в истоках лет,
Больших дорог минуя стык,
Куда нас мчал лихой ямщик?

Одним черед. Другим черед.
За взводом взвод. И — взвод, вперед!
Теплушек смрад, махорки дым.
Черед одним. Черед другим.

Один курган. Другой курган.
А в мире ночь. Седой туман.
Протяжный вой. Курганов цепь.
Метель. Пурга. Татары. Степь.

### Потонувший колокол

Ночью был ветер. Стучало и звякало.
Стоном стонало в верхушках осин.
Где-то в трубе причитало и плакало,
Прямо как в повести «Домби и сын».

Вдруг захотелось поленьев березовых,
Кафельной печки... Чтоб снег пеленой
Сыпал за окнами дома Морозовых,
Помните... там, на Тверской... на Ямской...

### Эпилог

В сердце тоска. Сомнение. Тревога.
Худые призраки толпятся у порога.
Проходят дни без смысла и следа.
Во тьме ночей, в пространствах и туманах
На всех наречиях, гудящих и гортанных,
Перекликаются большие города.



Сигналы бедствия пылают на утесах.
И ворон каркает. И жен простоволосых
Протяжный вой нам сердце леденит.
Над морем гаснут звезды Водолея,
И где-то горько плачет Лорелея
И головою бьется о гранит.

### Города и годы

Старый Лондон пахнет ромом,
Жестью, дымом и туманом.
Но и этот запах может
Стать единственно желанным.

Ослепительный Неаполь,
Весь пронизанный закатом,
Пахнет мулями и слизью,
Тухлой рыбой и канатом.

Город Гамбург пахнет снедью,
Лесом, бочками, и жиром,
И гнетущим, вездесущим,
Знаменитым добрым сыром.

А Севилья пахнет кожей,
Кипарисом и вербеной,
И прекрасной чайной розой,
Несравнимой, несравненной.

Вечных запахов Парижа
Только два. Они все те же:
Запах жареных каштанов
И фиалок запах свежий.

Есть чем вспомнить в поздний вечер,
Когда мало жить осталось,
То, чем в жизни этой бренной
Сердце жадно надышалось!..

Но один есть в мире запах,
И одна есть в мире нега:
Это русский зимний полдень,
Это русский запах снега.

Лишь его не может вспомнить
Сердце, помнящее много.
И уже толпятся тени
У последнего порога.

### Люблю декабрь...

Люблю декабрь за призраки былого,
За все, что было в жизни дорогого
И милого, бессмысленного вновь.
За этот снег, что падал и кружился,
За вещий сон, который сладко снился,
Как снится нам последняя любовь.

Не все ль равно? Под всеми небесами
Какой-то мир мы выдумали сами
И жили в нем, в видениях, в мечтах,
Играя чувствами, которых не бывает,
Взыскуя нежности, которой мир не знает,
Стремясь к бессмертию и падая во прах.

Придет декабрь... Озябшие, чужие,
Поймем ли мы, почувствуем впервые,
Что нас к себе никто не позовет?
Что будет елка, ангел со звездою
И Дед Мороз с седою бородою,
Волшебный принц и коврик-самолет.

И только нас на празднике не будет.
Холодный ветр безрадостно остудит
Усталую и медленную кровь.
И будет снег над городом кружиться,
И, может быть, нам... наша жизнь приснится,
Как снится нам последняя любовь.

### *Послесловие*

Жили. Были. Ели. Пили.
Воду в ступе толокли.
Вкруг да около ходили.
Мимо главного прошли.

### *Исповедь*

Милостивые государи,
Блеск и цвет поколения!
Признаемся честно
В порыве откровения:

Зажглась наша молодость
Свечой ярого воска,
А погибла наша молодость,
Пропала, как папироска.

В Европе и Америке
Танцевали и пели —
Так, что стены дрожали,
Так, что стекла звенели;

А мы спорили о боге,
Надрывали глотки,
Попадали в итоге
За железные решетки,

От всех семи повешенных
Берегли веревки,
Радовались, что Шаляпин
Ходит в поддевке,

Девушек не любили —
Находили, что развратно,—
До изнеможения ходили
В народ и обратно;

Потом... То, чего не было,
Стало тем, что бывает.
Кто любит воспоминания,
Пусть вспоминает.

Развеялся во все стороны
Наш прах неизбывно.
Не клюют его даже вороны,
Потому что им противно.

### *Искания*

Какая-то личность в простом пиджаке
Вошла на трибуну с тетрадкой в руке,
Воды из графина в стакан налила
И сразу высокую ноту взяла.

И так и поставила тему ребром:
— Куда мы идем? И зачем мы идем?
И сорок минут говорила подряд,
Что все мы идем, очевидно, назад.

Но было всем лестно, что всем по пути,
И было приятно, что если идти,
То можно идти, не снимая пальто,
Которые снять и не думал никто.

И вышли, вдыхая осеннюю слизь,
И долго прощались, пока разошлись,
И, в сердце святую лелея мечту,
Шагали и мокли на славном посту.

### *Когда мы вспомним*

Никто не знал предназначенья,
И дар любви нам был вручен.
И в страшной жажде расточенья
И этот дар был расточен.

Но кто за нежность нас осудит,
Казнит суровостью в раю?
И что в сей жизни главным будет,
Когда мы вспомним жизнь свою?

*Публикация Игоря ВАСИЛЬЕВА*



Иван ФИЛОНЕНКО

# Особая экспедиция

ГЛАВЫ ИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ

### *К читателю*

Меня как читателя всегда занимают истоки интереса писателей к разрабатываемым ими темам. Упреждая этот закономерный вопрос, скажу, что еще в пятидесятых годах, когда я учился в агролесомелиоративном техникуме, готовившем специалистов для выполнения Государственного плана преобразования природы, нам часто и увлеченно рассказывали о Каменной степи, показывали фотографии, говорили о величии подвига человека, преобразившего природу когда-то пустынного края. И исподволь Каменная степь вошла в мое сознание как прекрасный мираж, манящий своей почти реальной красотой. Я знал, что это вполне конкретная географическая точка, однако стоило мне прочитать где-нибудь эти два слова «Каменная степь», как конкретность тут же исчезла и мне уже виделось что-то вроде романтичной Земли Санникова. Это ощущение крепло еще и потому, что я, изъездив вдоль и поперек нашу страну, побывав почти во всех ее областях и республиках, Каменной степи не видел, хотя и очень хотел увидеть и, конечно же, знал ее географическое местонахождение.

Но вот, работая над документальной повестью о Терентии Семеновиче Мальцеве, я решил коснуться времени, предшествовавшего рождению моего героя,— в частности голодного 1891 года. И хотя в книге достаточно было лишь краткого о нем упоминания, мне захотелось узнать о той бедственной година значительно больше, чем требовалось для повести. Таким образом я и натолкнулся на материалы «Особой экспедиции по испытанию и учету различных способов и приемов лесного и водного хозяйства в степях России». Возглавлял эту экспедицию родоначальник науки о почве Василий Васильевич Докучаев. В июне 1892 года он со своими учениками отправился в самый центр многих засух, на водораздел между Волгой и Доном, туда, где простиралась Каменная степь. Здесь Докучаев и основал опытную станцию, целью которой была «реставрация природы степи».

Чем больше я вчитывался в документы, тем больше хотелось мне узнать об этой экспедиции, о сподвижниках Докучаева и о нем самом. Однако, кроме отчетов самой экспедиции, история, казалось, никаких иных материалов нам не сохранила. Этот период и в трудах исследователей жизни и деятельности Докучаева, как и его именитых сподвижников, один из самых неясных. Решил, что необходимо самому ехать в Каменную степь,— станция, внесшая огромный вклад в отечественную и мировую науку, давно уже выросла в научно-исследовательский институт, и там наверняка должны быть материалы, восполняющие пробел.

Поехал. Однако что за странные чувства и откуда они? Будто две противоборствующие силы овладели мной. Одна торопила вперед и, распаляя любопытство, напоминала: «Там, впереди, степь, которую ты мечтал увидеть еще в юности». Однако другая сила упиралась в грудь и с каждым километром все сильнее выговаривала: «Разве мало ты видел запустения, небрежения к тому, что сделали предки? Если вырубаем леса, корчуем парки, если реки и озера губим, то почему ты думаешь, что за сто минувших лет не пустили под топор докучаевские полосы, не порушили прудовые плотины? Увидишь — и исчезнут все твои романтические видения».

Я соглашался и спорил: видеть-то доводилось всякое, но, что ничего не осталось и тут, в Каменной степи, допустить не мог — пусть не все, но что-то должно было остаться — о том и статьи в газетах и журналах свидетельствовали. Стоят, стоят еще в степи «докучаевские бастионы»...

А по сторонам дороги, куда ни глянь, открытые всем ветрам поля, изнывающие от зноя, кое-где работают дождевалки, стремясь напоить посевы. Ни кустика вокруг.

И вдруг впереди во всю ширь горизонта обозначился лес. Он все отчетливее выявлялся в знойном мареве, и все яснее становилось, что дорога никак не минует его. Судя по километражу, Каменная степь где-то за ним.

И вот по обеим сторонам дороги замелькали лесные полосы, пруды, озерки, в окно машины дохнуло живительной прохладой. Местность, еще недавно казавшаяся безлюдной, становилась все оживленнее: одни люди собирали что-то в лесополосах, другие купались в прудах и озерках.

Да, это лесополосы издали показались мне лесом. Они тянулись вдоль дороги, убегали от нее влево и вправо, охватывая квадраты полей, и поэтому создавали вид сплошного массива.

А я все всматривался вперед — не хотелось упустить вот-вот откроющегося вида на Каменную степь. А полосы становились все гуще, дубы и ясени в них все крупнее, выше и величественнее — ширококронные, со стволами-колоннами. Все чаще машина шла в тени, отбрасываемой этими великанами. В машине становилось все прохладнее, хотя солнце в небе палило все так же яростно. Я закрыл окно. И в этот момент увидел указатель у перекрестка: «Каменная степь». И тут же: «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства ЦЧП имени В. В. Докучаева». Я глянул влево, куда и повелевала смотреть стрелка указателя: среди зелени, в конце дороги-аллеи, стоял знакомый по фотографиям четырехэтажный корпус института.

Признаюсь, даже некоторое разочарование накатило на меня: выходит, я давно уже в пределах Каменной степи? А где же степь и степные просторы?

Но первое мое чувство вскоре сменилось иным: это же хорошо, что нет просторов, что земля так защищена от суховеев и бурь!

Однако меня ждало и настоящее разочарование: почти никаких материалов докучаевской экспедиции в институте не было — ни в музее, который только-только начал создаваться, ни в библиотеке. Славная история оказалась здесь в таком забвении, что многие и многие ученые «Докучаевки» даже высказывали сомнение: да бывал ли здесь сам Докучаев?

«Ну, а что известно о его сподвижниках, отдавших преобразованию Каменной степи годы жизни?» — спрашивал я. И о них — лишь смутные предположения, догадки, но не знания.

И совсем огорчили меня старожилы: рассказывали, что еще лет 15—20 назад в иституте были и старые карты, составленные экспедицией, и журналы, и книги с материалами экспедиции, но однажды очищали кабинеты от хлама, все это снесли в большой костер и сожгли.

Я усомнился: не могло быть, чтобы не просто грамотные, а ученые люди сносили в костер свою историю,— за давностью лет кто-то что-то путает. И тогда один из них, здесь, в Каменной степи родившийся и здесь давно уже работающий, развернул огромный лист ватмана и сказал: «Вот, унес я тогда домой от костра». Это была карта Каменной степи. Даже не карта, а ее портрет со всеми черточками местности, с планом будущих лесополос, питомников, прудов и колодцев. Вычерченный чинами экспедиции в первый год работы в Степи и ими подписанный.

Одно извиняло нынешних каменностепцев — они прекрасно сберегли наследие, оставленное экспедицией в натуре, сберегли, восстановили, где была нужда в восстановлении, добились, чтобы именно докучаевский оазис стал заповедной зоной, а вокруг на многих и многих тысячах гектаров заложили новые лесополосы, создали новые пруды и практически давно уже закончили «реставрацию природы степи».

Степь стала лесостепью. А на той земле, которая ничего не рождала, кроме перекати-поля, теперь даже в самые засушливые годы меньше 40 центнеров зерна с гектара не намолачивают. И это без всякого орошения!

Я взялся за поиски документов и бывал счастлив, когда в ворохе архивных дел выискивал хоть фразу, проливавшую свет на прошлое. Передо мной постепенно раскручивалась жизнь России, словно из небытия воскресали и врывались в сегодняшний день заботы ее сынов. Каждая находка открывала что-то новое, неожиданное.

Оказывается, на протяжении многих лет приезжал в Каменную степь Николай Иванович Вавилов — здесь испытывались и размножались чуть не все культуры, семена которых он собирал по всему миру и которые составили ныне знаменитую коллекцию. Больше того, как свидетельствуют документы и письма самого Вавилова, именно здесь, в Каменной степи, его соратники и начинали «прорыв в тайны генетики». Здесь начиналось становление многих ученых, как известных ныне, так и незаслуженно забытых, имена которых знает сегодня лишь узкий круг специалистов.



Так исподволь Каменная степь в моем сознании начинала обретать совсем иную значимость, стала населяться и обживаться все новыми и новыми людьми, достойными восхищения и памяти. Дело, начатое Докучаевым, переходило, словно по эстафете, из рук в руки.

Насидевшись в архивах и библиотеках, я возвращался в Каменную степь, чтобы походить, посмотреть, встретиться со старожилами, которые уточняли мои прикидки на местности. Вместе с ними по архивным материалам мы обнаружили в поселке один из первых домов, поставленных экспедицией в голой степи,— бытовало мнение, что первые дома давным-давно обветшали и их разобрали на дрова. По старой фотографии установили и лабораторный дом, в котором многие вечера просиживал Вавилов в кругу молодых генетиков, дерзавших покорить тайны наследственности.

Теперь я ходил по Каменной степи, как по храму,— здесь все говорило о людях, прославивших нашу науку и Отечество.

Мой долг — рассказать об их жизни, ничего не выдумывая. Ничего, вплоть до разговоров и раздумий моих невымышленных героев. И пусть читатель не обвиняет меня в будто бы неверных, по нынешним правилам, речевых оборотах — привожу их по документам, найденным в архивах, по письмам и, конечно, по научным трудам, оставленным нам.

## *«На пользу общую...»*

### 1

Они могли быть друзьями, но дружны были не все, хотя хорошо знали друг друга. Каждый в чем-то первенствовал и в этом был авторитетом для других, однако признание это не избавляло их от разногласий, симпатий и антипатий. И все же в отношении к главному они были схожи, а поэтому каждый из них мог сказать: «Есть в мире нечто, стоящее больше материальных удовольствий, больше счастья, больше самого здоровья,— это преданность науке».

Самый старший из них, которого многие считали своим советчиком, наставником и учителем, вынес эти слова на обложку основанного им «Химического журнала». Он, старший, был профессором агрономической химии в Петербургском земледельческом институте, где трудами своими содействовал развитию науки и русского сельского хозяйства, а взглядами — пробуждению демократических идей среди студенчества. За первое удостоен российской Академией наук Ломоносовской премии, а за второе — ареста и заключения в Петропавловскую крепость. Однако вскоре был «помилован» и выслан из столицы под гласный надзор полиции в село Батищево Дорогобужского уезда Смоленской губернии без права жительства в университетских городах и выезда за границу.

Ссыльный профессор, которому еще недавно прочили великое будущее, ехал в деревню. Он был, в общем-то, молод — не исполнилось и 39 лет, и в сознании его еще теплилась надежда, что едет в эту бездорожную глухомань не навсегда, что знания его еще понадобятся России и он будет вызволен из ссылки, снова явится в институтскую химическую лабораторию, его стараниями созданную, и будет работать, работать, работать.

Шел январь 1871 года.

Ссыльный профессор, еще недавно пользовавшийся известностью в петербургском обществе и популярностью в студенческой среде, в которой его называли «шестидесятником», привыкший и к этой известности, и к этой популярности, ехал мимо смоленских деревушек и все больше мрачнел: казалось, что совсем недавно здесь прошла война,— так все разрушено и запущено. Но он-то знал, что никакого нашествия со времен Наполеона тут не было, все рушилось само собой.

С тоской смотрел он на это разорение, вспоминал Петербург, учеников. В мыслях они были с ним. Провожая, бодрились, а поехал — и словно в гроб опустили, потому что знали: научная деятельность этого талантливого человека кончилась. И вовсе не потому, что ослабнет духом, нет. Но в глуши, далеко от лабораторий и библиотек, без общения с коллегами...

— Сопьешься ты в деревне,— сказала родственница, недавно вернувшаяся в Петербург из своего имения.

— Не сопьюсь,— ответил он.

Пройдет несколько лет, и он скажет: «Я не спился, но понимаю, как спиваются и отчего спиваются».

Его лабораторией сделалась окружающая жизнь и земля, а литературу и письма доставляла почта. В одном из них ссыльный профессор прочитал: «Так как у вас, вероятно, найдется свободное время, то вы могли бы употре-

бить его с пользой, изобразив современное положение помещичьего и крестьянского хозяйства...» Письмо пришло от редактора журнала «Отечественные записки» Салтыкова-Щедрина.

Время-то найдется, да очень уж положение жуткое... А может, такое творится лишь здесь, по этой дороге?

С письмом Салтыкова-Щедрина в кармане он поедет по соседним уездам, внимательно изучит состояние сельского хозяйства в них и убедится: так всюду. Подавляющее большинство помещичьих хозяйств за минувшие после отмены крепостного права 12 лет успело прийти в полное расстройство. Запашки за это время уменьшились более чем наполовину, урожайность полей резко снизилась, количество кормов уменьшилось, скотоводство пришло в упадок.

Заметил, что положение крестьян стало гораздо лучше, чем при крепостном праве, но и их хозяйства в плохом состоянии. Большинство крестьян не имеет в достатке своего хлеба, так что многие вынуждены для уплаты повинностей и для пропитания прибегать к заработкам — идут к помещикам, уходят в города. А в помещичьих хозяйствах все так же, как и при крепостном праве, преобладал почти даровой труд — редко где платили больше 15 копеек в день. Это и давало возможность помещикам существовать, получать хоть какой-то доход даже при самом никудышном хозяйствовании. Барин, блюдя обычай, по-прежнему не желал платить за работу настоящую цену, а «вольный» малоземельный мужик, получив еще зимой за предстоящую летнюю работу деньгами или хлебом,— нужда заставляла брать то, что давали, иначе не дожил бы до весны,— разрывался потом между своим наделом и хозяйской землей. При этом работа исполнялась дурно, а иногда и вовсе не исполнялась.

Нищая, помещики злорадствовали: излениился, испоганился русский мужик без твердой руки. Ослепленное барство! Не понимали, не хотели понять они, что как раз при крепостном праве, при даровом труде мужиков, сами-то и извратились до последней степени. Это оно, крепостное право, так аукается, и кто знает, сколько еще будет аукаться России. Оно сформировало характеры тысяч и тысяч бар, приучило их бездумно и самоуправно господствовать над подневольным народом, когда все ошибки этих господ искупались тем же народом. Оно сформировало и характер работника, а значит, и характер народный: сколько ни работай — все растранжирит барин, поэтому и стараться нечего. У одних накапливался опыт беззастенчивого взыскания, у других — обмана и отлынивания. Но ни у тех, ни у других не накапливалось опыта ведения хозяйства.

Крепостное право пало. Крестьяне и баре, растерянно оглядевшись по сторонам, обнаружили себя среди запущенных полей, на которых вызревали скудные урожаи. Жить было надо, а у хозяев не запасено ни знаний, ни капитала, чтобы с умом возделывать эти заросшие бурьяном земли.

...У него найдется свободное время, и он употребит его с пользой, изобразит современное положение помещичьего и крестьянского хозяйства так, как никто еще не изображал. Спасибо Салтыкову-Щедрину — предложение его, как озаряющая идея, определит всю дальнейшую жизнь опального ученого. Он заявит о себе России не только как опытник, который многое введет в практику отечественного земледелия впервые, но и как гражданин, как исследователь и страстный обличитель современной ему жизни.

Отсюда, из глуши, он будет посылать в «Отечественные записки» письма «Из деревни», которые внимательно читал Карл Маркс и которые, по свидетельству Ленина, много раз цитировавшего их, пользовались «прочной симпатией читающей публики».

Да, это был Александр Николаевич Энгельгардт. Друзья его — Докучаев, Костычев, Ермолов. Они редко встречались, но вели обстоятельную переписку. «Разговаривать письмами — моя страсть, а разговаривать с Вами так приятно!» — признавался ссыльный профессор своему бывшему ученику Костычеву, с которым у него долгое время были лишь деловые отношения. Изливал душу он обычно или Докучаеву, который иногда наезжал к нему в Батищево, или Ермолову, тоже бывшему своему ученику.

Покидая Петербург, Энгельгардт запасся книгами по сельскому хозяйству — собирался хозяйствовать в имении по всем правилам науки. Перечитал их и не нашел ничего путного для российского хозяина. С досады обругал всех этих Шварцев и Шмальцев, побросал их книги под стол и пошел бродить по полям и лугам. Ходил, смотрел и думал. Мысли его выльются в убеждение: «Естественные науки не имеют отечества, но агрономия, как наука прикладная, чужда космополитизма. Нет химии русской, английской или немецкой, есть только общая всему свету химия, но агрономия может быть русская или английская, или немецкая... Мы должны создать свою русскую агрономическую науку...»

Отсюда, из смоленской деревни, отныне он будет корректировать отечественную науку о сельском хозяйстве, все громче заявлявшую о себе миру. Одних ученых будет поддерживать, с другими спорить, третьих — беспощадно опровергать практикой. И от всех будет требовать пользы и только пользы — бедствующий народ ждет от науки помощи.



## 2

С положением опального ученого и сельского хозяина Энгельгардт, кажется, свыкся быстро, а свыкшись, и думать перестал про иную жизнь, вернее, уже и не мыслил себя в Петербурге среди чиновного люда. Но вот осенью 1883 года приходит в Батищево письмо с официальным предложением ему, Энгельгардту, баллотироваться на должность секретаря Вольного экономического общества — и как же встрепенулась его душа.

«Любезнейший Алексей Сергеевич! — пишет он бывшему своему ученику Ермолову, с которым решил посоветоваться.— Что это такое? Разве теперь такое положение дел, что я на старости лет требуюсь для какой-нибудь общественной деятельности?» — накануне летом ему исполнился 51 год. Жизнь, считал он, прожита. Хотя...— «Я могу быть деятелен и энергичен, если дело меня заинтересует... В Батищеве мне, собственно говоря, делать теперь нечего, потому что я, кажется, сделал все, что по обстоятельствам сделать можно... Мне хотелось бы более широкой деятельности, и мне кажется, что императорское Вольное экономическое общество могло бы ее предоставить...»

Мысли опережают руку, а мечты уносят его в светлые дали, где ждет уйма непочатых дел, полезных России. И он не может сдержаться, пытается, пусть и бегло, но очертить их:

«Недостатка в деле не может быть. Разработка массы вопросов требуется, начиная с самых мелких технико-агрономических и кончая важнейшими экономическими и социальными. Важна уже одна постановка живых вопросов (например, вопрос о том, какая экономически социальная форма хозяйства может быть в России? Можно ли остаться при существующей кулацкой?), и стоит только суметь привлечь к делу силы, которых, без сомнения, немало дремлет в России. Я не настолько самолюбив, чтобы думать, что я один могу это сделать, но ведь Вы говорите, что в обществе собирается много лучших сил, много годной на дело молодежи; на помощь ее-то и следует рассчитывать. Я придаю огромное значение разработке в России сельскохозяйственного вопроса, разумеется, достаточно широко поставленного. Я был бы очень счастлив, если бы мог на старости лет быть искоркой, которая зажгла бы очень важное дело...»

Энгельгардт обращался к Ермолову как к другу своему, который к тому же «не чужд сельскохозяйственных и иных сфер» — знает, что делается в Петербурге, в Обществе, и может совет дать. Ермолов откликнулся без промедления.

«Ответ Ваш меня вполне удовлетворяет,— снова пишет ему Энгельгардт.— Вы говорите, что в Вольном экономическом обществе собирается много лучших сил, много молодежи, годной на дело и ищущей его, что общество, несомненно, хочет работать, хочет дело делать, что оттого-то оно так и ухватилось за меня и пр... Если там действительно лучшие силы, если там действительно годная молодежь и пр., то и желать ничего лучшего не надо. Разумеется, и в этом деле, как и во всяком, все в том, чтобы попасть на правильную дорогу, верно установить основные положения.

Но Вы не хотите отвечать, может ли что-нибудь выйти из этих стремлений Вольного экономического общества. Вы не находите возможным отвечать отрицательно, как бы Вам, по-видимому, хотелось, и оставляете дело под сомнением. Но для меня ясно из второй части Вашего письма, что Вы сомневаетесь в успехе этих стремлений. Почему? Находите ли Вы, что эти лучшие силы, эта жаждущая деятельности молодежь слишком слабы? Что это только говорильники? Думаете ли Вы, что нельзя найти настоящего дела для общества? Или что я его не найду? Или, наконец, думаете, что делу будут мешать посторонние причины? Во всяком случае, я рад, что Вы признаете невозможным для этого дела приносить жертвы. Я и сам так думал, но мне важно Ваше подтверждение, так как я Вам верю...»

Нет, Ермолов не сомневался в успехе начинаний тех молодых сил, которые собрались в Обществе и среди которых он был не на последнем счету. Сомневался в другом: будет ли дозволено ссыльному профессору баллотироваться на должность? Однако опасениями своими поделиться не решился, да и поздно было,— Энгельгардт уже дал согласие, пусть и уклончивое, как он сам расценивал свой ответ.

Ах, как же бесцеремонно поступили с ним!.. Лучше б и не предлагали, не обнадеживали. Однако Энгельгардт крепился как мог.

«Не особенно скорблю я, что не устроилось мое поступление в секретари императорского Вольного экономического общества,— делился он бедой своей с Ермоловым.— Прочитав в газетах о бурном заседании, которое было в начале октября, я подумал, что вряд ли состоится мое поступление,— так оно и вышло.

Я думал только, что прямо забаллотируют, но вышло несколько иначе. Жалею об одном только, что спрашивались у начальства (желал бы знать, у кого именно) и что оно не одобрило меня. Если здешние начальники узнают об этом, то мне станет хуже жить: опять станут придираться, подкапываться. Вам все это смешно, пожалуй, кажется невероятным... но это верно, как и то, что я об этом тотчас подумал, как прочитал письмо, уже показывает вероятность этого. Положим, сделать мне ничего не могут, так как существенно ко мне придраться нельзя, но согласитесь сами, что тяжело, например, находиться под надзором крестьян, которые уверяют, что становой им обещал 25 руб. за донос на меня или кого-нибудь из моих, и случается, что иногда даже стращают этим. Ведь тяжело все это, и вот почему: отчасти мне хотелось получить место в Петербурге — здешнее начальство уважать бы стало. А теперь узнают о неодобрении начальством — хуже мне будет. И зачем было спрашиваться? И у кого? Ну да уж этого не поправить. Как основательный человек, в ожидании выбора в секретари, я проштудировал Труды и, знаете ли, пришел к тому заключению, что если бы меня теперь и выбрали, то через 3 года, при новых выборах, вероятно, многие из выбравших теперь положили бы потом налево. Мне кажется это потому, что многим я с моими воззрениями показался бы нелиберальным, не тем, чего они ожидают. Вообще мне кажется, что у нас там не совсем понимают суть дела, нутро...»

Энгельгардт пытался утешить, обмануть самого себя, сгладить случившуюся беду, однако обмануться не удавалось — рухнула надежда, так встрепенувшая его. Все, не будет «более широкой деятельности» — это уже ясно.

Подобные крушения убивают человека, который сделал все и думал, что делать здесь больше нечего: последнее, как полагал Энгельгардт, одиннадцатое письмо «Из деревни» опубликовано в «Отечественных записках», опыты завершены и обобщены. Тут сделал все, а там жить и работать отказано...

В том 1883 году Энгельгардт впервые ничего не опубликовал, нигде не выступил с докладом.

Да есть ли в мире нечто, стоящее больше материальных удовольствий и больше счастья, больше самого здоровья? Когда-то он сказал: есть, это преданность науке. Не только сказал, но и начертал эти слова в качестве девиза для себя и других. А может, они, высокие эти слова, звали вперед только тогда, когда в жизни были и удовольствия, и счастье, и здоровье? Нет, что бы ни случилось, он никогда не изменит своему девизу. Просто он устал. Просто он закончил одни дела, а к другим еще не присмотрелся.

Ищущий ум его победил хандру, ищущий ум обнаружил такую уйму непочатых дел, полезных для России, что и думать позабыл о какой-то там иной деятельности.

Опальный профессор приступает к опытам с применением минеральных удобрений. Нет, не впервые в России.

## 3

Кто на Руси не слышал поговорки: «Нет плохой земли, а есть плохие хозяева». Но многие ли задумывались и знают, кто и по какому поводу впервые произнес эти ставшие крылатыми слова. А принадлежат они Андрею Тимофеевичу Болотову, первому русскому ученому-агроному.

Тому самому Болотову, который первым ввел в нашу речь слово «картошка» — так он назвал заморские «земляные яблоки», которые вопреки строжайшему приказу Петра I высаживались лишь на цветочных клумбах как экзотические растения. Он же первым в России приступил к выращиванию их на огороде, тем самым положив начало массовому распространению на Руси «второго хлеба», без которого наш стол сегодня немыслим.

В 1770 году в «Трудах» Вольного экономического общества появляется первая в России научная статья на эту тему — «Примечания о картофеле». Потом последовали другие: «О картофеле», «Об употреблении картофеля». Как видим, Болотов продолжал как агрономические, так и кулинарные изыскания и делился своим опытом со всей читающей Россией.

Понимаю, скептик может сказать: как же долго бунтовала Россия против картошки, если признала ее только в 1770 году. А думаете, Франция, к примеру, признала раньше? Нет, позже! Как свидетельствует история, аптекарь королевского двора Антуан Огюст Парманте впервые посадил под Парижем картофель в 1787 году. Благодарные французы увековечили его памятником, на котором высечено: «Благодетелю человечества». Есть памятники первым картофелеводам и в других странах. Только Болотова отблагодарить забыли.

Однако у него немало и других заслуг перед Отечеством. Это он, Болотов, рискнул сорвать с клумбы и съесть так называемое «любовное яблочко», во всем мире считавшееся смертельно ядовитым. За несколько лет перед тем, в 1776 году, именно этим «яблочком» знаменитый английский шпион Джеймс Бейли пытался погубить главнокомандующего североамериканскими войсками



Джорджа Вашингтона, будущего первого президента США. То был... обыкновенный красный помидор.

Именно Болотов, по праву считающийся одним из основателей русской агрономической науки, еще в 1770 году опубликовал свой трактат «Об удобрении земель». Опубликовал в том же томе «Трудов» Вольного экономического общества, в котором были напечатаны и его «Примечания о картофеле». Трактат этот должен был принести автору всемирную известность, а человечество имело шанс вписать его имя в историю золотыми буквами.

До него и долго после него ученые всего мира полагали, что растение берет все необходимое для своего роста из воды и только из воды. Например, через тридцать лет после публикации болотовского трактата, в 1800 году, Берлинская академия наук присудила премию известному ученому Шрадеру именно за утверждение теории водного питания растений. Болотов первым опроверг «водную теорию», доказав, что растение питают минеральные вещества, содержащиеся в почве. И первым в мире применил минеральную подкормку растений на тощих полях. Применил и сказал: «Нет плохой земли, а есть плохие хозяева». Фраза эта стала крылатой, сделалась поговоркой. Но, к сожалению, только она и запомнилась соотечественникам из всей его теории минерального питания растений.

Это уже через 70 лет после Болотова, в 1840 году, немецкий ученый Юстус Либих пришел к тому же открытию. И он оказался счастливее своего русского предшественника: теорию минерального питания растений не только признали, но и отдали Либиху честь первооткрывателя. Считается, что именно Либих положил начало широкому внедрению минеральных удобрений в земледелии.

Однако и этим не исчерпались заслуги Болотова перед наукой и Отчизной. «Усердное желание видеть хлебопашество в любезном нашем отечестве скорее в лучшее состояние приведенным» побуждало его на постоянные поиски: он исследует разные способы заделки семян и разрабатывает учение о системах земледелия — пишет трактат «О разделении полей», который публикует в 1771 году. Он адресует его «любезным согражданам в надежде, что, может быть, найдутся такие, которые будут способны принести обществу существенную пользу». Пусть не современники, надеется Болотов, но потомки подхватят новую систему разделения полей. Надежда его сбылась, подхватили, но приоритет в создании учения о системах земледелия опять же уступили иностранному ученому, написавшему труд на эту тему через четыре десятилетия после Болотова.

Это он, Болотов, ввел посевы клевера, который до этого произрастал лишь в диком виде на естественных лугах и человеком не возделывался. Собрал семена, высеял и заметил: после клевера лучше растут хлеба, о чем и сообщил читателям «Трудов» в 1776 году.

Вы скажете, ну и что, экая важность, нашел человек клевер и высеял его на пашне. Не торопитесь с таким суждением. Пройдет более века, и Климент Аркадьевич Тимирязев напишет: «Едва ли в истории найдется много открытий, которые были бы таким благодеянием для человечества, как это включение клевера и вообще бобовых растений в севооборот, так поразительно увеличившее производительность труда земледельца».

Прожив значительную часть жизни в деревне, на земле — и все полагали, что в глуши,— он всю жизнь уверенно шагал впереди своего времени, демонстрируя величие и красоту человеческих дел. Жизнь его, яркая и трудная,— это покоряющий ум и сердце пример высокого творчества, одухотворяющего и поныне всякого, кто не ленив умом и чуток душой.

## 4

Энгельгардт подхватил идею Болотова на первых же шагах своей преподавательской работы в земледельческом институте. Здесь, в химической лаборатории, он и занимался в основном исследованиями удобрительных материалов. Летом 1866 года проехал по Смоленской, Орловской, Курской и Воронежской губерниям с целью изучения залежей фосфоритов. И уже тогда рекомендовал коллегам своим заложить опыты с удобрением полей минеральными веществами.

Однако дело с практическим «кормлением» растений минеральными удобрениями не ладилось. Опыты не удавались даже Дмитрию Ивановичу Менделееву, организатору первых полевых экспериментов, который 17 февраля 1872 года в докладе Вольному экономическому обществу вынес им приговор: «Фосфаты у нас не действуют, потому что наши земли, выражаясь прежним языком практиков, грубы, их надо довести до спелости».

После такого-то заключения великого Менделеева и приступает Энгельгардт к опытам, теперь уже в полевых условиях, а не в лаборатории.

И вот...

«Любезнейший Алексей Сергеевич! — пишет он Ермолову.— Не могу не поделиться с Вами, моим бывшим сотрудником, моею радостью, моим счастьем. Опыты удобрения фосфоритной мукой в моем хозяйстве дали поразительные, просто неожиданные результаты. На безнавозных землях, удобренных одной только фосфоритной мукой, рожь сравнительно с ничем не удобренными землями поразительно хороша. Полосы, удобренные фосфоритной мукой, так же резко отличаются от ничем не удобренных, как навозные нивы от безнавозных».

Он мог торжествовать — перещеголял самого Менделеева! Однако к черту мелкое тщеславие, пусть им тешатся бездари и завистники. Его волновало другое: почему такие же опыты не удались Менделееву, а потом и ученым Петровской академии? Причина неудач могла крыться лишь в одном — в разности почв, на которых проводились опыты, и в недостаточном знании этих почв. Однако утверждать это без проверки Энгельгардт не мог. Эх, как нужна была ему сейчас химическая лаборатория! Но...

Ничего, выход есть. В Петербурге, в Лесном институте, работает его ученик Костычев, а у него есть агрономическая лаборатория, в которой вполне можно делать химические анализы почвенных образцов. И завязалась оживленная переписка с Костычевым, пошли в Петербург посылки с образцами почв.

Ему думалось: вот будут у него на руках анализы — и перед ним предстанет полная картина. Получил. И с огорчением признался: «Я ничего не вижу». Не потому не видел, что химические анализы были выполнены плохо, а потому, что они не давали ему, агрохимику, повода для научных выводов и обобщений.

## 5

Он еще не знал, что ответ подскажет ему только что полученная от Докучаева книга «Материалы к оценке земель Нижегородской губернии». Начал читать, но, не дочитав до конца, сел за письмо:

«Милостивый государь Василий Васильевич! Сердечно благодарю Вас за присылку книги Вашей... С величайшим интересом читаю эту книгу — *вот какие исследования почв нам необходимы!* Одних только химических анализов почв недостаточно. Необходимо, как это сделали Вы, соединить химические анализы с основательным геологическим исследованием, которое, может быть, дает более, чем анализы...»

Через восемь дней пришел ответ. Да еще какой! С обещанием «в самом конце этого месяца или начале будущего» заехать в Батищево...

Докучаев приехал в Батищево в двадцатых числах мая. Уже по дороге на Дедово, как и указывал в письме Энгельгардт, он увидел тощие хлеба на тощих землях, бледно-зеленые льны — тоже по скудной почве высеяны, и рядом с ними поля высокой, широколистной ржи — пудов на сто с десятины. Так и есть, вон и дощечка с надписью: «Удобрено фосфоритом».

Они объедут в коляске все поля, побывают в самых разных уголках, постоят и на ржаном поле, и на клеверах, и на пустоши. Говорили больше о почвах, но вспоминали и давно минувшее, и в этих воспоминаниях было много близкого — ведь Докучаев тоже родился и вырос в смоленской глубинке, а когда Энгельгардт преподавал в Петербурге, Докучаев учился в университете и, конечно, слышал о студенческих волнениях в Земледельческом институте, после которых и началась для Энгельгардта вот эта жизнь. Много говорили про опыты с минеральными удобрениями.

— Не правда ли, интереснейшие результаты? — тормошил хозяин гостя. Он не похвалы добивался, он недоумением своим делился.— На тощей подзолистой почве, давно выпаханной и никогда не удобрявшейся навозом, фосфоритная мука производит громадное действие. А вот красная почва, постоянно находившаяся в культуре, постоянно удобрявшаяся навозом,— тут никакого результата! Вот и извольте объяснить это. Я не могу. Нужно бы сообщить Дмитрию Ивановичу Менделееву и спросить его мнения. Очень интересно знать, что он на это скажет. (Вернувшись в Петербург, Докучаев расскажет об этом Менделееву, но и от него не услышит разъяснений.)

Докучаев любовался зеленым ржаным полем, слушал хозяина и преклонялся перед ним вот за эту неугомонность, за то, что не сник, что обстоятельства не сломили его, не заглушили в нем работу мысли.

Они стояли среди поля. Две могучие фигуры возвышались над хлебами: высокие, широкоплечие, головастые. Энгельгардт был на 14 лет старше, однако эта разница в годах замечалась не сразу. Оба осанистые, одинаково вскинувшие гордо головы, широколобые. Только, пожалуй, у Энгельгардта борода была не такой пышной да усы не вразлет, а вислым клинышком. Именно эта деталь да уставшие веки придавали глазам и всему лицу выражение горести, какого у Докучаева не замечалось, а поэтому и черты лица его казались мягче, взгляд добрее и спокойнее.



Стояли в поле два человека, по облику — баре, по разговорам — мужики русские. Правда, гость больше слушал, а хозяин, наскучавшись в деревне по собеседнику, все говорил и говорил:

— Можете себе представить, с каким наслаждением я езжу смотреть такие зеленя и как счастлив, если есть кому их показать. Думаешь, хоть бы департамент чиновника какого прислал, чтобы тот потом засвидетельствовал перед начальством и департаментскими агрономами, а то они никак не могут согласовать мои опыты с ходячими воззрениями своими. Ведь они были совершенно убеждены, что фосфоритная мука скорее подействует на богатых перегноем почвах, на черноземах, но не на наших подзолистых суглинках.

Докучаев, конечно, спрашивал, как финансировались все эти опыты. Энгельгардт отвечал:

— Никак, и расходы мои, и труд мой, никакой платы не получал. А хозяйство я должен вести для получения денег, презренного металла, что не так удобно совмещается с опытами. Что-нибудь да страдает — либо хозяйство, либо опыты. Если бы я поменьше занимался опытами и вел хозяйство только для дохода, то теперь курил бы сигары и имел бутылку вина за обедом.

— Дорогой Александр Николаевич, в своем хозяйстве вы создали первую в России постоянную опытную станцию по изучению минеральных удобрений — и за это народ вам когда-нибудь скажет спасибо. А без сигары да бутылки вина прожить можно.

— Да вот живу... Обидно другое, я делаю то, что должны делать образцовые казенные фермы, которые содержатся Департаментом земледелия. Однако что-то не слышно, чтобы они что-нибудь путного сделали, чтобы они разработали опытом хоть один важный вопрос. Выходит, лишь сами кормятся при той казенной кормушке.

— А вот это нехорошо у нас: вам не дают помощи, а у кого ничего не получается, тех кормят.

— Те, кого кормят, много обещают, вот им за обещания и дают. К тому же они проходят по Департаменту земледелия, а я частное лицо и при казенной кормушке не состою... Однако не о том я сейчас жалею — упущено много лет. Я же 15 лет тому назад, как попал в деревню, хлопотал в Департаменте земледелия о содействии мне в производстве опытов над фосфоритами — отказали. А за 15 лет эвона сколько было бы сделано!.. Да ладно обо мне. Много ли вы получили за свои исследования русского чернозема?

Докучаев промолчал, только улыбнулся грустно.

— А ведь этой работой вы решили важнейший из вопросов настоящего времени — вы дали характеристику степным почвам. Теперь такого же почвенного исследования ждет и бедная наша северная Россия — нельзя дальше хозяйствовать на земле, ничего не зная ни о наших почвах, ни о влиянии на них, на растения и удобрения нашего климата. А мы действительно ничего об этом не знаем, на авось хозяйствуем, а утешаемся пословицей: «Молись богу, землю паши, а урожай будет». С этой верой в грядущий урожай и живет русский народ, а наука ему не помощница, наука вся в Петербурге при университетах и департаментах служит сама себе, а народу служить не хочет, не научена, не умеет.

Ему очень хотелось подвигнуть Докучаева на эту многосложную работу, пусть не сам он, но чтобы изучением занялись почвоведы его школы, по его методу.

— Ах, Александр Николаевич, уж сколько раз мы ставили этот вопрос. То, отвечают, нет денег на это у России, то нужды нет.

— Много ли денег надо, расход-то тут пустой.

— Расход-то мал, да есть люди, которые говорят, что почвенные исследования ни к чему.

— Дурость наша... Жалеют денег на почвенные исследования, на которые и надо-то гроши. По копейке с десятины — вот и сложится сумма, достаточная для исследования, чтобы установить типы почв и составить почвенные карты, необходимые и агроному, и администратору, и оценщику земель.

— Я держусь такого взгляда: убедить в чем-либо человека, погрязшего в рутине и групповщине, невозможно. Но я не думаю, чтобы им удалось надолго затормозить начатое нами изучение почв России. Ведь они много раз пытались провалить и мои черноземные исследования, но провалились сами. После «Русского чернозема» уже вышло больше десятка работ, суть которых далеко не на стороне наших зоилов. Так что, глубокоуважаемый Александр Николаевич, в этой борьбе с темными царствами и вы могли бы оказать самую существенную помощь.

— Помогу, Василий Васильевич. В прошлом году я взял для Костычева десять образцов почвы, полагая, что взял достаточно и правильно. А нынче, только переговорив с вами, понимаю — надо было брать пробы иначе. Это-то и важно. Хозяин смотрит односторонне и слишком субъективно. Его можно слу-

шать, но пробы, в том числе и для химических анализов, брать должен почвовед. Почвовед по-другому все видит...

Докучаев тоже дал обещание добиваться финансирования почвенных исследований хотя бы поначалу в одной только Смоленской губернии.

6

Что и говорить, хороший выдался год. Сразу после Докучаева приехал молодой человек — действительно славный — Владимир Иванович Вернадский, магистрант геологии и минералогии. «Хотя он не агроном,— сообщал Александр Васильевич Советов, председатель сельскохозяйственного отделения Вольного экономического общества,— но надеюсь, что исполнит свою миссию удовлетворительно, а побывав у Вас, может быть, полюбит и агрономию или по крайней мере сделается почвенником, как мы теперь называем молодых людей, занимающихся изучением русских почв».

Через месяц, перед самой жатвой, приехал Костычев — ученик, ставший уже именитым почвоведом. Правда, взгляды его расходились с докучаевским направлением, и разговоров на эту тему Энгельгардт поэтому избегал.

Ученик давно уже сравнялся с учителем по положению своему в науке, занимал в ней и в обществе вполне достойное место, и все же что-то мешало им в душевном сближении — деловое единомыслие не перерастало в сердечную близость. Энгельгардт чувствовал в собеседнике своем какую-то постоянную внутреннюю настороженность. Догадывался: ученик не хочет быть младшим, менее знающим, менее опытным. Что ж, а он и не собирался поучать его, много успевшего сделать в науке,— сам спрашивал, внимательно слушал, не скупился на похвалы. Однако настороженность не исчезала. Ему и в голову не приходило, что годами выработанная защитная реакция была совсем иного свойства. Костычев родился в крепостной семье, вырос в нужде, в помыканиях, и теперь, став вровень с дворянами, превзойдя многих и многих из них, все же чуточку перед ними робел, и это унижало и раздражало его, держало в постоянной настороженности, которую одни принимали за высокомерие, другие — за демонстрацию своего превосходства.

Между тем к опальному Энгельгардту Костычев испытывал вполне дружеские чувства, которые, однако, явно не выказывал. Причиной этому был Докучаев — его он больше чем недолюбливал. Ему казалось, что этот бывший попович нежданно-негаданно перехватил у него славу первого почвоведа России, оттеснил его на вторую роль. Смириться с этим Костычев не мог, поскольку считал, что в теории Докучаева много ошибок и неверных положений, о чем и говорил на всех диспутах, в которых чаще терпел поражения, но иногда и верх одерживал.

Знал Костычев и то, что зимой Вольное экономическое общество будет слушать доклад об энгельгардтовских опытах с фосфоритами и что инициатором этого слушания оказался опять же Докучаев, да и докладчиком назначен Вернадский, молодой докучаевский ученик. Все это тоже вызывало в нем легкую досаду и на Энгельгардта, которому он давно уже помогал своими химическими анализами, и на Докучаева —и тут перехватил у него дело, которое, конечно же, будет признано важным и полезным.

7

В декабре, продав мешки ржи скупщикам и собрав деньжат, Энгельгардт засобирался в Петербург. Ехал, по совету Докучаева, на заседание Вольного экономического общества, которое состоится в январе 1888 года.

«Ваше сообщение в Вольном экономическом обществе,— писал Докучаев, убеждая его приехать,— могло бы в сильнейшей степени подвинуть вопрос о применении фосфоритов во всей северной подзолистой России».

Поразмыслив, Энгельгардт решил: в случае успеха будет повод напомнить о себе — в нем еще не угасла надежда на перемену своего положения. Нет, он не решился бы опять быть профессором, о чем и Докучаеву говорил, но с удовольствием поработал бы в Вольном экономическом обществе или на худой конец управляющим казенной опытной фермой.

В Петербург он приехал накануне Нового года. Побывал в гостях у Докучаева и был тронут заботой, с которой его встретили в доме на 1-й линии Васильевского острова. Встреча эта останется единственным светлым пятном в его двухмесячном пребывании в Петербурге.

Опыты его признали полезными, однако хлопоты об исследовании почв Смоленской губернии ни к чему не привели. А без почвенных исследований какая же отчаянная голова решится дать программу для опытов с минеральными удобрениями в каком-нибудь хозяйстве. Нельзя без этого. Без знания почвы мы никогда не сможем управлять процессами, в ней происходящими. И понять, что именно эти процессы и определяют жизнь почвы, ее плодородие, устойчивость и величину наших урожаев.



Правда, Вольное экономическое общество вошло с этим делом в сношение с Департаментом земледелия, но скорее всего, как и с прошением, выйдет пустой номер. Это же надо! Департамент не отстоял его назначение даже агрономом на казенную опытную ферму. И предложил-то он от себя не на какую-то там пригородную ферму, а куда угодно, хотя бы в Могилевскую губернию.

«Думал, ухватятся за мое предложение,— делился обидой своей с Докучаевым, который предпринимал усилия в устройстве Энгельгардта.— Ученики земледельческого училища будут мне помощниками, организую опыты, полезные и ученикам, и учителям,— отлично может выйти. Однако не тут-то было — против. И почему? Кому и чем помешаю в департаменте, что буду управлять фермой и заведу на ней образцовое хозяйство? Или боятся департаментские чиновники всякого свежего человека, чтобы тот не нарушил их чиновничьи порядки? Сами говорят, что их казенные фермы плохи, что им нельзя поручить производство каких-либо опытов, что из этого никогда ничего не выйдет. Но попросил поручить в управление казенную ферму — сейчас же множество затруднений»...

И — не пал духом, не опустил рук. Были дела поважнее личных забот — Энгельгардт продолжал хлопотать о почвенных исследованиях.

«Если мне удастся добиться этого,— пишет Костычеву после возвращения из Петербурга,— то я надеюсь, что меня включат в поминальницы. Расход на исследования составит $1/2$ коп. на десятину. Если бы это дело состоялось, то... я бы со своей стороны дал хороший хозяйственный материал и всеми бы средствами помог бы исследователям как в Батищеве, так и в Смоленской губернии вообще».

Он, конечно, хорошо знает отношение Костычева к Докучаеву и все же пишет ему, занимающему не последнюю должность в Департаменте земледелия:

«Я не сомневаюсь, что если бы это дело было поручено Докучаеву, то он нашел бы на него молодежь добрую, которая много бы сделала».

Ах, эта вражда между людьми, которые, объединившись, могли бы принести куда больше пользы! И добавляет не без умысла:

«Меня в Петербурге очень неприятно поразили контры между учеными. Не разъединяться должны люди науки, а соединяться, высоко держать свое знамя. Для меня, деревенского жителя, привыкшего к простоте жизни, все это было тяжело и непонятно».

Ничего подобного Докучаеву не писал. Неправым считал Костычева, поэтому ему и намекал. С Докучаевым ведет разговор задушевнее, пишет ему с горечью и сарказмом:

«В департаменте почвы не интересуют, теперь все интересы устремлены на свиней. Хотят обогатить Россию вывозом соленой свинины. Нат-ка, выкуси! У самих, у мужика, сала в горшке только по воскресеньям, а еще вывозить хотят свинину за границу!»

Ситуацию Энгельгардт нисколько не шаржировал. Так и было в действительности. На международных рынках вдруг обнаружился повышенный спрос на свинину, возросли и цены на нее. Вот и надумали в петербургских канцеляриях воспользоваться конъюнктурой — за счет вывоза свинины поправить торговый баланс. Заседали комиссии, департаментским чиновникам уже виделись направляющиеся за границу эшелоны, битком набитые солониной, уже подсчитывали возможные барыши.

Ах, российский чиновник! Он и в самом деле был убежден —свиней у крестьян уйма, вон их сколько бродит по улицам всех деревень и пригородов, в каждой луже валяются, и не только в Миргороде.

Эту мечту, как и многие другие, частенько посещающие умы русских чиновников, несколько поразвеяли и подпортили ученые люди. Существующее в России свиноводство, сказали они на одном из заседаний Вольного экономического общества, никуда не годится, так как приученная обходиться без хозяйского пригляда свинья хоть и действительно может днями лежать в дорожной луже, однако именно поэтому для мирового рынка она никак не годится — тоща и жестка.

Тогда стали думать о скорейшем улучшении свиноводства. Только вот в каком направлении действовать? То ли пойти путем наказания мужика за пребывание свиньи в луже, то ли иным каким путем.

Сколько их, прожектеров, расплодилось в чиновничьих апартаментах! Сколько прожектов государственного масштаба на их счету! Увлеченные их созданием, они забывали обо всем другом. Что им почвы, что им опыты и исследования, когда вот он — легкий и скорый успех. И всякий раз жизнь показывала им кукиш: «Нат-ка, выкуси!»

8

Бурным выдался для Докучаева 1889 год. Долго и тщательно готовил он первую коллекцию русских почв на Всемирную выставку в Париже, от участия в которой русское правительство отказалось,— выставка открывалась в ознаменование 100-летия первой французской революции. Это обстоятельство сильно осложняло и без того трудное дело сборов — никакой помощи, никакого содействия. Делали вид, что это частная инициатива, о которой и знать никто не знает.

И все же коллекция была подготовлена и отправлена в Париж. Представлял ее на выставке Вернадский. Есть и его немалая заслуга в том, что коллекция получила золотую медаль выставки, а ее составитель Докучаев отмечен французской академией дипломом «За заслуги по земледелию».

«Душевно радуюсь,— писал Докучаеву полтавский агроном Измаильский,— что французская академия и т. д., но очень жаль, что наша академия между русскими находит известных людей лишь между мертвыми, да и то изредка».

...Земля родящая, родимая земля. Она кормила хлебом тех первых поселян, которые возделали ее, отвоевав у леса, у дикой ковыльной степи. Здесь, на росчистях, и жилье ставили, а места, которые дером осваивали, называли деревнями.

Родимая земля... Для первого поселенца она, политая пóтом, была лишь землей родящей. Однако для его детей земледельческое это понятие и иной смысл обретало — тут они родились, тут и край родимый.

На этом новом понятии и формировались высокие чувства Родины, закладывались основы нации и государства. Чувства эти поднимали оратая на защиту своей земли от вражеских набегов. Оратай-хлебопашец на время становился ратаем-воином.

Издревле на Руси так было. Издревле по количеству пашенной земли исчислялась ратная повинность и взимались подати — крепились обороноспособность и экономика государства. А значит, так же издревле должны были знать на Руси и учитывать свое главное богатство — землю, как государственную меру.

Сначала, должно быть, учет этот велся лишь местным обществом, местными начальниками, и этого было достаточно, чтобы по совести и правде собрать подати и созвать княжескую дружину. Потом, по мере укрепления государственности, и учет должен был обрести важность государственного дела.

Так, в XV веке появляются «Писцовые книги» с подробным раскладом угодий земли русской — лесов, лугов, болот и пашен. С особой тщательностью обмеривались и оценивались пашенные земли — по качеству они подразделялись на пашню «добрую», «среднюю», «худую» и «добре худую», «камсинсту» и «песчату».

Историки утверждают, что книги эти явились и первыми почвенно-географическими трудами, выполненными на высоком для того времени уровне. Ни одна соседняя страна в ту пору еще не имела подобных описаний и никакой нужды в них не видела.

А кто не слышал про «Большой чертеж» — подробную карту Московского государства, составленную в конце XVI века? Сама карта до нас не дошла, но сохранилась «Книга глаголемая Большой Чертеж», которая вобрала в себя обширные пояснения к ней, в том числе по географии почв, и служила не одному поколению исследователей.

Потом, во второй половине XVIII века, была написана одна из самых славных страничек в истории познания родимой земли. Должна она была принести своему автору славу первооткрывателя, однако современники ее не заметили, и обнаружилась она без малого через полтора столетия. А пока страничка эта лежала спокойно на библиотечной полке, все больше покрываясь пылью, ученые всего мира яростно спорили о тайне происхождения почвы вообще и чернозема в частности.

К XIX веку в России твердо установилось народное название почв: чернозем, серый чернозем, подзол, серые и солонцеватые земли.

Самой загадочной почвой во все времена был чернозем — то дающий обильные урожаи, то страдающий от засухи так, что даже затраченных семян не возвращал земледельцу.

И разгорелись о нем жаркие споры в науке. Одни, и первым среди них знаменитый Паллас, говорили, что «эта черная земля более похожа на почву, происшедшую из морского ила». Другие опровергали подобное мнение и доказывали, что чернозем — это «черный ил болот и озер». Третьи догадывались, что чернозем произошел «из наземной растительности», но расходились в предыстории: то ли произошел на илистом месте отступившего моря, то ли на иле высохших болот и озер.

В своем труде «Русский чернозем» Василий Васильевич Докучаев назвал 22 имени, вошедших в историю этого полуторавекового спора, в котором каждым была выдвинута своя гипотеза, далекая от истины.



А между тем истину хранила та самая страничка. Однако и Докучаев не подозревал о ее существовании, но он знал другого носителя этой истины и с гордостью за него написал: «Оказывается, что и в решении этой задачи, как и во многом другом, народное сознание опередило науку».

Да, русский земледелец первым открыл тайну происхождения почвы. Точнее сказать, он всегда знал ее, и знание это жило в поколениях русских хлебопашцев. Именно оно и было зафиксировано в 1763 году на той забытой страничке, которую обнаружат лишь в 1900 году.

Страничку эту, а вернее, научный трактат «О слоях земли» написал вовсе не безвестный россиянин, а великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Да вот беда, опубликовал он его в качестве скромного приложения к «Первым основаниям металлургии или рудных дел», вскоре забытым. Канул в небытие и трактат, хранивший открытие сущности почвообразовательного процесса. «Итак,— подытоживал Ломоносов свои исследования почвы,— нет сомнения, что чернозем не первообразная и не первозданная материя, но произошел от согнития животных и растущих тел со временем».

В 1900 году, выступая в Полтаве с лекциями о почвоведении, Докучаев скажет с горечью: «На днях профессор Вернадский получил поручение от Московского университета разобрать сочинения Ломоносова, и я с удивлением узнал от профессора Вернадского, что Ломоносов давно уже изложил в своих сочинениях ту теорию, за защиту которой я получил докторскую степень, и изложил, надо признаться, шире и более обобщающим образом».

Добрым словом нужно вспомнить и первого профессора «сельскохозяйственного домоводства» М. И. Афонина, начавшего по инициативе того же Ломоносова преподавание почвенной науки в Московском университете с 1770 года. Это он на торжественном собрании профессоров университета произнес «Слово о пользе, знании, собирании и расположении чернозему, особливо в хлебопашестве». В этой речи, как свидетельствуют историки, Афонин не только призвал коллег своих к изучению почв России, но и одним из первых «дал классификацию черноземов, указал необходимые для поддержания их плодородия агротехнические мероприятия и поставил вопрос об организации почвенных музеев».

Рассматривая историю почвенного дела в России, Докучаев поставил деятельность Афонина в один ряд с деятельностью Вольного экономического общества, подчеркнув, что они «почти одновременно» начали действовать в этом направлении.

Да, практическое изучение почв России вопреки ложности признанных гипотез продолжало двигаться своим путем. И в этом огромную роль сыграло основанное в 1765 году Вольное экономическое общество. А начало оно свою деятельность с разработки и рассылки губернаторам и другим лицам, «имеющим команду», вопросника, в котором спрашивалось, «какого рода земля в разных провинциях находится: тучная или легкая, или болотистая, песчаная, иловая». Учредители Общества поклялись «совокупным трудом стараться об исправлении отечественного земледелия и домостройства» и начертали на знамени своем девиз: «Пчелы, в улей мед приносящие».

В работе над второй почвенной картой Европейской России, вышедшей в 1879 году, активное участие принимал молодой Докучаев, которого пригласили «составить нормальную почвенную классификацию и описание русского чернозема», необходимые для объяснительной записки к карте.

Вольное экономическое общество не поскупилось отдать Докучаеву все деньги, которые имело и которые предназначались на различные исследования. Это пошло на пользу и молодому ученому, и отечественной науке в целом. За два лета Докучаев исследовал почти всю черноземную полосу Европейской России, проделав по ней пешком, на крестьянской бричке около десяти тысяч верст. Вот в этих-то путешествиях он и пришел к выводу, что «народное сознание опередило науку». После этих путешествий он и начал утверждать теорию растительно-сухопутного происхождения черноземов и доказывать, что почва вовсе не ил и не минерал. Вначале на заседаниях Вольного экономического общества, а потом и в статьях излагает он все основные положения новой, им же создаваемой в жестокой борьбе с оппозицией науки — генетического почвоведения.

Эти десять тысяч верст и доклады по возвращении принесли ему ученую известность. Однако сам он понимал, что до победы еще далеко, что в его теории сохраняется немало уязвимых мест. И он, с благословения того же Вольного экономического общества, предпринимает еще несколько поездок по России, а потом пишет свой новый труд, который сразу же становится классическим и знаменитым не только в России, но и далеко за ее рубежами.

Принято считать днем рождения новой науки о почве 11 декабря 1883 года. В этот день Докучаев защищал «Русский чернозем» в качестве своей докторской диссертации. Диспут в переполненном актовом зале Петербургского

университета длился четыре часа. Начался он против ожидания «довольно сдержанно и тихо». Официальные оппоненты А. А. Иностранцев и Д. И. Менделеев «рассыпались в похвалах и лишь слегка указывали «по обязанности» на те или другие недостатки и промахи «капитального», по их отзыву, труда.

Но вот поднялся Костычев, принципиальный противник Докучаева по очень многим вопросам почвоведения, и пошла уже настоящая «схватка боевая»... Спор длился долго, вспоминал один из учеников Докучаева. Костычев, прекрасный спорщик, немало потрудившийся над лабораторным изучением почв, яро нападал на многие положения автора «Русского чернозема». Докучаеву было нелегко отражать этот натиск, но его выручали уверенность в своей правоте и знание почв, приобретенные не в лаборатории, а в поездках по России.

Диспут продолжался около четырех часов. Наконец профессор Н. А. Меншуткин, по обыкновению вопросительно покивав в сторону различных членов факультета, произнес торжественное признание диспутанта «доктором геогнозии и минералогии». И зал взорвался шумной овацией.

Из продолжительного горячего спора ученики Докучаева вынесли твердое убеждение в правоте своего учителя и верности направления зарождающейся науки о почве.

Убеждению этому способствовали и последующие события: Академия наук присудила Докучаеву за «Русский чернозем» полную Макарьевскую премию, а Вольное экономическое общество вынесло ему особую благодарность.

Итак, почва — это вполне самостоятельное тело природы, ее творение и ее зеркало, «зеркало местного климата и притом климата как современного, так и особенно давно минувших времен».

Разгадка эта, доведенная до сведения образованного человечества, потрясала. Мир заговорил об открытии неизвестного ранее четвертого царства природы (к трем известным царствам относили минералы, растения и животных). И не случайно не что-нибудь рукотворное, а почвенная коллекция получила золотую медаль Всемирной выставки. Французская академия отметила Докучаева дипломом «За заслуги по земледелию».

— Скоро придется учиться русскому языку тем иностранным почвоведам, которые хотели бы стоять на современном научном уровне,— сказал своим коллегам известный мюнхенский профессор Рамаин.

Такое признание труда русского ученого за границей резко изменило отношение к нему на Родине.

«Почти вся чиновничья братия в Питере совершенно изменилась по отношению ко мне: не знаю, надолго ли,— сообщал Докучаев полтавскому агроному Измаильскому. Уверен был, не надолго, поэтому тут же дописал: — Куй железо, пока горячо».

И он ковал, приняв на себя все заботы по созыву и проведению Восьмого съезда русских естествоиспытателей и врачей, который оставит заметный след в истории многих отраслей отечественной науки. Ковал, не щадя сил, жертвуя своим временем и здоровьем во имя важнейшей цели — во что бы то ни стало добиться коллективной поддержки учеными его предложения о создании в России самостоятельного Почвенного учреждения (комитета, института), с музеем и лабораторией при нем. Оно необходимо для выполнения систематических научных исследований русских почв, составления почвенных карт и решения многих вопросов практического характера.

Идея была не новой. Впервые Докучаев высказал ее в своем обзорном труде «Картография русских почв», изданном в 1879 году. В том же году VIII съезд естествоиспытателей и врачей постановил обратиться с ходатайством об открытии Почвенного учреждения к министру государственных имуществ князю Ливену. Однако ходатайство это, как и проект учреждения, министр категорически отверг.

Теперь же Докучаев делал новую попытку: считал, идея эта вполне созрела в обществе, да и на посту министра другой человек, не такой ретроград, как прежний.

Докучаев собирал под знамена своих единомышленников. Послал приглашение и Энгельгардту,— именно его хотел он видеть «главным бомбардиром» на съезде. Однако накануне съезда Энгельгардт откликнулся с явными нотками грусти: «Не знаю, буду ли на съезде натуралистов; вернее, что не буду. Разные причины, главное — плохое состояние здоровья, едва ли дозволят мне приехать».— Он уже два месяца не выходил на улицу. А как ему хотелось быть на этом съезде, «чтобы, вероятно, последний раз повидаться со старыми друзьями». Мыслями он был там, с друзьями, в Петербурге. Выдержат ли они борьбу, осилят ли эти темные царства департаментской науки?

Не смог приехать и Измаильский, служивший управляющим имением князя Кочубея под Диканькой,— не отпустил патрон. Но поддерживал Докучаева письмами, выслал по его просьбе образцы почв.

Съезд длился долго, прерывался, как шутили, новогодними фейерверками, катаниями, елками и иллюминациями. Начался он 28 декабря 1889 года, а закончился 7 января. Поэтому и газеты больше занимались новогодними гуляньями, чем съездом,— расскажут о нем лишь в конце месяца.



Впрочем, похоже, и сам Докучаев не сразу осознал результаты своей работы. Во всяком случае, в первом после съезда письме Измаильскому сообщал лишь о своей усталости: «Верьте мне, что во все время съезда, иначе — с 26 декабря примерно по 10 января, я спал не больше 4-х часов в сутки. 12 января по совету врача я уехал в деревню, где также не мог ни читать газет, ни писать писем,— даже не телеграфировал,— до такой степени настала у меня апатия к печати и письму. Можете себе представить, я потерял всякий вкус к газетам!»

Вывел его из состояния апатии Энгельгардт. Сидя в смоленской деревне, он «с разных сторон получал сведения относительно агрономической секции съезда». Проанализировав все сведения и документы, он написал Докучаеву: «Не будь ваших почвенников, что бы осталось в агрономической секции — несколько профессоров агрономов да еще «департаментская секция». Плохо себя заявила «агрономия» на съезде и все вывезла ваша школа почвенников...

Утешительно, что вас, ваших учеников и вашу школу наконец-то признали... В 1887 году никто слышать не хотел о почвенных исследованиях, а теперь, говорят, и «департаментская секция» сдается. Если результатом... VIII съезда будет учреждение почвенного комитета с лабораторией при нем и пр., то это будет ужасно важно».

А в конце письма добавил: «Необходимо Министерство земледелия и торговли. Министром, разумеется, Менделеева»...

Аграрная Россия, как ни странно, не имела Министерства земледелия, был лишь департамент в Министерстве государственных имуществ.

Назревал период преобразований, который должен выдвинуть на авансцену самых прогрессивных и бескорыстных деятелей. Так думали и этого хотели многие, кто видел и знал подлинное состояние сельского хозяйства в Отечестве.

## 9

В ноябре 1890 года Энгельгардт приехал в столицу, чтобы поддержать Докучаева и выступить в Вольном экономическом обществе с докладом «О значении почвенно-геологических исследований». Но не только для этого — его снова поманили обещанием места в Петербурге.

На этот раз он скажет четко и определенно: для полного изучения почв необходимы и геологические, и ботанические, и химические исследования. «Только при таком полном изучении почв, какое производят почвенники школы Докучаева, возможно установить типы почв и дать настоящие почвенные карты, столь необходимые для агрономов и хозяев. Не имея почвенных карт, основанных на всесторонних почвенных исследованиях,.. мы, хозяева, все будем ходить вокруг да около».

Так же все неясно было с подысканием ему места в Петербурге. Это окончательно вывело его из себя, и он с досадой выговорил Костычеву:

— Я в Батищеве делал то, что должны были делать ваши образцовые казенные фермы. Все двадцать лет прошли в постоянной разработке опытом разных вопросов, важных для хозяйства нечерноземной России. Вот я и думаю, что за мои труды по фосфоритному делу, которое я поставил на ноги, за труды по выработке системы ведения хозяйства в этой зоне не грех было бы департаменту выхлопотать мне пожизненную правительственную пенсию. Было бы совсем разлюбезное дело, если бы мне дали профессорскую пенсию, 2400 рублей в год, так я бы ничего лучшего не желал, никому собой не надоедал и, глядишь, еще сделал бы что-нибудь полезное...

Он понимал, не от Костычева все это зависит, хоть тот и служит в департаменте. Но в данную минуту именно Костычев как бы олицетворял собой всех, кто здесь правит, поэтому ему и упреки бросал:

— Неужели же департамент так и не вознаградит меня если не пенсией, то хотя бы единовременной денежной наградой? В конце концов она мне следует как плата за труд по производству опытов для департамента, которому я посылаю отчеты. Или, может, мои опыты здесь находят неудовлетворительными?..

Разговор, Энгельгардт это и сам понимал, получался очень неловким и даже унизительным для него. Покидал департамент с чувством противным, надолго отравившим жизнь. Однако и не высказать всего этого не мог: они-то получают жалованье, награды и звезды, а он-то что ж всю жизнь работает даром, все делает за свой счет.

От этих мыслей делалось еще хуже: не о том все, дело не в плате, не в деньгах, а в признании. Однако он же видит, на него смотрят будто на попрошайку какого.

Странное дело, в Петербурге он вдруг испытал жгучее чувство тоски по деревне, по полям своим. Здесь, в городе, он был словно на чужбине. Ему все больше не хотелось должности, не хотелось идти в неволю, и он перестал хлопотать о месте, а потом и думать о нем перестал. Ну, а что касается вознаграждения за труды, то тут ничего зазорного нет,— работал, тратил свои деньги, пусть хоть часть вернут. Но тратить время нечего, надо пойти с прошением прямо к директору Департамента земледелия, что он и сделал.

Через две недели его уведомили, что министр государственных имуществ согласился «испросить высочайшего разрешения на награждение, но предварительно сделан запрос в министерство внутренних дел относительно вас».

О, Русь-матушка и ее владыки! Минуло двадцать лет, а он все еще опальный, все еще униженный сын родины своей. Да кто, как не он, почестей достоин. Нет, «сделан запрос», и не на орден, не на звезду, а всего лишь на денежное вознаграждение за труды.

В конце января 1891 года Энгельгардта известили, что разрешено выдать ему за труды 5 тысяч рублей без публикации в «Правительственном вестнике» и без занесения в формуляр.

— Ну и черт с ней, с публикацией,— говорил он Докучаеву, напуская на себя веселость.— Мне бы синицу поскорее в руки. Тогда куплю себе шубу, шапку, сюртучную пару, шесть рубашек, двенадцать кальсон, двенадцать платков и прочее.

Вид у него и правда был не профессорский, что, конечно же, его смущало, и он большую часть дня просиживал в своем «Пале-Рояле», в меблированных комнатах на Пушкинской. А там — скука. Глянешь в окно — тоже не радостнее, упираешься взглядом в стены противоположного дома, в котором столько же люду, сколько во всех деревнях родной волости. Так что он действительно ждал этих денег, чтобы одеться, и уж тогда возобновить свои старые знакомства — пока же он ни у кого, кроме Докучаевых, и не был.

— Однако, Александр Николаевич,— шутливо откликнулся Докучаев, усмотрев в перечислении покупок явную промашку,— придется вам еще и фрак шить. Не в сюртучной же паре поедете благодарить министра.

Шутка эта, чего Докучаев никак не ожидал, повергла Энгельгардта в уныние: уплывут все деньги. Новые расчеты привели его к мысли, что на фрак тратить нет смысла, лучше взять напрокат. Так и сделал.

Однако нет, отвык он от визитов, от светских разговоров, неизбежных на обедах и ужинах. Иное дело у Докучаевых: ни позировать не надо, ни чепухи молоть. Здесь, в 12-й квартире на втором этаже дома № 18 по 1-й линии Васильевского острова, ему всегда было хорошо. Сюда съезжались как бы по делу: ученики приходили посоветоваться, сотрудники и профессора — поспорить, обсудить план предстоящих баталий.

Тут было хорошо еще и потому, что гостеприимная хозяйка Анна Егоровна была в курсе всех забот, споров и разногласий. Временами даже казалось, что вот эту школу почвоведов, сгруппировавшихся вокруг Докучаева, создала именно она, оказывая то ободряющее, то смягчающее и всегда благотворное влияние как на именитых профессоров, так и на молодых соискателей ученых званий. Она так серьезно и уважительно относилась к этим будущим ученым, что все делались равными и в равной степени талантливыми. Благодарные мужи науки назовут ее без всякой иронии первой русской женщиной-почвоведом — это звание сохранится за ней навсегда, и имя ее войдет в историю той науки, которая зарождалась вот в этой квартире, где она была доброй и терпеливой хозяйкой.

Здесь Александру Николаевичу было всегда хорошо и он отходил душой — тут люди мечтали и спорили о той пользе, которую ждет от них народ.

Под командой своего учителя прошагали они вдоль и поперек всю Нижегородскую, а потом и Полтавскую губернию, дав первое почвенно-геологическое описание этих мест.

Были у них уже и победы. Самую решающую, как им казалось, они одержали в министерстве государственных имуществ. Министр М. Н. Островский признал основание почвенного института и последующих исследований вполне целесообразным и важным для интересов русского земледелия, а признав, приказал составить при участии профессора Докучаева проект организации названного учреждения. Проект был составлен и передан в Ученый комитет министерства на рассмотрение. Обсуждение назначили на 14 марта 1891 года.

«Бой был жестокий,— сообщал Энгельгардт своему другу на родину.— Противники Почвенного комитета (комитет не нужен, почвенные карты не нужны) — прямые — Щепкин, Черняев, которые выступают в виде застрельщиков. Затем Ковалевский, Костычев, Ермолов, Гримм, Масальский... Главнокомандующий Баталин. Партия Докучаева слаба: он да я. Поддерживают Архипов, Веселовский, отчасти Карпинский, Мушкетов, Лясковский, Никитин... Партии резко определились и даже сообразно расселись...»

Докучаев досадовал на Архипова — не так повел совещание. Не следовало обсуждать вопросы, нужен или не нужен Почвенный институт — по этому поводу вполне ясно высказал свое положительное мнение министр государственных имуществ. Следовало говорить исключительно о проекте организации Почвенного учреждения, который он представил Ученому комитету. И Докучаев пишет Архипову форменный протест:



«С этой точки зрения большинство заявлений и дебатов, бывших в заседании нашего присутствия марта сего года, нельзя не признать, по меньшей мере, излишними, не соответствующими действительному положению и существу дела, превышающими наши полномочия, и очевидно, не отвечающими официально заявленным намерениям министра государственных имуществ.

Ввиду всего сказанного выше, имею честь почтительнейше заявить Вашему превосходительству, что если соединенное присутствие не признает возможным держаться точного смысла поставленной нам задачи, то я покорнейше прошу считать меня выбывшим из состава присутствия и возвратить мне составленный мною проект положения Почвенного института».

В ответ пришла записка, свидетельствующая не только о добром отношении к адресату, но и об отсутствии всякой амбиции.

«Многоуважаемый Василий Васильевич.

Весьма сочувствую Вашему предложению и желая вполне осуществить его, я для успеха дела советую Вам переговорить с директором департамента И. И. Тихеевым. Со своей стороны буду всеми средствами содействовать, но, боясь, что многие самолюбивые люди могут повредить нам, откровенно высказываю, что надо сделать. Когда будете в министерстве, не откажитесь зайти предварительно ко мне. Содержание письма должно остаться между нами. Обо мне слова не говорите. Искренно преданный И. Архипов».

И снова свидетельство Энгельгардта:

«Вчера опять было заседание Ученого комитета по вопросу об учреждении Почвенного комитета. Опять нападали чиновники: Ермолов, Ковалевский, Костычев, Гримм, Щепкин. Черняев молчал, должно быть, потому, что Архипов (председатель) поддерживал. Докучаев отбивался от нападок сам».

«На мой проект Почвенного института набросились все силы тьмы и ада... Уступать не думаю ни одной пяди»,— писал Докучаев 22 марта в Москву профессору Петровской земледельческой академии Алексею Федоровичу Фортунатову. А тремя неделями позже в письме Измаильскому сообщал: «Борьба с темными силами идет на всех парах. Твердо надеюсь, что в конце концов победа будет не на их стороне».

Иначе оценивал ситуацию Энгельгардт.

«Не знаю, выгорит ли дело,— писал он на родину без прежних эмоций.— Главные противники Ермолов, Ковалевский, Костычев, Щепкин... т. е. почти весь Ученый комитет. Защищают Почвенный комитет Архипов (председатель), Докучаев, я, Иностранцев; примыкают Лясковский, Карпинский, Веселовский (но молчанием)».

И все же «департаментская секция» дрогнула и согласилась с необходимостью иметь в России Почвенный естественнонаучный комитет с целями и задачами, выдвинутыми Докучаевым. Оставалось решить, быть ли Комитету самостоятельным или он должен войти в состав какого-то другого учреждения. Большинство, 14 членов совещания, высказались против его самостоятельности. За самостоятельность проголосовали те же: председатель Ученого комитета И. П. Архипов, академики К. С. Веселовский и А. П. Карпинский, профессора В. В. Докучаев, А. А. Иностранцев, Н. Е. Лясковский и А. Н. Энгельгардт.

Победа была не полной, но дело, казалось, теперь на ходу. Так думал и Энгельгардт, когда пожаловался Докучаеву:

— Устал я, да и нездоровится что-то...

В одном не признался: за четыре с половиной месяца проживания в Петербурге поиздержался крепко — скоро ни рубля не останется, да и до чертиков надоели ему все эти «самолюбивые люди», двое из которых когда-то были его учениками.

14 апреля 1891 года Энгельгардт покинул столицу. Утром 16 апреля он уже был дома.

## 10

Ему казалось, он впервые вздохнул полной грудью.

«Хорошо у вас,— писал он Докучаеву через несколько дней после возвращения в Батищево.— Луг зазеленел, лес начал одеваться, березка распускается. Погода прекрасная, воздух чистый, духовитый, отовсюду несется песня... В моей скворешне над флигелем, где я живу, скворцы по утрам так хорошо «играют»... Кукушка кукует в роще. Хорошо. Как жаль, что вас тут нет».

Весна шагала по земле, пробуждая к жизни все, что способно расти, ползать, летать. Он, Энгельгардт, тоже словно бы пробуждался, приводил «мало-по-

малу все мысли в порядок — в петербургской сутолоке все нити оборвались», и все реже вспоминал Петербург, где «людей-то ведь нет — все только чиновники... Ах, как много чиновников!».

Регулярно приходили письма от Докучаева: обещал вот-вот приехать в Батищево, отдохнуть от петербургских дрязг. В ответах своих Александр Николаевич подзадоривал друга:

«У вас комиссии, а у нас соловьи поют! У вас комиссии, а у нас черемуха цветет! Пора на траву».

Ободрял: он, Энгельгардт, дело не оставил, пишет директору департамента Тихееву, что для распространения опыта удобрения фосфоритами «нужно знать почвы». И обещает: «Мы их проберем. На бумаге-то лучше для меня и легче, чем на словах...»

И опять за свое: в деревню, к нему в деревню ехать надо, и как можно скорее. Убеждает: «Худо у вас в Петербурге. Хорошая научная деятельность и жизнь, но все отравлено чиновничьими дрязгами, завистью, подставлением ножки и пр. Деньги все портят, т. е. не деньги, а недостаток простоты в жизни. Все тянутся... тянутся...»

Докучаев приехал в Батищево в середине мая, но лишь на два дня — посоветоваться: что делать дальше — отстоять самостоятельность Почвенного комитета так и не удалось. Правда, собрание ученых постановило представить общий журнал состоявшихся пяти заседаний на усмотрение министра, однако теперь остается лишь ждать его решения. Договорились: надо и дальше настаивать на самостоятельности Почвенного комитета. При этом неплохо бы создать в каждой губернии опытные агрономические станции, которые все испытывали бы в собственном хозяйстве и давали земледельцам своего округа готовые рецепты.

Они вышли прогуляться, но, пройдя сажен двести, Александр Николаевич закашлялся и сел отдыхать. И Докучаев увидел на земле кровавый плевок.

— Лечиться вам надо, дорогой мой Александр Николаевич.

Энгельгардт через силу улыбнулся и сказал:

— Позову доктора, когда умирать буду, чтобы он морфий давал для облегчения страданий. А пока — ну их, докторов, не верю я им.

Вернувшись во флигель, он сел в кресло и долго молчал. Молчал и Докучаев, ему казалось, что друг его задремал. Но Александр Николаевич повернул к нему широколобую гривастую голову и сказал, будто и не прерывали разговора:

— Как бы хотелось мне дожить до того счастливого дня, когда почвенники приедут в Смоленскую губернию и под вашим руководством начнут ее исследовать.— Внимательным и долгим взглядом посмотрел на Василия Васильевича и вздохнул: — Поскорее бы только...

— Ручаюсь, дорогой Александр Николаевич, ни один почвенник не проедет мимо, не заглянув к вам.

Энгельгардт благодарно пожал руку друга и попросил прощения: ему надо отдохнуть.

На другой день Докучаев уехал — впереди у него было путешествие по Волге, которое обернется странствиями по волжскому правобережью, по саратовским и воронежским степям.

Они расстались, договорившись встретиться осенью. Но оказалось, что навсегда: 21 января 1893 года Энгельгардт умрет от паралича сердца. Однако до этого скорбного дня оставалось еще полтора года. Он еще успеет заложить новые опыты, теперь уже с калийными удобрениями, на которые Департамент земледелия выделил ему 1500 рублей (просил пять тысяч). Успеет выполнить работу, на которую департаментских денег не хватит и он приложит своих немало. По итогам опытов напишет несколько научных статей, которые окончательно утвердят его как выдающегося деятеля русской агрохимии. Но утвердят не при жизни, а, как часто случается на Руси, после смерти. При жизни даже в департаменте, которому он посылал научные отчеты, вслух говорили, что опыты его не научны. Разговоры эти дошли до Энгельгардта. Он не обратил бы на них внимания, но в ноябре, за два месяца до смерти, получил «репримаиду Ученого комитета» с замечаниями на его отчет. Замечания были написаны таким тоном, будто дело имели с несмышленым учеником. «Ну все равно, если бы Ученый комитет сделал химику, которому поручено производство анализа, замечание, почему тот не указал в отчете, была ли вымыта посуда, чисты ли были реактивы».

И он с гневом пишет Ермолову, который только что побывал у него в гостях: «Кто ввел фосфорит в России? Я. Кто указал значение каинита? Я... Нечего Ученому комитету передо мною фордыбачить. Пусть прежде сам сделает что-нибудь...»

Он еще возобновит переписку с Костычевым и напишет ему: «А моя звезда еще не померкла! Счастье мне благоприятствует! Опыты нынешнего года дали очень интересные результаты».



Рассказав о них, Энгельгардт напомнит: «А между тем некоторые чиновники находили, что 1500 руб. много на опыты! Вот поди-ка поработай. А то сидят там в Петербурге, получают жалованья, жрут икру по 3 руб. фунт и болтают, болтают без конца. Насмотрелся я нынешнюю зиму, $4^1/_2$ месяца высидел».

Сразу за все рассчитается, даже за те совещания Ученого комитета, когда «партии резко определились и даже сообразно расселись». Не мог он забыть, что Костычев был в противоборствующей.

Энгельгардт еще прочитает в столичных газетах, что министр государственных имуществ вошел с предложением об учреждении Почвенного комитета в Комитет министров, что тот уже признал полезным учреждение Почвенного комитета и что дело теперь перешло на рассмотрение Государственного совета.

«Теперь дело в шляпе,— отправит он радостное письмо Докучаеву.— Конечно, никаких дальнейших обсуждений в Ученом комитете не будет. И слава богу! Важно, что фундамент заложен, а дальнейшее все само собою приложится. Будет Почвенный комитет, будут ему и земства оказывать содействие для почвенных исследований губерний...

Напишите же мне — верно ли газетное известие».

«Это все вранье»,— коротко ответит Докучаев.

«Значит, это в с е  в р а н ь е. Но кто же пускает эти утки? Друзья или враги почвенного дела?»

Незадолго перед тем Энгельгардту пришла телеграмма из Смоленска: «Земское собрание признало необходимость почвенных исследований, ассигновало деньги, пригласило Докучаева».

«Обрадовался ужасно! — торопится он поделиться этой радостью с Докучаевым.— Наконец-то наша мечта сбудется. Я ожидаю от почвенных исследований в Смоленской губернии большой пользы, как для н а у к и почвоведения, так и для практики сельского хозяйства».

Докучаев отправил в Смоленск письмо с согласием на руководство исследованиями, представил губернской земской управе программу работ и смету расходов.

Земство вошло с ходатайством в Министерство внутренних дел о выделении необходимых средств на исследование губернии (сверх десяти тысяч рублей земских ассигнований). Однако ответа из министерства не последовало, а земство о себе не решилось напомнить, да и не до этого было — в России уже вовсю свирепствовал голод.

«Боюсь,— писал Докучаев в сентябре 1891 года,— что благодаря тяжелой године все наши проекты надолго застрянут».

И они действительно застряли, «ушли в глубь канцелярий», где и «канули в Лету».

«Несчастное наше сельское хозяйство,— воскликнет с горечью Докучаев,— ни людей науки, ни знатоков учебного дела, ни людей практики. Исключения все наперечет и торчат, как оазисы в Сахаре!»

Оставалось надеяться лишь на одно: тяжелый недород подтолкнет к преобразованиям.

«Я уверен,— писал Энгельгардт,— что должны произойти большие перемены, и на сельское хозяйство у нас будет обращено должное внимание».

И наконец-то будет создано — о чем давно уже говорили — министерство земледелия, «а в нем,— высказывал Докучаеву надежду и мечту свою Измаильский,— громадный, вполне устроенный, деньгами не стесненный, под вашим управлением, Почвенный департамент».

## *«Какую правду желаете знать?..»*

### 1

В середине мая 1891 года Ермолов, по поручению министерства финансов, в котором он возглавлял департамент неокладных сборов, выехал в южные губернии России. Поездка его, как он сам отмечал в отчете, не имела ничего общего с вопросами о видах на урожай, но Ермолов видел, что надвигалась страшная беда, которая неминуемо разразится страшным голодом. И он фиксировал все.

«Картина, которая передо мной расстилалась, была ужасна и заставляла содрогаться за будущее,— набрасывал Ермолов для отчета.— Не только полевые растения, но даже сорные травы, даже вековые деревья не могли противостоять этим губительным метеорологическим условиям. Поля в большинстве местностей оставались черными, луга и степи были выжжены и желтели, деревья подсыхали и гибли целыми десятками. Солнце на небе было красно вследствие носившихся над землею облаков пыли, пыльные вихри столбами кружились над

оголенными полями и степями. Люди приуныли в ожидании неминуемой невзгоды».

С юга Воронежской губернии, где в Бобровском уезде было его имение, Ермолов проехал до Саратова, а потом и до Самары. И всюду видел ту же картину, сулившую неминуемую беду. Видел не глазами царского чиновника и землевладельца, а ученого, написавшего капитальный труд о системах земледелия и севооборотах в России. Труд этот стал заметным явлением в сельскохозяйственной науке, получил высокую оценку самого А. В. Советова. Да, Александра Васильевича Советова, к имени которого даже современники прибавляли — «первый в России». Это он, Советов, подхватил и продолжил то, что оставил любезным согражданам своим Болотов. И уже первый труд его «О разведении кормовых трав на полях» стал первым учебником отечественного научного земледелия.

Его читали и перечитывали — в брошюре, вышедшей под этим названием в 1859 году, в пору, когда «все стали думать и думать в одном направлении, в направлении свободы, в направлении разработки лучших условий жизни для всех и для каждого», современники находили смелые размышления молодого ученого не только о травах, о хлебной ниве, но о судьбах русского народа, о будущем России.

Советов выступил в ней против так называемой «трехполки», трехпольной системы земледелия, которая господствовала в странах Западной Европы со средневековья и которая, будучи раскритикована еще Болотовым, дотащится до двадцатого века.

Курс сельского хозяйства не был обязательным в университете, но всякий раз, когда приходил Советов в аудиторию, она, по свидетельству друга его Д. И. Менделеева, ломилась от слушателей, «и без того заваленных множеством занятий в аудиториях, лабораториях и кабинетах». Читая свой «необязательный предмет», он звал молодое поколение к изучению почвы, которая «кормит весь род человеческий». И увлекал своим страстным призывом.

Здесь, в Петербургском университете, Советов написал капитальный труд «О системах земледелия» — впервые в мировой науке обобщил многовековую историю земледелия и наметил пути дальнейшего его развития. Труд этот принес Советову ученую степень доктора земледелия — первого в России.

Именно труды и лекции Советова определили судьбу многих слушателей, в том числе и молодого Докучаева. Он, до этого занимавшийся в университете геологией, увлекся теперь изучением черноземов.

Ермолов дерзнул продолжить начатое Советовым дело — приступил к подробному описанию и систематизации русских севооборотов, чего не было в трудах зачинателя. Отечественная сельскохозяйственная наука все еще пробавлялась «больше переводными с иностранных языков или компилятивными сочинениями». Пора было оставить это «почти рабское следование немецким указкам и учебникам, составленным для иной природы, для иных людей и для иного общественного и экономического строя». Нужна своя, чисто русская агрономия, русские системы земледелия.

И Ермолов успешно справился с этим важным делом, нарисовал современное положение сельского хозяйства в России. Труд его «после чрезвычайно лестного разбора», сделанного Советовым, был удостоен Академией наук Макарьевской премии — высшей премии того времени.

В самом начале 1891 года в свет вышло второе издание этого труда. Конечно же, автор мог радоваться — труд его не остался незамеченным. Но «радость агронома всегда отравлялась скорбью человеческой». Горькие эти слова Александра Николаевича Энгельгардта подтверждались жуткими картинами, которые заставляли содрогаться.

В пути, на станциях и полустанках, Ермолов спешил купить все столичные газеты, какие только доходили в эти степные края. Он ожидал, что там, в столице, уже спохватились, встревожились и вот-вот должны что-то предпринять. Но газеты, словно сговорившись, на все лады убеждали сельских хозяев скорее воспользоваться поднявшимися ценами на хлеб и усилившимся на него заграничным спросом, чтобы выгодно продать запасы, советовали вывозить за границу как можно больше хлеба для лучшего торгового баланса страны.

Откликаясь на эти советы и уговоры, Энгельгардт писал из деревни: «Думали, у нас и невесть сколько хлеба, а оказалось, что хлеба нет и при первом неурожае — голод. Думали, что у нас перепроизводство хлеба (и выдумали же — перепроизводство, точно хлеб все равно, что ситец!), а вдруг хлеба-то и нет. Мужики говорят: «хлеб что деньги» и продают хлеб только в крайности. А тут перепроизводство! Делали все (тарифы и пр.), чтобы спустить хлеб за границу по дешевой цене,— коровушек там рожью кормят, как говорит Верещагин и нам предлагал тоже — продавать хлеб немцу себе в убыток, все, чтобы денег заполучить. Ну и заполучили, курсы подняли...»

«Сумасшедшие! — думал Ермолов, имея в виду не газетчиков, а высших правительственных чинов, от которых исходят эти дичайшие советы.— Не вывозить надо, а закупать и запасать для нужд собственного населения».



Вернувшись в Петербург, он написал пространную записку, в которой красноречиво и честно изложил все, что видел. Явившись с отчетом к своему непосредственному начальнику — министру финансов Вышнеградскому, представил ему и эту записку. Министр долго и внимательно читал ее, затем, сурово взглянув на Ермолова, сказал:

— Вы тут пишете, что на Россию надвигается страшный призрак голода и советуете теперь же, пока не поздно, принять самые решительные меры для предупреждения грядущего бедствия...

Да, именно такими словами Ермолов заканчивал свою записку.

— Так вот,— министр резким движением открыл ящик письменного стола,— следуя вашему совету, я принимаю самые решительные меры...— Тем же резким движением он сунул записку в ящик, энергично задвинул его, запер и добавил не без угрозы:— Из этого ящика ваша записка не выйдет, и ни один человек не должен о ней знать. Ясно? Иначе вы мне своими глупостями все курсы испортите...

## 2

А из деревни от Энгельгардта летели письма, одно тревожнее другого: «Голод. Запасов хлеба нет. Помилуйте, из нашей несчастной Смоленской губернии хлеб пошел внутрь России! А к весне и у нас хлеба не будет! Денег у народа тоже нет — все повытащили. Спичку зажег — заплати в казну, керосину в лампочку налил — заплати, лемехи наладить нужно — заплати, шкалик водки выпил — заплати в 12 раз более, чем он стоит...

Министерство государственных имуществ ввиду голода распорядилось допускать в казенных лесах бесплатно сбор грибов и ягод (прежде, до этого распоряжения, в казенных лесах и за грибы деньги брали! Иногда это был единственный доход с лесов, самый лес-то разворовывали). Вероятно, Министерство государственных имуществ дозволит и гнилые колоды брать. В голодные годы, говорят старики, случалось... гнилую колоду прибавляли в хлеб. По Костычеву — ведь это будет не хлеб, а пирог с грибами; ибо что такое гнилая колода: дерево, превратившееся в перегной,— ведь это гриб. Нельзя ли умудриться как бы черноземом кушать».

Только спустя два месяца Вышнеградский вынужден был извлечь из стола ермоловскую записку и запретить вывоз хлеба из России, но было уже поздно. Ничего, кроме паники на внутреннем рынке, этот запрет не принес. Теперь хлеб для голодающих губерний закупался за тридевять земель и чуть не с аукциона.

А из деревенской глубинки Энгельгардт комментировал:

«Интересуюсь я очень финансовым делом, неурожаем, голодом. И очень доволен, что Вышнеградский полетел вниз тормашками. Еще в 1887 г., в Петербурге, я говорил, что у В. не государственный ум. Хороший практический механик. Имел кое-какие деньжонки! На биржевых операциях нажил.

То же делал, и будучи министром финансов. Такое государственное учреждение, как крестьянский банк (основание всего, фундаментальный камень) превратил в банкирскую лавочку,— в кассу ссуд. Не отдают заемщики, крестьяне — продавай их землю. Дурак. В прошлом году я много говорил об этом в Петербурге. Торгашей и толстосумов поощрял и денег на это не жалел. Банкирской игрой занимался. Осел! О положении дел ничего не знал. Ротшильд ранее его знал, что у нас не будет хлеба.

Поди, лови теперь курс. В замечательной записке Вольного экономического общества об тарифах все было предсказано, и предсказание исполнилось ранее, чем думали. Разорили Россию и долго еще не поправимся. А если война?!

Выдумали какое-то перепроизводство хлеба — точно это ситец или кредитные бумажки!

Хлеб сбывали за границу себе в убыток, а мы, производители, не могли его не продавать, потому что, когда курс поднялся, нам давали за хлеб и другие произведения — лен, пенька — мало рублей, хотя и более дорогих, а налогов не уменьшили, а еще прибавили и брали с нас столько же, сколько и прежде, но дорогих рублей. Ясно, что это разорило земледельца. Запасов никаких, хлеб задешево весь спустили немцу. Даже священную историю забыли, где рассказывается, как Иосиф посоветовал фараону в урожайные годы скупать хлеб и делать запасы. А теперь и сиди. Откуда хлеба взять? Ни хлеба, ни денег, ни кредита.

Думали тогда свиней и скот хлебом дешевым кормить, чтобы сбывать за границу продукты скотоводства. Ничего не вышло, и я объяснял на агрономическом обеде, почему не вышло.

Всем помогали. А сельскому хозяйству всегда шиш показывали. Вот теперь — нат-ка, сам выкуси. Простите, что так...»

«Где Вы были нынешнее лето? — обращался он к другому адресату.— Не в голодной ли стороне? Ведь дело плохо. Еще зима предстоит, весна, когда-то новый хлеб поспеет! Кстати, заметили Вы в № 32 «Земледельческой газеты» статью Бодиски? Прелесть! Вкратце статью можно передать так. Курс упал. Франк стоит 37 коп. Ура! Слава богу! Свинину можно вывозить за границу! Да чем же кормить свиней! Неурожай, голод. Пустяки — неурожай на озимое, голод для людей. Люди будут питаться ржаной мукой с примесью лебеды, гнилой колоды, мякины, а свиней будут кормить яровым — гречей, горохом, просом, овсом. Черт знает что!»

Проживая в деревенской глубинке, Энгельгардт по-прежнему был в курсе всех дел, ядовито обсуждал их в письмах чиновникам Департамента земледелия:

«Так, по-петербургскому, голода нет? Да и газеты пишут: «хлеб дешевеет»,— и ликуют! А отчего дешевеет? Да оттого, что *не на что его покупать.* Едят всякую дрянь, а хлеба не покупают, потому что «купила» нет. Когда мануфактурный товар не идет, дешевеет — понимают, что это оттого, что на Дону или в Поволжье неурожай, недород, и потому нет у мужика денег. Ну то же и теперь с хлебом. Будет дешеветь, как не на что покупать. И еще подешевеет, когда много народу перемрет с голоду. Вообще дело плохо и серьезное дело».

Статьи в газетах все больше раздражали его. Один господин, отрицая бедствие, написал, что «голод, это — когда матери пожирают своих детей», чего пока замечено не было. Дичь такая заставляла откликаться сердито, не выбирая выражений:

«Знаете, теперь, кажется, все *перебаламутилось.* Читаешь и глазам не веришь! Читали Вы в № 48 «Земледельческой газеты» статью «О приготовлении муки из соломы»? Не читали — прочитайте или поверьте мне. Теперь все хлопочут о суррогатах хлеба. Вот и в Перми чины Управления государственных имуществ надумались печь хлеб из *соломы.* Взяли соломы, изрезали на мелкие куски, высушили и привезли на мельницу молоть. Мельник *не хотел молоть* и уверял, что из этой *затеи* ничего не выйдет. Ну, мельник, конечно, дурак, неуч. Обратились к хозяину мельницы. Тот уважил и приказал смолоть. Получилась *соломенная* мука. Из этой муки, с прибавкой ржаной, спекли хлебы. Муку брали в разных пропорциях: $^2/_3$ ржаной и $^1/_3$ соломенной; $^1/_2$ ржаной и $^1/_2$ соломенной; $^1/_3$ ржаной и $^2/_3$ соломенной. Попробовали хлеб и нашли, что при первых двух пропорциях $^1/_3$ и $^1/_2$ соломенной муки получается *очень хороший хлеб.* При третьей пропорции ($^2/_3$ соломенной муки) хлеб вышел неудачен, но *съедобен* и не имел дурного вкуса. *Сухари же из всех сортов хлеба выходили отличные.* Конечно, чины пробовали хлеб с икрой, закусывая водку перед обедом, за которым подавалась цветная капуста и к ней масло с толчеными соломенными сухарями из соломенного хлеба. Поэтому и *рекомендуют соломенную муку как суррогат ржаной муки.* Но так как рекомендуют соломенную муку не неучи какие-нибудь вроде мельника, отказавшегося молоть солому, то и представили научные подтверждения — из «Справочной книжки русского сельского хозяина», где в таблицах состава кормовых веществ нашли, что солома содержит 37,7% *перевариваемых* веществ, т. е. лишь *только вдвое* менее, чем рожь. Из этого заключили, что 2 части соломенной муки могут заменить 1 часть ржаной. Конечно, чины не знали, что в таблицах показано количество веществ, перевариваемых травоядными животными, а не человеком. Наверное, мельнику говорили, что он, мужик, ничего не знает, что в соломе, так же как и в зерне, много углеводов и пр. Статья была напечатана в «Пермских губернских Ведомостях» и перепечатана (без всякой оговорки) в «Земледельческой газете» № 48. Зачем? В насмешку, что ли? *Но как же не оговорить!* Кто-нибудь прочтет в «Земледельческой газете» и примет всерьез. Начнет еще делать опыты какая-нибудь продовольственная комиссия или Красный Крест. Я послал Баталину небольшую заметку, написанную просто и серьезно, без насмешек. Хотел было написать статейку в газеты, да побоялся. Я со своими опытами завишу от департамента. Вдруг кого-нибудь из пермских чинов за то, что придумал делать хлеб из соломы, назначат директором Департамента сельского хозяйства. Вот она служба!»

Однако газеты продолжали наперебой давать советы.

«Насчет суррогатов час от часу не легче. Предлагают... печь хлеб из торфа для *корма скоту:* 20 частей ржаной муки, 20 частей отрубей, 60 частей торфа, и опять приводят цифры из «Справочной книжки» о количестве азота и пр...»

Ну, слава богу, нашелся-таки человек, высмеявший ученых мужей.

«Читали Вы фельстон Эльпе насчет соломенного хлеба? Жалко старика Ф. А. Баталина. Но и то сказать, и кто же ему виноват? Не жадничай: возьми хорошего помощника, заплати ему хорошие деньги. Это не отговорка, что департамент приказал напечатать. Баталин сам департамент».

Он был редактором «Земледельческой газеты».

*(Окончание следует.)*



Леонид БАХНОВ

# Семидесятник

Подумать, ведь еще двух лет не прошло, как читали мы «Новое назначение» — не вполне доверяя собственным глазам, гадая, что же об этом *скажут* и в каком смысле перетолкуют содержание романа критики...

Да, наша мысль, конечно, порядком раскрепостилась за это время. Сегодня мы уже иные, чем были вчера. Но чем дальше, тем сильнее тянет оглянуться назад, всмотреться в нас *вчерашних* и в тех, кого мы читали в пору, что теперь именуется «застойной». Хочется думать о них, не дававших уснуть нашей мысли и нашей памяти, сопротивлявшихся, не молчавших.

Хочется думать о Трифонове.

«На бульваре плешинами белел снег, деревья темнели сиво, голо, и по черному асфальту, по трамвайному пути и по середине бульвара бежали к Трубной площади люди» — таким резким, хроникальным кадром открывается в романе «Время и место», напечатанном вскоре после смерти писателя, описание известного исторического события. «Зима кончалась, воздух был ледяной. И ледяной ветер гнал людей к Трубной. Говорили, что в Дом Союзов будут пускать с двух... Центр, говорили, закрыт, в метро не пускают...». Стоящий на обледенелом тротуаре Антипов будет испытывать «какое-то полубезумие», владевшее в тот день всеми; а позже, под вечер, услышит с улицы крики, бросится выламывать дверь, и в пустое парадное хлынут люди...

Даже самый неосведомленный читатель вряд ли способен не понять, о чем идет речь,— о похоронах Сталина. Однако это слово — «похороны» — мелькнет лишь спустя десяток страниц, оброненное как бы невзначай, случайно, а имя того, кого хоронят, не будет названо вообще.

Почему? Что это — дань «временам», обстоятельствам, цензуре? Но не станем торопиться с суждениями. Пока запомним: имя Сталина даже в той ситуации, когда его, кажется, невозможно не произнести, остается *неназванным.*

В первом номере «Дружбы народов» за прошлый год был напечатан роман Трифонова «Исчезновение». Знакомый уже читателю Дом на набережной. Большая и, несмотря на время от времени возникающие трения, очень крепкая, спаянная семья, в которой без труда угадываются черты семейства Трифоновых, а в Горике, герое романа, просматривается сам будущий писатель. Вечерами за ужином собираются вместе, говорят о всякой всячине, уютно светит лампа сквозь оранжевый абажур. А на дворе — год тысяча девятьсот тридцать седьмой, кольцо сжимается, и вот уже звучат пророческие слова, обращенные дядей Горика к его отцу, Николаю Григорьевичу: «Знаешь, Колька, а мы сей год не дотянем...». Не случайно одно из самых пронзительных мест в романе — описание вечернего Дома: «Метель унялась, было морозно, ясно, на дворе тихо лежал оранжевый — от тысяч абажуров, смотревших в окно,— снег. Дворники усердно скребли, стучали, торопясь расчистить дорожки для гуляющих, что вышли по совету врачей на вечерний терренкур: похватать морозцу перед сном»... Мирная, идиллическая картинка, а маховик-то адской машины уже вовсю раскрутился, и не жестокая ли это насмешка — трогательно заботиться о бытовых удобствах и о здоровье тех, кого уже ждут разверстые пасти лубянок да бутырок, кому, может, несколькими часами позже «терренкура» суждено увидеть того же дворника, только уже в ином качестве — в качестве понятого. «Дом предварительного заключения» — так окрестил народ серый дом на Софийской набережной...

Главное отличие этого романа, извлеченного из архива писателя, от других напечатанных произведений Трифонова состоит в том, что здесь *прямо* говорится о таких вещах, о которых литература как бы перестала говорить с середины 60-х.

...«Нынешние восторги по поводу публикации «Исчезновения» кажутся мне несколько однобокими,— читаю у критика В. Топорова («Литературное обозрение», 1988, № 1).— Незаконченный роман Трифонова, эта несостоявшаяся «книга жизни», вызывает горькое чувство именно своей незаконченностью... Роман о тридцать седьмом годе — а точней, об исчезновении — физическом одних и метафизическом других — должен

был, похоже, стать главной книгой Трифонова, все его творчество питалось темным светом этой тайной звезды, здесь были истоки и были ответы на мучившие его вопросы. Отсюда шли временные линии и в прошлое, и в будущее, с этой роковой вершины было видно далеко и ясно. Но Трифонов этой книги, увы, не написал».

Действительно, «увы», что тут еще скажешь? Однако чудится мне (может, и ошибаюсь) в столь жесткой окончательности итога не только горечь и сожаление, но и скрытый укор, обращенный не к «временам», а к писателю лично: какой, дескать, крутой маршрут открывался, а вы, Юрий Валентинович, дрогнули, сошли на обходную дорожку — вот и не написали своих «Белых одежд» или «Детей Арбата»... «Герои Трифонова постоянно укореняются в жизни — и постоянно деградируют, укореняются и исчезают, сходят на нет. О причинах и обстоятельствах этого исчезновения писатель говорил мужественно, но глухо, с тою не «последней прямотой» (Осип Мандельштам), которую осуждал и в своих персонажах, и, по-видимому, в самом себе»,— сказано чуть выше.

«По-видимому»! Читать, вероятнее всего, следует так: *должен был* осуждать, а коли у самого писателя недоставало моральных сил судить себя по высшему счету, так сделаем это за него мы, критики... Боюсь, ох боюсь, очень скоро эти «упругие удары под водой» («Обмен») станут уже открытыми и автора столь жадно читавшихся повестей и романов еще призовут к ответу: почто не договаривал?! почто не писал «в стол»?! — слишком уж велик соблазн спрямления, слишком уж привыкли мы, возвеличивая одних, непременно топтать других.

Трифонов *мог* сказать больше — эмоции по этому поводу вполне понятны. И больше, и тверже, и прямее... Но, сокрушаясь о том, чего *не сказал* Трифонов, не лучше, не справедливее ли вспомнить, что он все-таки сказал? Вспомнить, перечитать сегодняшними глазами, но не забывая и глаз вчерашних, того ожидания трифоновского слова — и правда, непрямого, нуждавшегося в додумывании, дочувствовании, «дочерпывании», по любимому выражению писателя,— без которого неполна была бы палитра тех времен. Может, окажется не так уж и «глухо»?..

Говоря так, я вовсе не хочу столкнуть лбами Трифонова и тех, чьи рукописи были разлучены с читателем (а то и с самим автором) и чьему гражданскому мужеству мы воздаем ныне запоздалые (подчас, увы, слишком запоздалые) хвалы. Напротив, уважая этих писателей и их путь, я хочу лучше понять, что же из себя представляет тот путь, которым шел Трифонов.

Что же это такое — *путь* Трифонова? И впрямь «не последняя прямота», объединяющая писателя и его персонажей? Эдакая дозировка правды и стоящий за ней нравственный компромисс? Или все-таки что-то иное?

Почему и, главное, во имя чего Трифонов *не написал* свою «книгу жизни»?

Попробуем разобраться, не упуская при этом из виду, что характер творчества писателя, обусловленный, конечно же, в первую очередь его индивидуальностью, находится в определенной зависимости и от времени, и от состояния читательских умов.

«На мне захлопнули дверь» — с такой невеселой фразой, вспоминает В. Кардин («Новый мир», 1987, № 7), Трифонов в январе 67-го вручил ему свеженький экземпляр «Отблеска костра» (напомню читателям, что это повесть об отце, герое гражданской войны, ставшем жертвой «культа личности»). Что было дальше — более или менее известно. Начался активный процесс манкуртизации населения — минуя описанную Айтматовым физическую обработку объектов. Отныне ни о репрессиях, ни о реабилитациях не велено было помнить, как не было и двери — ни распахнутой, ни захлопнутой, никакой. Впрочем, как мы знаем, этим дело не ограничилось — чем дальше, тем больше становилось «белых пятен» и в нашем прошлом, и в настоящем. Странно было бы всерьез представить, будто все жители страны способны разом обеспамятеть или разучиться верить своим глазам,— по-видимому, в этих условиях каждому из нас полагалось завести свой маленький, персональный «спецхранчик».

Хемингуэй, уподобивший произведение литературы айсбергу (сравнение, чрезвычайно близкое Трифонову), вряд ли мог помыслить, какую зловещую универсальность обретет этот образ в наших условиях. Собственно, под него подпадало буквально все — как в литературе, так и вне ее. И способ изображения действительности (два пишем — восемь в уме), и писатели, чьи главные творения либо прятались там, под водой (помню, один весьма уважаемый мною критик писал в адрес Битова: «Нам бы ваши заботы, господин учитель!» — и это в то время, когда «Пушкинский дом» был уже несколько лет как закончен!), либо возвышались над ней лишь на пресловутую «одну шестую» (тот же «Пушкинский дом», наиболее проходимые куски которого были распечатаны по разным журналам, «Сандро из Чегема» Искандера). Ну, и так далее. От искусства требовали «отражения современности», но что, если подумать, могло оно «отразить», как не тот же айсберг? «Принцип айсберга» укоренялся в сознании, поражал и души, и умы — даже самые трезвые головы начинали путаться в причинно-следственных нитях...

Таким было время.

«Трифонов оттаивает вместе со временем» — к нему крепко прилипла эта характеристика. Сейчас — и особенно после публикации «Исчезновения» — видно, что это не совсем и даже совсем не так. Трифонов «оттаивал», но в каком-то своем темпе. Уже написан и изъят роман Гроссмана и автора нет в живых, уже понятно, что попытки напечатать «Новое назначение» или «Детей Арбата» обречены на неудачу, уже и сам Трифонов, как мы помним, произнес слова о «захлопнутой двери» — все, занавес упал, пора искать другие темы,— а он только-только «дозрел» для романа «о тридцать седьмом»... Навалились на «Новый мир» (Трифонов собирает подписи для протестующего письма); уволили из обращения ранящие слух слова «этап», «лагерь», «ссылка»; неприличным (а постепенно и недозволенным) стало упоминание о XX съезде; о кровавых событиях сталинской эры сделалось принятым говорить все более обтекаемыми формулировками, а Трифонов все пишет и пишет свой «прямой» роман, и чем дальше, тем очевидней становится, что такая работа может идти только в стол...



Не закончил... Не дописал... Не хватило духу? Скорее — воздуха. Того самого, который дает писателю надежда, что он говорит не в пустоту. Ведь многое из того, что мы читаем только сейчас, писалось на самом-то деле еще тогда, когда можно было верить, что адресуешься современнику. А Трифонов сел за роман в пору, когда уже вряд ли оставался простор для иллюзий.

Впрочем, такого «простора» не было ни у Булгакова, ни у Платонова — они, однако же, не бросали свои книги по причине их непроходимости. Но даже на фоне таких примеров что-то мешает мне назвать путь Трифонова путем компромисса.

Что же именно? По свидетельству вдовы писателя, он прекратил работу над «Исчезновением» в 72-м году. Мы, конечно, не знаем, «на время» или «навсегда» откладывал он незавершенную рукопись, тешил ли себя надеждой когда-нибудь к ней вернуться. Судя по тому, что многие сцены, мотивы, персонажи перешли в другие произведения, эта надежда в какой-то момент начала иссякать. Дело, однако, не только в ней. Перед Трифоновым середины 70-х открывалось два пути: продолжать писать «обреченный» роман и тем самым замкнуть свои уста перед современниками либо — употребить все свои силы и возможности, чтобы быть услышанным «здесь и сейчас»,— путь тоже нелегкий и не дающий никаких гарантий, особенно если учесть *тему* Трифонова.

Трифонов выбрал второй путь. Но давайте спросим себя: а что, разве мы, читатели, не понимали, о чем речь? Не удивлялись всякий раз, открыв новую трифоновскую публикацию: что это *они там* — неужели не сообразят, о чем он *на самом деле*?.. Бродили даже разные фантастические предположения на сей счет — вроде той «безумной догадки», что, по словам Трифонова, зрела во времена затянувшегося разгона «Нового мира»: «Новый мир» *никогда* не будет разогнан, ибо он *нужен*» («Вспоминая Твардовского», «Огонек», 1986, № 44).

Читательский опыт, опыт чтения, заработанный в тех, «айсберговых», условиях и не без помощи, кстати, самого Трифонова,— вот что не дает мне назвать путь Трифонова компромиссом. Писатель верил в нас, в нашу способность думать и понимать, откликаться на сигналы, обращенные к запрятанному в личных «спецхранах». Думаю даже, что эта *вера* сыграла в известном смысле решающую роль в том выборе, о котором мы говорим («Выбирать, решаться, жертвовать» называется, между прочим, одна его статья начала 70-х).

Расчет на определенную «айсберговость» читательского восприятия вообще был в духе времени. Это только поначалу могло показаться, будто бы нынешний разговор на темы «культа личности» начался с той самой точки, на которой был оборван в середине 60-х. На самом деле он продолжался, причем не только на кухнях и в произведениях, что хоронились в ящиках письменного стола или уходили в «самиздат»,— продолжался в печатной литературе. Положим, многие критики видели свою *благородную* задачу в том, чтобы «облагонадежить» произведение, увести от «недозволенных» мыслей, перетолковать хоть в обратном смысле (изумителен, например, был первый отклик на «Новое назначение», напечатанный в «Литературке»: выходило, что Бек написал свой роман во славу таких людей, как Онисимов!). Но если говорить всерьез,— разве думающий читатель так уж не понимал, куда, скажем, ведет дверь, открываемая Юрием Давыдовым из «позапрошлого», из времен Народной воли (как, кстати, и Трифоновым в «Нетерпении»)? Или в какого рода проблемы упираются Быков, Абрамов, Тендряков, Можаев?.. «Запретная тема» продолжала осмысляться и в глухие годы, она, если угодно, и была теми дрожжами, на которых всходило лучшее, что было в литературе 70-х.

«Вдруг затеялась *заваруха* с дядей Володей...», «дядя Володя был уже на *севере*...» — многим ли читателям «Дома на набережной» не был ясен суровый смысл этих прозрачных эвфемизмов? Но я даже не о них и не о горькой сладости такого полукрамольного понимания. При изобилии намеков проза Трифонова меньше всего была «намекательной» в том фрондирующем смысле, какой обрело это слово за десятилетия безгласности. Он, конечно же, брал в расчет растущую изощренность читательского восприятия, выучку «ассоциировать» и откликаться на иносказания. Но не на этом, как мы прекрасно знаем, строились его отношения с современниками. Не на подмигивании, не на самоуспокоительном сознании взаимной проницательности и левизны, а на солидарности

в сопротивлении предписанному беспамятству, на общем — и у писателя, и у читателей — желании все-таки разобраться, понять, что же с нами происходило и происходит. И здесь Трифонов был прям, его мысль не юлила и не пряталась, хотя, как он сам признавался, была рассчитана на читателя «искушенного», «у которого уже есть опыт отбора литературы, который понимает, как нужно читать, умеет сопоставлять, о чем-то догадываться, что-то видеть между строк...»

Эти слова взяты из беседы с Юрием Валентиновичем, которую я в свое время готовил для «Литературного обозрения» (1977, № 4). Не все сказанное смогло войти в печатный текст. Так, за его пределами остались суждения писателя о том, о чем Твардовский в поэме «По праву памяти» писал: «Забыть, забыть велят безмолвно»; не вошли и приведенные Трифоновым свидетельства, что его надежды на понятливость читателей не лишены реальных оснований. Все это «обобщилось» в многозначительном по тем временам и абсолютно нейтральном на нынешний слух замечании (речь шла о письмах читателей): «Эти письма сильно изменились по сравнению с прежними. Изменились читатели, многое лучше понимают, видят. Эти письма создают для писателя определенную атмосферу...»

Если, сдавая в «Новый мир» «Обмен» и «Предварительные итоги», Трифонов (а он об этом говорил) еще мог испытывать определенные сомнения, поймет ли его читатель, то после успеха этих первых «московских» повестей он видел: понимают! Понимают, несмотря даже на упорные (а может, и лукавые) старания критиков вогнать его в какой-нибудь строй — бытописателей ли, борцов с «мещанством»... («У нас все литераторы должны «числиться». Бесхозных писателей не бывает»,— чуть усмехнулся Юрий Валентинович в ответ на мои филиппики в адрес тех, кто торопится запихнуть его в какую-нибудь из рубрик). Это читательское понимание не могло не давать ему поддержки, не укреплять сознание, что и в таких, мягко говоря, трудных условиях он может, у него *получается* донести до нас кое-что важное об *общей судьбе*. А раз может — значит, и должен.

Убежден, именно сознание писательского долга отнимало у Трифонова право безмолвствовать перед современниками, пусть даже имея вернейшее из нравственных оправданий: пишу «для вечности» (то бишь «в стол»).

Разным оно бывает, мужество художника... Конечно, такой путь требовал немалых жертв и уступок — и прежде всего умолчания о жестоких реалиях сталинской поры. Но было обстоятельство, которое не то чтобы облегчало, а как-то смягчало тяжесть вынужденных потерь — оно-то, наверное, и сделало *внутренне* приемлемым этот путь для писателя. Дело в том, что склонность к недосказанности была заложена в самой природе трифоновского дарования; умолчание, недомолвка, намек — все это были важнейшие элементы его художественной системы, диктуемые не внешними условиями: «дозволено — не дозволено». Это были черты его стиля, связанные с его представлениями о гармонии, достоверности, о внутренних возможностях слова. Будучи писателем тонким, он не хотел *пережимать*, хотел оставить простор для читательских мыслей и воображения. Да, воссоздавая, как он говорил, «феномен достоверности», писатель очень уповал на работу читательской мысли — это, конечно же, школа Чехова, школа предельной емкости и лаконизма, от которой наша литература порядком отвыкла (я, естественно, говорю о 50—60-х годах, когда формировались и оттачивались художественные принципы Трифонова). Именно долгая отвычка от такой школы, на мой взгляд, была одной из главных причин довольно-таки продолжительного непонимания «позднего» (после «Обмена») Трифонова критикой, упрекавшей его в том, что он якобы недостаточно твердо выражает свое отношение к героям, что у него нет «позиции», и так далее и тому подобное. Постепенно ему все-таки удалось приучить к себе не только читателей, но и критиков, признавших за ним по крайней мере право не разжевывать своих мыслей.

«Чехов,— писал Трифонов еще в 59-м году,— совершил переворот в области формы. Он открыл великую силу недосказанного». А еще спустя пятнадцать лет говорил о «пробелах» как вообще об одном из непременных законов художественного: «Пробелы — разрывы — пустоты— это то, что прозе необходимо так же, как жизни. Ибо в них — в пробелах — возникает еще одна тема еще одна мысль».

Требования «времени», если воспользоваться выражением самого Трифонова, «полярно сошлись» с принципами его эстетики. Расхождения состояли в том, что умолчания требовались в той области, о которой он как раз должен был говорить. Нет, поистине нужно было быть Трифоновым, чтобы уметь разрешить столь неразрешимую ситуацию! Писатель создал уникальную, в своем роде совершенную художественную систему, в которой умолчания вынужденные столь же органичны, столь же естественно вплетены в ткань произведения, как и умолчания иного рода. Да, *слово* его было подцензурно, но поразительно, как свободно, не зажато чувствует себя *мысль* Трифонова в этих условиях, как вольно входит в ее оборот то, о чем приказано было молчать. Перечитывая в свете нынешней *гласности* даже сравнительно давние вещи, скажем, тот же «Обмен», не устаешь удивляться, как «откликаются» они на то, о чем мы сегодня говорим, думаем. Вот дед Дмитриева — старик семидесяти девяти лет, окончил Петербургский университет, за-



нимался в молодости революционными делами, сидел в крепости, ссылался, бежал за границу, был знаком с Верой Засулич... «...он (речь идет о середине 50-х годов) недавно вернулся в Москву, был очень болен и нуждался в отдыхе». Как уж тут не понять (и понимали!), что за судьба была у этого человека, *откуда* он «вернулся». «Дед,— читаем мы дальше,— говорил о том, что все, что позади, вся его бесконечно длинная жизнь, она его не занимает. **Нет глупее, как искать идеалы в прошлом...»** (выделено мною.— **Л. Б.**).

Может, потому-то и удалось Трифонову сказать много больше, чем это удавалось другим, что он, не изменяя ни себе, ни своим художественным принципам — напротив, развивая их, совершенствуя, — сумел найти то эстетическое пространство, где его мысль оставалась свободной. Более того — тормошила, будила внутреннюю свободу читателей. Наверное, это и есть самое главное, чем мы ему обязаны...

...Признаться, я что-то не припомню особых восторгов в критике по поводу «Исчезновения» — реакция на эту публикацию была скорее уж размышляющей, и, кстати, оттенок горечи за судьбу романа в ней тоже был ощутим. Но не было в этой реакции вот чего — удивления. Да и мог ли кого-нибудь поразить тот факт, что в столе у Трифонова остался именно *такой* роман? Думаю, многие, поостыв от первого впечатления, обнаружили, что эта вещь выглядит как бы «вторичной» по отношению к тому, что уже читано у Трифонова. «Вторичной» не по материалу (хотя трудно, например, не догадаться, что Ленька Карась из «Исчезновения» и Антон Овчинников из «Дома на набережной» имеют общий прототип) — по мыслям, по писательскому взгляду на характер событий, которые он, на сей раз прямо, изображает. Иными словами, то главное, что сказано в этом «непроходимом» романе, не было похороненным — оно было выговорено, донесено до читателя!

Что же именно? О чем писал Трифонов, стремясь, по его собственному признанию, «к связям отдаленным, глубинным, которые читатель должен нащупывать и угадывать сам»? Попробую высказать кое-какие соображения.

С детства, со школьной скамьи нас старались воспитать в сознании, будто бы все, что происходит в нашей стране, неподвластно обычным, общечеловеческим меркам, будто бы с рождением нового, социалистического государства на нас перестали распространяться законы «прежней» истории, «прежней» морали. И мы, и наша действительность сколочены из особого, небывалого материала! (Этому, похоже, несколько противоречила известная теория «пережитков», но нам ли пугаться противоречий?) Сталин, осведомленный в истории, кажется, несколько больше своих преемников, был, как известно, не чужд некоторых параллелей, но возможно ли было публично, вслух — естественно, в самом приятном для вождя смысле — намекнуть на сходство, скажем, его образа действий с действиями иного исторического лица (ну, хоть того же Грозного, которого Сталин чтил)? Нет, разумеется, но не только потому, что степень его величия и гениальности была принципиально недосягаема для сравнений, а и по той причине, что «наш» человек должен был пребывать в твердой уверенности: ничего подобного не было нигде и никогда! Это сознание — абсолютной беспримерности происходящего — вколачивалось не только во времена «культа», но и в «оттепельную» пору, и в годы «застоя».

Трифонова никак не могла удовлетворить такая «вырубленность» из общего потока истории, он на нас и на наше прошлое смотрел иными, «общечеловеческими» глазами. Нынче, говоря о Сталине, мы видим не только колоссальные масштабы злодеяний и беспримерное вероломство, но и вполне типологические черты, связывающие его с тиранами всех времен и народов. В этом, мне кажется, основное отличие нынешнего разговора «о Сталине» от того, что шел в начале 60-х: стараемся понять не столько феномен Сталина, сколько нашу историю. Тридцать седьмой год оставался для Трифонова открытой и кровоточащей раной, но все его книги, включая «Исчезновение», не об этом роковом годе (кстати, еще неизвестно, был ли он рекордным по числу жертв), а о том, отчего повернулось именно так и почему мы — такие... Я начал с отсутствия имени Сталина во «Времени и месте», так вот: его имени нет ни в одной — после «Отблеска костра» — печатной вещи Трифонова, и это не дань цензуре, а зияющий «пробел», над которым следует думать.

Не Сталин был его темой, а сталинщина, ее истоки и последствия — в нашей жизни, наших душах.

Критик А. Казинцев («Наш современник», 1987, № 11), говоря об «Исчезновении», упрекает автора в том, что будто бы «трагедия времени» осмыслена им «как трагедия именно Дома на набережной», что весь роман написан в «оправдание» Дома и его жителей, а вопрос об их «вине» даже не ставится.

«Когда-то они,— не без патетики пишет в своей статье критик,— отдавали приказы, ни на минуту не усомнившись в своем праве выносить окончательный *моральный* вердикт, определяли, в каких случаях расстрел — трагедия, в каких нет»,— и таких-то, дескать, людей призывает жалеть писатель! Но давайте чуточку успокоимся и попытаемся разобраться: кто же такие эти «они», сваленные Казинцевым в одну кучу? Слова: «Другое дело, когда людей расстреливают по ошибке,— это трагедия»,— произносит в романе бабушка Горика, изображенная как типичный продукт эпохи, продукт слепой веры, не имеющая, кстати, возможности выносить реально угрожающие чьей-либо жизни «вердикты» (сооб-

разив это, критик вставил слово «моральный»). Реальной *властью* над человеческими жизнями обладает Флоринский, но тут уж и Казинцев не станет спорить, что персонаж этот вызывает у автора отвращение. Так, может быть, речь идет о Давиде Шварце, который и впрямь некогда работал в прокуратуре (кстати, это не Трифонов, как полагает критик, называет Давида Шварца «совестью партии», это оценка, данная Сольцу, с которого написан этот персонаж, его товарищами)? Однако, рисуя его, автор «Исчезновения» отнюдь не избегает вопроса о виновности таких, как он, в зловещем повороте событий, скорее уж наоборот: «Спасал Давид многих. Казнил тоже»,— сказано в романе. Надо совершенно не знать Трифонова или полагать, что читатель его не знает, чтобы допустить, будто писатель признавал за кем-либо *моральное* право казнить. Давид Шварц предстает перед нами человеком растерянным, сбитым с толку, искренне не понимающим, как можно, пусть даже, как он выражается, «под давлением» (знает ли, что оно такое, это «давление»?), выдать четырнадцать человек. Тут многое сошлось: и непонимание, и слепота, но и — боязнь посмотреть правде в лицо, страх потерять веру. В этом смысле Трифонов не щадит даже отца Горика, в котором угадывается его собственный уничтоженный отец: «Мысль о том, что Давид прав, постепенно проникала в Николая Григорьевича, превращаясь в убеждение и в некоторое даже *облегчение души*. Было, конечно, больно думать о Павле... но одновременно возникло чувство *покоя*, ибо восстанавливался разрушенный было хаосом и необъяснимостью порядок мира» (разрядка моя.— **Л. Б.**).

Вопрос о вине — исторической вине — обитателей Дома на набережной принадлежит самому Трифонову. Писатель ставил, *исследовал* этот вопрос еще тогда, когда верхом свободомыслия считалось намекнуть, что при Сталине вообще были какие-то «нарушения законности». И в этом, кстати, его отличие от большинства «шестидесятников», для которых ореол мученичества над головами «жертв культа личности» делал как бы неуместными всякие иные вопросы и прежде всего — о причастности «жертв» к этому самому «культу». Это только поначалу, после «Обмена», могло показаться, будто Трифонов идеализирует поколение «старых большевиков», находя в них одну лишь «духовность» да незамутненную «веру». Нет, диалектика «палач — жертва» Трифонову была хорошо известна, она и составляла *суть* его отношения к трагедиям того времени. Разве Ганчук из «Дома на набережной», прежде чем превратиться в «жертву», не крушил, не сокрушал своих литературных противников методами отнюдь не праведными? Разве Воловик из «Исчезновения», прежде чем его заберут, не обрек на ту же участь десятки своих коллег публичными «разоблачениями»? Да разве и негодяю Флоринскому не предстоит в недалеком будущем самому стать «жертвой»? Да, писатель прекрасно видел все это, только в отличие от своего будущего критика не желал выносить одинаковый приговор всем, чохом, а хотел *разобраться*, размотать этот спекшийся клубок зла, насилия, страха, веры, цинизма, восторга, обмана и самообмана.

Но бог с ней, с этой критической статьей.

Вернемся к Трифонову и обратимся к роману, где почти не говорится о сталинских временах,— к «Старику». По некоторым признакам можно понять, что и Павла Евграфовича Летунова не обошла жестокая участь — то ли сидел, то ли был сослан. Вроде бы совсем другой клубок он распутывает — гражданская война, Мигулин... Однако же этот, именно этот! Погружаясь вместе со стариком Летуновым в далекое прошлое, мы видим там отблеск иного костра, того, что будет полыхать в 30-е годы. Вернее, видим, как на том костре, хворост для которого собирался, кстати, еще во времена Народной воли, подсушиваются поленья для *этого*. Видим зерна, ростки, побеги грядущего. Они не только в неистовом Шигонцеве (уж не от Шигалева ли из «Бесов» ведущем свое происхождение?) и Браславском, жаждущем пройти по непослушной земле «Карфагеном». Они — и в Науме Орлике, который любого человека «мгновенно, как опытный химик, разлагает на элементы. Такой-то наполовину марксист, на четверть неокантианец и на четверть махист. Такой-то большевик лишь на десять процентов...». И в Шуре, Володе, самом Летунове... Они, эти злые семена,— в *нетерпении*, рождающем нетерпимость, в недоверии, в «классовой» беспощадности (вспомним, с какой жадностью впитывает молодой Флоринский «великий и заразительный пример... беспощадности, *имеющей право*»); они — в признании за кем-то права «по совести» проливать чужую кровь, распоряжаться чужими душами; они — в незрелости умов и сердец. Тут за какую ниточку ни потяни — все откликнется «тридцать седьмым», пламенем, сжирающим всякого, без разбора.

«Время испекло нас в своей духовке, как пирожки»... Да, время, кровавый туман, все перепуталось, и обстоятельства впрямь бывают сильней человека,— но все-таки «пирожки» выходили разными: доносчик Приходько — и мучимый памятью Летунов; страдающий, бессильный до конца осознать происходящее Николай Григорьевич — и мерзавец Флоринский. Об этом Трифонов не хотел и не мог забывать.

Обстоятельства не позволяли ему очень о многом говорить прямо, многое называть своими именами. Что ж, он принял эти условия. Сделал предметом изображения не аресты, допросы, ссылки и лагеря (этого, кстати, испытать ему не довелось — не знаю, стал ли бы он



это изображать и в условиях гласности), а *быт* тех лет, их *атмосферу*, насыщенную зловещими испарениями.

Вчитаемся, нет, даже не в «Дом на набережной», а в написанное еще раньше «Долгое прощание» — атмосферу эту определяет *страх*. Гриша Ребров, восклицающий: «Моя почва — это опыт истории, все то, чем Россия перестрадала!» — вынужден трястись перед своим ничтожным соседом; его тесть, Петр Александрович, живет в постоянном страхе за судьбу своего сада; Лялю в театре начинают побаиваться из-за ее связи со Смоляновым; Смолянов, перед которым многие трепещут, в свою очередь, боится Агабекова... Только очень поверхностному взгляду может казаться, будто бы этот страх вызван лишь «бытовыми» причинами и никак не связан с «политикой». На самом деле вовсе не так: во-первых, само обилие вроде бы «бытовых», мелких страхов — что тебя выселят, лишат заработка, не примут пьесу и т. д. и т. п.— рождает ощущение общей бесправности, бессилия личности перед *любым* произволом; во-вторых, мы-то хорошо знаем, как легко «бытовое» оборачивалось «политическим»... Но страх, которым у Трифонова пронизана атмосфера тридцатых годов — ужас, оторопь, непонимание,— отличается от того привычного, въевшегося, безнадежного страха, каким окрашено у него начало пятидесятых.

Страх, ставший состоянием общества,— что может быть хуже? В статье «Тризна через шесть веков», написанной в связи с 600-летием Куликовской битвы, Трифонов говорил: «Ведь самое ужасное было то, что иго вышло — долгое. Люди вырастали, старели, умирали, дети старели, умирали, дети детей тоже старели, умирали, а все длилось — тамга, денга, ярлык, аркан. Конца было не видать, и люди понемногу начали дичать в лютом терпении — привыкали жить без надежды, огрубели их сердца, остудилась кровь... Смысл Куликовской битвы и подвига Дмитрия Донского не в том, что пали стены тюрьмы — это случилось много позже,— а в том, что пали стены страха». И еще одна черта отличает атмосферу, воссозданную Трифоновым,— насыщенность мифами. Почему Ребров сочиняет пьесу о войне в Корее, где он ни разу не был, и не пишет о том, что хорошо знает,— о Клеточникове, о народовольцах? Да потому, что такой, реальный героизм этой мифологизированной действительности не нужен, не вписывается в нее.

Почему Сергей Троицкий, герой «Другой жизни», живущий в иные, почти уже «наши» времена, не может найти своего места, мучается, терзается и в конце концов умирает во цвете лет? Потому что гребет против течения, потому что его «разрывание могил», усилия восстановить нить исторической преемственности не просто не нужны — находятся в решительном противоречии с современностью, направлявшей свои силы как раз на обратное: как можно прочнее порвать эту самую нить, переписать историю на собственный лад.

Порваны нити, есть следствия — нет причин, действительность спрятана в плотном тумане табу и эвфемизмов... Порваны, рвутся связи между людьми, между поколениями; то, что составляло судьбу миллионов, их горький и трагический опыт, принято считать как бы «небывшим», ненужным, мешающим, лишним — в ненужности доживают свой век старики, и кое-кто уже готов предпочесть богадельню обществу любимых детей и внуков... Десятилетия сталинщины, тоже не на пустом месте возникшей, наложили на нас хорошую резьбу — оттого-то и удалось снова «завернуть гайку», оттого-то и прошли манипуляции с нашей памятью, оттого-то и наступил «застой», и вылезли, и забрали власть Глебовы, Климуки, Кандауровы.

Об этом писал Трифонов, восстанавливая, как и его герой, порванную нить нашей истории.

«Исчезновение» он, увы, не дописал. Но означает ли это, что его «главная книга» осталась ненаписанной? Нет, он ее все-таки написал — «московскими повестями», романами «Нетерпение», «Старик», «Время и место»... Но из этого не следует, будто бы не о чем горевать. Судьба Трифонова, несмотря на то, что ему удалось осуществиться, была судьбой трагической. Это была трагедия «разрешенного» писателя в не лучшие для литературы времена. Убывал, истощался тот воздух, что давали отпущенные Трифонову пределы, во «Времени и месте» уже явственно ощутим этот недостаток кислорода. Художник рос, не умещался, ему нужен был какой-то иной выход, и он, кажется, его уже нащупал: рассказы из посмертно опубликованного цикла «Опрокинутый дом» — это уже какой-то совсем другой, может быть, лучший Трифонов, но...

Будущее подчас заставляет по-иному звучать привычные слова. Ушел преждевременно. Ушел *прежде времени*. Каких-нибудь четырех лет не хватило...

Считалось, что он пишет для интеллигенции. В каком-то смысле это, наверное, так — если решающим признаком интеллигенции считать привычку не только к развлекательной литературе. Гораздо точнее, мне кажется, было бы сказать: Трифонов писал для тех, кто хочет *думать и понимать*.

Сейчас настала пора прямого слова. Уходит, улетучивается аромат намека, недомолвки, иносказания. Но трифоновские «пробелы» не выглядят анахронизмом. Потому что они насыщены мыслью — той, что звучала в 60-х, глушилась в 70-х, которую нам еще долго (вспомним напоследок любимое слово писателя) «дочерпывать».

# СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Ирма КУДРОВА

## В начале тридцатых

Во Франции Марина Цветаева прожила тринадцать с лишним лет, но так и не сумела прижиться в стране, которую горячо любила со времен юности.

Она сменила здесь семь адресов. Из них собственно парижских было только два: первый и последний; в остальных мы находим названия городков-предместий, окруживших Париж,— «банлье», как их здесь называют.

И в биографическом, и в творческом отношении 1931 год был одним из рубежных для Цветаевой. Заканчивалось межвременье; бесследно истаяла надежда обрести хоть какую-то твердую пядь под ногами в мире, начиненном большими и малыми катастрофами. Обстоятельства заставляли Марину Ивановну делать выбор, принимать новые решения даже в сфере, которая всегда казалась обителью свободы,— в творчестве. Неудачи с публикациями поэтических произведений в этом году заставят осознать, в частности, что главному ее призванию — поэзии — отныне придется потесниться, уступая место другой литературной работе — прозе. Правда, она и раньше писала прозу, но то было всякий раз вольное отступление от главного дела, свободно избираемый перерыв. Теперь ситуация изменилась — и сразу по многим параметрам. Вглядываясь в нее внимательнее, узнаешь не только конкретные достоверности биографии поэта в 1931 году; явственно обретает новые грани живой облик Марины Цветаевой, углубляя и наше восприятие ее творчества.

### 1

Этот год застает ее в Мёдоне. Уже пятый год живет семья Цветаевой в этом маленьком городке под Парижем. Квартиру здесь сняли весной 1927 года, когда еще живы были многие иллюзии. С. Я. Эфрон, муж Цветаевой, в то время принимал активное участие в «евразийских» изданиях, возникших в Париже во второй половине 20-х годов, его редакторский заработок казался стабильным. А у Марины Ивановны как раз весной 1927 года появилась возможность издать отдельной книжкой стихи, написанные после отъезда из России,— за издание брался приятель Эренбурга, французский литератор, выходец из России И. Е. Путерман. Практичностью ни Эфрон, ни Цветаева не отличались, и, хотя с деньгами было очень туго, они сняли квартиру, которая скоро оказалась им явно не по карману. Зато в ней нашлась пусть маленькая, но отдельная комнатка-кабинет для Цветаевой, где она сразу с наслаждением разложила свои тетрадки и книги. И были еще две комнаты, и ванная, и центральное отопление — неслыханный комфорт! С некоторыми оговорками, правда, вроде того, что уголь для топки приходилось покупать самим, а вход в квартиру был прямо с улицы, даже без ступенек...

Улица, на которой они жили эти пять лет, носила имя любимой цветаевской героини — Жанны д'Арк. Звучные исторические имена были и у других улочек городка. Цветаева любила бродить по ним, рассматривая старые дома, некоторым было чуть ли не 200 лет. В разные времена здесь жили замечательные люди — Ронсар и Рабле, Руссо и Бальзак, Вагнер, Роден, Айседора Дункан и еще многие, и улочки сохранили почти все эти имена. Одним своим концом улица Жанны д'Арк вливалась прямо в огромный медонский лес, где некогда охотились французские короли. Окраина леса была замусорена жестянками из-под консервов и засаленными бумажками — их Марина Ивановна собирала и ожесточенно сжигала в кострах, несмотря на строжайший запрет властей разводить здесь огонь. С маленьким Муром далеко не уйдешь, но если удавалось пойти на прогулку одной, либо с Извольской, или с молодым поэтом Гронским,— Цветаева готова была бродить по лесу часами.

Если же идти от дома, где жила Марина Ивановна, в другую сторону, дорога круто поднимается в гору. По улице Пиерр можно пройти мимо домика Мадлены Бежар, где жил в свое время Мольер, еще выше расположилась дача философа Жака Маритэна, которого Цветаева встречала на «франко-русских встречах». С верхней террасы Мёдона открывался прекрасный вид на Париж: город лежал как на ладони — от собора Сакре-Кёр до Эйфелевой башни.

Сюда, в Мёдон, осенью 1927 года приезжала к сестре в гости Анастасия Цветаева, здесь навестил Марину Ивановну во время парижских гастролей Вахтанговского театра Павел Антокольский. К мёдонскому времени относится глубокая сердечная дружба Цветаевой с Николаем Гронским, теплые отношения завязались здесь с художницей Гончаровой, писательницей Извольской. Пятилетие оказалось насыщенным творчески, но, впрочем, у великой труженицы Цветаевой иного времени, пожалуй, не было — вплоть до самого конца 30-го года. В Мёдоне написаны «Федра», «Поэма воздуха», поэмы «Красный бычок» и «Перекоп», эссе «Наталья Гончарова», французский вариант поэмы «Молодец». Последний прижизненный поэтический сборник Цветаевой «После России», вышедший осенью 1927 года, читательского успеха, увы, не имел, книга раскупалась плохо и доходов никаких не принесла.

Материальное положение семьи Цветаевой резко ухудшилось в 1929 году. Два конфликта сыграли в этом свою решающую роль. Один из них был спровоцирован приветствием Маяковскому, которое Цветаева опубликовала на страницах еженедельника «Евразия» в ноябре 1928 года. Это приветствие приехавшему в Париж поэту было однозначно расценено эмигрантской прессой как одобрение не только творчеству Маяковского, но и всему режиму Советской России. В наказание Цветаеву «отлучают» два крупнейших эмигрантских издания — газета «Последние новости» и журнал «Современные записки»; первая допустит на свои страницы цветаевскую прозу только спустя четыре года после инцидента, второй — через девять номеров (выходивших всего по четыре в год, то есть через два с половиной года). Легко себе представить, как отозвалось это «отлучение» на бюджете цветаевской семьи. Что, разумеется, не помешало Марине Ивановне в следующий, последний приезд Маяковского во Францию, весной 1929 года, снова пойти на его выступления. О том, что́ последовало за цветаевским «приветствием», Маяковский знал. Но это не смягчило его собственных высказываний о поэзии Цветаевой. Сборник «После России», подаренный Владимиру Владимировичу в Париже с авторской надписью, он небрежно «забыл» в доме Эльзы Триоле. А осенью 1929 года, выступая в Москве на правлении РАППа, позволил себе грубый, чтобы не сказать резче, выпад против цветаевской поэзии, не вдаваясь в какую-либо аргументацию. Вместе с тем на юбилейной выставке поэта «20 лет работы», открытой через несколько месяцев, сердечное письмо Цветаевой Маяковскому было представлено на почетном месте среди прочих экспонатов... Впечатление странной непоследовательности усиливается еще одним обстоятельством. Ныне покойный Н. Д. Оттен рассказывал мне, что Владимир Владимирович отлично знал и ценил цветаевскую «Поэму конца»; в 1927 году он прочел ее всю наизусть Оттену, пока они шли по улицам и набережным Ленинграда, пересекая город из конца в конец...

Второй конфликт был связан с Эфроном. Участник гражданской войны, сражавшийся с 1918 по 1920 год в рядах «Добровольческой» белой армии, Сергей Яковлевич прошел в двадцатые годы путь решительного пересмотра своих прежних взглядов. Уже в 1924 году он опубликовал в журнале «Современные записки» статью «О добровольчестве». В ней была сделана попытка трезво оценить «Добровольческое движение», которое, по словам автора, «ни одного дня и часа не было движением народным». В 1926 году Эфрон — один из редакторов самого левого русского зарубежного журнала «Версты». Журнал открыто шел на разрыв с правыми кругами эмиграции, охотно предоставлял свои страницы для произведений советских писателей и поэтов: Андрея Белого и Есенина, Пастернака и Сельвинского, Тынянова и Артема Веселого. Но на третьем номере «Версты» прекратили существование из-за недостатка средств. Деятельная энергия Эфрона переключилась на «евразийское движение», привлекшее его поначалу элементами славянофильства и идеей возрождения России через православие. Почти четыре года Сергей Яковлевич с головой погружен, бескорыстно и безоглядно, в работу евразийских изданий и «евразийского клуба», созданного в Париже. Но размежевание внутри русской эмиграции идет быстрыми темпами, и скоро в центре дискуссии встал вопрос об отношении к реальной сегодняшней Стране Советов. «Кламарский раскол» 1929 года покончил с политической терпимостью в кругу «евразийцев», и Эфрон как левый был практически исторгнут из их рядов. После многих месяцев бурной деятельности он оказался в пустоте, не у дел. Не стало и редакторского заработка. В довершение всего резко обострились прежние болезни и почти весь 1930 год Сергей Яковлевич провел на излечении в санатории в горной Савойе — друзьям удалось выхлопотать для него с этой целью стипендию Красного Креста.

Цветаева была далека от политических страстей мужа. Однако оба конфликта привели не только к финансовым трудностям, но и к тому, что к началу 30-х годов Марина Ивановна оказалась, по свидетельству современника, «более изолирована в Мёдоне, чем за пять лет до того в чешской деревне. В эмигрантском Париже она явно не пришлась ко двору. В лучшем случае ее терпели в газетах и журналах, где она могла печататься, и сотрудничество ее часто происходило в условиях, казавшихся ей оскорбительными. Она не заняла никакого места в эмигрантском «обществе» с его

салонами, политическими и литературными, где все знали друг друга <...>, «сидели за одним чайным столом», и, несмотря на различие взглядов и положений, находились «среди своих». Она же была дичком, чужой, вне групп, вне личных и семейственных связей и резко выделялась и своим обликом, и речами, и поношеным платьем, и неизгладимой печатью бедности...»

## 2

Конец 1930 года прошел под знаком безуспешных попыток найти хоть какой-нибудь заработок для мужа Цветаевой. Диплом искусствоведа, полученный им по окончании Карлова университета в Праге, не имел во Франции решительно никакого веса. Плохое здоровье не позволяло идти на завод или фабрику; стать шофером такси считалось удачей, на которую нельзя было и рассчитывать. Но, кроме всего, Сергей Яковлевич, хотя и снизил уровень своих надежд и притязаний, все же остался неисправимым идеалистом. Всеобщее увлечение «синема» сыграло свою роль в том, что в ноябре 1930 года он записывается на частные курсы при известной кинофирме Патэ. За зиму он приобретает какие-то знания и навыки и уже весной тридцать первого с увлечением бродит по Парижу с камерой в руках, разыскивая сюжеты и практикуясь в операторском искусстве. Наивно было и предполагать, что потом он сумеет устроиться в какую-нибудь кинофирму,— их владельцы в эти годы экономического кризиса, освобождаясь от излишней рабочей силы, в первую очередь выбрасывали на улицу иностранцев. Но Эфрон все еще пытался заняться тем, что ему было по душе. В кинематографе он подрабатывал в 1927—1928 годах, снимаясь как статист в нескольких фильмах. Если сохранились ленты «Жанна д'Арк» и «Казанова», Эфрона можно разглядеть на экране,— во всяком случае, в письме к сестре в Москву он надеется, что она его там узнает. Работа статиста была непрестижна и утомительна, но Сергей Яковлевич умудрялся получать от нее удовольствие; с увлечением разыскивал у знакомых старый фрак, по ходу съемок несколько раз прыгал с моста в Сену. «Презреннейший из моих заработков, но самый легкий и самый выгодный,— писал он сестре Елизавете Яковлевне Эфрон в Москву.— За одну съемку получаю больше, чем за неделю уроков». Теперь же и это уже было невозможно.

У Цветаевой — свои неудачи.

Она закончила наконец перевод на французский любимой своей поэмы «Молодец». Эта огромная работа была стимулирована тем, что «Молодец» очень понравился Наталье Сергеевне Гончаровой, талантливейшей русской художнице, о которой Цветаева написала в 1929 году очерк-эссе. Гончарова сделала иллюстрации к поэме и пожалела, что нет ее текста на французском,— тогда бы появилось больше шансов издать иллюстрированную книгу. И Цветаева берется за перевод. Ее увлекла, несомненно, и надежда обрести французского читателя. Скоро выяснилось, однако, что собственно «перевод» невозможен, нужно заново создавать поэму, и работа заняла почти восемь месяцев.

Теперь она была завершена. Марина Ивановна делает попытки заинтересовать книгой какого-нибудь французского издателя. Ничего не выходит. Не помогает и имя Гончаровой, прославившейся в середине 1910-х годов своими декорациями и костюмами к «Золотому петушку», показанному на парижской сцене. Друзья Цветаевой устраивают авторское чтение поэмы в присутствии то одного, то другого влиятельного «литературного француза». Но поэма слишком нестандартна, французский стих ее непривычен, сознательно нетрадиционен,— Цветаева и тут шла по пути новаторства. Короче говоря, поэма не нравится, хотя прямо об этом автору не говорят. Текст поэмы кочует из «Ревю Нувель Франсез» в издательство «Галлимар», какое-то время ждет своей участи в редакции журнала «Коммерц», где начали появляться переводы русских авторов. Безрезультатно. Как и предыдущая поэма Цветаевой «Перекоп», французский «Молодец» остается неопубликованным.

## 3

За всеми этими неудачами стояла уже не просто цветаевская непрактичность или невезучесть — стоял экономический кризис, разразившийся два года назад и день ото дня, казалось, только набиравший силу. Париж был переполнен безработными. Множество русских вместе со службой теряли сразу же и крышу над головой: нечем было платить за жилье. Русская газета «Последние новости» в марте 1931 года поместила корреспонденцию А. Седых, посетившего ночлежку Армии спасения. В ночлежке, разместившейся на обычной барже, можно было переночевать за 30 су на тюфяке, обшитом клеенкой; для дворян предлагалось особое отделение, где за 2 франка выдавались простыни и можно было раздеться. Но и это слишком многим оказывалось не по карману. Поздним вечером скамейки парижских бульваров, как и места под арками мостов, становились прибежищем отчаявшихся людей. Русские общественные организации — «Красный крест» и молодежь Студенческого Христианского Движения, в котором уже в это время играла одну из ведущих ролей Елизавета Юрьевна Скобцева, будущая мать Мария,— вели сбор пожертвований, а на собранные деньги покупали талоны на обеды и ночлеги. Затем талоны бесплатно раздавались безработным, выстраивавшимся за ними в длинные очереди.

Русские газеты публиковали письма,



взывающие о помощи, сообщения о самоубийствах, списки жертвующих деньги. Двадцатого марта в «Последних новостях» рядом со списком пожертвований жирным шрифтом был набран текст: «Дающие, помятуйте слово Суворова: «Порыв не терпит перерыва»! Марина Цветаева». Список выглядел, как и в других номерах: «От Маруси О.— 5 фр., от Московского Землячества — 300 фр., от Н. И. Кульман — 50 фр., от Л. Г. из Болгарии — 10 фр., от А. И. К.— 200 фр.» и т. д.— он занимал в газете ежедневно длинную колонку.

«Меценаты выдыхались, профессиональные издатели кончали банкротством, издатели печатали одни календари...» — вспоминал позже эти годы русский поэт и прозаик Дон Аминадо. Но все-таки этой весной еще появлялись и книги. Среди них очередные романы Алданова и Мережковского, «Державин» Ходасевича; два поэтических сборника были приняты критикой почти восторженно: «Розы» Георгия Иванова и «Флаги» Бориса Поплавского. На парижской сцене пел Шаляпин, Сергей Лифарь ставил новый балет «Вакх и Ариадна»; открылась выставка художника Ларионова, в литературно-художественном кружке с успехом шла пьеса Катаева «Квадратура круга». Летом этого же года даже возник журнал «Новый сатирикон», просуществовавший, правда, всего один год.

Чешское правительство, до сих пор исправно высылавшее нескольким русским литераторам, жившим во Франции, пособие, в 1931 году резко сократило круг своих подопечных. Но Цветаева и Ремизов остались в числе «счастливчиков», и только осенью их «содержание» было урезано на треть.

Сумма, приходившая из Чехии, могла бы быть достаточной, живи Цветаева одна. Но в семье теперь, кроме маленького Мура, трое взрослых: дочери Ариадне, Але, исполнилось уже восемнадцать лет. Большеглазая, с гладко зачесанными со лба русыми волосами, собранными сзади в пучок, она похудела, вытянулась. У нее обнаружились незаурядные способности к рисованию, и с осени 1927 года она посещала французскую художественную школу при Лувре, радуя родителей заметными успехами. Помимо школы она брала какое-то время уроки у художницы Натальи Гончаровой, занималась и в студии Шухаева. Ее учение и посещение музеев отнимали теперь много времени, и домашним хозяйством, уходом за пятилетним Муром Цветаевой приходилось заниматься одной. Утренние часы, самые плодотворные для творческой работы, часто пропадали. Но изредка она все же позволяет себе «неделовые» выходы из дома.

Так вырывается она в конце февраля на вечер приехавшего в Париж для публичных выступлений Игоря Северянина.

Цветаеву захлестнула волна сострадания, когда поэт вышел на эстраду: «Стар до обмирания сердца, морщин, как у трехсотлетнего,— писала Марина Ивановна своей приятельнице вскоре после этого вечера,— но занесет голову — соловей!»

В этот вечер Северянин читал свои новые сонеты. Цветаева нашла их превосходными. И, вернувшись домой, поздним вечером, еще не дав себе остыть, она пишет Северянину письмо—с обычной для нее жаждой ободрить, помочь хотя бы жаром сердечного сочувствия. «Вы выросли,— Вы стали простым,— писала Цветаева.— Вы стали поэтом больших линий и больших вещей. Вы открыли то, что отродясь было Вам приоткрыто,— природу. Вы, наконец, разнарядили ее... В этом зале были те, которых я ни до, ни после никогда ни в одном литературном зале не видела и не увижу. Все пришли. Привидения пришли, притащились. Призраки явились — поглядеть на себя <...>. Среди стольких призраков, сплошных привидений — Вы один были — жизнь: двадцать лет спустя...»

(Через три года в Белграде выйдет книга сонетов Северянина «Медальоны». Среди других, посвященных поэтам, там будет и сонет, создающий образ Цветаевой. Образ скорее молодой Марины, чем «парижской», и скорее ироический, чем восхищенный. Личной встречи между поэтами не было, и нет даже полной уверенности, что Северянин получил цветаевское письмо: текст его известен лишь по копии, оставшейся в цветаевских тетрадях. Цветаева же надолго еще сохранит память об этом вечере, и в ее поздних высказываниях о поэте неизменно звучат самые доброжелательные ноты...)

Зато другой вечер того же февраля принес известие, больно ударившее по сердцу. Это случилось в доме французского поэта и переводчика Шарля Вильдрака. Незадолго до того Вильдрак побывал в Москве, навестил Пастернака. Борис Леонидович спросил о Цветаевой, но Вильдрак не был тогда еще с ней знаком. Вернувшись в Париж, он разыскал Марину Ивановну и пригласил бывать у него в доме, где время от времени устраивались литературные приемы. В этом-то доме и встретила Цветаева Бориса Пильняка, только что приехавшего из России. Среди новостей, им привезенных, одна ее оглушила: Пастернак ушел из семьи, в его жизнь вошла новая любовь — Зинаида Николаевна Нейгауз.

Переписка с Пастернаком, начавшаяся с первых же месяцев жизни Цветаевой на чужбине и продолжавшаяся уже девятый год, то утихая, то учащаясь, значила для Марины Ивановны слишком много. Эта связь сквозь «расстояния, версты, мили» входила в незримый фундамент ее противостояния бедам, в сам климат ее психологического самочувствия. Там, за тридевять земель, в родной Москве, был родной человек, радовавшийся каждой ее строчке, горевавший ее горестями, гордившийся ее удачами.

Цветаевой казалось, что теперь все это кончилось, оборвалось. Так оно, в сущности, и было. Переписка, правда, еще тянулась, предстояли и встречи, осталась душевная преданность, но что-то самое дорогое ушло навсегда.

Итак, Тесковой 20-го марта: «Борис Пастернак разошелся с женой, потому что любит другую... (Годы жила мечтой, что увижусь.) Теперь — пусто. Мне не к кому в Россию. Жена, сын — чту. Но новая любовь — отстраняюсь. Поймите меня правильно, дорогая Анна Антоновна, не ревность. Но — раз без меня обошлись! У меня к Б. было такое чувство, что: буду умирать — позову. Потому что чувствовала его, несмотря на семью, совершенно одиноким: моим. Теперь мое место замещено... Острой боли не чувствую.— Пустота...»

4

В эти месяцы, на перевале от зимы к весне, ее с новой силой пригнуло к земле одиночество.

Очередным свидетельством отторжения от «русского Парижа» был пышный юбилей, отпразднованный первого марта в ресторане Феликс Патэн: чествовали П. Н. Милюкова, десятилетие его деятельности на посту главного редактора «Последних новостей». В числе ста приглашенных гостей был и князь С. М. Волконский, регулярно публиковавший на страницах газеты заметки и статьи на театральные темы. Дружеские отношения Цветаевой с Волконским сохранялись со времен революционной Москвы, и Волконский наверняка рассказывал Марине Ивановне об этом юбилее. Там были Бунин и Бенуа, Дон Аминадо и Алданов, Адамович и Мочульский — литераторы, художники, театральные деятели русского зарубежья, люди самых разных воззрений и симпатий. Дело не в том, что Цветаеву не пригласили,— шел уже третий год с момента, когда ее перестали печатать на страницах газеты. Но лишний раз она могла ощутить свое неблагополучие, свою несливаемость с соотечественниками, которые и на чужбине все-таки оказались в каком-то сообществе.

Если бы только с соотечественниками...

На глазах таяла ее прежняя близость с дочерью. Восемнадцатилетняя Ариадна, поглощенная своими занятиями и новыми друзьями, радовалась любому поводу, чтобы вырваться из дома. Прекрасно понимая всю закономерность этого, Марина Ивановна не могла не испытывать горечи, которой суждено было с годами лишь разрастаться. Знавшие близко цветаевскую семью находили, что вместе с тонким чувством поэзии дочь унаследовала и материнскую замкнутость, вспышки иронически-беспощадного словесного «рипоста», и жесткий характер. Два жестких характера в одном доме — ситуация нелегкая.

Шестилетний Георгий, Мур,— страстная любовь матери — был совсем другим, чем старшая сестра в его возрасте. Способностей вундеркинда, которыми была, несомненно, наделена маленькая Аля, в нем не обнаруживалось, не было и Алиной сердечности и романтичности, так согревавших Цветаеву в трудные московские годы. Но развивался он тоже стремительно, опережая возраст, начинал уже читать и писать. Мальчишки на улице не давали ему проходу из-за его неуклюжести, полноты и рослости,— счастье, что он почти не понимал по-французски. Пока еще он был привязан к матери, баловавшей его сверх всякой меры, но пройдет немного времени, и он усвоит по отношению к ней требовательный, а то и снисходительный тон. Несмотря на все свое обожание, Цветаева рано угадывает, что сын, как и дочь,— совсем другой душевной породы, чем она сама. «Ничем не произен»,— скажет она о нем позже с горечью. «Дома у меня жизнь тяжелая,— признается Марина Ивановна в одном из писем 1931 года,— как у всех нас — мы все слишком особые и слишком разные. Как бы мне хотелось кого-нибудь доброго, мудрого, отрешенного, никуда не спешащего! человека — не-автомобиля, не-газеты... Кто бы мне всегда — даже на смертном одре — радовался. Такого нет. Есть знакомые, которым со мной «интересно»,— и домашние, которым со всеми интересно, кроме меня, ибо я дома: — посуда — метла — котлеты — сама понимаю...»

Комментируя эти строки из письма Цветаевой, М. Л. Слоним вспоминает: «На свою долю она никогда не жаловалась. Вероятно, поэтому я так хорошо запомнил ее слова во время одного из моих приездов к ней в Мёдон <...> Она сидела за кухонным столом, низко нагнувшись над тетрадью, Мур возился в углу. Я спросил, не помешал ли ей. Она, смотря вбок, по своему обыкновению, не глядя на меня, ответила поразившим меня, ей не свойственным упавшим голосом, что просматривает старые черновики, а писать ей сейчас очень трудно. «Вы ведь знаете, — добавила она, — для меня самое лучшее время—утро, а тут готовь всем завтрак, надо мыть Мура, с ним гулять, потом идти на рынок, выбирать что-нибудь подешевле, какое тут писание. Иногда неделями не хватает времени. При настоящей работе самое важное—вслушиваться в себя, для этого нужен досуг, тишина, одиночество, могу их добиться только урывками, часто с бою...»

Известие о Пастернаке, неудачи с публикациями, отъединение Али, безрезультатные попытки мужа найти заработок, груз домашнего быта — все сгустилось этой весной до последней безысходности. Каждая попытка прорвать ее круг, казалось, сжимала его еще теснее. Временами Цветаева видит себя плохим автоматом, механизм которого еле действует,— «из-за остатков души, мешающих машине», как она говорит.



Но зреет и еще одна утрата. Готовится к отъезду в дальние края ближайшая приятельница последних двух лет — Елена Александровна Извольская, единственный, по словам самой Цветаевой, ее настоящий друг из обретенных во Франции. Писательница и переводчица, автор талантливой книги о Михаиле Бакунине, Извольская была прекрасной собеседницей, незаурядным человеком, страстно любившим поэзию вообще, а цветаевскую и пастернаковскую особенно. По приглашению Марины Ивановны она приезжала к ней на месяц в Савойю летом 1930 года; этот месяц бесед, дальних прогулок, чтения стихов их особенно сблизил. И вот теперь еще и это расставание. В апреле Извольская уезжала к жениху в Японию.

В предотъездные дни Цветаева выкраивала каждый свободный час, чтобы быть рядом с Еленой Александровной, помочь ей в сборах. Но день отъезда настал.

...От нас? Нет, **по нас**
Колеса любимых увозят
С такой и такою-то скоростью в час...

Казалось, все, кто был ей дорог, сговорились этой весной оставить ее разом, чтобы не растягивать страданий,— замолкали, отстранялись, уезжали... Уже из окна тронувшегося вагона Извольскую поразило лицо Марины Ивановны: то была трагическая маска, которую уже, казалось, ничто не может оживить...

5

Но чем глубже душевный провал, чем теснее обступают Цветаеву невзгоды, тем яростнее вспыхивает в ней сопротивление. Тем решительнее она отодвигает все помехи и садится за чистую тетрадь. «Кастальский ток» творчества — ее «живая вода», подымающая из праха, вливающая новые силы, затягивающая все раны. Всегда разительно сопоставление ее стихов и прозы с «биографическим подстрочником», живой ситуацией, в которой они созданы. Откуда, из каких глубин подымается в ней всякий раз это противостояние насилию и нажиму жизни? Подавленность, жалобу мы слышим не раз в ее письмах близким людям. Но вот отложено письмо — и пододвинута рабочая тетрадь. На белую страницу ложатся первые строки — и в них сразу звучит другой голос: независимый, увереиный, свободный, темпераментный. И это тоже ее голос, и, может быть, гораздо больше ее голос, ибо здесь, в своей рабочей тетради, она уже не перед лицом «житейских обстоятельств», а перед лицом того, что ей всегда было по плечу и по силам.

«Благоприятные условия? Их для художника нет,— писала Цветаева в очерке «Наталья Гончарова».— Жизнь сама — неблагоприятное условие. Всякое творчество <...> перебарывание, перемалывание, переламывание жизни — самой счастливой <...> И как ни жестоко сказать, самые неблагоприятные условия — быть может — самые благоприятные. (Так, молитва моряка: «Пошли мне Бог берег, чтобы оттолкнуться, мель, чтобы сняться, шквал, чтобы устоять!»)»

В ближайшие же недели после отъезда Извольской она начинает — и завершает — «Историю одного посвящения», прозаический очерк-портрет Осипа Эмильевича Мандельштама. Тема и повод возникли случайно; об этом рассказано в первых же абзацах очерка:

«Уезжала моя приятельница в дальний путь, замуж, за море. Целые дни и вечера рвали с ней и жгли, днем рвали, вечером жгли, тонны писем и рукописей.— «Это беречь?» — «Нет, жечь».— «Это жечь?» — «Нет, беречь». «Жечь», естественно, принадлежало ей, «беречь» — мне,— ведь уезжала она...»

Заразившись этой расправой, Цветаева решает учинить такую же в собственном архиве. Аля пытается вмешаться, остановить — безуспешно:

«— Мама, не жгите!

— Пусть, пусть горит.

— Мама, вы что-то нужное жжете. Вырезка какая-то. Может быть, о вас?

— Обо мне так долго не пишут. Фельетон целый. Что это может быть?

Подношу к глазам. Двустишие. Губы, опережая глаза, произносят:

Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим...»

То был «подвал» в прошлогоднем номере газеты «Последние новости», подписанный именем поэта Георгия Иванова. Отрывок из его книги «Петербургские зимы», вскоре вышедшей в свет. Отрывок повествовал о Мандельштаме в Крыму в предреволюционные годы. Цветаева охнула, прочтя первые же попавшиеся на глаза строки. Мандельштамовские стихи 1916 года, к ней обращенные, были выданы за дань восхищения некоей хорошенькой врачихой, встреченной поэтом в Коктебеле. Мало этого — сам Мандельштам представал под пером Г. Иванова не просто нелепым и странным, но и оглупленным; а отношение к нему Волошиных — Максимилиана Александровича и его матери — на грани пасквиля. Словом, Цветаева не могла не взяться за перо.

Она могла бы догадаться — и самый захудалый литератор догадался бы,— что опубликовать то, что выходило сейчас из-под ее пера, ей не удастся: ни один печатный орган не захотел бы ставить в неловкое положение самую авторитетную в эмиграции газету да и Георгия Иванова, который (в отличие от Цветаевой!) всюду был «свой». Кроме того, Волошин и Мандельштам были далеко, а автор «подвала» — рядом...

Но когда она бралась за работу, все практические соображения, все здравомыслящие голоса — умолкали. Если нужен пример профессионально пишущего человека, в котором бы исходно отсутствовал «внутренний редактор»,— лучше-

го, чем Цветаева, найти трудно. Она настолько не знала этого редактора, что это обстоятельство до сих пор иных ее читателей коробит, хоть они и не отдают себе отчета, в чем дело. Слишком часто она касается тем, которые еще не звучали в полный голос. В выборе тем, как и в выборе формы, она не примеряется ни к издателю, ни к читателю: первым она пренебрегает, второму, наоборот, доверяет как себе самой. Она начинала новую вещь, не имея перед собой никакой иной цели или желания, кроме цели и желания пристальнее вглядеться в то, что ее заинтересовало. В то, что в момент вспышки замысла предстало существенным, значительным, необходимым. «Дознаться» — так сама она называла этот стимул. «Я пишу, чтобы добраться до сути, выявить суть; вот основное, что могу сказать о своем ремесле»,— писала Цветаева в 1930 году Шарлю Вильдраку. «Делаю ли я это ради потомков? — Нет. Скорее ради прояснения моего собственного понимания. И еще для осознания сил моей любви и, если угодно, моего дара» (Письмо Р. Ломоносовой, февраль 1930 г.).

Как и следовало ожидать, очерк опубликовать не удалось. Он лег очередным «мертвым грузом» в стол — рядом с «Перекопом» и французским «Молодцем». К читателю при жизни Цветаевой он так и не пробился. Но однажды обрел слушателей. Тридцатого мая 1931 года Марина Ивановна прочла «Историю одного посвящения» в зале «Эвритмия» на улице Кампань Премьер.

«Вечер прошел с большим успехом,— сообщала на следующий день Цветаева в письме к Саломее Гальперн,— зала почти полная. Слушали отлично, смеялись, где нужно, и — насколько легче (— душевно!) читать прозу <...> Читала в красном до-полу платье вдовы Извольского, очевидно, ждавшем меня в сундуке 50 лет. Говорят — очень красивом. Красном — во всяком случае. По-моему: цветом была флаг, а стан — древко от флага...»

Стихи и прозу Цветаева читала на вечерах обычно по тетрадке, близко поднесенной к близоруким глазам,— очков Марина Ивановна упорно не признавала. Удивительно прямоспинная — черта осанки, отличавшая и Ахматову,— она старалась к таким вечерам принарядиться — и как часто наряды ее были заемными! Своими были зато серебряные браслеты, кольца, ожерелья — к ним у Цветаевой была настоящая страсть, как у истой цыганки. Однажды эти украшения чрезвычайно раздражили мецената, которому кто-то из цветаевских доброжелателей всучил дорогой билет в первый ряд. «Пусть она сначала продаст свои украшения, а уж потом рассчитывает на ссуды».

Любящему же взгляду представала иная картина. Т. П. Милютина в самом начале 30-х годов бывала на всех цветаевских вечерах. «Мне очень запомнилось первое впечатление. Это были юношеские стихи. Я закрывала глаза — и видела особенную пленительнейшую девушку, думающую и чувствующую не так, как другие, знающую для выражения этого неповторимого свои удивительные, только ей одной подвластные слова. Я открывала глаза — и у меня физически начинало болеть сердце. Передо мной была немолодая, небрежно и неумело одетая женщина. От нее веяло неуютом и полной неприспособленностью к жизни. Неровно подстриженные волосы спереди челкой доходили до бровей. От этого лицо теряло свои естественные пропорции, становилось тяжелым и некрасивым. Только глаза были умные, задумчивые и смотрели далеко. Меня чрезвычайно мучил этот разрыв между реальной Цветаевой и той, чудесной, из стихов <...> Только теперь, вглядываясь в фотографию, я вижу, как прекрасно, необычайно прекрасно лицо Марины Цветаевой».

«Зал никогда не ломился от публики,— вспоминала З. А. Шаховская,— народной любовью Марина Цветаева не пользовалась, но приходили. Она в скромном, затрапезном платье <...> Серебряные браслеты и перстни на рабочих руках. Глаза зеленые, не таинственно-зеленые, не поражающие красотою, смотрят вперед, как глаза ночной птицы, ослепленной светом. Так, явно не видящая тех, кто пришел на нее посмотреть или ее послушать, Марина Цветаева читает свои стихи громко, скандируя слова, подчеркивая ударенья, как бы бросая вызов кому-то, и нисколько не заботясь о том впечатлении, которое она производит. Я не встречала никого из выступающих перед публикой, более свободного от желания понравиться...»

Выступления на вечерах со временем стали существенным подспорьем в бюджете цветаевской семьи, особенно ближе к середине 30-х годов. Тогда удавалось устраивать уже по четыре вечера в год. Выручка иногда позволяла уехать летом к морю или оплатить очередной трехмесячный квартирный взнос, так называемый «терм». На этих вечерах Цветаева ощущала и тепло живого сопереживания, сочувствия, это не могло не греть ее сердце. В 30-е годы ее творчество вызывало уже стойкий интерес читающего русского Парижа. Этот интерес неоднозначно свидетельствовал о доброжелательстве; было и притяжение вражды. Кислые высказывания Вейдле в «Возрождении» или Адамовича в «Последних новостях» — обычно на тему о «прелестном таланте, загубленном влиянием Пастернака», — упорно повторялись...

## 6

Однако численность «читающей публики» в русском зарубежье год от году катастрофически уменьшалась. Книг и журналов становилось все меньше, они были дороги, а обнищание русских стремительно прогрессировало. Эмигрантская молодежь все охотнее читала по-французски, все меньше интересовалась эмигрантскими авторами. Денационализация подрастающего поколения становилась одним из повторяющихся сюжетов таких тонких и чутких сатириков русского зарубежья, как Тэффи и Дон Аминадо.



К началу 30-х годов заметно изменилась общая настроенность большинства русских «беженцев» (как они сами себя называли). Надежда на перемены, которые не сегодня-завтра позволят вернуться на Родину, почти бесследно исчезла. Советская Россия вступила во второе десятилетие своего существования, обнародовала первый пятилетний план развития народного хозяйства, уверенно укрепляла свои международные связи. Маяковский, приезжая в Париж, читал победоносные строки:

Я планов наших люблю громадье,
Размаха шаги саженьи...

«Чемоданный быт», бесправное полунищенство можно было переносить с большей или меньшей стойкостью, пока казалось, что они временны. Но к концу 20-х годов пришло осознание как бы захлопнувшейся ловушки. Одно из самых трагических стихотворений русской эмиграции «Хорошо, что нет царя...» помечено 1929 годом. Это стихотворение все того же Георгия Иванова заканчивалось так:

Хорошо, что никого,
Хорошо, что ничего,
Так черно и так мертво,
Что чернее быть не может
И мертвее не бывать.
И никто нам не поможет,
И не надо помогать.

Споры о возможности полноценного развития руской литературы за пределами Родины не утихали и в 20-е, и в 30-е годы. Зинаида Гиппиус была негласным лидером правых литераторов, наиболее непримиримо относившихся к молодой Советской республике. Тезис, ею сформулированный, звучал почти горделиво: «Мы не в изгнании, мы в послании». Чаша русской культуры, утверждала Гиппиус, волею судеб выплеснута за пределы России, и задача русских, оказавшихся «в рассеянии», сохранить и спасти эту культуру от разрушения. Марк Слоним, ведущий критик «левого» журнала «Воля России», называл это утверждение «утешительным мифом». Он считал, что русская эмиграция не создала за рубежом ни одной крупной художественной ценности, и исключение делал только для двух имен: Ремизова в прозе и Цветаевой в поэзии.

Со Слонимом резко спорили. Припоминали имена не только русских, успешно творивших вдали от Родины, Тургенева и Герцена прежде всего, но и Данте, и плеяду польских поэтов: Мицкевича, Красиньского, Словацкого... «Дело не в том, что Тургенев жил за границей,— откликалась «Воля России» в 1931 году,— важно, что его романы читались в России и влияли на русского человека, а значит, на русскую культуру и искусство». Стена между зарубежьем и живой Россией, куда эмигрантские издания в 30-х годах уже не проникали,— вот что ощущалось наиболее безысходно и трагически. «Мы оказались исключенными из бытия России»,— писал Слоним. Его доклад, озаглавленный «Конец эмигрантской литературы» и прочитанный в 1931 году в литературном объединении «Кочевье», собрал многолюдную аудиторию. «Ответный» вечер устроили молодые литераторы, сплотившиеся вокруг нового журнала — «Числа». Молодые, среди которых большинство лишь в эмиграции начало свою литературную деятельность, ощутили кровную задетость самой постановкой темы: «быть или не быть» эмигрантской литературе. Они полны были решимости не сдаваться на милость обстоятельств, додержаться до лучших дней, донести до будущих поколений пусть две-три строчки, а может быть, и несколько стихотворений, которые, как бутылка, брошенная в море, что-то сообщат тем, будущим, о погибших на чужбине...

Эта решимость, однако, не спасала их от ощущения мрачного жизненного тупика, усугубленного экономическим кризисом. Именно в это время сложилась та черта зарубежной русской поэзии, которая с легкой руки поэта Бориса Поплавского получила название «парижской ноты». Поэзии этой присуща была даже в глазах сочувствующих ее защитников «утонченная анемичность» (Г. Адамович), в ней настойчиво варьировались темы обреченности, заброшенности, одиночества, умирания. Старших поражала духовная неустойчивость поэтической молодежи, несравненно бо́льшая, чем у предыдущего поколения. Непримиримый Слоним, не желая сентиментальничать, называл «Числа» «органом духовного пораженчества», объединением людей, бесконечно уставших, несмотря на молодость.

Резкость таких оценок — лишнее подтверждение неоднородности литературной среды русского зарубежья. В 20-е и 30-е годы там шли свои бурные процессы политического и эстетического самоопределения. Горячие споры молодых поэтов в начале 20-х годов кипели вокруг футуризма, дадаизма, сюрреализма, имажинизма; к концу 20-х страсти разгорались чаще вокруг отношения к поэтическому опыту Маяковского, Пастернака и Цветаевой. Их преобразования в области русского стихосложения уже невозможно было игнорировать. Владислав Ходасевич, сблизившись в 1925 году в Париже с Союзом молодых поэтов и писателей, своим авторитетом укрепил позиции тех, кто позже назвал себя «неоклассиками», стремящимися к «акмеистической ясности». Так возникла группа «Перекресток», в которую входили поэты Ю. Терапиано, Д. Кнут, Г. Раевский,

Н. Берберова, Вл. Смоленский. Чаще всего они собирались на улице де-л-Ирондель, в кафе «Ла Болле». Завоевав определенный авторитет, поэты «Перекрестка» удостаивались приглашения на собрания «Зеленой лампы», руководимой четой Гиппиус — Мережковский, или на воскресные чтения, проходившие в квартире самих Мережковских в Пасси, на улице Колонель Боние.

Другое литературное объединение — «Кочевье» — собиралось в «Таверне Дюмениль» на Монпарнасе; возникнув в 1928 году, оно быстро получило репутацию «неблагонадежного». Поэтов здесь особенно интересовали поиски новых поэтических форм, но в целом группа была больше спаяна не стилевыми пристрастиями, а «левыми» взглядами, живым интересом к молодой советской литературе. Объединение курировал Марк Слоним, и приглашения рассылались поначалу на бланках «Воли России». «Хороший тон «Кочевья» требовал от беллетриста отталкивания от Бунина и подражания Ремизову,— отмечала в газете «Возрождение» Н. Городецкая.— Поэты были самостоятельнее, т. е., отдав дань Пастернаку и Цветаевой, могли петь под Блока и мудрить под Ходасевича, оставив Союзу молодых поэтов — Гумилева». В «Кочевье» читали свои стихи Алексей Эйснер, Анна Присманова, Гингер, Ладинский, Вадим Андреев и несколько раз выступала Цветаева.

Она не входила ни в одну из группировок, посещая разные вечера. Исключением были собрания Мережковских,— там она не бывала: их взаимное неприятие после конфликта 1926 года определило отношения раз и навсегда.

Читательский кризис тяжело переживали русские зарубежные литераторы всех направлений и поколений. В 1931 году в очередном номере «Чисел» этой теме посвящена была статья под знаменательным названием: «Без читателя»...

Тоска по настоящему читателю, оставшемуся в России, росла год от году и у Цветаевой. В ее памяти все еще стояли переполненные залы Политехнического музея или консерватории первых лет революции, когда она писала осенью этого года: «Здесь множеств физически нет, есть группы. Как вместо арен и трибун России — зальца, вместо этического события выступления (пусть наступления) — литературные вечера, вместо безымянного незаменимого слушателя — России — слушатель именной и даже именитый. В порядке литературы, не в ходе жизни. Не тот масштаб, не тот ответ. В России, как в степи, как на море, есть откуда и куда сказать. Если бы давали говорить...» («Поэт и время»).

И это пишет Цветаева, которая к одной из своих статей поставила эпиграфом диалог из Монтеня — диалог, в котором писатель гордо декларировал свою независимость от читателя: «С меня довольно немногих. С меня довольно одного. С меня довольно и никого!» Но этот эпиграф Марина Ивановна поставила еще в самые первые месяцы пребывания во Франции. Еще жива была — пусть неосознанно — надежда на временность этого «никого», теплилась вера в то, что стихи, созданные здесь, попадут в Россию. А в письме к Горькому, написанном через два года, Цветаева уже просила его помощи в распространении ее последнего стихотворного сборника там, в России...

Итак, вечер 30 мая с чтением «Истории одного посвящения» прошел вполне успешно: «слушали отлично, смеялись, где нужно...» Но в ближайшие же дни после этого вечера Цветаева напишет стихотворение «Лучина»:

До Эйфелевой — рукою
Подать! Подавай и лезь.
Но каждый из нас — такое
Зрел, зрит, говорю и днесь,

Что скушным и некрасивым
Нам кажется ваш Париж.
«Россия, моя Россия,
Зачем так ярко горишь?»

## 7

В июне 1931 года С. Я. Эфрон подал в советское консульство в Париже прошение о советском паспорте. Двадцать девятого июня он сообщает об этом сестре в Москву и одновременно шлет письма Пастернаку и Горькому — с просьбой о поддержке прошения. Ему кажется, что теперь день возвращения не за горами. В последующих письмах он старается предупредить сестру: «Думаю, что, увидев меня, ты порядком разочаруешься — не только потому, что я начал быстро стареть, а потому, что от прежнего меня ни крупицы не осталось». «Я все пугаюсь, когда встречаю людей после очень длительной разлуки. Они все те же, а я изменился страшно. Они же говорят со мною как с прежним и, конечно, разочаровываются...»

Однако ни в этом году, ни через год Эфрон не получит ни отказа, ни разрешения вернуться. В начале тридцатых годов советское гражданство дают русским эмигрантам еще очень выборочно, лишь тоненькая струйка возвращающихся сочится примерно до 1935 года, только позже она становится немного обильнее. В 1932 году уезжает в СССР верный друг цветаевской семьи филолог и публицист Дмитрий Петрович Святополк-Мирский. В октябре 1933 года Цветаева — Тесковой: «С. здесь, паспорта до сих пор нет, чем я глубоко счастлива <...> Я решительно не еду, значит расставаться, а это (как ни грыземся) после 20-летней совместности — тяжело...» В августе следующего, 1934-го, Эфрон — сестре: «Почти все мои друзья уехали в Советскую Россию. Радуюсь за них и огорчаюсь за себя...»

В это время Сергей Яковлевич принимает самое активное участие в деятельности Союза возвращения на Родину. Союз возник еще в 1925-м, но по-настоящему расцвел к середине 30-х годов, когда в состав его бюро вошел Эфрон. В нескольких комнатах второго этажа на улице Де Бюси почти каждый вечер «возвращенцы» собирались то на очередной семинар, то на лекцию, устраивали просмотр нового советского кинофильма или выставку художников. Театральная студия готовила спектакль, в библиотеке можно было познакомиться с последними новинками советской литературы и подписаться на любое советское издание. Здесь же размещалась и редакция журнала «Наш Союз», пропагандировавшего успехи и достижения Страны Советов; на протяжении нескольких лет вел журнал Сергей Яковлевич Эфрон. Однако, как ни увлечен он своей разнообразной деятельностью, по письмам к сестре в Москву видно, что ни на один день его не оставляет надежда уехать, как только это окажется возможным. «Не знаю, на что я буду годен, когда наконец попаду к тебе», — вырывается из-под его пера в одном из писем 1935 года.

Дома, в семье, Эфрона горячо поддерживает в вопросе об отъезде дочь Ариадна, ей уже минуло двадцать лет. Сын еще мал, но и он жаждет немедленно ехать в СССР. Упрямо сопротивляется только Цветаева. Когда в 1936 году она в очередной раз говорит мужу, что возвращаться в Москву сейчас не хочет, он неожиданно предлагает ей ехать в Тифлис. «— А Вы?» — «А я — где скажут, я давно перед страной в долгу...» В этом диалоге, приведенном в цветаевском письме к Тесковой (29 марта 1936 года), знаменательнее всего то, как сам Эфрон понимает закономерность оттяжки его возвращения на Родину: он считает совершенно справедливым, что участие в белой армии лишает его права свободно распоряжаться своей судьбой...

В письмах Сергея Яковлевича к сестре в Москву все 30-е годы настойчиво звучит: «Если бы я был один!», «С Мариной прямо зарез...», «с нею ужасно трудно. Прямо не знаю, что и делать...»

Кажется, что вещее предчувствие с необоримой силой удерживает Марину Ивановну от безоговорочного «да», которого так ждет от нее муж. Трудно назвать это просто словом «страх». То было почти знание, а не безотчетный страх, верное знание-предчувствие несчастья для всех: для всей семьи. Она колебалась, пыталась взвешивать «за» и «против», сравнивая при этом себя с Иваном-царевичем на раздорожье: «Влево поедешь — коня загубишь, вправо поедешь — сам пропадешь...».

Конечно, тоска по Родине ей мучительно знакома. И чем категоричнее звучит «мне все равно» в стихотворении 1934 года, так и названном «Тоска по Родине» («Мне совершенно все равно, Где совершенно одинокой Быть, по каким камням домой Брести с кошелкою базарной...»), чем больше накала набирает с каждой строфой это «все равно», тем явственнее проступает глубочайшая связанность Цветаевой именно с тем, от чего она отрекается с такой страстью.

Оказавшись летом 1936 года на знаменитом своими красотами Лазурном берегу, Марина Ивановна вдруг останавливает во время прогулки свою русскую приятельницу:

— Нет, я хочу — туда!

— Куда — туда? — спрашивает изумленная спутница.

— Туда, туда, к себе, на Оку!

Отсюда же, из Фавьера, она напишет Тесковой: «Мне вовсе не нужно такой красоты, столькой красоты: море, горы, мирт, цветущая мимоза и т. д. <...> Меня эта непрерывность красоты — угнетает». «Я соскучилась по русской природе, по лопухам, по неплющевому лесу, по себе там»,— сказано в письме к Пастернаку.

«Россия не есть условность территории»,— утверждала она, отвечая на одну из анкет. Можно не жить в России — и носить ее в своем сердце; Цветаева знает это прежде всего по себе. А все-таки, услышав о кончине талантливого русского ученого Н. П. Кондакова, с которым ей довелось встречаться в Чехии, она непоследовательно радуется: «Хорошо, что умер он в славянской Праге, а не в Берлине или Париже!» Анне Тесковой в 1930 году она пишет: «Как Вы глубоко правы — *так* любя Россию! Старую, новую, красную, белую — *всю*! Вместила же Россия — *всё* <...> Наша обязанность, вернее, обязанность нашей любви — ее всю вместить».

Но при всем том решиться на возвращение Цветаевой бесконечно трудно. Она подаст прошение о советском гражданстве только под нажимом безвыходных обстоятельств в 1937 году, когда уже уедет в Россию ее двадцатичетырехлетняя дочь и станет близкой реальностью отъезд мужа,— Эфрон приехал в Москву в октябре того же 1937-го. Но пройдет еще почти два года, прежде чем сама Марина Ивановна с сыном покинет Францию. По письмам Сергея Яковлевича она поймет, что ему там плохо, хотя прямо он ничего не мог написать; откладывать дальше приезд в Россию значило бы оставить мужа в беде...

«Марина — человек социально совершенно дикий, ею нужно руководить как ребенком»,— утверждал Эфрон в одном из писем сестре. Что ж, в самом деле «дикий», если называть диким человека, который не хочет и не может думать, говорить и делать то же, что вокруг него, в ближайшем окружении, думают, говорят и делают. Конформизма в Цветаевой не было ни на гран. Сама она называет это иначе: «Не дал мне Бог дара слепости!» Ибо Эфрон и его друзья, поглощенные и, более того, почти раздавленные ностальгией и комплексом вины перед Родиной, демонстрировали разительную способность: смотреть — и не видеть. Бесценная переписка с Анной

Тесковой сохранила нам и суждение самой Цветаевой о политической зоркости ее мужа: «С. Я. совсем ушел в Советскую Россию,— пишет Марина Ивановна в октябре 1932 года,— ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет...»

Осенью 1931 года в гости к Цветаевой впервые пришел поэт А. В. Эйснер, страстно увлеченный цветаевской поэзией. Позже он сдружился с Эфроном, почти забросил стихи, чего Цветаева ему никогда не простила, потом воевал в Испании, вернулся в Россию, был репрессирован, отбыл свое время в сталинских лагерях. Два года назад умер в Москве. Он много и охотно рассказывал о Цветаевой и ее муже. И вот важное его свидетельство: «Я считал Цветаеву замечательным поэтом, крупнейшим поэтом,— рассказывал Алексей Владимирович,— я всех и всюду зачитывал ее стихами. Но, как и Сергей Яковлевич, я был убежден, что в вопросах социально-политических Марина ничего не понимает. Ее оценки происходящего в России в 30-е годы казались мне наивными преувеличениями человека, не разбирающегося в сложностях общественного развития. Только десятилетия спустя я осознал, что это мы, а не она ничего не понимали, что это мы, а не она обольщались лозунгами и призывами и были упорно слепы к тому, что теперь известно каждому. Она же и видела, и почувствовала это гораздо раньше, чем многие...»

Цветаевой не нужно было знать всего для того, чтобы верно оценить атмосферу и тенденцию, сформировавшуюся в Советской России к началу 30-х годов. Она читала советские журналы, встречалась с людьми, приезжавшими из России на время или навсегда,— это были Антокольский и Пильняк, Замятин и Сергей Прокофьев, художник Синезубов, хорошо знавший Маяковского и Пастернака; возможно, виделась и с Бабелем (достоверно с ним встречался Эфрон). Пастернаковских писем к Цветаевой 30-х годов мы не знаем, но, наверное, и в них она умела читать между строк. Ей было этого достаточно.

Две статьи, созданные ею в том самом году, когда Сергей Яковлевич написал свое прошение о советском паспорте, чрезвычайно характерны. Эти статьи не столько перекликаются, сколько противостоят тому, что на те же темы и как раз в это время пишут «рапповские» критики, с головой захваченные страстью изобличать и смешивать с грязью художников-«попутчиков».

Так, в феврале 1931 года газета «Последние новости» перепечатала из «Правды» сообщение о состоявшейся 9 февраля Всероссийской конференции по детской литературе. На конференции, в частности, говорилось о том, что «классовый враг проник в детскую литературу под видом «чуковщины»; одним из самых отсталых участков названа дошкольная книга». А незадолго перед тем журналы громили писателей за отрыв от реальной жизни в литературе для детей. Итак, в начале февраля проходит Всероссийская конференция. А к концу того же месяца Цветаева уже закончит статью «О новой русской детской книге». В ней с восхищением говорится о внимании детского писателя в Советской России именно к реальному, живому, красочному миру, который так часто прежде подменялся сусальным повествованием о феях, гномах и эльфах в их «тамбовском», как пишет Цветаева, варианте. Она отметила и прекрасные иллюстрации, и высокую культуру стиха, цитируя книги Маршака и Шварца, Полонской и Дилакторской. Статья завершалась фразой, прямо опровергавшей выводы только что состоявшейся конференции в Москве: «Закончу спокойным и удовлетворенным утверждением, что русская дошкольная книга — лучшая в мире».

Написанная по горячим следам «рапповского» разноса, статья должна была появиться в одной из парижских газет уже в начале марта,— полемичность ее была бы особенно очевидной. Увы! В парижской редакции обиделись за дореволюционную детскую книгу — и статью не приняли.

Но «чуковщина» в детской литературе стояла в одном ряду с «полонщиной» и «воронщиной» в критике, «булгаковщиной» в драматургии, «переверзевщиной» в литературоведении — этими ярлыками пестрят страницы советской периодики в том же 1931 году. За повесть «Впрок» Андрей Платонов уже назван кулацким писателем, Пильняка именуют «Савонаролой с Тверского бульвара» и желтым романистом, «Теорию литературы» Бориса Томашевского, вышедшую шестым изданием,— «залежалым ядовитым продуктом». А как обстоит дело с поэтами? Анна Ахматова после «Anno Domini» (1921 год) не выпустила ни одной поэтической книги. В поэме Пастернака «Спекторский» журнал «На литературном посту» обнаружил «порочный художественный метод». Зато образцом поэта тот же журнал объявил Демьяна Бедного, только что опубликовавшего свой шедевр «Слезай с печки». Вот где достигнута «непревзойденная степень приближения к диалектико-материалистическому методу»! Утверждая, что Демьян Бедный превзошел достижения Некрасова, Ю. Либединский выдвинул лозунг «одемьянивания» советской поэзии.

В тот самый день, когда Цветаева выступала на вечере с чтением своего эссе «История одного посвящения», 30 мая 1931 года, Михаил Булгаков обращался к Сталину с личным письмом, представляющим собой один из самых трагических документов истории советской литературы. В июне аналогичное письмо Сталину написал Евгений Замятин. Цветаева, конечно, не знала этих фактов. Но эпидемия «проработок», разгулявшаяся с конца 20-х годов на страницах некоторых советских газет и журналов, позволяла ей легко представить ситуацию затравленного художника, не желающего становиться в ряды «илотов, панегиристов и запуганных «услужающих». Булгакова не выпускают из России даже на несколько месяцев, оставляя без внимания все его просьбы. Замятину с женой разрешают уехать. Но когда Пильняк оказался в том же 1931 году в Париже, проездом в Голливуд, некоторых это насторожило. Не потому ли ему после тяжких «проработок» разрешен столь дальний выезд, что за два месяца перед тем в «Известиях» появилась его статья «Слушайте поступь истории!»? Статья проклинала «спецов-вредителей», а в Москве в это время идет «процесс Промпартии» и на скамье подсудимых сидят «седовласые ученые бандиты» Громан и Рамзин, обвиненные во вредительстве.

На таком фоне гораздо понятнее становится упорная несговорчивость Марины Цветаевой, когда заходит речь о немедленном возвращении на Родину. В ее письмах 1931—1932 гг. сказано внятно: «Всё меня выталкивает в Россию, в которую — я ехать не могу. Здесь я не нужна. Там я невозможна». «Там меня раз (на радостях!) и два! — упекут. Я там не уцелею, ибо негодование — моя страсть, а есть на что...» «Там мне не только заткнут рот непечатанием моих вещей,— там мне и писать их не дадут».

Но Сергей Яковлевич убежден, что исток всех опасений жены — просто в непонимании «великого эксперимента», который идет в Советской России. Конечно, там много противоречивого и трудного, но все это временное, наносное, надо уметь отличать главное от второстепенного. С этой позиции Эфрона ничто не может сдвинуть, и вот в письме к сестре 1936 года он упрямо твердит свое: «Мне горько, что из-за меня она здесь. Ее место, конечно, там. Но беда в том, что у нее появилась с некоторых пор острая жизнебоязнь. И никак ее из этого состояния не вырвать...» В глазах мужа «острая жизнебоязнь» — всего лишь болезненное состояние жены. Его нужно преодолеть, из него Марину Ивановну необходимо «вырвать»...

Вторую статью, получившую позже название «Поэт и время», Цветаева пишет поздней осенью того же 1931-го. И эта статья тоже насыщена открытой и скрытой полемикой с «рапповцами» и «напостовцами». Главная ее тема — современность художника. Подлинная «современность» обратна «злободневности»,— утверждает Цветаева,— «современно не то, что перекрикивает, а иногда и то, что перемалчивает». «Быть современником,— читаем в статье,— творить свое время, а не отражать его, а если и отражать, то щитом, то есть с девятью десятыми его сражаться, как сражаешься с девятью десятыми своего черновика» *.

Встречи и разговоры с приехавшими на Антифашистский конгресс деятелей культуры писателями из Советской России, похоже, поколебали Цветаеву в стремлении оттянуть, насколько возможно, возвращение на Родину. Сказал ли ей кто-нибудь, что Мандельштам уже был в это время в ссылке в Воронеже? Впрочем, всей картины происходящего в России никто, очевидно, не решился ей открыто обрисовать. Это мог бы сделать только Пастернак, и он попытался это сделать, но не слишком удачно. Он ужаснул Цветаеву, сказав ей шепотом во время одного из заседаний конгресса: «Я не посмел не поехать, ко мне приехал секретарь Сталина, и я испугался. Меня посадили в самолет и привезли...» Гораздо больше, чем методам «делегирования» поэта на конгресс, она ужаснулась страху Бориса Леонидовича. Пастернак испугался! — вот что было для нее непонятно, непредставимо. Она не распознала тяжелой депрессии, которую переживал в это время Борис Леонидович, о подлинных причинах ее не догадалась, недомолвок — не поняла. Но потому и не поняла, что воображения не хватило — даже у нее, ко многому как будто уже готовой! — представить, как далеко все зашло в стране, куда так нетерпеливо рвался ее муж. А он был искренне заворожен грандиозностью пятилетних планов, подвигом строителей «Магнитки» и Днепрогэса, «стахановцев» и «челюскинцев», строками поэм Маяковского и «Тихим Доном» Шолохова, фильмами Пудовкина и Эйзенштейна. Да он ли один! Со сколькими делил он этот дальтонизм, на какие большие авторитеты опирался, повторяя слова о «маловерах» и «великом социальном эксперименте»!

Цветаевой же предстояло в следующем году пережить еще одно тяжелое потрясение, когда ей сообщили, что имя Пастернака появилось рядом с другими именами в одной из московских газет под письмом, требующим смертной казни для обвиняемых в «Процессе шестнадцати». Ей не от кого было тогда узнать, что эту подпись поставили помимо воли поэта,— и такое оказалось возможно. Она пыталась представить себя там — и не могла. В письме к Тесковой: «Бесстрашие: — то слово, которое я все последнее время внутри себя произношу, а иногда и вслух — как последний оплот... первое и последнее слово моей сущности». Как с этим бесстрашием там «я — не умеющая не-ответить, я, не могущая подписать приветственный адрес великому Сталину, ибо не я назвала его великим и — если даже велик — это не мое величие — и, может быть, важней всего — ненавижу каждую торжествующую казенную церковь...»

Она понимает, что возвращаться сейчас в Россию — значит сжечь корабли, ехать на верную гибель. Но муж называет то же самое иначе: распустить все паруса! И следом за ним это же повторяют упрямо и радостно дочь и сын.

* В публикации, осуществленной в 1987 году журналом «Юность», в этой важной формулировке допущена досадная опечатка.

Ариадна Эфрон уедет в Советскую Россию первой — в марте 1937 года. И уже в августовском номере журнала, издававшегося Союзом возвращения, будет опубликовано письмо из СССР, подписанное одним имением: «Аля». Письмо большое, но главная информация, которую оно несет, не фактографическая, а эмоциональная. Это — ликующее письмо человека, опьяненного свершением самой сокровенной своей мечты. «Великая Москва, сердце великой страны! <...> Как я счастлива, что я здесь! Как великолепно сознание, что столько пройдено и что всё — впереди! В моих руках мой сегодняшний день, в моих руках — мое завтра и еще много-много-много, бесконечно много радостных «завтра»...»

Нет сомнения, что эти строки написаны Ариадной Эфрон (Алей ее зовут родные и друзья). К совпадению сроков и имени добавим еще и то, что редактор журнала «Наш Союз» в это время, как мы уже знаем,— С. Я. Эфрон. Горько и страшно читать это письмо, исполненное стольких надежд: всего через два года А. С. Эфрон станет первой в семье жертвой сталинских беззаконий. Ее арестуют 27 августа 1939 года.

Аля-Ариадна была уже взрослым человеком, когда уехала из Франции. Но за сына Цветаевой нужно было решать самой. Еще в Чехии, когда он был совсем еще маленьким, Марина Ивановна говорила: «Не хочу на устах Мура чешского, пусть будет русским вполне». И потом, уже переехав во Францию, она не обучает его французскому языку вплоть до самой школы. С гордостью пишет Марина Ивановна Тесковой: «Он — через меня и мое песенное начало — такой русский Мур, каким никогда не быть X или V, рожденному в Белокаменной». Как оставаться ему во Франции?..

Дитя мое... Мое? Ее —
Дитя! То самое былье,
Которым порастает быль.
Землицу, стершуюся в пыль,—
Ужель ребенку в колыбель
Нести в трясущихся горстях:
«Русь — этот прах, чти — этот прах!»

(«Стихи к сыну»)

Но и в России — сохранит ли он душу живу? Не исказится ли в атмосфере страха и молчания? Сохранит ли она сама, Цветаева, сына?..

Идет время, мальчик подрастает, все серьезнее прислушивается к спорам родителей, и вот уже Марина Ивановна пишет Тесковой: «Мур живет разорванным между моим гуманизмом и почти что фанатизмом отца». Когда они вернутся в Советскую Россию, сыну Цветаевой пойдет пятнадцатый год...

## З. ПАПЕРНЫЙ

# *Дочь*

«Аля — это дитя моего духа».

*М. Цветаева о дочери*

«Да, я дитя ее души, опора ее души...»

*Ариадна о матери*

24 августа 1918 г. Марина Цветаева писала в лирическом цикле «Аля», посвященном дочери Ариадне:

Не знаю,— где ты и где я.
Те ж песни и те же заботы.
Такие с тобою друзья!
Такие с тобою сироты!

И так хорошо нам вдвоем —
Бездомным, бессонным и сирым...
Две птицы: чуть встали — поем,
Две странницы: кормимся миром.

Поражает «взрослость» обращения к дочери, еще ребенку. Напомним, что Аля, Ариадна, родилась 5(18) сентября 1912 г., и, стало быть, когда писались эти стихи, ей было неполных шесть лет. И тем не менее дочь и мать — «друзья», у них «те ж песни и те же заботы».

Но, может быть, еще поразительней парадокс: мать называет и себя и свою дочь «сиротами». В ту пору сама Марина Цветаева давно уже была без матери. Но она говорит о сиротском уделе и своей родной дочери... Много мы читали стихов о материнской любви, о родстве с ребенком, но такого печального, скорбного, такого сиротливого материнского чувства, пожалуй, не встречали нигде.

За этими контрастами, трагическими парадоксами следуют новые, сильные и резкие:

И так хорошо нам вдвоем —
Бездомным, бессонным и сирым...

Чувствуется печальная усмешка: «так хорошо нам... бездомным». И вместе с тем ощущается уже совсем не ироничеcкий пафос утверждения — любви, душевного родства, радости вопреки судьбе, вопреки бездомности и сиротству. Перед нами то самое «вопреки», то «несмотря ни на что», противостояние судьбе, без которых нельзя представить себе поэзию Цветаевой.

Две птицы: чуть встали — поем...



Песни как бы даны матери и дочери на двоих, еще больше сближают и роднят их.

«Странницы» кормятся «миром» — они живут подаяниями, идут по миру. Но есть тут и другой смысл: мы, странницы, духовно питаемся всем миром, владеем им. И вот уже две странницы идут не пó миру, а по мúру.

Процитированное восьмистишие внутренне конфликтно и целостно. Странным образом сочетаются здесь сиротливость страдания и горделивость самоутверждения. Радость единения двух одиноких душ, которые составляют одно целое.

В ноябре 1919 г. Цветаева пишет стихотворение Але, которая в это время была на время отдана в Кунцевский приют.

Маленький домашний дух
Мой домашний гений!
Вот она, разлука двух
Сродных вдохновений!

Жалко мне, когда в печи
Жар,— а ты не видишь!
В дверь — звезда в моей ночи!—
Не взойдешь, не выйдешь.

На все окружающее мать смотрит не только своими глазами, но и дочери. У них «сродные вдохновения».

В книге «Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества (1910—1922)» А. А. Саакянц приводит дневниковые записи Цветаевой о дочери. Вот одна из самых ранних:

«Завтра Але 3 месяца. У нее огромные светло-голубые глаза, темно-русые ресницы и светлые брови, маленький нос, большое расстояние между ртом и носом,— рот опущенный книзу, очень вырезанный, четырехугольный, крутой, нависающий лоб; большие, слегка оттопыренные уши, длинная шея (у таких маленьких — это редкость); очень большие руки с длинными пальцами, длинные и узкие ноги»...

В этом описании проступает характерность цветаевского почерка: как бы ни было высоко «вознесено» повествование, это всегда компенсируется пристальностью взгляда — все словно увидено в упор. В работах о Цветаевой не раз говорилось о ее романтичности. Однако ее описания так точны, безошибочно достоверны, что слово «романтизм» здесь както не на месте.

Стиль Цветаевой — и романтический, и в то же время не романтически точный, всегда наведенный на резкость — с детских лет унаследован Ариадной Сергеевной. Вот как описывает свою мать шестилетняя девочка:

«У нее светло-русые волосы, они по бокам завиваются. У нее зеленые глаза, нос с горбинкой и розовые губы. У нее стройный рост и руки, которые мне нравятся». И еще:

«У нее большая душа. Нежный голос. Быстрая походка. У Марины все руки в кольцах. Марина по ночам читает. У нее глаза почти всегда насмешливые» (Ариадна Эфрон. Страницы воспоминаний. «Звезда», 1973, № 3).

И здесь та же пристальность и сосредоточенность взгляда — одновременно детского и вместе с тем неожиданно «взрослого». Одна только фраза: «У нее большая душа»,— как трудно она сочетается с представлением о шестилетнем ребенке.

Очень рано Аля была наделена чувством, что она не просто дитя своей матери, но «дитя ее души».

В своих мемуарах «Страницы былого» она говорит о матери: «Я, одаренная редчайшим из дарований — способностью любить ее тáк, как е й нужно было быть любимой» («Звезда», 1975, № 6). И приводит ее стихи:

Были мы — помни об этом
В будущем верно лихом!
Я — твоим первым поэтом,
Ты — моим лучшим стихом...

В письме к П. Г. Антокольскому от 24 ноября 1962 г. Ариадна Сергеевна восклицает: «Господи, какое же у меня было с ч а с т л и в о е детство и как мама научила меня в и д е т ь» («Литературное обозрение», 1981, № 12).

Вот небольшой пример. В «Страницах воспоминаний» А. С. Эфрон описывает юбилейный вечер Бальмонта. На нем выступала и М. Цветаева. Сказав свое приветствие, «Марина как-то нелюдимо пошла к своему месту, несмотря на рукоплескания».

Эта нелюдимость Цветаевой среди рукоплесканий — драгоценный штрих к ее облику, талантливо увиденный.

В «Страницах былого» Ариадна описывает их квартиру в Борисоглебском переулке в Москве — говорит о том «кораблекрушительном беспорядке, которым она поражала всех, в нее входивших, в начале 20-х годов».

«Кораблекрушительный» беспорядок — эпитет одновременно гиперболический и точный. Попробуйте заменить его другим равноценным словом — вряд ли получится.

Ариадна возвращает Илье Эренбургу его письма к ее матери 1922 года. И пишет:

«И вот возвращается в Ваши руки кусочек той жизни и той дружбы, то бывшее в движении и теперь окаменевшее — не знаю, то ли я говорю, но у меня такое чувство, что уцелевшее письмо — та же Самофракийская победа, сохранившая в складках своей одежды то стремление и тот ветер — и во всей каменности своей и сохранность такая же беззащитная, как эти письма на бумаге» (И. Эренбургу, 28 августа 1955 г.).

Вы читаете этот отрывок и чувствуете: Ариадна унаследовала у своей матери решительное и бесповоротное неприятие банальных, расхожих слов. Она тоже знает, что такое «лирический водопад», «Эвересты чувств» (ее выражения). Но высота эмоционального подъема не означает воспарения, отрыва от реальной почвы.

1920 год. Вечер Блока в Политехническом музее. Вот как описывает его

восьмилетняя Ариадна (эту запись приводит А. Саакянц в своей книге). Девочка с недетским умением рисует портрет поэта: «Деревянное лицо вытянутое. Темные глаза опущенные, неяркий сухой рот, коричневый цвет лица. Весь как-то вытянут, совсем мертвое выражение глаз, губ и всего лица. <...> У моей Марины, сидящей в скромном углу, было грозное лицо, сжатые губы, как когда она сердилась. Иногда ее рука брала цветочки, которые я держала, и ее красивый горбатый нос вдыхал беззапахный запах листьев. И вообще в ее лице не было радости, но был восторг...»

Уже одно только выражение «беззапахный запах листьев» выдает недетскую наблюдательность Ариадны, тонкое чутье и восприимчивость.

А вот как Ариадна Сергеевна уже во взрослые свои годы описывает встречу — их и матери с отцом Сергеем Эфроном в Берлине. Марина Ивановна и Ариадна опоздали к поезду.

«Мы вышли на белую от солнца пустынную площадь, и солнечный свет, отражаемый всеми ее плоскостями, больно ударил по глазам. Мы почувствовали палящую городскую жару, слабость в коленках и громадную пустоту внутри — от этой невстречи. Марина стала слепо и рассеянно нашаривать в сумке папиросы и бренчать спичками. Лицо ее потускнело. И тут мы услышали Сережин голос: «Марина! Мариночка!» Откуда-то с другого конца площади бежал, маша нам рукой, высокий худой человек, и я, уже зная, что это папа, еще не узнавала его, потому что была совсем маленькой, когда мы расстались, и помнила его другим, вернее, иным, и пока тот образ — моего младенческого восприятия — пытался совпасть с образом этого движущегося к нам человека, Сережа уже добежал до нас, с искаженным от счастья лицом, и обнял Марину, медленно раскрывшую ему навстречу руки, словно оцепеневшие.

Долго, долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями щеки, мокрые от слез».

Здесь все талантливо, и в то же время все говорит о том, что Ариадна — дитя цветаевского «духа». Она пишет, например, о «громадной пустоте внутри — от этой невстречи». Типично цветаевский оборот. Марина Ивановна часто употребляет такие слова: «Моя жизнь очень плохая. Моя не жизнь» (В. А. Меркурьевой, 31 августа 1940 г. «Неизданные письма»).

И такая подробность. Ариадна Сергеевна говорит о несовпадении прежнего, младенческого восприятия отца и теперешнего. Любой другой так и сказал бы. А она пишет: «Тот образ — моего младенческого восприятия — пытался совпасть с образом этого движущегося к нам человека».

«Образ пытался совпасть» — о нем говорится как о живом существе. И это тоже усиливает ощущение талантливости текста.

Марина Цветаева с раннего детства учила Ариадну писать, записывать свои впечатления. Помогала избегать банальности, штампов, стереотипов.

Ариадна Эфрон проходит сквозь годы эмиграции в Чехословакии и Франции, затем в 1937 году возвращается на родину, в Советский Союз, где ее отец будет репрессирован, а сама она отправлена в далекую ссылку. Там она пробыла 16 лет — с 1939 до 1955 года.

Сохранилась ее переписка с Борисом Пастернаком — дружбу с ним Ариадна унаследовала от матери. В письмах к Пастернаку ярко проявилась одаренность Ариадны. В одном из них она по праву пишет: мама научила «меня видеть, слышать и понимать. А чувствовать даже слишком научила» (14 января 1952 г.).

Переписка полностью еще не опубликована — у нас. Но не за горами то время, когда выйдет в свет книга Ариадны Эфрон — ее воспоминаний о матери, переводов, переписки с Пастернаком и др. Она готовится к печати в издательстве «Советский писатель» (составитель — М. И. Белкина).

Читая письма Ариадны Сергеевны, поражаешься не только ее художественной впечатлительности, остроте восприятия, но и мужеству ее духа, поистине цветаевской выдержке, стойкости, терпению. Первое время, когда Ариадна писала свои письма Пастернаку, она во многом еще не знала, что́ с родителями: отец погиб в заключении, а мать кончила жизнь самоубийством. Потом настанет день, она все узнает и о смерти матери скажет так:

«Мамину смерть как с м е р т ь я не сознаю и не понимаю. Мне важно сейчас продолжить ее дело, собрать ее рукописи, письма, вещи, вспомнить и записать все о ней, что помню, а помню бесконечно много. Скоро-скоро займет она в советской русской литературе свое большое место, и я должна помочь ей в этом. Потому что нет на свете человека, который лучше знал ее, чем я» (5 августа 1942 г.).

Ариадна пишет, что «не сознает и не понимает» маминой смерти, и действительно, она выражается так, будто речь идет о живом человеке: «Я должна помочь ей...»

Приглядимся ближе к Ариадниным письмам Борису Пастернаку. Вот небольшой набросок — тайга весной.

«Тайге еще далеко до зелени, но она голубеет, покрывается сливовой дымкой, и, когда солнце заходит за полоску леса на горизонте, тень падает на снег нежно, как тень огромных ресниц» (17 апреля 1950 г.).

«Сливовая дымка» — точно, «тень огромных ресниц» — поэтично. Эти два начала всегда присутствуют в том, что́ пишет Ариадна.

И осенний пейзаж:

«Две нестерпимых вещи — когда гуси улетают и последний пароход уходит. Гусей уже перекнла — летят треугольником, как фронтовое письмо, перекликаются скрипучими, тревожными голосами, душу выматывающими. А какое это чудесное выражение — «душу выматывать», ведь так оно и есть — летят гуси, и последний тянет в клюве ниточку из того клубка, что у меня в груди. О, нить Ариадны! В лесу сразу тихо и просторно — сколько же места занимает листва! Листва — это поэзия, литература, а сегодняшний лес — голые факты. Правда, деревья стоят голые, как факты, и чувствуешь себя как-то неловко, как ребенок, попавший в заросли розог» (7 октября 1950 г.).

Выражению «душу выматывать» возвращен неожиданно-изначальный смысл, и оттого оно воспринимается как будто заново. Возникает представление о душевной ниточке, которая связывается с мифологической нитью Ариадны. Сама логика тут не прямая, а образная.

«У нас в этом году необычайно ранняя, наверное, обманная весна. Все сразу отсырело, а небо от сырости и тяжести даже как будто бы провисает посередине» (2 апреля 1951 г.).

Сравнение неожиданно напоминает детский рисунок, где небо изображается не сплошным фоном сверху донизу, а верхним слоем. Между синим небесным покровом и землей — «ничье» пространство.

«А ночи, — продолжает Ариадна, — настолько настороженно-тревожные, что, кажется, достаточно какого-нибудь резкого звука — паровозного гудка, скажем, чтобы большой истерикой — ливнями, ветрами, снегопадами началась настоящая весна».

Тут все взаимосоотнесено, все вяжется в одну неделимо-целостную картину весны — от паровозного гудка до снегопадов. Аукается в одном месте — откликается в другом.

«Еще тепло, но горизонт розов, как взрезанный арбуз, — к морозу» (10 октября 1952 г.).

Ариадна смотрит на мир широко раскрытыми глазами, она видит и запечатлевает яркость, новизну, влажную свежесть красок.

«Лед идет, летят гуси и еще какая-то мелочь, вроде снегирей. Эти малыши над водой летают низко, и отражение, как будто стайки рыбок, и я мгновенно представляю себе мир вверх тормашками, Енисей, отражающийся в небе, и рыб, отражающихся птицами.

Видимо, впадаю в детство» (3 июня 1954 г.).

Интересная особенность: знакомясь с детскими записями Ариадны, мы видели, как они — не по летам — отличаются взрослой самостоятельностью. А в том, что пишет Ариадна Сергеевна, уже сложившийся человек, проступает и что-то детское, свободное от «взрослого» штампа.

В письмах к Пастернаку Ариадна все время обращается к облику покойной, впрочем, это слово не подходит — погибшей матери.

«Я все маму вспоминаю, Борис. Я помню ее очень хорошо и вижу ее во сне почти каждую ночь. Наверное, она обо мне заботится, — я все еще живу» (26 августа 1949 г.).

В другом письме:

«Я помню, как-то писала маме о том, что радость теперь только ранит, мгновенно вызывает чувство острой боли, так бывало, когда я получала ее письма» (20 ноября 1949 г.).

Что радость — тоже боль, — об этом говорила и сама Марина Цветаева.

«Радость — иной вид горестей, может быть — острейший», — читаем в ее письме О. Е. Черновой 10 июля 1925 г. («Неизданные письма»).

Но процитируем дальше письмо Ариадны:

«И в самом деле, — пишет она, — жизнь настолько приучила к толчкам, что только их и ждешь от нее — причем всегда недаром. Вдруг среди снегов, снегов, снегов, еще тысячу раз снегов, среди броиированных, как танки, рек, стеклянных от морозов деревьев, перекосившихся, как плохо выпеченные хлеба, избушек, среди всего этого периферийного бреда — два тома твоих переводов, твой крылатый почерк, и сразу пелена спадает с глаз, как сердце, разрывается завеса, потрясенный внутренний мирок делается миром, душа выпрямляет хребет. И больно, больно от радости, как бывало больно от маминых писем, как от встречи с тобой, как от встречи с монографией твоего отца в библиотеке рязанского художественного училища, как от встречи с твоим «Детством Люверс», там, где никаких Люверсов и никаких детств» (20 ноября 1949 г.).

Думается, «Детство Люверс» — повесть Пастернака — названа здесь не зря. Облик Жени Люверс, героини повести, девочки, не мог не показаться Ариадне родственно близким. Женя в отличие от своих сверстниц-подруг видит все как будто в первый раз. Она ошеломлена силой и резкостью жизненных впечатлений, они одновременно радуют и ранят ее душу.

Можно сказать, что два образа больше всего помогали Ариадне в ее невыносимо тяжкой ссыльной жизни — в Рязани, а потом в Туруханске: ее умершей матери и Бориса Пастернака.

«Я получила все, посланное тобой, и за все огромное тебе спасибо, — пишет она Пастернаку. — Стихи твои опять, в который раз, потрясли всю душу, сломали все ее костыли и подпорки, встряхнули ее за шиворот, поставили на ноги и велели — живи! Живи во весь рост, во все глаза, во все уши, не щурься, не жмурься, не присаживайся отдохнуть,

не отставай от своей судьбы! Безумно, бесконечно, с детских лет люблю и до последнего издыхания любить буду твои стихи со всей страстью любви первой, со всей страстью любви последней, со всеми страстями всех любвей от и до».

И дальше: «Я выросла среди твоих стихов и портретов, среди твоих писем, издали похожих на партитуры, среди вашей переписки с мамой, среди вас обоих, вечно близких и вечно разлученных, и ты давным-давно вошел в мою плоть и кровь.

Раньше тебя я помню и люблю только маму. Вы оба — самые мои любимые люди и поэты, вы оба — моя честь, совесть и гордость» (31 января 1950 г.).

И снова о матери:

«Когда я думаю об огромном количестве ненаписанного ею и потерянного нами, мне страшно делается. И еще страшнее делается, когда думаю, *как* это писалось. Целая жизнь труда, труд всей жизни. И еще многое можно было бы разыскать и восстановить, и сделать это могла бы только я, единственная оставшаяся в живых, единственный живой свидетель ее жизни и творчества, день за днем, час за часом, на протяжении огромного количества лет» (7 июня 1950 г.).

Какие же это были трудные и горькие — 16 ссыльных лет Ариадны Сергеевны, отравленные не только тяжким бытом, лишениями, но и сознанием, что она — единственная свидетельница жизни и творчества матери — насильственно отторгнута от собирания, изучения ее произведений!

И, конечно, трудно переоценить ту поддержку, какую оказывал ссыльной Ариадне Борис Пастернак. Он посылал ей свои стихи, переводы, щедро помогал деньгами.

«Почему я так тянусь к тебе, так глубоко радуюсь твоим письмам, так чувствую себя самой собой, когда думаю о тебе и пишу тебе? Не только потому, что ты — старый друг, что твое имя навсегда связано у меня с маминым, что я люблю тебя за них и сама — и еще и оттого, что я, ничего не создавшая, зрячая и слышащая, но немая, ничего никогда не сотворившая, тянусь к тебе, как к творцу, тянусь к твоему земному (единственному, в которое верю, наиблагороднейшему, ибо — дело рук человеческих) — бессмертию. Очень я люблю и уважаю тебя и за то, что ты не зарыл свой талант в землю, и за то, что ты не сделал ему мичуринской прививки, и вообще за все на свете» (10 октября 1950 г.).

В другом месте она признается: в письмах Пастернака «столько жизнеутверждающего начала, столько неведомого душевного витамина, что они действуют на меня вроде аккумуляторов, я ими заряжаюсь — и дальше живу». (5 марта 1951 г.).

Трудно даже представить себе, что́ было бы с Ариадной Эфрон в ссылке без помощи Пастернака — душевной, моральной, материальной.

«...очень люблю тебя за то, что ты такой — поэт и человек, и очень счастлива, что живу в одно время с тобой и могу тебе писать и раз в десять лет говорить с тобой — это одно из моих редких, но несомненных преимуществ перед потомками, которые о наших днях и людях будут знать по книгам да памятникам» (15 августа 1951 г.).

Ариадна получает в подарок от Пастернака его перевод «Фауста». И, откликаясь, благодаря, пишет:

«Милый мой Борис, жестоко ошибаются те, кто не чувствует в твоем творчестве жизнеутверждающего начала. Тебе, конечно, от этого не легче! Не тот критик плох, который писать не умеет, — а тот, который не умеет читать!» (8 сентября 1950 г.).

И как итог:

«А вообще-то жить было бы еще несравненно труднее, если бы я не чувствовала постоянно, что ты живешь и пишешь. В этом какое-то оправдание моей не-жизни и не-писания...» (1 октября 1952 г.).

Грустная перекличка: слово «не-жизнь» Ариадна, как мы помним, унаследовала от матери. Они обе имели право на этот неологизм — действительно выстраданный.

В 1948 году Пастернак посылает Ариадне рукопись первой редакции романа «Доктор Живаго», и она отвечает ему большим письмом-рецензией. Говорит и о своих несогласиях с автором. И поясняет: «Я все это принимаю так близко к сердцу и так горячусь лишь потому, что с первых строк и до последних я полюбила эту книгу и хочу, чтобы ей было лучше» (28 ноября 1948 г.).

После освобождения, уже из Тарусы, Ариадна пишет Пастернаку: «Написанное тобой и мамой доживет до поколений, которых мы сейчас и угадать-то не можем, и с ними вы будете «на ты». Дорогой ценой заставляют сегодня платить за право жить в завтра, жить во всегда» (28 августа 1957 г.).

Со дня, когда написаны эти слова, прошло тридцать лет, а они как будто сказанные сегодня. Слава Цветаевой и Пастернака только еще разгорается, впереди — издания новых книг — их стихов, прозы, переводов, писем, исследований их жизни и творчества.

Еще один образ настойчиво повторяется в письмах Ариадны Эфрон из ссылки — образ Москвы.

«...этот город — действительно город моего сердца, и сердца моей матери, *мой* город, единственная моя собственность, с потерей которой я никак не могу смириться. И во сне вижу — в самом деле, а не для красного словца — московские улицы, улички и переулочки, именно московские, а не какие-нибудь другие» (17 апреля 1950 г.).

И еще:

«От Москвы начинается мое чувство



родины и, описав огромный круг по всему Советскому Союзу, возвращается к ней же. Так у меня было и с мамой, жизнь моя началась любовью к ней, тем и кончится» (10 октября 1950 г.).

В своих письмах Ариадна говорит просто, откровенно, порой даже весело о невзгодах ссыльной жизни, о том, что она проявляет «верблюжью выносливость и человеческое терпение» (20 августа 1954 г.); «ужасно много работаю и устаю, как собака, буквально, т. к. на них здесь воду возят и дрова» (12 января 1954 г.).

Но нет, пожалуй, ни одного письма, где бы она вовсе пала духом, отказалась от надежд, капитулировала перед жестокой судьбой.

В одном из писем она рассказывает своему неизменному адресату:

«Однажды было так — осенним, беспросветно-противным днем мы шли тайгой, по болотам, тяжело прыгали усталыми ногами с кочки на кочку, тащили опостылевший, но необходимый скарб, и казалось, никогда в жизни не было ничего, кроме тайги и дождя, дождя и тайги. Ни одной горизонтальной линии, все по вертикали — и стволы и струи, ни неба, ни земли: небо — вода, земля — вода. Я не помню того, кто шел со мною рядом, — мы не присматривались друг к другу, мы, вероятно, казались совсем одинаковыми, все. На привале он достал из-за пазухи обернутую в грязную тряпицу горбушку хлеба, — ты ведь был в эвакуации и знаешь, что́ такое хлеб! Разломил ее пополам и стал есть, собирая крошки с колен, каждую крошку, потом напился водицы из-под коряги, уже спрятав горбушку опять за пазуху. Потом опять сел рядом со мной, большой, грязный, мокрый, чужой, чуждый, равнодушный, глянул — молча полез за пазуху, достал хлеб, бережно развернул тряпочку и, сказав: «На, сестра!» — подал мне свою горбушку, а крошки с тряпки все до единой поклевал пальцами и в рот — сам был голоден. Вот и тогда, Борис, я тоже слов не нашла, кроме одного «спасибо», но и тогда мне сразу стало ясно, что в жизни есть, было и будет все, все — не только дождь и тайга. И что есть, было и будет небо над головой и земля под ногами» (5 сентября 1948 г.).

Когда писались эти строки, впереди еще были семь таких тяжелых, таких медленных и мрачных ссыльных лет. Что помогло Ариадне выдержать? Неумирающая память о матери, письма, посылки, подарки Бориса Пастернака, «небо над головой и земля под ногами».

Пастернак в своих письмах призывал Ариадну крепиться и мужаться — даже «когда тебе это начинает казаться бесцельным или присутствие духа покидает тебя» (20 декабря 1949 г.).

Пастернак укреплял ее веру в себя. Он писал Ариадне:

«Как хорошо ты видишь, судишь, понимаешь все, как замечательно пишешь! Еще до твоего письма ко мне сидел у Елизаветы Яковлевны[1], и Зинаида Митрофановна[2] вслух читала твое только что тогда полученное послание. Ну проницательность! Ну глубина! Ну остроумие — прелесть, прелесть!» (20 декабря 1949 г.).

И месяцем позже:

«Если, несмотря на все испытанное, ты так жива и не сломлена, то это только живущий бог в тебе, особая сила души твоей, все же торжествующая, и поющая всегда в последнем счете и так далеко видящая и так насквозь!»

«То, что ты, как заговоренная, идешь через эти все несчастья, это чудо тоже творческое, твое, от тебя исходящее» (19 января 1950 г.).

Как определить — что такое верный человек? Может быть, так: когда думаешь о нем, испытываешь твердое чувство убежденности — в трудных, экстремальных обстоятельствах, в тяжелых испытаниях он может повести себя только так, а не иначе. После гибели Тициана Табидзе Борис Пастернак мог себя повести только так: он остался верным другом и помощником вдовы Тициана и его дочери. Пастернак всегда был верным сотоварищем Марины Цветаевой — и когда переписывался с ней в ее эмигрантскую пору и пытался помочь ее возвращению, и когда она вернулась домой. Таким же верным другом, в чем-то даже заменившим ей погибших отца и мать, стал он для ссыльной Ариадны.

Вспоминается формула Марины Цветаевой: «Друг есть — действие».

Благодаря Пастернаку Ариадна смогла в Туруханске купить домик. И радостно сообщала ему:

«...таким образом я, в лучших условиях никогда не имевшая недвижимого имущества, вдруг здесь, на севере, стала если не вполне домовладелицей, то хоть совладелицей» (вместе с подругой. — **З. П.**) (24 июня 1950 г.).

1953 год, год смерти Сталина, приносит Ариадне надежды на перемены. И вместе с тем она признается: «Всякое счастье хорошо вовремя — боюсь, что у меня нет сил опять все начинать сначала — куда-то ехать, где-то искать работу в таком возрасте, когда у каждого нормального человека уже есть квартира, дача, прислуга и, за неимением детей, хотя бы внуки. А я, бедная, все только «начинаю жить» и, как Агасфер, кочую от окраины до окраины» (22 июля 1954 г.).

28 марта 1955 года Ариадна сообщает (из Туруханска):

«Дорогой мой Борис, можешь меня поздравить, получила реабилитацию. Дело пересматривалось без нескольких дней два года, за которые я уж и ждать перестала. Прекращено дело «за отсутствием состава преступлений». Теперь я получаю «чистый» паспорт (это уже третий за год) и могу ехать в Москву».

[1] Сестра С. Я. Эфрона.
[2] Приятельница Е. Я. Эфрон.

«Так что, наверно, с навигацией поеду в Москву, где у меня ни кола, ни двора, и тем не менее я считаю ее своею.

Одним словом, «и ризу влажную свою сушу на солнце под скалою»!»

За этим следует приписка:

«Боренька, даже если я буду близко, я никогда не буду тебе мешать работать, не буду навязываться к тебе в гости и даже не буду звонить по телефону (это все после того, как сгоряча продемонстрирую тебе свой еще один паспорт и расцелую тебя по приезде)».

А потом она шлет коротенькие письма Пастернаку уже из Москвы. В одном из них сообщает:

«В маминых записных книжках и черновых тетрадях множество о тебе. Я тебе выпишу, многого ты, наверное, не знаешь. Как она любила тебя и как д о л г о — всю жизнь! Только папу и тебя она любила, не разлюбливая. И не преувеличивая. Тех, кого преувеличивала, потом, перестрадав, развенчивала» (20 августа 1955 г.).

Читая письма Ариадны Борису Пастернаку после освобождения, испытываешь, конечно, чувство радости за нее, за то, что кончились ее беды и мытарства. Но какие это были беды... Ведь все это обрушилось на Ариадну, когда ей было 27 лет, а известие об освобождении она встретила уже 43-летней...

Кто знает, за эти годы Ариадна могла бы стать писательницей. Написала бы уникальную книгу о матери, о ее друзьях, о Пастернаке.

И все-таки вопреки всему — ударам судьбы, бедствиям, потерям Ариадна выстояла духовно и душевно, не согнулась, не потеряла себя. Она сохранила свою творческую индивидуальность. Конечно, был тут и отраженный цветаевский свет. Но Ариадна была талантливой дочерью и ученицей своей матери. Она умела, не отрываясь от материнского «почерка», находить свое.

А теперь я перехожу к тому, чему и сам был свидетель. 1956 год. Никогда не забуду этого года. Радостно было сознавать, что тысячи и тысячи несправедливо заключенных, незаконно репрессированных, ни в чем не повинных людей — подобно Ариадне Сергеевне Эфрон — освобождены и возвращаются домой. Их «состав преступления» оказался мифом и бредом.

Не забуду собраний тех дней, когда люди словно по букварю учились говорить не только о том, что «надо» и что «должно быть», но и о том, что есть.

В начале 1956 года начала работать редколлегия первого альманаха «День поэзии». Она состояла из поэтов, от критиков и литературоведов включили меня.

Мне поручена была подготовка некоторых критических статей и архивных материалов. У меня были две заветные мечты — дать в альманах подборки стихов Осипа Мандельштама и Марины Цветаевой. С первой подборкой не получилось. Я связался с Н. Я. Мандельштам, вдовой поэта. Надежда Яковлевна сообщила мне номер телефона следователя, который занимался реабилитацией Мандельштама. Я позвонил ему, сказал, какой это был крупный поэт, но опубликовать его стихи в «Дне поэзии» мы не смогли.

С тем большим пылом и усердием я занялся подборкой стихов М. И. Цветаевой. А. К. Тарасенков, знаток и собиратель русской поэзии XX века, еще раньше, уже незадолго до своей смерти, сообщил мне, что в «Октябре» готовилась публикация стихов Цветаевой, но почему-то застопорилась. Я поехал в редакцию «Октября», где тогда поэзией ведал Е. Винокуров. Говорю ему: «Вы только держите стихи Цветаевой, а мы их опубликуем, отдайте подборку нам».

Е. Винокуров сразу же отдал. И вот я читаю: «Стихи к Чехии», «Читатели газет», «Владимиру Маяковскому», «Поэт и царь», стихотворение-вопль «Вчера еще в глаза глядел» с повторяющимися словами «Мой милый, что тебе я сделала?!» и «Писала я на аспидной доске».

Пережив горькое разочарование с печатанием стихов Мандельштама, я радовался тому, что мы даем первую публикацию стихов М. Цветаевой — после стольких лет перерыва. Но тут нас подстерегала новая опасность. Позвонил редактор издательства, где выходил альманах, и тоном, не предвещающим ничего хорошего, пригласил к себе. Я приехал. Он говорит:

— Вот у вас в цветаевской подборке, в цикле «Стихи к Чехии», публикуется стихотворение «Взяли».

— Да, а что?

— А то, что к стихотворению дан эпиграф: «Чехи подходили к немцам и плевали». Мы сейчас по-другому смотрим на немцев.

— Что же вы предлагаете?

— Вместо «немцев» написать — «к фашистам». Мы не можем допустить, чтобы плевали в немцев вообще.

— Но у Цветаевой написано — «немцам». Как же мы можем переделывать текст?

— Раз вы не хотите, я вообще всю подборку стихов сниму.

Я задрожал. Вслед за Мандельштамом за рамками «Дня поэзии» теперь могла оказаться и Цветаева. И я — слаб человек — согласился на поправку.

Но решил позвонить о ней Ариадне Сергеевне Эфрон. Она сейчас же поехала к редактору. Спрашивает его:

— Кто вам дал право править стихи моей матери?

И столько было решимости отстаивать не только каждое слово, каждую запятую текста, что редактор согласился печатать текст без поправок.

В том, что подборка стихов Цветаевой в нашем альманахе появилась цела и



невредима, — роль Ариадны Сергеевны была решающей.

В 1969 году состоялся мой юбилейный вечер, на который пришла Ариадна Сергеевна Эфрон вместе с Анной Александровной Саакянц. Ариадна Сергеевна поздравила меня и вручила милый подарок — красивую синюю птичку из стекла. Я был растроган и после вечера написал ей благодарственное письмо. Я должен привести его здесь — иначе непонятен ответ.

«Дорогая Ариадна Сергеевна,
спасибо Вам за синюю птицу. Прекрасно понимаю символичность Вашего подарка. Птицу эту ни поймать, ни подарить нельзя. Знаю, что не только «на свете счастья нет», но и наивно думать, что «есть покой и воля»; что у синих птиц, как у поездов дальнего следования, свое расписание и они не останавливаются на полустанках.

А где-то, наверное, есть целые синие птицефермы, по небу проносятся стаи непуганых птиц счастья.

И мы их никогда не увидим.

Все знаю, и тем более дорога мне Ваша синяя микроптичка.

Буду ее беречь».

Вскоре пришло ответное письмо Ариадны Сергеевны, датированное 15 мая 1969 г..

«Спасибо за письмо, — писала она, — вызвавшее у меня, пенсионерки и ленивицы, желание возразить, т. е. — ответить. Волей обстоятельств ответ получился не из быстрых.

Во-первых, хочу сказать Вам, что М. Ц. пушкинскую в о л ю («но есть покой и воля») — трактовала не как вольность, а как волю к (действию, преодолению и т. д.). А э т а воля была, есть и будет, на том стоим — и движемся.

Во-вторых: е с т ь у Вас синяя птица! — и синица в руках есть, и журавль в небе; все есть — кроме, вероятно, желания или просто времени, — осознать это. Трудно живется, дышится, пишется? Тем синее и сильнее Ваша птица. От легкой жизни, легкого писания и беспрепятственного дыхания д о́ х н у т синие птицы. От скуки, вероятно. Вашей птице это не грозит.

Что до синих птицеферм, то — чего нет, того нет, и слава Богу: не инкубаторное это дело».

Потом, глядя на рукописи Марины Цветаевой и сравнивая их с письмом Ариадны Сергеевны, я увидел, что дочь унаследовала от матери ее почерк в буквальном смысле. Просто удивительно, до чего похожи буквы у Марины Ивановны и Ариадны.

Но главное, конечно, в самом духе письма. Оно исполнено презрения к душевной сытости, «беспрепятственности» существования. Ариадна Сергеевна не представляет, как можно сводить счастье к уделу легкой жизни и легкого писания. И потому на мои шутливые слова о «синих птицефермах» она ответила так серьезно: «не инкубаторное это дело».

Не знаю — где ты и где я...
Те ж песни и те же заботы.
Такие с тобою друзья!
Такие с тобою сироты!

Могла ли Цветаева знать, когда писала эти стихи, какую тяжкую долю уготовит судьба обеим «сиротам»?

Много было дано Ариадне, и много было у нее отнято. Счастливое детство, любящие родители, несравненная мать... Потом — годы эмиграции и лютой нищеты, а затем — еще более долгие годы ссылки.

Бо́льшую часть своей жизни Ариадна провела в полном одиночестве. Судьба обделила ее: потеряв мать и отца, она уже не знала никакой другой семьи.

Девочкой она ощущала крепкий и сильный семейный дух, кровную близость к родителям, их любовь к ней и друг к другу.

Вспоминая о жизни в Чехословакии, А. С. Эфрон писала:

«Главное же: мужественная бедность Марины и Сережи, достоинство, выдержка и зачастую юмор, с которыми они боролись со всеми повседневными тяготами, поддерживая и ободряя друг друга, вызывали у меня такое ж а р к о е чувство любви к ним и с о р а т н и ч е с т в а с ними, что уже это само по себе было счастье. Счастьем были вечера, которые иногда мы проводили вместе...» («Страницы былого», «Звезда», 1975, № 6).

Вот чего была лишена Ариадна в свои взрослые годы — счастья кровной общности, родства, как она пишет — соратничества с близкими людьми.

Дух семьи... Иногда его как будто не замечали писавшие о Марине Цветаевой. Обстоятельно и справедливо говорили о ее неприкаянности, скитальчестве, приводили стихи вроде: «Мой путь не лежит мимо дому — ничьего».

Но было и другое: неодолимое чувство рода, семейных корней. Как это ни парадоксально, у Цветаевой, которая вся в противоречиях, чувство бездомности сочеталось с домовитостью. Она никогда не могла бы воскликнуть подобно Маяковскому, автору «Про это»: «Исчезни, дом, родимое место!»

И вот что важно: любовь Цветаевой к матери — Марии Александровне Мейн, благодарная память о том, чем она ей обязана, — все это напоминает отношение к матери Ариадны.

Даже главное в себе — писание стихов — Цветаева возводила к ней же, к матери: «После такой матери мне оставалось только одно: стать поэтом».

В наши дни к нам возвращаются многие образы прошлого. Многие поэтические тени оживают, вступают в новое посмертное бытие. Вместе с другими поэтами двадцатого века — Андреем Белым, Гумилевым, Ходасевичем — возвращается Марина Цветаева. Она приходит к нам, ведя за руку дочь Ариадну.

## Убийство командарма

•

**Борис Пильняк. Повесть непогашенной луны. «Знамя», 1987, № 12.**

•

Произведения, подобные этому, в англо-американском литературоведении именуют «книгой с ключом». Это означает, что фабула, использованная автором, документальна, прозрачна для читателя и уже известна ему по обстоятельствам жизни. Развитие этой литературно-критической метафоры применительно к «Повести непогашенной луны» позволяет говорить скорее о ключе к незапертой двери.

Начать с того, что повесть вышла в свет спустя считанные месяцы после неожиданной смерти на операционном столе кандидата в члены Политбюро Михаила Фрунзе, совмещавшего к тому времени посты председателя Реввоенсовета, наркома по военным и морским делам, начальника Штаба РККА и являвшегося, таким образом, одним из первых лиц в советской партийно-государственной иерархии. Конечно, в 1925 году еще не было оснований для интерпретации этой загадочной смерти как предвестья большого террора, выкосившего, помимо прочих, и тот круг, к которому принадлежал покойный наркомвоен. И тем не менее такая смерть — даже если оставить без внимания, что ей предшествовали две автомобильные катастрофы, в которых побывал Фрунзе, — такая смерть не могла не вызвать кривотолков в обществе. «Если бы Фрунзе умер в 1936 или 1937 году, то возникновение таких слухов вполне можно было бы понять. Любопытно, что слух распространился так рано, когда Сталин не проявил еще себя с этой стороны. До того прецедентов не было»,— комментирует эту ситуацию английский историк Роберт Конквест. Молва о новой вещи Пильняка, разоблачающей обстоятельства гибели Фрунзе, бежала впереди публикации в «Новом мире». (По лондонскому изданию 1965 года известно и такое название повести — «Убийство командарма».) Считают, что авторское предисловие к «Повести непогашенной луны», равно как и ее посвящение члену ВЦИК, известному критику-марксисту А. Воронскому, имели целью отклонить очевидные и нежелательные аллюзии. Думается, дело здесь обстоит не так просто, как это кажется на первый взгляд.

Ну, прежде всего кому же у нас неизвестно, что опровержение куда как часто служит вернейшим указанием на достоверность опровергаемого факта? Несомненно, был осведомлен об этой особенности читательского восприятия и автор, тем не менее начавший свое предисловие со следующего утверждения: «Фабула этого рассказа наталкивает на мысль, что поводом к написанию его и материалом послужила смерть М. В. Фрунзе. Лично я Фрунзе почти не знал, едва был знаком с ним, видев его раза два. Действительных подробностей его смерти я не знаю...» И верно, текст повести не только не содержит указания на то, что ее герой, командарм Гаврилов, стал жертвой политического убийства, но даже как будто отводит возможность подобной версии: по ходу хирургической операции выясняется, что реакция больного на хлороформ оказалась индивидуальной, специфической. Выходит, не «отравили», не «зарезали»... И, однако же, сам факт появления этой повести совпал с неким общественным ожиданием, ответил какому-то вызревающему коллективному ощущению. Что это было? Присутствие какой смертоносной примеси уловил писатель в разреженной атмосфере советских высших сфер?

В ответе на этот вопрос — объяснение, почему номер журнала, в котором появилась повесть, был конфискован, а в следующем номере редакция признала свою «явную и грубую ошибку» («Новый мир» в тот период редактировал нарком Луначарский)[1]. А также почему вплоть до самого последнего времени, когда знаменская публикация реабилитировала это произведение, оно пребывало в составе обширного индекса запрещенных для чтения, но, как назло, превосходных книг, «которые так охотно поднимают на щит советологи и стараются использовать в своих неблаговидных целях»[2]. И почему, наконец, десятилетие спустя автор, по безумным обстоятельствам своего века не мог оказаться никем иным, как японским шпионом, и луну ему загасили 21.4.1938. Но вернемся к оборванной нами цитате. Итак, «действительных подробностей его смерти я не знаю,— пишет Пильняк,— и они для меня не очень существенны, ибо целью моего рассказа никак не является репортаж о смерти наркомвоена...». Текст повести свидетельствует, что это соответствует истине: цель иная, и основной вопрос произведения заключен отнюдь не в проблеме прототипа, как бы ни была она соблазнительна для построения литературно-биографических ретроспекций, но в чем-то другом.

Два человека, отношения которых завязали и развязали сюжет этой повести, сошлись в ней лицом к лицу. И один из них послал на смерть другого «властным взглядом». Вот, собственно, ядро конфликта. Только в отличие от ситуации пушкинского «Анчара» то были не владыка и раб — по крайней мере формально. Первый, анонимный, был «негорбящийся человек», главный в «той тройке, которая вершила». Второй, командарм Гаврилов, был «человек, имя которого сказывало о героике всей гражданской войны. Это был человек, имя которого обросло легендами войны, полководческих доблестей, безмерной храбрости, отважества, стойкости. Это был человек, который имел право и волю посылать людей убивать себе подобных и умирать». Теперь все поменялось местами, словно песочные часы перевернули: в его собственной жизни и смерти оказался властен «негорбящийся человек» с лицом, спрятанным в тени; чтобы выдержать его взгляд в «доме номер первый», где «время покойствовало и останавливалось», выдержать и не отступить, потребно было свойство иное, нежели безмерная военная храбрость или полководческая доблесть. Собственно, это и имеет в виду «негорбящийся человек», когда без обиняков говорит Гаврилову: «Товарищ командарм, ты помнишь, как мы обсуждали, послать или не послать четыре тысячи людей на верную смерть. Ты приказал послать. Правильно сделал.— Через три недели ты будешь на ногах.— Ты извини меня, я уже отдал приказ».

Строго говоря, Гаврилов и не вступал в поединок, ставкой в котором была его жизнь,— он уступил ее добровольно. Ибо почувствовал себя обреченным уже в тот момент, когда узнал из газет о решении отдать его в руки хирургов. «Здоровье мое — как следует, совсем наладилось, здоров, — а вот, чего доброго, придется тебе стоять у моего гроба в почетном карауле», — невесело шутит Гаврилов в разговоре со старым другом накануне визита к человеку, на столе которого лежали «книги о государстве, праве и власти». В дальнейшем столь же сознательно и собранно командарм сыграет свою роль в операции, задуманной не им.

«Не хочу резаться, естество противится» — и ведет себя на заклание. Объясним ли мы это фатализмом, обреченностью или дисциплинированностью, этих резонов будет недостаточно, но в любом случае нам не отделаться от привкуса чего-то противоестественного, алогичного, нравственно перевернутого. О подвиге самопожертвования здесь речи нет, есть голый императив авторитета власти и чужой, высшей воли. В известном смысле сюжет такой смерти не нов: Сократ осушил чашу с цикутой, Сенека отворил себе вены. Но одного приговорил к смерти суд сограждан, другой ушел из жизни по приказу императора, впав в немилость. Товарищеский вердикт «негорбящегося человека» — нечто совсем иное: «Этого требует революция». Теперь ход событий определен чисто волевым посылом: «Ты извини меня, говорить тут не о чем, товарищ Гаврилов». Мы, таким образом, встречаемся здесь с действием особой этической системы, автономной по отношению к общепринятой и опирающейся на собственные моральные ценности, далеко не всегда совпадающие с общечеловеческими. И командарм, и «негорбящийся человек» — «товарищи», то есть существа одного социально-политического вида, отмеченные друг для друга прежде всего принадлежностью именно к данному специфическому сообществу. Речь не о корпоративном духе или кастовой замкнутости, а о более глубокой черте: отношения между членами сообщества, равно как и его связь с внешним миром, раз и навсегда определены принятыми идеологическими императивами. Отсюда не просто невозможность для командарма выйти из игры, но невозможность «высшего» порядка; свобода выбора не отсутствует — просто выбор уже сделан в пользу ее отсутствия. Этот особый кодекс поведения (и способ мышления) типологически соотносимы с принятыми в замкнутых идеологических группах типа ордена или секты.

В свою очередь, врачи, осматривающие командарма, выступают носителями традиционной, «широкой» морали, очень ощущающими ту грань, что отделяет «общество» от «сообщества»: «А страшная фигура, этот Гаврилов, ни эмоции, ни полутона, — «прикажете раздеваться? — я, видите ли, считаю операцию излишней,— но если вы, товарищи, находите ее необходимой, укажите мне время и место, куда я должен явиться для операции».— Точно и коротко».— «Да-да-да, батенька, знаете ли,— большевик, знаете ли, ничего не поделаешь...». Но если одни (меньшинство) руководствуются кодексом поведения, принятым в сообществе, добровольно, в силу своего членства в нем, то другие (большинство) принуждаются к этому властью правящего сообщества и в его интересах. Безнравственный императив становится универсальным общественным законом. Врачи не вольны в себе так же, как и их сановный пациент: «...ни один профессор, в сущности, совершенно не находил нужным делать операцию, полагая, что болезнь протекает в форме, операции не требующей,— но на консилиуме тогда об этом не говорилось». Потому что «секретная бумага, почти приказ» отменила профессиональные и нравственные нормы как противоречащие государственному интересу. В сущности, в этой ситуации

[1] Чем не оруэлловский сюжет: в Ленинской библиотеке вам выдадут злополучную майскую книжку журнала за 1926 год, но вы не найдете в ней Пильняка. И вовсе не потому, что повесть вырвана, заклеена или замазана. Она попросту исчезла, не нарушив нумерации страниц, тихо выпав из содержания, словно ее и не было. На след ее указывают только «Письмо в редакцию», в котором А. Воронский отмежевывается от посвящения, и покаянные заявление «От редакции», опубликованное в следующем месяце. Загадка? Все гениальное просто: у вас в руках заново отпечатанный, другой, тот же номер.

[2] Вступительная статья в книге: Б. Пильняк. «Избранные произведения». М., 1976, стр. 5.

медицинские светила ведут себя так, как подобает, говоря языком эпохи, беспартийным большевикам. Приказ отдан и исполнен — «а больной неизвестно при чем, точно на большевистских показательных процессах...».

Разумеется, помянуты не те процессы, которые сразу же приходят на ум,— для тех время еще не приспело. Но знаменательна в свете будущего опыта сама угадка. Если случившееся с командармом Гавриловым возможно в принципе, то, стало быть, возможно все. Вот нерв «Повести непогашенной луны», которую вместе с «Роковыми яйцами», «Собачьим сердцем», романом «Мы» можно отнести к литературе ранней социальной диагностики советского общества.

Накануне операции командарм мчит в гоночной машине сквозь ночь. «Когда я очень переутомлюсь, когда у меня ум за разум заходит, я беру машину и мчу. Это мчание приводит меня и мои мысли в порядок»,— объясняет он своему спутнику. Несколько дней спустя, выйдя из палаты, где лежал уже «труп человека Гаврилова», «негорбящийся человек» приказал водителю: «За город! — на всех скоростях». И повторил, не подозревая об этом, путь, проделанный Гавриловым,— даже остановился на той же опушке. Предвидение заключено и в этом прозрачном параллелизме. Зарубежными историками собраны и опубликованы некоторые свидетельства, позволяющие сомневаться в официальной версии смерти Сталина. Полагают, что и на сей раз сыграла свою роль медицина[1]. Тревожными, мучительными предчувствиями насыщен текст повести. Есть в них что-то сродни сегодняшнему смутному полузнанию о тайнах нашей политической истории — начиная с периода, когда Сталин по линии ЦК обеспечивал лечение Ленина в Горках. Нескончаемая череда дворцовых переворотов, интриг, политических убийств и самоубийств последующих десятилетий еще не раз напомнит нам о восточных деспотиях, истории папства, обычаях Венецианской республики. У каждого века есть свое средневековье — лучше не скажешь. Ценность повести Пильняка заключается еще и в том, что автор приоткрывает завесу над загадкой политической устойчивости системы, в рамках которой приглашение на казнь отклонить психологически невозможно. Один из компетентных исследователей этого феномена, соучастия в собственном убийстве, помнится, недоумевал: ни в чем не повинного человека арестовали на улице, а он, проявляя непостижимую уму сознательность, словно делая свою часть общего дела, старался вести себя так, чтобы его исчезновение протекало как можно незаметнее для посторонних глаз...

Еще не пришло время для тотального террора, и душегубские акции прототипа «негорбящегося человека» носили выборочный характер, исполнялись штучно (к слову, его можно было бы назвать «Некто -ин»: читает по-немецки и по-английски — не Сталин; «каждая его фраза была формулой» — Сталин). Отныне «вредительскому лечению» стараниями лучшего друга диалектики было суждено большое будущее. В зависимости от обстоятельств оно будет выступать то как инструмент политического убийства, то как формула ложного обвинения, то как пусковой механизм репрессивной кампании. А пока что профессора́ предлагали оперировать командарма Гаврилова, что и было запротоколировано на «бумаге из древесного теста, которая, по справкам спецов и инженеров, должна истлеть в семь лет». «...Но на земле, что избежит тленья, будет губить разум и жизнь Сталин», как сказано Мандельштамом в 1937 году.

Множество событий еще теснилось в будущем, которое стало прошлым под бесстрастным оком непогашенной луны. Мы держим в руках дважды родившуюся повесть Пильняка через шесть десятилетий после ее первых читателей. Эта проза сложена из слов, над которыми тлен не властен. Очередь теперь за не опубликованными у нас книгами Пильняка «Красное дерево» и «Соляной амбар».

...В журнальной публикации 1987 года посвящение, которым открывается «Повесть непогашенной луны», звучит сдержанно-лаконично: «Воронскому, дружески». Иначе в сохранившемся машинописном тексте: «Воронскому, скорбно и дружески». В потерянном слове нам услышится и тема судьбы самого автора,— и его друга, погибшего в лагере,— и тех, кто, подобно Гаврилову, пал от меча, который они принесли в мир,— и тех, кому выпало жить и умирать в этом мире. «Гудки гудели долго, медленно, один, два, три, много,— сливались в серый над городом вой. Было совершенно понятно, что этими гудками воет городская душа, замороженная ныне луною». Так кончается повесть. Настоящая история по обыкновению объявила себя через литературу и сделалась неразделимой с нею. Скорбно и дружески...

**Виктор МАЛУХИН**

---

## Вызов на поединок

●

**Новелла Матвеева. Хвала работе.** Стихотворения. М., Молодая гвардия, 1987.

●

Новая книга Н. Матвеевой в согласии с духом эпохи: она наступательно публицистична. На ее страницах то и дело гремит гневный вызов, раздаются слова беспощадного обличения. Они

[1] Об этом, в частности, пишет А. Авторханов в книге «Загадка смерти Сталина».





обращены к «маньякам-геростратам», оскверняющим космические пространства своими приготовлениями к массовому человекоубийству («Оратория звезд»), к паразитам всех мастей («Синеблузые»), к негодяю, из каких-то мутных шовинистических побуждений поднявшему руку на величайший шедевр живописи («Гибель «Данаи»), ко множеству других крупных и малых противников.

Это понятно: перед лицом врага естественно вооружиться, а уж лирика Н. Матвеевой, по самой сути остроконфликтная, ежечасно готова к бою за все высокое и прекрасное, против всего злого и низкого. У этого автора пейзажи и бытовая картина, фантастический вымысел и рассуждение о поэзии, сатирическая инвектива и любовное признание — все проникнуто духом вечного единоборства. Если прислушаться, в строках Н. Матвеевой всегда различишь звон доспехов бессмертного Дон Кихота.

> Воды шумят и плещут, режут глаза сверканьем,
> Мокрая щепка блещет, как драгоценный камень!
> Кружится половодье, злится, мосты смывает...
> Я опущу поводья: конь мой дорогу знает.
>
> Выберусь на дорогу: глина на ней размыта.
> Жаль, что по ней не могут звонче стучать копыта!
> Ах, как мне снится лето! Теплое и сухое;
> Сосны сухого цвета, с легким дыханьем хвоя...

Кому ведомы законы мятежной лирики Н. Матвеевой, ни на миг не поверит в меланхолическое признанье, что-де автору июльская пора милей апрельской. Климат вообще ни при чем: здесь вершится драма. И смысл ее тот же, что в давних, песней ставших стихах о большом ветре, что «напал на наш остров». Беснуется ураган, кажется, все покорно его хмельному разрушительному набегу.

> А ты глядишь нежно, а ты сидишь тихо,
> И никакой силой тебя нельзя стронуть.

Высочайшая сосредоточенность души, несогласной с хаосом; единоборство, в котором яростный натиск стихий и энергия, сконцентрированная в сопротивляющейся душе, друг друга стоят. Развернутая метафора поединка между человеком и враждебными мировыми силами — таковы едва ли не все лучшие стихи поэта. И нет нужды спрашивать, на что или на кого направлен тот тихий взгляд, куда ведет знакомая коню дорога, наездник или наездница, уронив поводья, хранят в сердце гармоническую красу лета назло лихорадочному блеску и бесчинству полых вод. Так было всегда: пути и цели героев Н. Матвеевой не загадка, ждущая отгадчика, а поэтическая тайна. Даже в лицо героя обычно не удается заглянуть — разве что мелькнут лихие капитанские усы, сверкнут из-под капюшона плащ-палатки неподкупные глаза. Но чаще и того нет. Есть некто, безупречно верный себе,— путник, всадник, мореплаватель, чей печальный или задорный силуэт резко волнует воображение. А бывает, что и он уже исчез, только тянется в сумерках над пропастью чей-то след, да грозный гул наполняет ущелье. Это скалы «стреляющим хохотом» ответствуют тихой отзвучавшей песне пилигрима, страшное эхо, «как пушечный дым», клубится в ущелье.

В новом сборнике этих великолепных стихов нет. Но, не оглянувшись на них, не понять последних вещей Н. Матвеевой, их звонкой знакомой силы и порой обескураживающей слабости. Вспомним: тянулись долгие годы, теперь названные застоем. У людей опускались руки, у поэтов фальшивили лиры. Спасибо, что не у всех! Нельзя забыть, как негромкий, но твердый, хрупкий, но отважный голос Н. Матвеевой говорил и пел о том, что спасение мира — в человеке, душу которого не сломить никакой силой. Этот не сдающийся голос был услышан и стал необходим, в его упорстве было что-то от чуда и очень много от нашей насущнейшей жажды сохраненного достоинства и красоты. Думаю, что стихи Н. Матвеевой задевали за живое даже тех, кто с желчным недоверием отвергал все эти скалы и корабли, пилигримов и магнолии. Ведь о том, сколько тоски по огромному прекрасному миру скрыто порой в подобном брюзжании, догадался еще Булгаков. Помните? — «Лгут обольстители-мистики, никаких Караибских морей нет на свете».

Кстати, примечательно, как Н. Матвеева не жалует наивных подражателей, склонных принимать экзотику ее стихов за самоцель, форму — за суть. Даже не простаками, а расчетливыми лицемерами кажутся они автору, фальшь их романтических притязаний становится мишенью самой едкой насмешки:

> Стихами, прозою ли, в устном разговоре —
> Так модно клясть уют и рваться наобум
> (Как будто тянет кто силком за фалды!) в море,
> В цунами, в ураган, в тайфун или самум.

Нет, лирический герой Н. Матвеевой или героиня — здесь это по большей части неважно) ни в какие самумы не рвется. Все приключения, странствия, битвы совершаются в области духа. Чтобы их пережить, порой достаточно лишь дождаться заветного часа, когда

> Чу!— снова, как фрегат, свободный от балласта,
> Дом выпрямляется, треща обшивкой старой.

Пожалуй, главная тайна героя стихов — в том, что он, кем бы ни был, в душе художник. Кроме гордости неукротимого одиночки, в его распре с жизнью есть и другое: борьба творца с косной материей, поэта — с безжалост-

ной и тусклой прозой существования. Герои Н. Матвеевой умеют создавать свой мир почти что из ничего. Многим, верно, памятны стихи про гвоздь, на котором некогда висел плащ навсегда ушедшего возлюбленного. Невозможно забыть грустного торжества, с каким Н. Матвеева открывает, что и след от того гвоздя годится стать точкой опоры, дабы усилием духа раздвинуть тесные пределы бытия, прорваться к иной, высшей реальности. Такие волшебные преображения совершаются и в книге «Хвала работе» — здесь так же, как встарь, обыденность, обступающая лирического героя, бессильна перед его волей. Побеждено само неумолимое время: поэту не заказан путь даже в страну детства, стоит лишь

...предутренней ранью
В серую темь, когда все еще спят,
Тихо и крадучись
В полуреальный
Полуприснившийся выбраться сад.

В сборнике немало превосходных стихов. Здесь и сонеты, где классическая строгость формы изящно сочетается с причудливостью авторской фантазии, и песни, отмеченные той особой простотой, что доступна только настоящему мастеру, и полные благородства поэтические обращения к великим собратьям, и остроумные, обаятельные детские стихи, способные доставить радость читателю любого возраста. «Смерть Гамлета...», «Рыбачка», «Генрих Гейне», «Горожанин», «Запятой» — что говорить, многие стихи оставляют впечатление непобедимости свободного духа, каким Н. Матвеева умеет одаривать читателя.

И все же пора признать: сборник в целом не кажется удачным, причем виной тому самые боевые и громкозвучные произведения — «Оратория звезд», «Ритмы века», «Синеблузые» и т. п. Азарт публициста вынуждает автора порой забывать о художественной мере, читатель теряется перед лавиной обличений, восхвалений, сарказмов: его то оглушает ораторский пыл поэта, то озадачивает обилие метафор, скорее эффектных, нежели точных. Грешным делом, становится жаль, что Н. Матвеева не избрала «смиренную» прозу для выражения своих мыслей о поджигателях войны, о современной музыке, о единстве всех тружеников Земли, неравенстве положения детей и т. п.

Когда вчитываешься в эти жаркие, несомненно, искренние строки, видишь, как счастливо найденные образы тонут в многословии, как рождаются непредвиденные ассоциации, диссонирующие с замыслом автора. Так, в «Синеблузых» воображение поэта рисует картину, которая в первые годы революции, очевидно, нашла бы отклик во многих сердцах:

Вижу сквозь дни и провижу сквозь ночи я
(Гляну ль за Тибр, за пролив Лаперуза я):
Мерно шагают рабочие,
Мирно идут синеблузые...

По обыкновению храбро полагаясь на свое искусство осовременивать традиционные образы, Н. Матвеева пробует совершить невозможное — и, увы, ненужное. Ведь читателю конца столетия марширующие толпы, одетые в синее, напоминают не мечту о всемирном братстве, а Китай времен «культурной революции». Неистовые призывы «синеблузой» музы внушают отнюдь не беспочвенное беспокойство за судьбу остальных шести цветов радуги. И никакой охоты отбросить это дорогой ценой доставшееся знание в порыве поэтического энтузиазма у читателя, разумеется, не возникает.

Такую же настороженность вызывает категоричность поэта в «Ритмах века». Громоподобные обличения, безоглядная неприязнь, уничижительные пассажи насчет «эфиопских кадрилей» — право же, не нужно быть фанатиком рока, чтобы все это резало ухо. А Эфиопия в чем провинилась? Уж кажется, древняя музыкальная культура Африки заслуживает, чтобы к ней отнеслись с почтением,— горько напоминать об этом Н. Матвеевой, никогда вроде бы о таких вещах не забывавшей.

Книга изобилует подобными запальчивыми обмолвками, вовсе не безобидными в устах поэта, слову которого многие привыкли внимать с открытым сердцем. То вдруг Н. Матвеева в манере злосчастной дискуссии физиков и лириков ополчается на ЭВМ («Компьютер»), то, позабыв о юморе и учтивости, сводит счеты с хулителями своей поэзии («Личность под тентом», «Снизойдя до ответа» и пр.), то требует:

Пусть напоследок выйдут из народа
«Патриций»-сводник и продажный раб.

Кажется, что тут спорить,— без раба с патрицием и вправду обойтись можно, то есть, вернее, хотелось бы. Но странно, когда поэт-гражданин, хоть и в праведном гневе, высказывается так, словно не знает, сколько бед принесли размашистые попытки просто поделить общество на чистых и нечистых, народ и ненарод. Неужто еще мало? Да и само стихотворение столь же задиристо, сколь художественно слабо — неспроста автору потребовалось такое подспорье, как иронические кавычки и курсив. Кстати, в прежних книгах Н. Матвеевой не припомню такого количества этих знаков, изобличающих торопливую небрежность. И заметим: они появляются именно там, где достигнут предельный накал публицистического пафоса и поэт, как говорится, поднимает свой негодующий голос.

Почему Н. Матвеевой так, прямо скажем, плохо удается это возвышение голоса? Думаю, оттого, что в отличие от большинства собратьев по перу она и раньше его не приглушала. Автору, вопреки всем помехам так полно и смело раскрывшемуся в предшествующем творчестве, ныне нет надобности так торопливо оповещать мир о своей гражданской позиции. Поддаваясь этому искушению, поэзия Н. Матвеевой рискует не только понапрасну сорвать голос, но и обмануться на манер того же Дон Кихота, доказавшего, что даже самые благие намерения не всякий поединок делают правым. И потом, общественные проблемы, к которым автор обращается в своей стихотворной публицистике, слишком сложны, чтобы таким образом с ними разделываться.



Разумеется, речь не о том, будто Н. Матвеевой не по плечу крупные вопросы современности. Ее лирика в лучшем смысле слова гражданственна, но лишь тогда, когда отказывается от однозначной ультимативности готовых решений. Как, скажем, в сонете «Улыбка дельфина», где автор не ораторствует о взаимоотношениях человека и природы, а горестно, любовно всматривается в эту таинственную улыбку, угадывая немую просьбу и «вопрос: извечный, беспрерывный, не замечающий, как долго нет ответа...».

Поэт тоже не в силах найти этот спасительный ответ, ему дано лишь испытать внезапную муку беспомощности:

Доверчивость его жутка, страшно мне что-то.
Вот он играет в мяч... Яхтсмены и яхт-клубы
Следят, рукоплеща... (Они ведь не плохие!)

Но крикнуть хочется, едва лишь за ворота
В открытый океан он прыгнет и стихия
Его помчит на дно: «Не возвращайся, глупый!»

Да, хочется крикнуть, но этот напрасный возглас звучит только в душе, замершей перед одной из труднейших загадок современного бытия. Экспансивный лирический герой Н. Матвеевой здесь осознает тщету своего порыва, неустрашимый — томится страхом за все живое, безупречный — не свободен от общей вины всего рода людского. Того, что открывается ему на небольшом пространстве сонета, в минуты, пока дельфин играет в мяч, не одолеть одной отвагой благородного сердца. Но такое поражение героя — немалая победа поэзии.

В общем, времена меняются, но стихи Н. Матвеевой будут нужны читателю и ясным летом, и в половодье, какой бы большой ветер ни напал на наш остров. Только поэту (возвращаясь к излюбленному им образу) лучше все же не опускать поводьев: конь, будь он Росинантом или Пегасом, хорошо знает только старые, наезженные дороги, на новых и сложных ему недолго сбиться.

И. ВАСЮЧЕНКО

# Давайте торопиться

●

В. Селюнин. Истоки. «Новый мир» 1988, № 5.

●

В заполняющем периодику потоке фактов, показывающих нашу новейшую историю как она есть, без прикрас и умолчаний, редки еще попытки осмыслить эти факты, сопоставить их с реалиями дня позавчерашнего, прикоснуться к корням дерева, давшего столь яркие и страшные плоды. Пока ощутимо стремление к просвещению народному, к документальному отображению исторических событий, сколь бы тягостны они ни были. Но по мере того, как массив информации становится шире и плотнее, а запретных тем меньше, в общественное сознание настоятельнее стучится вопрос: как все это могло произойти, какие закономерности здесь действовали— и второй: что же с нами будет дальше? Человек, пытающийся дать на них ответы, уподобляется ныряльщику, кто, набрав в легкие побольше воздуха, стремится достигнуть дна.

Свой публицистический очерк с многозначительным названием «Истоки» Василий Селюнин начинает с несвойственного его суховатой аналитической манере вступления. Разоренная коллективизацией и войной вятская деревня, старуха мать, судьбы односельчан — настраиваешься на лад столь распространенных сейчас сельских элегий. Уход в глубины историко-философских сопоставлений, к спорам Энгельса с Дюрингом, к Великой французской революции мгновенен и странен лишь на первый взгляд. Публицистика — искусство ассоциаций, и если исходить из того, что исторический процесс детерминирован, идейная основа разорения российской деревни и якобинского террора одна и та же. Ведь и те, кто изымал у русского мужика излишки зерна, и те, кто за полтора века перед тем посылал на гильотину скупщиков хлеба, руководствовались идеей равенства. Из трех знаменитых лозунгов — свобода, равенство и братство — выделялся средний, все остальное подчинялось ему. И коль скоро излишек зерна означал неравенство, прибыль и все связанное с ней — свободный обмен, рынок — преследовались.

Характерно, что деятели первых лет русской революции мыслили в категориях революции французской. Большевики называли себя пролетарскими якобинцами, эсеры — русскими жирондистами. В нэпе многие видели термидор.

Селюнину весь этот спектр исторических сопоставлений нужен для отображения того, как Идея, пусть в истоках своих чистая и благородная, сталкиваясь с жизненной реальностью, с проявлениями человеческой природы, в данном случае с естественным стремлением человека распоряжаться плодами своего тру-

да, терпит крушение. Можно, правда, сказать и по-другому: идея равенства конфронтировала с идеей свободы.

Под этим углом зрения послереволюционные годы видятся как череда расставаний с теми или другими идеалами. «...Речь шла о принципиальной установке,— пишет очеркист,— если товарное производство и сопутствующий ему рынок не будут уничтожены, то Октябрьская революция снизится, так сказать, до уровня буржуазной». Вот вам идеал номер один. Как происходит его крушение? «Крестьянам предлагалось кормить страну даром, без какой-либо выгоды для себя. На эти меры мужик отвечал в лучшем случае сокращением посевов, в худшем — обрезом».

Другой идеал — коллективный труд на реквизированной у помещиков земле. Первая попытка создать колхозы предпринималась сразу же после революции. «Несмотря на явные выгоды (лучшая земля, бесплатная раздача инвентаря), крестьянин в эти объединения не шел. Все же в короткий срок удалось создать более пяти тысяч совхозов и около шести тысяч колхозов. Но как признал Ленин, «колхозы еще настолько не налажены, в таком плачевном состоянии, что они оправдывают название богаделен».

Очерк не был бы столь глубок и значителен, если бы публицист ограничился столь широко исследуемыми сейчас двадцатыми годами. Он ищет корни «военного коммунизма» в отечественной истории, анализируя столкновение с жизненной реальностью идей государства. Средневековый конфликт боярства и дворянства, столь привычно толкуемый учебниками истории в пользу дворянства — силы, способствующей укреплению государства, рассматривается как альтернатива двух форм собственности — вотчинного и поместного землевладения, арендного и барщинного хозяйств. Торжество барщины, закрепощение крестьянина означало вместе с тем огосударствление производительных сил, начавшееся при Иване Грозном и достигшее кульминации при Петре.

Бедные наши школьные учителя истории! Представляю себе, с каким вздохом облегчения встретили они отмену экзамена по их предмету. Как нелегко однозначно и дистиллированно толковать эту науку, когда каждый день приносит новый взгляд на ее реалии. Что делать, общество учится думать, выходит за рамки привычных идеологических канонов.

Не сомневаюсь, что построения Селюнина вызовут и негативную реакцию, особенно когда речь идет о застойном характере русской крестьянской общины. Но как пробуждает он мысль, как, раскидывая сеть фактов, взятых из глубины столетий, постоянно отстаивает главное: преимущество свободного труда над подневольным, интереса над принуждением, общества над государством. В каком неожиданном ракурсе сопоставляется развитие в восемнадцатом — девятнадцатом веках производства ситца и сукна. За одним стояла общественная потребность, за другим — государственная, военная, шинельная. Несмотря на постоянные денежные вливания, сукна армии не хватало, ситцевое же море вольно разливалось по России.

От Ивана к Петру, от Столыпина к князю Львову, от Ленина к Сталину идем мы в этом, в сущности, небольшом, но очень насыщенном мыслями и фактами очерке, осознавая диалектику начал государственного и общественного, военного коммунизма и нэпа, идеологии и жизни, наконец, демократии и диктатуры.

Что же дальше? Что ждет нас сейчас, на нынешнем этапе нашего развития? Ох, как опасно пророчествовать. Но публицист не уходит от этого прямого вопроса. «Направления радикальных реформ сейчас в общем-то ясны, но даже горячие сторонники перестройки высказываются в том смысле, что демократизацию общественной жизни, экономические новации надо вводить постепенно, годами. Такой вариант скорее всего не пройдет — просто нет запаса времени, он исчерпан, беспутно промотан в застойные десятилетия. По прикидкам, если не будет крутых перемен, в середине 90-х годов наша экономика развалится со всеми вытекающими отсюда последствиями — социальными, внешнеполитическими, военными и т. п. Тогда будет поздно хлопотать о демократии — периодам развала хозяйства больше соответствует диктатура».

Что ж, давайте торопиться. Торопиться жить, действовать, упрочать демократию, к которой общество идет после обморочных десятилетий.

**М. ЗАРАЕВ**

---

## Дар понимания

•

**В. Виленкин. В сто первом зеркале.** М., Советский писатель, 1987.

•

У Анны Андреевны Ахматовой хранилась «полосатая тетрадь», вмещавшая сто стихотворений, ей посвященных. Она называла ее «В ста зеркалах». В. Виленкин (1911—1988) — горячий почитатель лирики Ахматовой, тонкий ценитель ее стихов, которому она доверяла, с которым советовалась и обсуждала все созданное ею в течение тридцати лет, с которым была связана прочной искренней дружбой, написал книгу о человеческом и творческом облике ее под остроумным и интригующим заголовком — «В сто первом зеркале».



Эта книга не укладывается ни в один традиционный жанр. Это не монография, не сборник статей, не исследование, не просто мемуары...

Впервые Виленкин написал об Ахматовой в своей книге «Воспоминания с комментариями» (1982). В ней он развернул перед читателем всю историю их общения с Ахматовой — общения, столь много значащего в духовном становлении автора: встречи с ней в разные периоды ее жизни, подробное непринужденное воспроизведение их бесед, суждения Ахматовой о поэзии, ее отношение к Блоку, Иннокентию Анненскому, Мандельштаму, Пастернаку, Цветаевой. И главное — ее понимание своего поэтического пути, неотвратимый выход из границ узколичных переживаний на широкие просторы трагедийного осмысления истории своего времени, своей страны, своего народа.

Лейтмотивом ее исповедальных признаний в многочисленных разговорах с Виленкиным становится гордое и скорбное осознание своего одиночества, своей насильственной отделенности от современных читателей. «Меня не знают»,— часто повторяла она. Вернее, знают как поэта далекого прошлого, начала XX века, возникшего в пределах акмеистического течения, как автора свежей, смелой, в то время ни на кого не похожей любовной лирики. Непринужденность разговорной речи, свободно введенной в стихи, предметная точность бытовых подробностей, быстрая, пронзительная фиксация психологических оттенков переживаний — все приметы ее ранних книг — «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Anno Domini», при появлении своем сразу обратившие на себя внимание и прочно завоевавшие популярность, не забыты и поныне. Но представление о ней как о поэте большей частью этим и ограничивалось. Оно законсервировалось и у нас, и на Западе.

В 60-е годы в своих архивных заметках Ахматова с горечью писала: «Иностранцам почему-то хочется замуровать меня в десятые годы». То есть ограничить ее творчество тем ранним периодом, не замечая изменений, которые произошли в нем за последние десятилетия.

Нечего и говорить о том, что в послевоенные годы в России только близкие друзья и несколько причастных к литературе профессионалов знали подлинную Ахматову в поздних стадиях ее трудного, сложного, трагического пути — и в жизни, и в творчестве, что печатные суждения о ней были грубо искажены и извращены печальной памяти постановлением 1946 года. Об этом Виленкин прямо не пишет. Но весь пафос его воспоминаний в том, чтобы восстановить перед современным читателем творчество Ахматовой во всей полноте и подлинности ее поэтического и гражданского масштаба.

В первой книге Виленкина эта благородная задача разрешена лишь отчасти — через личные высказывания поэта, через живое эмоциональное восприятие встреч, бесед с ней. В новой книге мемуарный раздел обогащен и углублен непосредственным анализом творчества, где прежде всего прослеживается тяготение Ахматовой к эпическим формам, обращение к монологу, к повествованию, передающему приметы исторической эпохи, сочетание величавости, высоты и скорбности интонации с зоркой наблюдательностью, улавливающей оттенок времени.

Каждая глава в аналитическом разделе книги Виленкина — интереснейшее освоение особенностей поэтического стиля Ахматовой и ее центральных тем не в статике, а в движении.

Так, биографически близкая для нее царскосельская тема раскрыта и как воспоминания детства, и как концентрация через всю ее жизнь прошедшей любви к Пушкину, и как неожиданная для этого возвышенного пейзажа дворцов и парков подчеркнуто захолустное, будничное место обитания, где растут излюбленные Ахматовой лопухи и лебеда, где из повседневного сора, пристально наблюденного быта рождается поэтическое восприятие времени. «Северные элегии» рассматриваются как подступы к эпическим и историческим полотнам, воспроизводящим Петербург еще времен Достоевского.

И, наконец, кульминация ее творчества, подведение итогов, взгляд на пройденный путь «с высокой башни» осуществлен в «Поэме без героя». Анализом ее и завершается книга Виленкина.

Благодаря редкой стиховой памяти Виленкину удается восстановить связь стихов Ахматовой не только внутри собственного ее творчества, но и с цитатами постоянно и глубоко исследуемого ею Пушкина и особенно с современными ей поэтами — перекличка строк с Цветаевой и Мандельштамом.

Виленкин мастерски расшифровывает намеком брошенные Ахматовой сближения: комаровским набросках 1961 года раньше предпослан был подзаголовок «Нас четверо». Ахматова имен не называет. А Виленкин безошибочно упоминает Пастернака, Мандельштама, Цветаеву.

Он проявляет «симпатические чернила» ее внутренних ходов, раскрывает, казалось бы, с первого взгляда неожиданную, но органичную для Ахматовой связь первой, маскарадной, призрачной части «Поэмы без героя» — «Петербургская повесть», воспроизводящей драму 1913 года в среде литературно-артистического Петербурга, со второй и третьей частями поэмы — «Решкой» и «Эпилогом», погруженными в трагические события второй мировой войны, блокады, эвакуации, возвращения в «разоренный дом».

Прошлое и настоящее сосуществуют в поэтическом сознании Ахматовой и таят в себе предчувствие будущего.

Как в прошедшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет.

И впервые с такой неоспоримой ясностью обнаруживает Виленкин близость цикла «Реквием» 1935 года, посвященного аресту сына, с «Решкой» и «Эпилогом» «Поэмы без героя».

«Поэма без героя» в толковании Виленкина предстает перед нами во всей своей углубленной многослойности. Сложная цепь раздумий, догадок, сопоставлений фактов жизни Ахматовой с трагическими годами нашей истории развернута в увлекательном повествовании почти как лирический детектив. По мере чтения мы с нетерпением ждем предстоящих открытий.

Поэма эта, во многом неожиданная для самой Ахматовой, становилась для нее как бы живым существом, вторгающимся в ее сознание и творческое бытие, диктующая ей образ, место и время действия, возвращающаяся к ней уже после того, как она считала ее завершенной. Виленкин в хронологической последовательности приводит все предисловия, послесловия, дополнения и попутные мысли о поэме в высказываниях и записях Ахматовой.

Осмыслив поэму в ее целом и, казалось бы, неожиданном сцеплении частей, Виленкин приходит к единственно верному выводу: поэма — не без героя. Ее главный герой — сам автор, который вводит нас в собственную судьбу и судьбу века и страны. «Поэма, начавшаяся без героя, сама исподволь сделала своим героем автора».

И дальше — поэма выходит «на простор широкого исторически-философского кругозора, охватывающего и грани двух веков, и великие кануны, чреватые трагическими развязками, и судьбы не только свои и своего поколения, но всей страны».

Детально и последовательно раскрывая глубинную суть творчества Ахматовой, тактично и убедительно вникая в развитие ее лейтмотивных тем, Виленкин заключает свой труд неоспоримым итогом: «Начав с интимной лирики, Анна Ахматова прошла свой трудный и неуклонный путь, становившийся все более широким в своей духовной и гражданственной значительности».

Трагичность и величие человеческой и творческой судьбы замечательной поэтессы, чей столетний юбилей мы будем отмечать в будущем году, одновременно и вознесены и приближены к нам этой горячей, рожденной даром подлинного сопереживания книгой. Последней книгой Виталия Яковлевича Виленкина.

**Т. ХМЕЛЬНИЦКАЯ**

*г. Ленинград*

# Отклик

**СРЕДИ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ОТКЛИКОВ НА РОМАН В. ГРОССМАНА «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»** редакция получила письмо москвича Виктора Корецкого:

«Глубокоуважаемый Анатолий Андреевич!

Большое Вам спасибо за то, что Вы решились на публикацию романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба».

В третьем номере журнала я обнаружил в конце второй части романа выпадение небольшой, но очень важной для романа и архиважной для нашего общества сегодня главки.

Может быть, в доставшейся редакции рукописи эта главка отсутствовала? Ведь необыкновенная судьба рукописи допускает изъятие особенно разоблачительных для застойной бюрократии мест.

Я готов предоставить в распоряжение редакции «Октября» имеющийся у меня текст недостающей главки.

Его, мне кажется, можно опубликовать вместе с послесловием к роману.

С уважением

Виктор Корецкий».

В. Корецкий прав. В настоящее время редакция располагает недостающим фрагментом романа и предлагает его читателям.

У Гроссмана этот текст находится во второй части романа, между 31-й и 32-й главами, где речь идет о расистской политике и идеологии фашизма — государственном антисемитизме. Помните: Лисс и Эйхман осматривают новейшие газовые камеры; с их помощью, по словам Лисса, они смогут «за двадцать месяцев решить вопрос, который человечество не решило за двадцать веков».

Антисемитизм проявляется разнообразно — он в насмешливом, брезгливом недоброжелательстве и в истребительных погромах.

Разнообразны виды антисемитизма — идейный, внутренний, скрытый, исторический, бытовой, физиологический; разнообразны формы его — индивидуальный, общественный, государственный.

Антисемитизм встретишь и на базаре, и на заседании Президиума Академии наук, в душе глубокого старика и в детских играх во дворе. Антисемитизм без ущерба для себя перекочевал из поры лучины, парусных кораблей и ручных прялок в эпоху реактивных двигателей, атомных реакторов и электронных машин.

Антисемитизм никогда не является целью, антисемитизм всегда лишь средство, он мерило противоречий, не имеющих выхода.

Антисемитизм есть зеркало собственных недостатков отдельных людей, общественных устройств и государственных систем. Скажи мне, в чем ты обвиняешь евреев, и я скажу, в чем ты сам виноват.

Ненависть к отечественному крепостному праву, даже в сознании борца за свободу, шлиссельбургского арестанта, крестьянина Олейничука, выражалась как ненависть к ляхам и жидам. И даже гениальный Достоевский увидел жида-ростовщика там, где должен был различить безжалостные глаза русского подрядчика, крепостника и заводчика.

Национал-социализм, одарив вымышленное им мировое еврейство чертами расизма, жаждой власти над миром, космополитическим безразличием к немецкой родине, навязал евреям свои собственные черты. Но это лишь одна из сторон антисемитизма.

Антисемитизм есть выражение бездарности, неспособности победить в равноправной жизненной борьбе, всюду — в науке, в торговле, в ремесле, в живописи. Антисемитизм — мера человеческой бездарности. Государства ищут объяснения своей неудачливости в происках мирового еврейства. Но это одна из сторон антисемитизма.

Антисемитизм есть выражение несознательности народных масс, неспособных разобраться в причинах своих бедствий и страданий. В евреях, а не в государственном и общественном устройстве видят невежественные люди причины своих бедствий. Но и это массовое проявление антисемитизма одна из сторон его.

Антисемитизм — мерило религиозных предрассудков, тлеющих в низах общества. Но и это лишь одна из сторон антисемитизма.

Отвращение к внешности еврея, его речи, к его пище не есть, конечно, истинная причина физиологического антисемитизма. Ведь человек, с отвращением говорящий о курчавых волосах еврея, о его жестикуляции, восхищается черными, курчавыми волосами детей на картинах Мурильо, безразличен к гортанному говору, жестикуляции армян, дружелюбно поглядывает на синегубого негра.

Антисемитизм — явление особое в ряду преследований, которым подвергаются национальные меньшинства. Это явление особое, потому что историческая судьба евреев складывалась своеобразно, особо.

Подобно тому, как тень человека дает представление о его фигуре, так и антисемитизм дает представление об исторической судьбе и пути евреев. История еврейства сплелась и соединилась со многими вопросами мировой политической и религиозной жизни. Это первая особенность еврейского национального меньшинства. Евреи живут почти во всех странах мира. Такое необычайно широкое распространение национального меньшинства в обоих полушариях Земли представляет вторую особенность евреев.

В пору расцвета торгового капитала появились евреи торговцы и ростовщики. В пору расцвета промышленности многие евреи проявили себя в технике и промышленности. В атомную эру немало талантливых евреев работает по атомной физике.

В пору революционной борьбы немало евреев проявили себя как выдающиеся деятели революции. Они — то национальное меньшинство, которое не отбрасывается на общественную, географическую периферию, а стремится проявить себя на направлении главного движения в развитии идеологических и производительных сил. В этом третья особенность еврейского национального меньшинства.

Часть еврейского меньшинства ассимилируется, растворяется в коренном населении страны, а народная, широкая основа еврейства сохраняет национальное в языке, религии, быте. Антисемитизм сделал своим правилом изобличать ассимилированную часть еврейства в тайных национальных и религиозных устремлениях, а органическую часть еврейства, занимающуюся ремеслами, физическим трудом, делать ответственной за тех, кто участвует в революции, управлении промышленностью, в создании атомных реакторов, акционерных обществ и банков.

Названные особенности бывают присущи порознь тому или другому национальному меньшинству, но, кажется, одни лишь евреи объединили в себе все эти особенности.

Антисемитизм тоже отразил на себе эти особенности, он тоже слился с главными вопросами мировой политической, экономической, идеологической, религиозной жизни. В этом зловещая особенность антисемитизма. Пламя его костров освещает самые ужасные времена истории.

Когда Возрождение вторглось в пустыню католического средневековья, мир тьмы зажег костры инквизиции. Их огонь осветил не только силу зла, но и картину гибели его.

В двадцатом веке обреченный гибели старый национальный уклад физически отсталых и неудачливых государств зажег костры Освенцима, люблинских и треблинских крематориев. Их пламя осветило не только краткое фашистское торжество, это пламя предсказало миру, что фашизм обречен. К антисемитизму прибегают перед неминуемым свершением судьбы и всемирно-исторические эпохи, и правительства реакционных неудачливых государств, и отдельные люди, стремящиеся выправить свою неудачную жизнь.

Были ли случаи на протяжении двух тысячелетий, когда свобода, человечность пользовались антисемитизмом как средством своей борьбы? Может быть, и были, но я не знаю таких.



Бытовой антисемитизм — бескровный антисемитизм. Он свидетельствует, что в мире существуют завистливые дураки и неудачники.

В демократических странах может возникнуть общественный антисемитизм; он проявляется в прессе, представляющей те или иные реакционные группы, в действиях этих реакционных групп, например, в бойкоте еврейского труда либо еврейских товаров, в религии и в идеологии реакционеров.

В тоталитарных странах, где общество отсутствует, антисемитизм может быть лишь государственным.

Государственный антисемитизм — свидетельство того, что государство пытается опереться на дураков, реакционеров, неудачников, на тьму суеверных и злобу голодных. Такой антисемитизм бывает на первой стадии дискриминации — государство ограничивает евреев в выборе местожительства, профессии, праве занимать высшие должности, в праве поступать в учебные заведения и получать научные звания, степени и т. д.

Затем государственный антисемитизм становится истребительным.

В эпохи, когда всемирная реакция вступает в гибельный для себя бой с силами свободы, антисемитизм становится для нее государственной, партийной идеей; так случилось в двадцатом веке, в эпоху фашизма.

---

**В «СОВЕТСКОМ ПИСАТЕЛЕ» ВЫШЛА ТРЕТЬЯ КНИГА МОСКОВСКОЙ ПОЭТЕССЫ ТАТЬЯНЫ БЕК «ЗАМЫСЕЛ».** Кругозор автора если и включает природу, то лишь настолько, насколько она включена в кругозор горожанина: лоскутно, урывками, не дальше лесопарка или ближнего Подмосковья. Быт, которым так занята и увлечена поэтесса, историчен насквозь. Житейская подробность может быть приравнена к главнейшему событию жизни, а сама частная жизнь не менее значительна, чем государственная история. А раз так, то непомерно возрастает и значение житейской порядочности, личного благородства, человечного поведения. Правила чести, верности, человечности, принятые предшествующими поколениями, поддержат и выпрямят потомка: в этом их историческая значимость.

Сама Т. Бек в своем творчестве в высшей степени честна и порядочна. Всякое кокетство и «игра», которые женской поэзии, в общем, прощаются, чужды ей совершенно. О своей любви — как неудачной, так и счастливой — она говорит нелукаво и прямо, без надрыва и патетики, ее поэтическое слово отмечено «нагото̀й городского глагола». Но в этой простоте и честности отношения к себе скрыто немалое чувство собственного достоинства. В разных стихах Т. Бек варьируется такая формула: «Я — сестрица, какая ни есть...» Главную ценность и цель своего существования поэтесса видит в том, что она свидетельница и участница исторического происходящего. (И характерно, что историческую и социальную свою причастность Т. Бек осмысляет в категориях родства.) Лучшее стихотворение поэтессы, которое цитируют, кажется, все рецензенты ее сборника («Я буду старой, буду белой, глухой, нелепой, неумелой...»), именно об этом и написано — о том, что может личная, человеческая и писательская порядочность, в чем ее сила и ее общественная роль.

Елена СТЕПАНЯН

---

**СТАТЬЮ М. КАПУСТИНА «ОТ КАКОГО НАСЛЕДСТВА МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ»** («Октябрь», №№ 4—5, 1988) прочитал с большим интересом. Взяться же за перо меня подвигло его справедливое высказывание об отсутствии «самостоятельной, смелой мысли» у многих наших историков и философов, о том, что они занимаются тем же славословием сталинскому режиму с небольшими оговорками типа «несмотря на просчеты, ошибки, даже преступления...».

Мне хотелось бы обратить особое внимание на недобросовестность приемов доказательства, применяемых этими учеными мужами. Я имею в виду вырывание удобных цитат из произведений Ленина и Маркса, замалчивание тех их

мыслей, которые не укладываются в стереотипы, установившиеся у нас еще со сталинских времен. Такое цитирование ведет к прямому искажению позиции классиков марксизма, в верности которым они не устают клясться.

Приведу лишь несколько примеров.

В нашей исторической литературе проводившаяся в 1918—1920 годах политика военного коммунизма до сих пор трактуется как единственно возможная в тех условиях. В частности, директор ИМЛ при ЦК КПСС Г. Л. Смирнов на заседании ученого совета института заявил: «Всему, что хотят скомпрометировать, приклеивают ярлык военного коммунизма. А между тем политика военного коммунизма — это та политика, которая спасла молодую Советскую республику» («Вопросы истории КПСС» 1988, № 1). Утверждая мысль о спасительности для Советской республики военного коммунизма, ученый, возглавляющий Институт марксизма-ленинизма, не может не знать, что В. И. Ленин уже в октябре 1921 года вполне однозначно заявлял: «Отчасти под влиянием нахлынувших на нас военных задач и того, казалось бы, отчаянного положения, в котором находилась тогда республика,...мы сделали ту ошибку, что решили произвести непосредственный переход к коммунистическому производству и распределению. Мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нужное нам количество хлеба, а мы разверстаем его по заводам и фабрикам...» (ПСС, т. 44, стр. 157). Там же мы находим: «На экономическом фронте, с попыткой перехода к коммунизму, мы к весне 1921 г. потерпели поражение более серьезное, чем какое бы то ни было поражение, нанесенное нам Колчаком, Деникиным или Пилсудским, поражение, гораздо более серьезное, гораздо более существенное и опасное». Из этих ленинских оценок со всей очевидностью вытекает, что даже в тех действительно тяжелых, сложнейших условиях введение военного коммунизма — и с экономической и с политической точек зрения — было грубым просчетом. Значит, альтернатива и тогда была. И хотя революция наша в гражданской войне выстояла, более чем странно утверждать, что это произошло благодаря политике военного коммунизма. Напротив, как видим из ленинского высказывания, эта ошибочная политика поставила нашу молодую Советскую республику на грань катастрофы.

Рассказывая об успехах быстрой сплошной коллективизации, эти историки не стесняются цитировать Ленина — победа колхозного строя выглядит убедительнее. Но почему-то они забывают посмотреть на последствия этой молниеносной коллективизации под углом зрения вот этой ленинской мысли: «Но чтобы достичь через нэп участия в кооперации поголовно всего населения — вот для этого потребуется целая историческая эпоха». Или этой: «Действовать здесь насилием» (т. е. в отношении крестьянства), — «значит погубить все дело» (ПСС, т. 38, стр. 200).

О том, что все дело перевода крестьянства на социалистические рельсы было погублено в 30-х годах, свидетельствует хотя бы то, что мы до сих пор всем миром, включая тех же докторов наук, выезжаем на беспризорные колхозные поля — полоть, убирать, косить, прихватив с собой значительную часть городского автотранспорта, тем самым усугубляя и без того бедственное положение сельского хозяйства и способствуя вырождению, может быть, последнего поколения настоящих хозяев земли — крестьян.

**Г. КОТОВЩИКОВ**

*г. Иркутск*



Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Сдано в набор 29.07.88. Подписано к печати 31.08.88. А 01604. Формат 70×108 1/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 250 000 экз. Заказ № 2862.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.